



ПАРТИЗАНСКИЕ

АНАРХИЯ

Пётр Алексеевич Кропоткин

Анархия

Сборник включает основные теоретические труды князя П. А. Кропоткина, посвященные обоснованию идеи «анархии», которую автор применяет не только в отношении политики, но и как определенный методологический и этический ключ к пониманию сути общественного бытия.

Основные работы П. А. Кропоткина были написаны в конце XIX века, и современный читатель имеет возможность с позиций трагической истории XX века оценить значимость историософских и философских построений именитого автора.

Сост. и предисловие Р. К. Баландина

Содержание

АНАРХИЯ — ЭТО СВОБОДА	0006
#1	0006
Царская милость	0012
Путешественник, ученый, революционер	0023
Теория и практика	0039
Два анархиста	0057
Идеал	0068
Анархия в природе и обществе	0076
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ АНАРХИЯ В ПРИРОДЕ	
ВЗАИМОПОМОЩЬ КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ	0088
ВВЕДЕНИЕ	0088
ГЛАВА I ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ У ЖИВОТНЫХ	0109
ГЛАВА II ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ У ЖИВОТНЫХ	
(Продолжение)	0155
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	0216
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ НАУКА И АНАРХИЯ	0230
1. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И АНАРХИЯ	0230
2. КОММУНИЗМ И АНАРХИЯ	0471
3. ГОСУДАРСТВО, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ	0540
4. СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО	0660
АНАРХИЯ. ЕЕ ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ИДЕАЛЫ	0799
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ АНАРХИЯ И ЭТИКА	0890
ЭТИКА	0890

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ . .	0900
ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ	1047
МОРАЛЬ, ПРАВО, ПОЛИТИКА	1059

Кропоткин Петр Анархия (Сборник)

АНАРХИЯ — ЭТО СВОБОДА

Я очень люблю Толстого, но мне часто казалось, что Кропоткин был тем, о чем Толстой только писал. Он просто и естественно воплотил в своей личности тот идеал моральной чистоты, спокойного, ясного самоотречения и совершенной любви к людям, которой мятущийся гений Толстого хотел достичь всю свою жизнь и достигал только в искусстве.

Ромен Роман

Три лика анархизма

За последние десятилетия в общественное сознание был внедрен и стал едва ли не общепринятым образ анархиста, неразрывно связанный с террором. Действительно, целый ряд организаций анархического толка на Западе, отчаявшись совершить революционные преобразования общества, перешли к тактике индивидуальных убийств, стимуляции массовых беспорядков, надеясь таким образом расшатать устои государственных систем.

В книгах и кинофильмах анархисты представлены обычно бесшабашными молодыми людьми, вооруженными и чрезвычайно опасными, посягающими на имущество, а то и саму жизнь добропорядочных граждан, — в чем-то такие «борцы за свободу» вполне соответствуют членам организованных преступных группировок. Они вызывают не уважение, а отвращение и страх.

Вполне понятно, что таким образом имущие власть и капиталы стремятся с помощью подчиненных им деятелей культуры — опорочить саму идею анархии. И это им явно удается. Однако приходится признать и то, что анархисты-разбойники — вовсе не выдуманные персонажи. Подобные люди бывали в прошлом и есть, пожалуй, сейчас.

На Западе анархисты чаще всего исповедуют крайний индивидуализм воинствующего толка, тогда как абсолютно преобладает там тихий и мирный индивидуализм, характерный для обывателей. Его философские основы наиболее ярко выразил Макс Штирнер (Каспар Шмидт) в книге «Единственный и его собственность», изданной в 1844 году. Он выска-

зался с предельной честностью: «Божественное — дело Бога, человеческое — дело человечества. Мое же дело не божественное и не человеческое, не дело истины и добра, справедливости, свободы и т.д., это исключительно МОЕ, и это дело не общее, а ЕДИНСТВЕННОЕ так же, как и я — единственный. Для Меня нет ничего выше Меня».

Теоретик социал-демократии Э. Бернштейн назвал Штирнера «самым последовательным из всех анархистов», который «развил идею безвластия до ее конечных выводов... Его книга — это песнь песней эгоизма». Не менее определенно высказался Г. В. Плеханов: «Макс Штирнер имеет полное право называться отцом анархизма».

В том же духе писал и В. И. Ленин: «Анархизм — вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм. Индивидуализм, как основа всего мировоззрения анархизма». Правда, не совсем ясно, что получится, если вывернуть наизнанку буржуазный индивидуализм, — пожалуй, ничего хорошего, всяческая внутренняя мерзость. Понятней и верней, по видимому, говорить о двух разновидностях

индивидуализма: воинствующем и мирно-эгоистичном. Первый находит свое воплощение в террористических анархистских организациях, второй — в «семейной идиллии» обывателя, мелкобуржуазном идеале общества потребления.

С удивительной близорукостью профессиональных политиков Бернштейн, Плеханов, Ленин и их последователи не заметили (а точнее сказать, не пожелали заметить) еще один — поистине светлый! — лик анархизма. Он прямо противоположен принципам, провозглашенным Штирнером: Мое дело божественное и человеческое, дело истины и добра, справедливости и свободы!

Именно так имел все основания утверждать Петр Алексеевич Кропоткин. И у него это были не просто слова, рассуждения и умозрения. Подобно мятущемуся Бакунину, он доказывал верность своих идеалов собственной жизнью. Этим он самым решительным образом отличается от подавляющего большинства философов и политологов, социологов.

Кто он? Знатный князь и революцио-

нер-народник, камер-паж императора Александра II, наследник богатых имений, бравый офицер, теоретик анархизма, замечательный путешественник, ученый-первооткрыватель (географ, геолог), глубокий мыслитель. Уникально уже само по себе сочетание этих качеств. Но главное: велик он не тем, что достиг званий и должностей, а тем, что имел честь и мужество отказаться от них во имя высоких идеалов и свободы.

Жизнь свою он построил наперекор судьбе. Не злomu беспощадному Року древнегреческих трагедий, а той доброй сказочной фее, которая одарила его при рождении высоким титулом, богатым наследством, привилегированным положением в обществе. (Не об этом ли мечтают эгоисты-индивидуалисты?) Ему предоставлялись прекрасные возможности для блестящей карьеры на службе и в науке. Он их отверг без долгих раздумий.

Воспеватель и перевозчик собственно «Я» Макс Штирнер смиренно прошел свой ничем не примечательный жизненный путь и умер в безызвестности. А жизнь Петра Кропоткина была исполнена необычайных при-

ключений, творческих исканий и открытий; имя его для миллионов людей стало символом свободы... Он был учителем жизни не только на словах, но и на деле — на собственном примере.

У Кропоткина — что случается в мировой истории нечасто — не было расхождений между интеллектуальной и практической деятельностью, нравственными идеалами и поведением, образом жизни и образом мыслей, убеждениями. Его судьба подтверждает верность высказывания Канта: не надо стремиться к счастью; надо быть достойным счастья. Оскар Уайльд сказал о нем: «Человек с душой того прекрасного Христа, который, кажется, идет из России», и написал сказку «Счастливый принц» (ведь Кропоткин был князем, принцем), аллегорически показав радость дарить людям добро даже ценой собственных лишений.

Итак, прежде чем кратко охарактеризовать теоретические взгляды П. А. Кропоткина на анархию, отчасти представленные в данной книге, предлагаю поближе познакомиться с его личностью, жизнью и творчеством.

Царская милость

Родился Петр Кропоткин 27 ноября 1842 года в семье богатого помещика-крепостника (и самодура), «типичного николаевского офицера», по словам сына. О матери — Екатерине Николаевне — сохранил он самые нежные и восторженные воспоминания, хотя почти не знал ее, умершую, когда Петру было три с половиной года, а его брату Саше не минуло пяти.

Вскоре в семье появилась мачеха, невзлюбившая пасынков. Жалели и ласкали их, барчуков-сирот, только крепостные. В ту пору, пожалуй, и полюбил всем сердцем и навсегда князь Петр Кропоткин обычных русских людей. Со временем эта любовь распространилась на всех, кто живет честным трудом. Он физически не переносил бездельников, трусов, лжецов и демагогов.

В жизни Петра Алексеевича окружающая среда почти всегда была той могучей и слепой силой, преодоление которой требует большого духовного и физического напряжения.

А началось все с царской милости.

...Московская знать готовила грандиозный бал к двадцатипятилетию царствования Николая I. Задумано было: к стопам самодержца склонятся все народы и губернии России. За представителей народов выступали костюмированные дворяне — из самых родовитых — и их дети. С жезлом Астраханской губернии выставили маленького князя Петра Кропоткина.

В тот памятный день Николай I распорядился определить Петра Кропоткина в Пажеский корпус. Честь высокая! Ее удостаивались дети немногих москвичей, отдаленных от высоких постов чиновничьего Петербурга. Ведь из корпуса прямой путь ко двору, в царские приближенные.

Пажеский корпус был самой привилегированной казармой в России. Как положено в подобном заведении, здесь все было регламентировано так, чтобы юноши, взрослея,

становились деталями руководящего аппарата государственного механизма. Корпус представлял своим воспитанникам право выбирать место службы в любом полку. В качестве своеобразной стажировки старшекурс-

никам была определена придворная служба.

Образование в корпусе давали неплохое, достаточно широкое, с упором на физико-математические науки. В последнем классе читали даже курс политэкономии. Воспитанники, которых не прельщала воинская служба, имели возможность для духовного и умственного развития. Характерная деталь: в списках выпускников Пажеского корпуса (1811 года) стоят рядом имена декабриста Пестеля и министра Адлерберга. О первом сказано: полковник, кавалер орденов св. Владимира, Анны, имел шпагу за храбрость, подвергнут смертной казни. До Пестеля воспитанником корпуса был самый революционный из русских мыслителей XVIII века Александр Радищев; после Пестеля — другой декабрист — Ивашев. Выходит, что в этом учреждении сохранялись — гласно, торжественно, нарочито — верноподданнические традиции, а в то же время неявно, потаенно — традиции революционеров. В середине XIX века все слои русского общества испытывали немалые потрясения, и Пажеский корпус не мог, конечно, остаться вне общего духовного брожения.

Во времена Кропоткина в корпусе все отчетливее сказывался характер военного учреждения. Нравы его воспитанников носили неизбежный отпечаток казарменного, принудительного общежития. Процветали, как мы теперь говорим, дедовщина, глумление над младшими по званию, положению, возрасту. Тот, кто испытал унижения в первый год, затем старался «отыграться» на новичках. Традиции несвободы были живучи.

Право на свою индивидуальность Петр не собирался отдавать в обмен на возможность блестящей карьеры. Новичок осмеливался перечить старшеклассникам (причисленным к штату придворных!), отказывался им прислуживать. Ему приходилось терпеть побои от более сильных балбесов — «старичков», отвечая шутками на удары.

Брату Александру писал: «Страшная скука» (книг хороших нет). «С каждым днем ненавижу я все более Корпус... Удивляюсь, что здесь за дурачье». Впрочем, не такое уж безнадежное дурачье училось в Корпусе. Один из трехклассников, например, с увлечением читал «Критику чистого разума» Канта. Были и

любители серьезной художественной литературы.

Он поступал наперекор некоторым командирам, стремившимся ограничивать свободу учеников и унижать их личное достоинство. Его на полтора года оставили без погон. Иногда он две-три недели проводил в карцере. В иные времена с ним поступили бы круто. Но Николай I умер; сменивший его Александр II старался быть либералом. Как писал Петр брату Александру: «Старая система разрушается, новая не создана».

Петр читает все подряд: естественнонаучные, художественные, философские, математические, исторические книги; а с особым любопытством и вниманием — запрещенные журналы «Полярная звезда» и «Колокол». Любит поэзию и музыку, охотно играет на фортепьяно и поет оперные арии. Из поэтов отдает предпочтение Некрасову. Считает: «Тот, кто не способен тронуться музыкой, природой, стихами, творчеством, тот не высоко стоит в моих глазах». Пытается даже издавать собственный рукописный журнал — в трех экземплярах.

Ему удалось переходить из класса в класс, отлично учиться, пользоваться уважением товарищей (так и не сойдясь близко ни с кем из них). Буйная московская закваска сохранилась в нем. Отстаивая свою личность, он незаметно даже для самого себя переходил в какую-то иную, устремленную к высоким идеалам сферу духовного бытия. Вот что пишет шестнадцатилетний царский паж князь Кропоткин: «С недавнего времени Россия переменялась. Дремавшее полвека государство воспрянуло, наконец, ото сна и быстро понеслось к той светлой цели, в направлении которой давно уже шли европейские народы. Цепи, в которых ходило оно, поослабились; путы, которые были наложены на свободное слово — пораспустились, промышленность, эта великая провозвестница свободы, расправила в нем могучие свои крылья; мыслящие люди заговорили о лучшем будущем, и настала новая эпоха. Трудно оставаться спокойным зрителем этого великого движения».

Для становления личности Петра Кропоткина много дало общение со старшим — на два года — братом Александром, переписка с

ним. Эта животворная нить постоянно питала его ум и душу. А самая ценная духовная пища, как известно, та, от которой неутолимее жажда познания, стремление к высоким идеалам.

Александр учился в Московском кадетском корпусе, ненавидя военную службу. Судьба его складывалась тяжело. С отцом и мачехой он не ладил. Отец порой даже бил его. Узнав об этом, Петр писал: «Скажи, пожалуйста, что ты за баба такая? Отец бьет тебя, и ты не обороняешься».

У Александра, в отличие от брата, была слабая воля, разобщенность мысли и дела. В этом он не признавался даже себе, выражаясь деликатно: «Я человек мысли, но не дела». Однако бездеятельный «человек мысли» рискует оставаться фразером. И если бы не Петр, мы вряд ли знали что-нибудь об Александре Кропоткине. Хотя и Петр без старшего брата мог бы стать другим человеком. Кто бы писал ему, как брат: «Твой ум страшно неуклюж и страшно ленив». Кто бы упрекнул «в пошлом самодовольствии»? Или такие жесткие слова брата: «Наука не для тебя»; «я не верю в тебя,

Корпус почти погубил тебя».

Вышло наоборот: Корпус закалил характер Петра. Так в ледяной воде закаляется раскаленная сталь. Вот и у Петра, несмотря на то что он стал лучшим учеником, внутренние перемены были разительны.

Брат влиял на него прежде всего своими письменными инъекциями скептицизма, делясь разочарованием в догматах религии, своими метаниями от православия к атеизму, а затем к лютеранству. Подвергал разрушительному сомнению все: «Критика всевозможных догматов и разоблачение всяких кумиров мое высшее наслаждение, моя специальность... Мне бы хотелось, чтобы ты не признавал ничего святого и ни пред чем не преклонялся; мне бы хотелось также, чтобы догматы свои ты подвергнул критике».

Оба брата следовали этому правилу. А результаты оказались противоположными. Александр занимался, в сущности, умственными развлечениями, строя и разрушая воздушные замки идей. Какой смысл в излишнем напряжении мысли? «Ты, например, уважаешь науку, талант, ум, человека, падаешь

ниц перед идеями равенства, братства, свободы, — пишет старший брат младшему. — Что за рабство такое? Что за религия? Что ты нашел в этом? Чем, например, наука лучше солнца, земли, чернозема, хлеба?»

Вот ведь как: преклонение перед свободой — тоже рабство. Ведь преклонение! Ну, а если не преклоняться перед свободой? Разве это не похоже на примирение, на молчаливое согласие с холопством? Скажем, с деспотизмом отца? Тут ведь и не христианское смирение, добром побеждающее зло — хотя бы в идеале, — потому что и эти догматы отброшены. Тут — приспособление к обстоятельствам. Скептицизм перерождается в равнодушие, в размышления для отдохновения. Познание — не труд, а легкое удовольствие.

Что и говорить, ум у Петра не отличался гибкостью. Зато твердость мысли и стремление к познанию наметились рано. И мысль, и дело, и жизнь привык он принимать всерьез. Не только как личное достояние: что хочу, то и думаю, как мне лучше и легче, так и сделаю. Петр вообще мало пишет о себе. Брату говорит о народе, необходимости освобожде-

ния крестьян и ограничения (свержения?) самодержавия, намекает на возможность восстания и готов поддержать его даже при неизбежности поражения.

Его производят в фельдфебели, назначают камер-пажом. А он восторгается декабристами. Признается брату, что желает быть «хоть сколько-нибудь полезным». Полезным — народу, революции: «Уметь стрелять из штуцера, может быть, пригодится когда-нибудь, не правда ли?» Готов ехать куда угодно, хотя бы и на Амур, а «по первым симптомам — можно прискакать».

Мысль его рождена острыми переживаниями, а не сухими умозаключениями. Он ощущает «сверх-Я» — народ и как бы мыслит его разумением, расширяя пределы своей личности и своего познания. Работа мысли — не игра, но возможность «быть хоть сколько-нибудь полезным».

На совет брата «не признавать ничего святым» Петр не отозвался. В сфере мысли он и без того следовал этому принципу; даже привычную с детства идею Бога отклонил, не находя ей научных подтверждений. А все-таки

святыни для него оставались. Вера в идеалы свободы, добра и справедливости была для него руководством к жизни.

Он часто бывает в Зимнем дворце. Сопровождает царя. На церемониях шествует сразу же за царской четой. Для него Александр II — Освободитель. В корпусе Петр — лучший ученик. Царь ему благоволит. Осталось только подождать несколько лет, а там...

«Противная будет жизнь в кругу этих личностей, противно прозябание». Так пишет он. И решает ехать в наи-возможнейшую глушь: в Амурское казачье войско. Вопреки воле отца (карьеру-то загубишь!). Вопреки мнению чтимого брата (подобное путешествие — блажь; неизбежно последует скорое разочарование и распад личности, — «мне чутье говорит»).

Путешественник, ученый, революционер

... Многие молодые люди мечтают о яркой незаурядной жизни. Но смиряются перед мнением доброжелателей, выбирают привычные пути жизни, предпочитают выгадывать, а значит — совершать сделку с совестью. Для Петра Кропоткина это было невозможно.

За пять лет службы в Сибири Кропоткин проехал верхом в повозке, проплыл в лодке или прошел пешком в общей сложности более 70 тысяч километров. Он стал первым исследователем обширнейших регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, обнаруживая следы великих оледенений в этих краях, открыл группы недавно действовавших вулканов, чем опроверг веками господствовавшее мнение о неперемнной связи вулканов с морскими побережьями. Он смог обнаружить закономерности в строении и расположении горных систем Восточной Сибири, тогда как до него на этот счет бытовали бездоказательные догадки.

Важно отметить еще одно его великое достижение. За эти годы напряженных исследований и преодоления тягот и опасностей он завершил самосоздание своей личности, закалив характер и укрепив убеждения. Он сделал выбор, определивший его дальнейшую жизнь: решил стать революционером.

Одним из памятных событий в его судьбе оказалось пребывание в Якутске и на Ленских золотых приисках, — в центре «маслопузного владычества», по его выражению. Он замечал и остро переживал то, что ускользало от взгляда большинства путешественников: страшные условия работы и угарного «отдыха» на приисках, жестокую и алчную эксплуатацию, «порабощение рабочего капиталом».

В юности Кропоткин верил в благодетельность для России свержения или ограничения самодержавия и пути капиталистического развития на манер западноевропейских держав. И вот его запись, сделанная в витимской тайге: «На подрыв капитала надо бы употребить силы».

После Сибири он посещает имение Ни-

кольское, Москву, Петербург. И везде с негодованием видит (теперь — видит, прежде привычно не замечал) барство и рабство. Опять попал «в этот подлый круг; все глаза выпучили, как это сам умывался, сам сапоги снял». А высшее холопство — среди высокой знати. Не это ли всё — признаки близких революционных перемен: новые люди, идеи, новый строй жизни разрывают изнутри закостенелую и прогнившую государственную машину...

Трудно сказать, каким образом это произошло. Именно в таежной глухомани, в сибирском раздолье, проникнувшись жизнью природы, Кропоткин стал непримиримым врагом любых форм угнетения человека, ограничения его свободы, прежде всего свободы мысли и духа. А ведь раньше сам Александр II, уже начавший испытывать тревогу за свою жизнь, увидев в пустой полутемной зале возле себя верного камер-пажа Кропоткина, сказал: «Ты здесь — молодец!»

Петр решил стать революционером вовсе не потому, что считал себя в чем-то обделенным, напротив, он сам отказался от придворной, а затем и военной службы и карьеры, от

обеспеченной комфортной жизни. Он даже преодолел недолгое, но сильное увлечение дочерью богатого помещика — соседа по родовому имению.

Тяжелее всего ему было отказаться от положения профессионального ученого. Да еще в тот момент, когда он был награжден за свои путешествия и открытия Большой золотой медалью Русского Географического общества! А ведь Петр Кропоткин не только любил науку, но и обладал феноменальным даром исследователя, наблюдателя и понимателя природы. Он поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Еще в Сибири он пришел к убеждению, что без науки «пролетарию никогда не выбраться», и решил стать «таким же пролетариатом, хотя и с умственным капиталом». Живет своим трудом: переводит «Основания биологии» Спенсера, «Философию геологии» Пэджа, «Геометрию» Дистервига; пишет научные фельетоны (очерки) в «Петербургских ведомостях».

Кропоткин сдает в печать объемный отчет о своей Сибирской экспедиции. Он не гнуша-

ется кропотливой черновой научной работы, обрабатывая массу фактических данных, и не торопится с обобщениями. Выступает, как основоположник геоморфологии Сибири, осмысливая не только главные черты современного рельефа, но и их геологическую историю. Он упоен познанием природы:

«В человеческой жизни таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и кропотливых изысканий... Кто испытывал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы быть доступно в той или иной мере, если бы знание и досуг были достоянием всех».

Он работает в Географическом обществе секретарем отделения физической географии. Теоретически предсказывает существование неведомого архипелага севернее Новой Земли и пишет обстоятельный доклад, обосновывая экспедицию для исследования русских се-

верных морей. Доклад был издан в 1871 году. К сожалению, ассигнования на экспедицию не поступили. Через два года архипелаг был открыт австрийской экспедицией и назван Землей Франца Иосифа (было бы справедливее — Землей Кропоткина!).

Вместо северного морского путешествия Географическое общество предложило Кропоткину скромную экспедицию в Финляндию и Швецию для изучения древних ледниковых отложений. Поездка оказалась исключительно плодотворной. (В неисследованных труднодоступных краях важнейшее значение имеют воля, упорство, мужество исследователя; но для значительных открытий в краях, неплохо изученных, важнее — интеллектуальные качества ученого.)

И в этом случае Кропоткин шел от наблюдений к обобщениям. Он обладал редким даром: полнейшей искренностью в общении с природой и людьми. Природа — это сама правда, бесхитростная и непостижимая в своем многообразии. Не потому ли тайны ее открываются людям бесхитростным, правдивым, чистым совестью? Во всяком случае, для

Кропоткина было именно так. И еще отметим: смелость мысли, легко разрывающей пути авторитетных мнений, а также силу воображения, уносящего мысль за пределы очевидности.

Он тщательно отмечал, зарисовывал, описывал следы деятельности ледников на севере Европы, обращая внимание на детали рельефа, положение камней, характер отложений. И постепенно в его воображении стали складываться картины недавнего ледникового периода: гигантские потоки льда стекали с северных гор, продвигаясь далеко на юг, создавая новые формы рельефа, меняя климат. Он вновь подошел к великому научному обобщению, вновь переживал восторг научного творчества. Тогда же получил он телеграмму с предложением занять почетную должность секретаря Географического общества. И незамедлительно ответил: «Душевно благодарю, но должность принять не могу».

Кропоткин не согласился стать профессиональным ученым — на подъеме своих творческих сил, после крупнейших открытий в географии, в тот момент, когда начал разраба-

тывать новое направление, которое прославит его имя в науке: учение о ледниковом периоде. Пожалуй, никто в мире в подобной ситуации, с такими возможностями и талантами не отказывался (или не отказался бы) от предложения посвятить себя научным исследованиям. Причину своего отказа он объяснил сам:

«Но какое право я имел на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все, истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано из рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черствого хлеба для собственных детей? У кого-нибудь кусок должен быть вырван изо рта, потому что совокупная производительность людей еще так низка...

Массы хотят знать. Они хотят учиться; они могут учиться... Они готовы расширить свое знание, только дайте его им, только предоставьте им средства завоевать себе досуг.

Вот в каком направлении мне и следует работать, и вот те люди, для которых я дол-

жен работать. Все эти звонкие слова насчет прогресса произносимы в то время, когда сами делатели прогресса держатся в сторонке от народа, все эти громкие фразы — одни софизмы. Их придумали, чтобы отделаться от разъедающего противоречия...

И я послал мой отказ Географическому обществу».

Он побывал в Западной Европе для того, чтобы познакомиться с революционными идеями «из первых рук». Изучал опыт борьбы трудящихся за свои права. Его мысль, отточенная научными исследованиями, стремится к логичным выводам: «Парижская Коммуна — страшный пример социального взрыва без достаточно определенных идеалов... Вопрос не в том, как избежать революции ее не избежать, — а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти». Он пришел к мнению, что коммунизм возможен в двух вариантах: государственный, военно-деспотический и анархический, основанный на свобод-

ных ассоциациях, товариществах, профессиональных объединениях трудящихся. Петр Кропоткин выбрал безвластие.

После неудавшегося покушения Каракозова на Александра II и провала тайного террористического общества «Народная расправа», основанного иваново-вознесенским мещанином С. Г. Нечаевым, в русском просвещенном обществе были популярны настроения, которые выразил Ф. М. Достоевский: «Все понятия нравственные и цели русских — выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро, как в христианство, а не в буржуазное разрешение задачи о комфорте. Всеми миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием...), и это свершится в какое-нибудь столетие — вот моя страстная вера».

Кропоткин вступил в «Большое общество пропаганды», созданное осенью 1871 года. Петербургский кружок общества получил название по имени одного из создателей — Николая Васильевича Чайковского. Здесь не было начальников и подчиненных. Все были рав-

ны и дружны, спорные вопросы решали сообща до полного согласия. Почти все кружковцы шли к революционным убеждениям через студенческие коммуны и нигилизм. Кропоткин — иначе. Он был вхож в «высший свет», обедал в аристократических домах, заходил в Зимний дворец к своим товарищам по Пажескому корпусу. А затем брал извозчичью пролетку, пересекал Васильевский остров до утопающих в грязи деревянных предместий.

Он общался здесь преимущественно с фабричными рабочими, которым симпатизировал. Эти люди сохраняли живую связь с землей, с крестьянским укладом быта и верованиями, в страду работая у себя в деревнях. Им были чужды мещанские ценности.

Как вспоминал рабочий Смирнов: «Кропоткин производил прекрасное впечатление на нас своей фигурой — среднего роста, чистой одеждой, красивой бородою и очень ласковым голосом».

Товарищи по борьбе полагали, что подпольная деятельность ему не подходит. Степняк-Кравчинский писал: «У него нет гибкости и умения приспособляться к условиям момен-

та и требованиям политической жизни, которые так необходимы заговорщикам. Он страстный искатель истины, умственный вождь, а не человек действия». «Он решительно не способен командовать и еще менее организовать кого-нибудь. У него всегда один: интерес идеи, убеждения, а вовсе не практический результат... Таким образом не создашь кружка, не организуешь партии».

Но ведь Кропоткин был профессиональным военным, умел командовать еще в Пажеском корпусе (в чине фельдфебеля), был проверен в опаснейших ситуациях во время экспедиций. Нет, не отсутствие «умения приспособляться» и командовать, а нежелание подлаживаться и повелевать. Он сторонник безвластия не только теоретически. Человек может на словах верить во что угодно или во что удобно, но истинная вера определяется по его делам.

Он сохранял твердое убеждение: благородных целей можно добиться только благородными средствами. А о его личных качествах можно судить, в частности, по тому, как он характеризовал своих товарищей-революцио-

неров: «Никогда впоследствии не встречал я такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первых заседаниях кружка чайковцев. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью».

Нет, он не жил двойной жизнью. У него словно были две жизни одновременно. Это была двойная интенсивность существования, доступная только тем людям, которых мы обычно называем гениальными.

«Скромным, прилежным, благожелательным, умеренным: таким вы хотели бы видеть человека? Хорошего человека? Но мне он представляется только идеальным рабом, рабом будущего». «Жизнь не имеет иных ценностей, кроме степени власти». Так писал мрачный и мятежный философ Ницше, осмеивая «стадный инстинкт» равноправных безликих «нулей» и призывая к обществу «аристократов духа».

Жизнь Кропоткина, отрекшегося от аристократии и от воли к власти, прошла счастливо. Это была жизнь героя. Он не противопоставлял себя другим, а стремился пробуждать

в них чувство собственного достоинства. Высшая воля человека — не над другими, а над самим собой, своими низкими помыслами и чувствами. Именно такой волей обладал Кропоткин. (Между прочим, Ницше переживал мучительное расхождение между идеалом и действительностью; он прожил трагическую жизнь, завершившуюся безумием.)

Но... Кропоткины в потоке поколений редки, как уникальные алмазы. Идеалы коммунизма, воплощаясь в практику анархического движения, нередко оборачиваются терроризмом. Идеи Ницше привели к механическим попирающим свободу и справедливость фашистским государственным системам XX века.

...Когда начались первые аресты членов «Большого общества пропаганды», Кропоткин не спешил скрываться. Он создает новые кружки, обучает конспирации молодых революционеров на случай своего провала. Еще одна причина его задержки: на 21 марта 1874 года был назначен его доклад на общем собрании Географического общества. И это выступление Кропоткина стало, по существу, ре-

волюцией в науке. Он опроверг общепринятое мнение, что в недавнем прошлом на Русской равнине расстилалось холодное море, разносившее повсюду валуны из Скандинавии.

Кропоткин доказывал: на равнину с севера наползали гигантские ледники на тысячи квадратных верст, бороздили земную поверхность, тащили валуны в толще льда. А таяние ледников приводило к широкому распространению водных потоков, крупных озер.

Это были образы и идеи непривычные. Знаменитый геолог Барбот де Марни подвел итог: «Был ли ледниковый покров или нет, но мы должны сознаться, господа, что всё, что мы говорили о действии плавающих льдин, в действительности не подтверждается никакими исследованиями».

Несмотря на сомнения, специалисты не смогли опровергнуть главные положения доклада Кропоткина. Ему предложили почетное место председателя отделения физической географии. Он отказался. А на следующий день Кропоткин был арестован по обвинению в принадлежности к тайному обществу, име-

ющею целью ниспровергнуть существующую форму правления.

В сыром и холодном каземате Петропавловской крепости он упорно создавал «Исследования о ледниковом периоде» — выдающийся научный труд. Здоровье его ухудшалось. Его перевели в тюремную больницу. С помощью друзей ему удалось бежать, единственному из всех узников Петропавловки. (Об этой поистине детективной истории написано немало. Между прочим, призовой рысак Варвар, который умчал беглеца, позже был «арестован» и предоставлен полицмейстеру Петербурга; а 1 марта 1881 года умирающего после взрыва бомбы Александра II спешно везли в Зимний дворец в санях, запряженных Варваром.)

Петра Кропоткина тайно переправили в Англию. Но и в «свободных» западных странах не избежал он арестов и тюрем. За ним продолжала охотиться царская охранка. Его хотели убить.

Он не прекращал писать и публиковать научные и революционные работы. Ему приходилось постоянно трудиться, зарабатывая

на жизнь. Нередко жил он под чужой фамилией. Однажды в Англии ему предложили перевести на английский с комментариями сочинение талантливого русского ученого... Кропоткина.

Теория и практика

Опыт истории показал утопичность революционных политических взглядов Кропоткина. Совсем иначе было с его научным постижением природы, которую он не просто анализировал, но и глубоко ощущал: «Непрестанная жизнь вселенной, которую я понимал как жизнь и эволюцию, сделалась для меня источником высокой поэзии, и мало-помалу чувство единства человека с одушевленной и неодушевленной природой — поэзия природы — стало философией моей жизни».

Только после Февральской революции 1917 года он смог вернуться на родину. Его встречали при огромном стечении народа, со знаменами и войсками, представители всех партий. В его дом началось настоящее паломничество. Неоднократно приходил Керенский. Он предложил Кропоткину любой ми-

нистерский пост во Временном правительстве, но получил категорический отказ. Участвовать в работе государственного аппарата, становиться его деталью, начальствовать Петр Алексеевич не желал ни при каких обстоятельствах: «Я считаю ремесло чистильщика сапог более честным и полезным!»

Взгляды Кропоткина на текущую политическую ситуацию были противоречивы, как само то время. Он ратовал за войну до победы с Германской империей (а для этого требовалось твердое, централизованное управление, строгая дисциплина, сильное государство). Одновременно как анархист он видел развитие Февральской революции в децентрализации, распространении местного самоуправления, кооперативов, крестьянских ферм, профсоюзных организаций.

В Октябрьском революционном перевороте он достаточно быстро разочаровался: началось быстрое укрепление государственной системы, прежде всего аппарата насилия, совершенно неизбежного в условиях начавшейся братоубийственной войны. Кропоткин писал в апреле 1919 года: «Согласно моему взгляду,

эта попытка построить коммунистическую республику на основе строго централизованного государственного коммунизма под железным законом партийной диктатуры, в конце концов потерпит банкротство. На России мы учимся, как нельзя вводить коммунизм даже с народом, который устал от старого режима и не оказывает активного сопротивления экспериментам новых правителей». Это писал он рабочим Западной Европы. И оговаривался: «Идея советов... — великая идея», однако «страна управляется партийной диктатурой». «Когда правительство берет на себя обязанность снабдить каждого гражданина лампой и даже спичками, чтобы зажечь эту лампу, то тогда это не может быть сделано даже с бесчисленным множеством чиновников — такое правительство становится язвой». «Все возлагать на гений партийных диктаторов — значит, разрушать независимые центры нашей жизни, профессиональные союзы и местные кооперативные организации, превращая их в бюрократические органы партии, как это имеет место теперь».

Он призывает к солидарности трудящихся

без различий национальности или партийной принадлежности. И все-таки в своем письме, предостерегая рабочих Запада от роковых ошибок русской революции, Кропоткин просит, невзирая ни на что, даже на возможное укрепление государственной власти и террора, оказать помощь народам России, умирающим от голода и болезней. Он категорически отвергал принцип «чем хуже — тем лучше», на основе которого создавалась революционная ситуация, велась работа на поражение России в империалистической войне, на развал внутренней организации государства и армии. Некоторые партии, а также многие анархисты встали на этот путь. Кропоткин отвергал его. Когда большевики взяли власть, то ряд партий стал исповедовать тот же принцип: «Чем хуже, тем лучше». И вновь Кропоткин не принял этой тактики, когда ради интересов партии жертвуют миллионами жизней, обрекают народ на непомерные лишения.

По убеждениям Кропоткина, анархия — не хаос, а свобода личности, мысли, творчества. В этом отношении иго капитала также опас-

но и страшно, как иго однопартийной государственной системы. Если в первом случае используются преимущественно экономические методы, то во втором — политические, юридические, идеологические.

«Одно из двух. Или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче центров на почве энергичной личности и групповой инициативы, на почве вольного соглашения. Или же государство раздавит личность и местную жизнь, завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет с собою войны и внутреннюю борьбу за обладание властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов, и как неизбежный конец — смерть. Выбирайте сами!»

К 1920 году он утверждал: «Приход реакции абсолютно неизбежен... А потому все, что мы можем сделать, это направить наши усилия, чтобы уменьшить ее рост и силу надвигающейся реакции».

Он предполагал, что реакционная деспотия государства продлится меньше полувека. Впрочем, если вести отсчет от расцвета сверх-

державы СССР в конце 1930-х годов, то и этот прогноз Кропоткина выглядит сбывчивым. Так же как его предположение, что в будущем возможны более жестокие и кровавые войны. Однако надо не восхвалять пророческий дар великого ученого и человека, а постараться понять, почему он приходил к верным выводам.

Прежде всего он стремился постичь правду и ничего кроме правды. У него напрочь отсутствовали какие-либо партийные или групповые интересы. Но дело не только в этом. В отличие от подавляющего большинства теоретиков, он старался учитывать роль научно-технического прогресса и законов земной природы в развитии общества, имея в виду законы не столько экологические, о которых ныне говорится немало, сколько нравственные (истоки последних, как эволюционист, он видел в биологической природе человека и социальном поведении высших животных).

В середине XIX века, когда он твердо уверовал в необходимость объединения трудящихся в борьбе за социальную справедливость, огромную популярность стали приобретать

идеи социо-дарвинистов, утверждавших, будто повсюду и всегда идет жестокая борьба за жизнь: биологическая конкуренция среди животных, экономическая — среди людей. Победители — самые приспособленные, самые удачливые и активные индивидуумы. Это стало, по словам Кропоткина, своеобразным догматом, религией буржуазного общества. Вопреки этому, «необходимо было показать преобладающую роль, которую играют общительные привычки в жизни природы и в прогрессивной эволюции как животных видов, так равно и человеческих существ. Надо было доказать, что они дают животным лучшую охрану против их врагов, что они облегчают им добывание пищи... и увеличивают предел жизненности и, вследствие этого, — облегчают развитие умственных способностей, что они дали людям... возможность выработать те учреждения, которые помогли человечеству выжить в суровой борьбе с природой и совершенствоваться, невзирая на все превратности истории».

Он выполнил свою задачу, написав книгу «Взаимная помощь как фактор эволюции».

Это — не опровержение, а дальнейшее развитие идей Дарвина, причем в традициях русской биологической науки. Еще в 1860 году ботаник А. Н. Бекетов высказал идею эволюции и единства природы Земли; он считал борьбу за существование частным случаем «взаимодействия сил», гармонии в природе. Позже о законе взаимной помощи и о его роли в эволюции писал русский зоолог К. Ф. Кеслер, прямым преемником которого и стал Кропоткин.

Конечно, не все в этой работе Петра Алексеевича выглядит одинаково убедительно. Однако научная значимость его работы сохраняется до наших дней.

Экологическое единство живого вещества не вызывает сомнений — это эмпирическое обобщение. Сам факт этого единства, сохраняющегося многие миллионы лет, показывает, что взаимное объединение, взаимопомощь всегда проявлялись в биосфере более властно и эффективно, чем взаимная вражда и разобщенность. И по-прежнему актуальны слова Кропоткина: «Общество... зиждется на сознании — хотя бы инстинктивном, — челове-

ской солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полуосознанном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех...»

Он не удовлетворился этим обобщающим трудом. Мысль его устремлялась к более обстоятельным разработкам темы. Он принялся писать историю Великой французской революции (1789-1793). Друзья предупреждали: тема трудна даже для профессионала-историка, ей посвящены сотни исследований крупных ученых... Нет, Кропоткина трудности никогда не останавливали. В 1909 году это его историческое исследование вышло на английском, французском, немецком языках, а позже было издано во многих странах мира. И вновь он исходил из предвзятой идеи: в человеческом обществе идет извечная борьба двух течений «народного и начальнического». В народе постоянно вырабатываются формы взаимопомощи, единения. Этому противостоят люди, стремящиеся к власти, господству над народом, добывающиеся личных привилегий за

счет других.

Было бы ошибкой считать, будто Кропоткин просто подбирал материалы для обоснования своих идей. Он всегда оставался прежде всего именно исследователем; факты были для него той самой правдой, от которой он никогда не отступал, за торжество которой сражался. Он шаг за шагом, основательно анализирует ход событий, делая краткие и точные выводы. «Восстание крестьян с целью уничтожения феодальных прав и возврата общинных земель... — это самая сущность, истинная основа Великой революции». «Миром управляют идеи гораздо больше, чем это думают, а великие идеи, выраженные в решительной форме, всегда имели влияние на умы». «Между изданным законом и его практическим проведением в жизнь лежит еще целая пропасть». «Народ всегда чувствует истинное положение дел, даже тогда, когда он не может ни правильно его выразить, ни обосновать предчувствия доводами...» Все это — не громкие высказывания, а именно выводы, к которым Кропоткин подводит читателя, рассказывая о тех или иных эпизодах

Великой французской революции. Он не только восхищался «верным инстинктом» народа, но и раскрыл источники и движущие силы этого «инстинкта».

У этого удивительного князя была страстная вера в народ. Его жажда справедливости не позволяла ему отрешенно мудрствовать, ведя академически бесстрастные изыскания. Каждая его книга, каждая статья по истории, экономике, этике, даже биологии пронизаны его личными убеждениями, явно или неявно утверждают коммунистическое мировоззрение (конечно, в его личном понимании). И в книге о Французской революции он доказывает: стремление к «коммунизму в потреблении» исходит из народных масс, а не от отдельных теоретиков; именно для народа характерно убеждение: «только избыток в припасах может быть предметом торговли; необходимое же принадлежит всем».

К истории общества и истории земной природы он подходил с единых позиций, умея тщательно собирать факты и обстоятельно их анализировать, из их огромного разнородного неорганизованного множества

выстраивая законченные и правдивые картины реальности.

Но это еще не все. Пожалуй, его необычайная пронизательность, чистота и сила мысли в значительной степени определялись народностью (вспоминается столь же самобытный и неповторимый пример Ломоносова).

Петр Кропоткин никогда не претендовал на роль вождя и поводыря «темных масс», несмотря на то что из всех, пожалуй, российских революционеров был не только одним из самых образованных, но и достиг наивысших успехов в научном познании. Его интеллектуальный потенциал был колоссальным. Он активно пропагандировал политические, экономические и социальные идеи, которые считал верными, распространял в народе основы научных и философских знаний. Однако делал это чрезвычайно деликатно, только убеждая и не посягая на традиционные святыни. Оставаясь атеистом, не позволял себе оскорблять чувства верующих или вторгаться в область их духовных переживаний. Впрочем, его атеистическая мораль в значительной степени смыкалась с нравственным уче-

нием Иисуса Христа. Даже революционный переворот, который он считал стихийным и неизбежным, по его мнению, следовало сделать максимально мирным, дабы сохранить единство и духовное здоровье народа.

Нравственные ценности для Кропоткина всегда были первичны и в личной жизни, и в общественной деятельности. Не частная, групповая, партийная или даже классовая мораль вдохновляла его, а высшая, предполагающая абсолютную ценность человеческой жизни и свободы, совести, справедливости, милосердия, добра.

Кропоткин в своем понимании человека исходил прежде всего из уважения к его личному достоинству. Князь, получивший блестящее образование, беседовал с безграмотными мужиками как равный, а не как вождь, поучающий и призывающий, бросающий в толпу зажигательные лозунги. Он был не трибуном, а просветителем. Стремился жить в полном единении с народом, не поступаясь, конечно, собственными убеждениями и знаниями. Так, впрочем, ведет себя всякий нормальный гражданин, не обуянный жаждой

власти, благ и привилегий. В этом смысле князь Кропоткин был подлинной частицей своего народа. На этом были основаны и его политико-социальные взгляды как анархиста.

Общество, по мнению Кропоткина, должно «стремиться установить в своей среде известное гармоническое соответствие — не посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь власти, которая считалась бы представительницей всего общества, не попытками установить единообразие, а путем призыва людей к свободному развитию, к свободному почину, к свободной деятельности, к свободному объединению». Он предполагал главнейшей общественной целью предоставить полную свободу личности, неформальным объединениям, союзам, кооперативам.

Это может показаться полной утопией. Как же так? Если всем — свободу, то начнется полный хаос, разгул насилия, стихии, одним словом — анархия! И к этому-то призывал Кропоткин?!

Да, призывал именно к этому, в полной

уверенности, что народ — это не скопище алчных и хищных зверей в образе человеческом, которых необходимо прельщать лживыми посулами, пугать карами земными, держать в жесткой узде, в ежовых рукавицах. По убеждению Кропоткина, люди звереют и дичают, преисполняются жестокости и цинизма, одурманивают себя наркотиками, пьянством именно потому, что имущие власть и капитал унижают и подавляют трудящихся. Поэтому и происходит рост преступности, антиобщественных поступков, разгул хулиганства и хищений. Чем могущественней становятся органы подавления личности, тем активней она противодействует (сознательно или неосознанно) внешнему давлению. Чем больше «блюстителей порядка», тем больше преступников. Народ отстраняется от обеспечения собственной безопасности и правопорядка, порой более сочувствуя его нарушителям (грабителям награбленного), чем «блюстителям».

«Неужели вы думаете, — вопрошает Кропоткин, — что противообщественные поступки в самом деле предотвращаются судьями,

тюрьмами и жандармами? Неужели вы не видите, что судья... доносчик, шпион, тюремщик, палач, полицейский... в действительности представляют, каждый из них, центр разврата, распространяемого в обществе?.. Мы требуем одного: чтобы эти гнусные государственные учреждения не делали людей худшими, чем они есть!» Он предлагает каждому трезво оценить обстановку и убедиться, «какое ничтожное значение имеет в обществе принуждение сравнительно с добровольным соглашением».

Можно оспаривать такое мнение, но нельзя отказать ему в разумности. Тем более мы на собственном примере убедились, что преступность — это вовсе не «наследие проклятого прошлого», как нас упорно уверяют, а порождение нашей же системы, нашего образа жизни, наших идеологических просчетов и провалов.

Кропоткин приводит такой довод: «Человек существовал уже в течение целых тысячелетий, прежде чем образовались первые государства». В его время о догосударственных временах были весьма неопределенные све-

дения; нередко предполагалось, что люди тогда существовали в дикости и зверствах, в постоянной жестокой борьбе за существование и беспрестанных поисках пищи. Теперь имеются достаточно убедительные факты о том, что до первых деспотических государств племена людей жили вполне достойно «званию» человека разумного. Преобладали дружеские отношения и взаимопомощь, оставалось немало времени для досуга, что позволило создавать шедевры живописи и скульптуры, делать гениальные открытия, изобретения. Легенды о золотом веке имели, судя по всему, определенное обоснование в реальности.

Кропоткин был убежден, что власть государственных чиновников не менее тяжела для трудящихся, чем власть частного капитала. Он подчеркивал необходимость сохранения «того драгоценного ядра привычек общечеловеческости, без которых не может существовать никакое человеческое, никакое животное общество». Иначе говоря, Кропоткин и в этом случае признавал приоритет народных традиций, позволявших людям в течение долгих столетий сохранять навыки взаимопо-

мощи (соборности), народное самосознание. В этом он был, пожалуй, консерватором. Да и как иначе? Выступая за свободу и достоинство каждой личности, он не мог не распространять эти убеждения и на весь народ.

Он полагал, что движение к коммунизму может осуществляться только при управлении «снизу», от свободных объединений, неформальных организаций, артелей и кооперативов до академий и общин. Естественно, они будут стремиться стать всенародными и международными. Это и будет анархо-коммунизм, раскрывающий в полную силу физические и умственные способности, инициативу, творчество каждой личности, а не безликих масс. Он считал истинным революционером того, кто сумеет разбудить в личностях и группах дух почина, кому удастся положить эти принципы в основу своих поступков и своих отношений с другими людьми, кто поймет, что в разнообразии и даже в борьбе заключается жизнь и что «единообразие есть смерть». Правда, тотчас возникает сомнение: в теории анархизма многое верно. А на практике?

Два анархиста

О своем уважительном отношении к Кропоткину Нестор Махно писал достаточно абстрактно; даже трудно сказать, насколько внимательно и полно читал его работы.

Называя Кропоткина «стариком» и «вождем», Махно вряд ли сознавал, что подобные определения не вяжутся с обликом и всем духовным строем интеллигента, мыслителя, анархиста.

В трехтомных мемуарах Махно очень немного строк посвящено Кропоткину, а лично встрече с ним уделено значительно меньше места, чем беседе со Свердловым и Лениным. Вряд ли так получилось случайно. Хотя от приезда Кропоткина в Россию летом 1917 года Махно ожидал многого: «Что скажет нам старик Петр Алексеевич... Как истинный вождь анархизма он не пропустит этого редкого в истории России случая, воспользуется своим идейным влиянием на анархистов и их группы и поспешит конкретно формулировать те положения революционного анархизма, которым анархисты должны заняться в

нашей революции».

В Москве открылось Всероссийское Демократическое совещание (отвергнутое революционерами), «...и на его трибуне показался уважаемый, дорогой наш старик — Петр Алексеевич Кропоткин. Гуляйпольская Группа Анархистов-Коммунистов остолбенела, несмотря на то, что глубоко сознавала, что нашему старику, так много работавшему в жизни, постоянно гонимому на чужбине и теперь возвратившемуся на родину и занятому в старческие годы исключительно гуманными идеями жизни и борьбы человечества — неудобно было отказаться от участия в этом Демократическом Совещании... Мы в душе осудили своего старика за его участие в этом совещании... Не сломи его физически время, он стал бы Русской Революцией, практическим вождем анархизма».

А ведь речь шла о победе России над внешним врагом, о ее свободе, ради которой приходилось идти на компромисс.

Нет, не смог понять Нестор Иванович анархической идеи Кропоткина, в сердцеви-
не которой — свободная человеческая лич-

ность, одинаково отвергающая и участь раба, и почести вождя. Никогда не мирился с насилием над собой, болезненно переживая малейшее ущемление своего личного достоинства, Махно не был столь же щепетилен по отношению к другим. Он был вознесен стихийной волной движения масс и через недолгое время принял обычные «правила игры», заняв пост руководителя, вождя.

Находясь в Москве, Махно, несмотря на робость, решился встретиться с Кропоткиным и незванно явился к нему в гости вместе с товарищем и наставником своим Аршиновым. «Он принял меня нежно, — вспоминал Махно, — как еще не принимал никто. И долго говорил со мною об украинских крестьянах... На все поставленные мною ему вопросы я получил удовлетворительные ответы». Только и всего!

Махно просил у Кропоткина совета: надо ли пробраться нелегально на Украину для революционной работы? «Кропоткин не стал советовать мне, заявив: “Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете его разрешить”».

Человек, столь бережно относящийся к чужой судьбе, вряд ли может быть политическим деятелем, революционным вождем. Махно это понимал на свой лад: преклонные годы ослабили волю и решимость революционера-анархиста. В действительности ничего подобного не было и в помине. Версия Махно призвана была объяснить понятными для «батьки» категориями то, что расходилось с его собственными убеждениями. Ясность ума, силу духа и твердость взглядов Кропоткин сохранил до последнего дня своей жизни. В начале «красного террора» он бесстрашно писал правительству РСФСР и лично Ленину (с которым был знаком) гневные письма протеста:

«...Полиция не может быть строительницей новой жизни. А между тем она становится теперь верховной властью в каждом городе и деревушке. Куда это ведет Россию? — К самой злостной реакции», «Россия стала Советской Республикой лишь по имени. Наплыв и верховодство людей »партии«... уже уничтожили влияние и притягательную силу этого много обещавшего учреждения Советов. Теперь правят в России не Советы, а партий-

ные комитеты. И их строительство страдает недостатками чиновничьего строительства...Если же теперешнее положение продлится, то само слово »социализм« обратится в проклятье».

А отношение Махно к Ленину отличалось странной смесью неприязни и признания, ненависти и уважения: «государственные глашатаи, большевики и левые социалисты-революционеры, при помощи политической мудрости Ленина, развивают с еще большим бешенством идею власти правительства Ленина над революцией, подчинение всего народа этой власти. Они внесли застой в разрушительный процесс революции». По-видимому, более по душе Махно в то время был Троцкий с его бурнокипящими речами. Вообще, вожди противников-большевиков оказались для Махно понятнее, чем единомышленник Кропоткин. Интересно, что Махно, не раз называя Ленина мудрым, подобным образом не характеризует Кропоткина. Батяка восхищался только деятелями, умеющими добиться успеха в политической борьбе. Они ему были понятны. Как партизанский народный

вождь, Нестор Иванович привык рисковать своей жизнью и посылать на смерть других.

Кропоткин стоял на иной позиции. Не раз рискуя своей жизнью, он не смел распоряжаться судьбой кого бы то ни было.

Он действовал убеждением и личным примером. Конечно, для победы в политической борьбе этого совершенно не достаточно.

Махно поначалу тоже не имел желания выдвинуться в лидеры. Он поднимал крестьянские бунты: «Общими усилиями займемся разрушением рабского строя». И, слагая стихи, мечтал о таком прекрасном будущем.

Где не было бы ни рабства,

Ни лжи, ни позора!

Ни презренных божеств, ни цепей,

Где не купишь за золото любви и простора,

Где лишь правда и правда людей...

Следовало бы подумать о том, какая это такая среднеарифметическая правда и каких людей? Разве не было своей правды у большевиков? Или у белых? Или у монархистов? Каждая партия всегда претендует на ведение правды. У анархистов, в отличие от прочих,

величайшим благом признается свобода. Но беспощадная вооруженная борьба, тем более в гражданской войне, идет, в сущности, без правил и ради победы, подавления противника. Свобода — только для победителя! Ее приходится завоевывать любыми средствами, не брезгуя хитростью и жестокостью, используя ради достижения своей цели даже уголовников. Много ли можно набрать идейных и безупречно честных бойцов? Если они такие поначалу, то кровавая мясорубка между усобицы, страшное напряжение боев, хмель побед и горечь поражений рано или поздно ожесточат их сердца, опустошат их души.

Анархическая идея воспринимается каждым из ее сторонников по-своему. Тут многое зависит от знаний, культурного уровня, самодисциплины, духовной чистоты, степени убежденности. По всей вероятности, Махно, например, в начале своей деятельности руководствовался прекрасными идеалами. Не потому ли большинство трудящихся поддерживало его (в тех районах, где его знали)? Он, случалось, расстреливал мародеров; предотвращал еврейские погромы, даже после того,

как его однажды предала еврейская рота. Он сравнительно долго оставался идейным анархистом-интернационалистом, ненавидя, в частности, украинский шовинизм. Но чем мощнее становилась его армия, чем больше отрядов (бандитских, в основном) присоединялось к ней, тем теснее сужалась свобода его действий. Он попал в бурные водовороты Гражданской войны, вступая во временные союзы то с красными, то с белыми, то с зелеными, борясь уже преимущественно за выживание. Убийство людей, даже военнопленных, стало его профессией.

Попытки выстроить Гуляйпольский коммунистический рай, царство свободных крестьян кооператоров, выглядели на таком кроваво-огненном фоне полнейшей утопией. Страна Махновия была обречена. Роковое противоречие средств и целей установления «социального рая» в отдельно взятом районе, естественно, привело к катастрофическим результатам. То же можно сказать и о крушении утопической идеи всемирной революции.

Жизнь общества невозможно втиснуть в

каркас идеальной умозрительной структуры. Теория анархизма как торжества свободы не выдержала испытания практикой анархизма, сопровождавшейся насилием и самоволием. Справедливо писал один из идейных анархистов А. Боровой: «То исполненный неодолимого соблазна, то полный ужаса и отвращения; синоним совершенной гармонии и братского единения, символ погрома и братоубийственной борьбы; торжество свободы и справедливости, разгул разнузданных страстей и произвола — стоит анархизм великой волнующей загадкой и именем его равно зовут величайшие подвиги человеколюбия и взрывы низменных страстей».

Быть может, одна из разгадок вопиющих противоречий теории анархизма с практикой связана с понятием дисциплины. Жесткое централизованное руководство предполагает контроль и принудительную дисциплину «сверху»; четкую субординацию, иерархию подчинений нижестоящих вышестоящему. В этой системе, безусловно, есть нечто механическое, унижающее нижестоящих любого ранга. Однако в экстремальных, можно даже

сказать, нечеловеческих условиях (на войне, например) подобные системы доказали свою устойчивость. Для кровавых «военных игр» аморальное отношение к человеку как средству, как орудию нападения или обороны вполне целесообразно. Здесь торжествует безумная арифметика жизни и смерти: чем меньше потерь «живой силы», тем лучше. Вот и все. А главная цель — добиться победы.

Анархическая идея, предполагающая высочайшую ценность каждой человеческой личности и органичную добровольную их взаимопомощь, требует строгой самодисциплины, ясного понимания каждым общей цели и путей к ее достижению — Без этого общество разваливается на составные части. В лучшем случае возникнет нечто подобное колонии одноклеточных организмов. И это неплохо, когда речь идет об индивидуальном труде, скажем, на земельных угодьях (типа крестьянских хуторов, ферм). Здесь каждый сам по себе — и все вместе; не требуется какого-то идеологического единства. Когда Нестор Махно перешел к устройству мирной жизни на своей территории, освобожденной от белых и

красных, он поощрял именно такую систему хозяйства (развивал кулачество по определению большевиков) в сочетании со свободными кооперативами.

Однако законы беспощадной Гражданской войны требовали иных действий. Махно использовал обычную партизанскую стратегию: при необходимости добровольцы могут сплотиться в огромную армию, а затем вновь рассыпаться по родным деревням, регулярные войска применяли обычную в подобных случаях карательную политику, наказывая огулом целые деревни. В ответ повстанцы вершили контртеррор, уничтожая отдельные отряды врагов, а заодно и тех, кто выступал на «той» стороне. Например, были разгромлены хутора немецких колонистов. И как бы Махно ни оправдывал жестокости, творимые его подчиненными, большинство из них осуществляло, по их выражению, диктатуру маузера, самогона и сифилиса. Ирония уголовников?

Итак, еще недостаточно получить свободу. Надо быть достойным свободы.

Идеал

Можно подумать, что для реализации Анархической идеи требуются идеальные люди в идеальных обстоятельствах. Анархическая утопия вдохновляла именно деятельного батыку Махно. Реалистом оставался теоретик Кропоткин. Поэтому он участвовал в Демократическом совещании. Поэтому возражал против курса на поражение России в войне с Германией. Поэтому, наконец, он отвергал все формы террора, даже осуществляемого ради коммунистических иллюзий. По убеждению Кропоткина, всегда остававшегося борцом за свободу и безвластие, каждому позволительно во имя великих целей рисковать своей жизнью. Однако недопустимо ради борьбы за власть играть судьбами тысяч, миллионов людей, вставать над народом, отделяя себя или группу сообщников от него по принципу взаимоотношения «вождей» и «массы». В этих случаях Кропоткин оставался именно в массе, — князь, аристократ, ученый. Для человека в высшей степени благородного иначе быть не могло.

Кропоткин отвергал любые формы диктатуры, выступала ли она под именем самодержавия, господства капитала, власти пролетариата (как у большевиков) или крестьянства, как у Махно. Хотя он, конечно, понимал специфику военного времени. Вот что писал он В. И. Ленину:

«Если бы даже диктатура партии была подходящим средством, чтобы нанести удар капиталистическому строю (в чем я сомневаюсь), то для создания нового социалистического строя она, безусловно, вредна. Нужно, необходимо местное строительство, местными силами, а его нет. Нет ни в чем. Вместо этого на каждом шагу людьми, никогда не знавшими действительной жизни, совершаются самые грубые ошибки, за которые приходится расплачиваться тысячами жизней и разорением целых округов».

При личной встрече в ответ на подобные упреки Ленин, по воспоминанию В. Д. Бонч-Бруевича, ответил Кропоткину: «Ну, ничего не поделаешь! Революцию в белых перчатках не сделаешь».

Точно так же мог бы ответить и Нестор

Махно, поднимавший крестьян на третью революцию: после свержения власти царя, а затем буржуазии (Временного правительства) — свержение власти государственныхников, партаппарата. Однако для Кропоткина революция была не заменой одной власти другой, а освобождением народа от всяких властей. Махно, в принципе, считал так же. Но делая эту очищающую революцию не в «белых перчатках», не приходится рассчитывать на сохранение здоровья общественного организма.

Перестраивая, переналаживая крупный мощный механизм, можно, безусловно, не слишком заботиться о личной гигиене и чистоте перчаток. Но допустимо ли столь беззаботно, не соблюдая полнейшей чистоты, приниматься за сложную хирургическую операцию? Не будет ли в таком случае риск внесения смертельной инфекции слишком велик, почти неизбежен? Общество состоит из конкретных личностей, и речь идет об их судьбах; разве этого не достаточно, чтобы соблюдать величайшую осторожность и ответственность?

Для Кропоткина, в отличие от концепции марксизма-ленинизма, общество представлялось живым организмом, естественным стихийным объединением людей. По его убеждениям, революцию надо делать именно в белоснежных перчатках или не делать вовсе. Он был революционером в самом чистом значении этого слова. Для опасно больного общества, по его мнению, хирургическая операция необходима, но только при соблюдении строжайшей социогигиены.

...К Петру Кропоткину с полным основанием можно отнести слова его старого товарища-народника, позже отказавшегося от революционного пути во имя христианства — Льва Тихомирова. Он писал в 1912 году: «Когда против избытка внешней сдержки и дисциплины выступает личность, полная внутреннего самоуправления и дисциплины, — общество только усвершенствуется». Увы, среди вождей любых революционных партий людей, подобных Кропоткину, не было. Пожалуй, даже и не могло быть.

Кропоткину посчастливилось сделать не только выдающиеся научные открытия в

естествознании, но и достаточно отчетливо предвидеть опасности, ожидавшие наше общество на пути «к будущему счастью», в процессе устройства земного храма материального благополучия.

Нередко в подобных случаях предполагаются врожденные сверхобычные качества. Однако, несмотря на то что Кропоткин не был обделен талантами (хорошо рисовал, пел, танцевал, был физически крепок, имел артистические и литературные способности), ничего «сверхчеловеческого» в этом не было. Не обладал он ни феноменальной памятью, ни особой гибкостью и живостью ума, ни чудовищной усидчивостью. А достижения его колоссальны, проницательность и сила его мысли совершенно исключительны. Чем это можно объяснить?

На мой взгляд, прежде всего — чистой совестью, полнейшей искренностью в исканиях правды, глубоким духовным единством с народом и природой. На этот счет превосходно высказался И. В. Гёте: «Можно ли познать себя? Не путем созерцания, но только путем деятельности. Попробуй исполнять свой долг,

и ты узнаешь, что в тебе есть». «Научиться можно только тому, что любишь, и чем глубже и полнее должно быть знание, тем сильнее, могучее и живее должна быть любовь, более того — страсть». «Первое и последнее, что требуется от гения, это любовь к правде».

Последний тезис может показаться весьма сомнительным. Ссылки на совесть имеют вроде бы косвенное отношение к научному творчеству. Ведь наука — вне наших личных эмоций, симпатий и антипатий, понятий о добре и зле. Она объективна, отстранена от изменчивых человеческих ценностей...

Нет, не совсем так. Духовные ценности, на которые ориентировался Кропоткин, имеют всечеловеческий характер. Человечество выработывало свои высокие нравственные критерии, провозглашало их святыми, божественными, на основе опыта сотен поколений в результате общения с окружающей природой. Именно поэтому для человека, открытого миру, он раскрывается в своих потаенных глубинах и закономерностях.

«...Нравственное чувство человека, — писал Кропоткин, — зависит от его природы в

той же степени, как и его физический организм; ...и то, и другое является наследством от весьма долгого процесса развития эволюции, которая длилась десятки тысяч лет». «Если мы знаем что-либо о Вселенной, о ее прошлом существовании и о законах ее развития, ...это значит, что между этой Вселенной и нашим мозгом, нашей нервной системой и нашим организмом вообще существует сходство структуры».

Замечательная идея. Даже странно, что от нее Кропоткин не пошел чуть дальше. Ведь «структура человека» соединяет в себе телесное и духовное, материю и сознание. И в этом тоже должно проявляться сходство микрокосма с Космосом. Логично предположить, что жизнь, сознание, разум — неотъемлемые качества Вселенной, крохотной частицей и отражением которой является человек. Впрочем, это — тема особая, непростая, в значительной степени не изведенная, оставленная нам в наследие не только великими русскими учеными (Кропоткин, Вернадский), но и поэтами (Державин, Тютчев, Заболоцкий), и философами (Соловьев, Булгаков, Флорен-

ский, Бердяев).

Свободу он толковал вовсе не как «осознанную необходимость» (странная это свобода — по принуждению, по неизбежности поступать только так, а не иначе). «Свобода, — по его представлениям, — есть возможность действовать, не входя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного, или страха голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга)».

...У Кропоткина-мыслителя многому следовало бы поучиться, перенимая прежде всего его научный метод и отношение к познанию. Но еще полезнее осмыслить опыт его жизни. Многие люди самых разных убеждений, талантов и умственных способностей самым восторженным образом отзывались о нем.

Анархия в природе и обществе

После общего обзора жизни, творчества и воззрений П. А. Кропоткина пора поговорить конкретно об этой книге. В ней представлены естественнонаучные и нравственные основы анархизма.

О работе «Взаимная помощь как фактор эволюции» мы уже упоминали. Несмотря на то что со времени ее опубликования прошло более ста лет, она сохраняет свою актуальность как в биологическом, так и в социальном аспектах. В настоящем сборнике публикуются две первые главы этого труда, посвященные вопросам взаимопомощи в природе. В сущности, речь в ней идет о процессах самоорганизации (а следовательно, анархии) в природе и обществе. Как они проявляются, к каким приводят результатам, на чем основаны? На подобные вопросы постарался ответить Кропоткин (до сих пор окончательного ответа на них не получено).

Изучив взаимопомощь у низших животных, затем у высших и, наконец, в человеческом обществе, Кропоткин на основе обобще-

ния множества фактов сделал вывод: «Любовь, симпатия, самопожертвование, конечно, играют громадную роль в прогрессивном развитии наших нравственных чувств. Но общество... зиждется вовсе не на любви и даже не на симпатии. Оно зиждется на сознании — хотя бы инстинктивном — человеческой солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полусознательном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех и на чувстве справедливости».

Обратим внимание на одно серьезное упущение Кропоткина. Он словно забыл, что начал изложение с самоорганизации простейших. Значит, у них есть инстинкт взаимопомощи, какой-то проблеск сознания, побуждающий их к объединению? Или процесс самоорганизации отдельных клеток, организмов, экосистем, социумов определяется воздействием внешних сил, окружающей природной среды (биосферы)? Но каким образом природа может обучать добру, сочувствию,

справедливости?

Американский генетик Добржанский предположил, что существуют молекулярные структуры, передающие по наследству признаки, полезные для вида, популяции, сообщества организмов даже в ущерб индивидам (заставляющие, например, самку рисковать своей жизнью ради спасения детенышей, птенцов). Советские ученые В. П. Эфроимсон и Б. Л. Астауров, опираясь на идею Кропоткина, привели ряд доказательств врожденного характера некоторых черт социального поведения. Однако до сих пор эту закономерность нельзя считать безупречно обоснованной. Наследственные качества и признаки играют, конечно, какую-то роль, но вряд ли в виде некоего гена взаимопомощи, дружелюбия, сочувствия или чего-то подобного.

Скорее всего, определяющим фактором самоорганизации является окружающая природная среда, условия существования. Они служат той творческой силой, которая вынуждает организмы изменяться, взаимодействовать. При этом проявляется не только взаимная помощь, но и взаимная рознь, кон-

куренция как среди организмов и сообществ, так и среди социумов. На этот аспект Кропоткин не обращал внимания прежде всего потому, что в его задачу входило показать влияние на прогрессивную эволюцию именно взаимопомощи, стихийной самоорганизации (анархии).

Прослеживая линию солидарности, объединения, взаимопомощи в истории жизни на Земле и в обществе, он, по-видимому, невольно преувеличил значение этого фактора, придав ему основополагающее значение. Он оставил в стороне, в частности, явные проявления индивидуализма и иерархии в сообществах высших животных. Как известно, стаи, прайды, стада нередко строятся в виде пирамиды по принципу господства-подчинения, которую венчает доминирующий самец (реже — самка).

Экосистема тоже выстраивается (приведенная к схеме) в виде пирамиды, которую венчают господствующие хищники (не говоря о живущих на них паразитах). Стихийный процесс развития социумов тоже привел к социальным структурам подобного вида. И го-

сударственные системы возникли не по воли и желанию отдельных личностей или групп, а в процессе стихийного развития общества и его усложнения.

Короче говоря, приходится делать вывод о том, что индивидуализм, стремление к господству и личному материальному благополучию не менее характерны для общественной жизни, чем сознательная или инстинктивная тяга к солидарности, взаимопомощи. Более того, если в стае или стаде лидером чаще всего становится особь, выдающаяся по своим качествам (силе, ловкости, сообразительности), то в человеческом обществе по мере развития производственных, финансовых, политических, государственных структур лидерами слишком часто становятся демагоги, беспринципные хитрецы, приспособленцы. И вообще, создавая искусственную среду обитания (техносферу), человек вынужден жить и духовно меняться в соответствии с ее законами, все более отдаляясь от естественной природной среды.

Кропоткин, несмотря на личные невзгоды и острое чувство негодования при виде

несправедливости, существующей в обществе, верил, что в каждом человеке изначально присутствует высокая нравственность. По его словам: «Нравственное начало в человеке есть не что иное, как дальнейшее развитие инстинкта общительности, свойственного почти всем живым существам и наблюдаемого во всей живой природе». Хотя нечто прямо противоположное утверждал известный натуралист и дарвинист Т. Гексли: «Космическая природа вовсе не школа нравственности, напротив того, она — главная штаб-квартира врага всякой нравственности», ибо в природе господствует «кровавая схватка зубами и когтями».

Кто прав в этом споре? Пожалуй, каждый прав по-своему. В природе присутствует и то, что мы склонны считать высокой нравственностью, и то, что выглядит, с нашей точки зрения, безнравственно. Но если животные не имеют выбора перед тем или другим и вынуждены поступать так, как диктует им природа, то у человека есть право выбора между правдой и ложью, честью и бесчестьем, добром и злом. Как сделать так, чтобы он предпо-

чел правду, честь, добро?

Петр Алексеевич постарался теоретически обосновать необходимость такого выбора. К этому, по его убеждению, направляет любого разумного человека теория анархизма. Ее нравственные основы он разрабатывал в книге «Этика», над которой работал до последних дней своей жизни (умер он в городе Дмитрове 8 февраля 1921 года). Он был уверен, что никакие научно-технические достижения и социальные перевороты не сделают людей счастливее, а жизнь их достойнее без высоких нравственных идеалов, без духовной чистоты свободной человеческой личности. По замыслу природы, как он считал, человек устремлен к справедливости и добру, но жизнь в неволе, под гнетом капитала и государства уродует человеческую природу, пробуждая злобу, зависть, ложь, лицемерие, хамство, лихоимство. Имущие власть и капиталы заражены этими пороками и распространяют их на все общество. Это заставляет трудящихся прибегать к революционным переворотам во имя справедливости.

Кстати сказать, Кропоткин попытался об-

наружить природные основы такого сугубо человеческого понятия, как справедливость. Казалось бы, идею справедливости придумали люди, объединенные в сообщества и сознающие права и достоинства личности. И все-таки, оказывается, и тут не исключена направляющая сила природы.

«Склонность нашего ума искать »равноправия« не представляет ли одно из следствий строения нашего мыслительного аппарата — в данном случае, может быть, следствие двустороннего или двухполушарного строения нашего мозга? На этот вопрос, когда им займутся, ответ получится, я думаю, утвердительный», предположил Кропоткин. По его мнению, мозг работает в режиме диалога, а продуктивный диалог возможен только при равенстве собеседников. Идея интересная и продуктивная, хотя за последние десятилетия выяснилось, что каждое полушарие нашего мозга обладает и своими характерными особенностями (что, по-видимому, делает их диалог наиболее плодотворным).

Как видим, многие идеи Кропоткина не утратили свой эвристический потенциал.

Чтение его произведений будит творческую мысль, принуждает не только соглашаться, но и спорить с автором в поисках истины. Его заблуждения имели самые благородные основания: ему были чужды низкие чувства и помыслы, а потому он недооценивал их роль в душах человеческих и в обществе. Ведь о солидарности трудящихся, взаимопомощи и справедливости писал не обделенный судьбой бедняга, а человек, по рождению, воспитанию, образованию и положению принадлежавший к аристократии. И самое главное и ценное, что оставил он в назидание потомству — не только разумные и добрые мысли, но и великолепный пример своей полноценно и достойно прожитой жизни. Об этом нельзя забывать, читая его труды.

«Власть портит даже самых лучших людей, — утверждал Кропоткин. — Вот почему мы ненавидим всякую власть человека над человеком и стараемся всеми силами... положить ей конец». Но как это сделать в обществе, где осуществляется власть государства и капитала, где главенствуют отнюдь не самые лучшие представители рода человеческого,

где отдельные кланы и личности, целые социальные группы готовы всеми средствами взобраться на вершину социальной пирамиды, добиваясь господства над людьми? Какие катастрофы суждено пережить человечеству, прежде чем восторжествует та правда, которая заключена в анархических идеях Кропоткина? Или для этого потребуются какие-то духовные потрясения и озарения?

Не исключено, что так и не найдет решения парадокс анархизма: власти достоин только тот, кто отказывается властвовать над людьми. Это примерно так же, как в идеальных отношениях человека с природой: победитель проигрывает, ибо единственно рационален принцип взаимодействия, а не господства и подчинения.

...Главнейшая задача общества справедливости и взаимопомощи — предельно полно раскрыть творческий потенциал каждого, предоставить каждому возможность достойной жизни. Так считал Кропоткин. Так мечтал он, стремясь воплотить в жизнь эту мечту методом убеждения и доказательств. Однако изменить мир к лучшему — задача, непо-

сильная для мыслителя или благородного Рыцаря Печального Образа. Необходимо, чтобы в общественном сознании с предельной ясностью определилась простая истина: современная техническая цивилизация находится в трагическом противоречии и с окружающей природной средой, и со свободной творческой человеческой личностью. Анархические идеи Кропоткина указывают выход из этого противоречия, основанный, надо признать, не столько на безупречных научных доказательствах, сколько на вере в духовное величие и высокое предназначение человека.

Впрочем, он ведь доказал верность своих воззрений — на неопровержимом примере собственной жизни. Возможно, ему удалось постичь или прочувствовать какие-то глубочайшие истины, быть может, не высказанные в книгах, а присутствующие в окружающей и пронизывающей нас природе, дарованные нам поистине свыше, отражающие качества биосферы и всей Вселенной — как прекрасного, живого и разумного организма. И раскрывается наиболее полно человек не на пути приспособления к окружающей природ-

ной, социальной, духовной среде, а во взаимодействии с ней, в свободных исканиях правды, созвучной его духовному строю, который, в свою очередь, остается отзвуком гармонии, бурь и противоречий Мироздания.

Р. К. Баландин

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ АНАРХИЯ В ПРИРОДЕ ВЗАИМОПОМОЩЬ КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Две отличительные черты в животной жизни Восточной Сибири и Северной Маньчжурии особенно поразили меня во время путешествий, совершенных мною в молодости в этих частях Восточной Азии. Меня поразила, с одной стороны, необыкновенная суровость борьбы за существование, которую большинству животных видов приходится вести здесь против безжалостной природы, а также вымирание громаднейшего количества их особей, случающееся периодически в силу естественных причин, — вследствие чего получается необыкновенная скудость жизни и малонаселенность на площади обширных территорий, где я производил свои исследования.

Другой особенностью было то, что даже в

тех немногих отдельных пунктах, где животная жизнь являлась в изобилии, я не находил, — хотя и тщательно искал ее следов, — той ожесточенной борьбы за средства существования среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду, которую большинство дарвинистов (хотя не всегда сам Дарвин) рассматривали как преобладающую характерную черту борьбы за жизнь и как главный фактор эволюции.

Ужасные метели, проносящиеся над северной частью Азии в конце зимы, и гололедица, часто следующая за метелями; морозы и бураны, которые каждый год возвращаются в первой половине мая, когда деревья уже в полном цвету, а жизнь насекомых уже в разгаре; ранние заморозки и, по временам, глубокие снега, выпадающие уже в июле и августе, даже в луговых степях Западной Сибири, и внезапно уничтожающие мириады насекомых, а также и вторые выводки птиц; проливные дожди — результат муссонов, — выпадающие в августе, в более умеренных областях Амура и Уссури, и продолжающиеся целые недели, вследствие чего в низменностях Амура и Сун-

гари происходят наводнения в таких размерах, какие известны только в Америке, да Восточной Азии, а на высоком плоскогорье обращаются в болота громаднейшие пространства, равные по размерам целым европейским государствам, и, наконец, глубокие снега, выпадающие иногда в начале октября, вследствие чего обширная территория, равная пространством Франции или Германии, делается совершенно необитаемой для жвачных животных, которые и гибнут тогда тысячами. Таковы условия, при которых идет борьба за жизнь среди животного мира в Северной Азии. Эти условия уже тогда обратили мое внимание на чрезвычайную важность в природе того разряда явлений, которые Дарвин называет «естественными ограничениями размножения», — по сравнению с борьбою за средства существования, которая может совершаться в том или другом месте между особями одного и того же вида, но всегда остается в ограниченных размерах и никогда не достигает значения вышеуказанного фактора. Скучность жизни, недостаточность населения, а не избыток его отличительная черта

той громадной части земного шара, которую мы называем Северной Азией. Таковы были результаты моих наблюдений, и уже с тех пор я начал питать серьезные сомнения, которые позднее лишь подтвердились, относительно той ужасной будто бы борьбы за пищу и жизнь, в пределах одного и того же вида, которая составляет настоящий символ веры для большинства дарвинистов. Точно так же начал я сомневаться тогда и относительно господствующего влияния, которое этого рода борьба играет, по предположению дарвинистов, в развитии новых веков.

С другой стороны, где бы мне ни приходилось видеть изобильную кипучую животную жизнь, — как, например, на озерах весной, где десятки видов птиц и миллионы особей соединяются для вывода потомства, или же в людных колониях грызунов, или во время перелета птиц, который совершался тогда в чисто американских размерах вдоль долины Усури, или же во время одного громадного переселения косуль, которое мне пришлось наблюдать на Амуре и во время которого десятки тысяч этих умных животных убежали с

огромной территории, спасаясь от выпавших глубоких снегов, и собирались большими стадами с целью пересечь Амур в наиболее узком месте, в Малом Хингане, — во всех этих сценах животной жизни, проходивших перед моими глазами, я видел взаимную помощь и взаимную поддержку, доведенные до таких размеров, что невольно приходилось задуматься над громадным значением, которое они должны иметь для поддержания существования каждого вида, его сохранения в экономии природы и его будущего развития.

Наконец, мне пришлось наблюдать среди полудикого рогатого скота и лошадей в Забайкалье и повсеместно среди белок и диких животных вообще, что когда животным приходилось бороться с недостатком пищи, вследствие одной из вышеуказанных причин, то вся та часть данного вида, которую постигло это несчастье, выходит из выдержанного ею испытания с таким сильным ущербом энергии и здоровья, что никакая прогрессивная эволюция видов не может быть основана на подробных периодах острого соревнования.

Вследствие вышеуказанных причин, когда, позднее, внимание мое было привлечено к отношениям между дарвинизмом и социологией, я не мог согласиться ни с одной из многочисленных работ, так или иначе обсуждавших этот, чрезвычайно важный, вопрос. Все они пытались доказать, что человек, благодаря своему высшему разуму и познаниям, может смягчать остроту борьбы за жизнь между людьми; но все они в то же самое время признавали, что борьба за средства существования каждого отдельного животного против всех его сородичей и каждого отдельного человека против всех людей является «законом природы». Я, однако, не мог согласиться с этим взглядом, так как убедился раньше, что признать безжалостную внутреннюю борьбу за существование в пределах каждого вида и смотреть на такую войну как на условие прогресса, значило бы допустить и нечто такое, что не только еще не доказано, но и прямо-таки не подтверждается непосредственным наблюдением.

С другой стороны, познакомившись с лекцией «О законе Взаимопомощи», прочитан-

ной на съезде русских естествоиспытателей в январе 1880 года профессором Кесслером, бывшим деканом С.-Петербургского университета, я увидел, что она проливает новый свет на весь этот вопрос. По мнению Кесслера, помимо закона Взаимной Борьбы, в природе существует еще закон «Взаимной Помощи», который для успешности борьбы за жизнь, и в особенности для прогрессивной эволюции видов, играет гораздо более важную роль, чем закон Взаимной Борьбы. Это предположение, которое в действительности явилось лишь дальнейшим развитием идей, высказанных самим Дарвином в его «Происхождении человека», казалось мне настолько правильным и имеющим такое громадное значение, что, с тех пор как я познакомился с ним (в 1883 году), я начал собирать материалы для дальнейшего развития этой идеи, которой Кесслер лишь слегка коснулся в своей речи и которой он не успел развить, так как умер в 1881 году.

Лишь в одном пункте я не мог вполне согласиться с взглядами Кесслера. Он упоминал о «родительских чувствах» и заботах о потом-

стве (см. ниже главу 1), как об источнике взаимного расположения животных друг к другу. Но я думаю, что определение того, насколько эти два чувства действительно содействовали развитию общительных инстинктов среди животных и насколько другие инстинкты действовали в том же направлении, составляет особый, очень сложный вопрос, на который мы теперь едва ли в состоянии ответить. Лишь после того, когда мы хорошо установим самые факты взаимопомощи среди различных классов животных и их важность для эволюции, сможем мы отделить, что принадлежит в эволюции общительных инстинктов родительским чувствам и что — самой общительности; причем происхождения последней, очевидно, придется искать в самых ранних стадиях эволюции животного мира, — быть может, даже в «колониальных стадиях» [с1]. Вследствие этого я обратил главное внимание на установку, прежде всего, важности Взаимной Помощи как фактора эволюции, оставляя дальнейшим исследователям задачу о происхождении инстинктов Взаимной Помощи в природе.

Важность фактора Взаимной Помощи, «если только его общность может быть доказана», не ускользнула от внимания Гёте, в котором так ярко проявился гений естествоиспытателя. Когда Эккерман рассказал однажды Гёте, — это было в 1827 году, — что два маленьких птенчика королюки, убежавшие от него, после того, как он подстрелил их мать, были найдены им на следующий день в гнезде реполовов, которые кормили птенчиков-королюков наравне со своими собственными, Гёте был очень взволнован этим сообщением. Он видел в нем подтверждение своих пантеистических взглядов на природу и сказал: «Если бы оказалось справедливым, что подобное кормление чужаков присуще всей природе, как нечто, имеющее характер общего закона, — тогда многие загадки были бы разрешены». Он возвратился к этому вопросу на следующий день и упрашивал Эккермана (он, как известно, был зоолог) заняться специальным изучением этого вопроса, прибавляя, что Эккерман, несомненно, сможет таким образом приобрести «драгоценные неоцененные результаты». К несча-

стью, подобное изучение никогда не было предпринято, хотя весьма вероятно, что Брем, собравший в своих работах такие богатые материалы относительно взаимопомощи среди животных, мог быть наведен на ту мысль вышеприведенным замечанием Гёте.

В течение 1872-1886 годов было напечатано несколько крупных работ относительно смысленности и умственной жизни животных...

Но, несмотря на превосходные качества каждой из этих работ, они тем не менее оставляют широкое место для работы, в которой Взаимная Помощь рассматривалась бы не только в качестве аргумента в пользу до-человеческого происхождения нравственных инстинктов, но так же, как закон природы и фактор эволюции. Эспинас обратил внимание на такие общества животных (муравьев и пчел), которые основаны на физиологическом различии строения в различных членах того же вида и физиологическом разделении между ними труда; и хотя его работа дает превосходные указания во всевозможных направлениях, она все-таки была написана в та-

кое время, когда развитие человеческих обществ не могло быть рассматриваемо так, как мы можем сделать это теперь, благодаря накопившемуся с тех пор запасу знаний. Лекция Ланессана, скорее, имеет характер блестяще изложенного общего плана работы, в которой взаимная поддержка рассматривалась бы, начиная со скал на море, а затем в мире растений животных и людей. Что же касается до работы Бюхнера, то хотя она наводит на размышления о роли Взаимопомощи в природе и богата фактами, я не могу согласиться с ее руководящей идеей. Книга начинается гимном Любви, и почти все ее примеры являются попыткой доказать существование любви и симпатии между животными. Но свести общительность животных к любви и симпатии — значит сузить ее всеобщность и ее значение, точно так же, как людская этика, основанная на любви и личной симпатии, ведет лишь к сужению понятия о нравственном чувстве в целом. — вовсе не руководюсь любовью к хозяину данного дома, — которого я часто совершенно не знаю, — когда, увидав его дом в огне, я схватываю ведро с водой и

бегу к его дому, хотя бы нисколько не боялся за свой: мною руководит более широкое, хотя и более неопределенное чувство, вернее, инстинкт общечеловеческой солидарности, т.е. круговой поруки между всеми людьми и общительности. То же самое наблюдается и среди животных. Не любовь и даже не симпатия (понимаемые в истинном значении этих слов) побуждают стадо жвачных или лошадей образовать крут с целью защиты от нападения волков; вовсе не любовь заставляет волков соединяться в своры для охоты, точно так же не любовь заставляет ягнят или котят предаваться играм, и не любовь сводит вместе осенние выводки птиц, которые проводят вместе целые дни и почти всю осень; и, наконец, нельзя приписать ни любви, ни личной симпатии то обстоятельство, что многие тысячи косуль, разбросанных по территории, пространством равняющейся Франции, собираются в десятки отдельных стад, которые все направляются к известному пункту с целью переплыть там реку. Во всех этих случаях главную роль играет чувство несравненно более широкое, чем любовь или личная симпа-

тия, — здесь выступает инстинкт общительности, который медленно развивался среди животных и людей в течение чрезвычайно долгого периода эволюции, с самых ранних ее стадий, и который научил в равной степени животных и людей сознавать ту силу, которую они приобретают, практикуя взаимную помощь и поддержку, и сознавать удовольствия, которые можно найти в общественной жизни.

Важность этого различия будет легко оценена всяким, кто изучает психологию животных, а тем более людскую этику. Любовь, симпатия и самопожертвование, конечно, играют громадную роль в прогрессивном развитии наших нравственных чувств. Но общество, в человечестве, зиждется вовсе не на любви и даже не на симпатии. Оно зиждется на сознании, хотя бы инстинктивном, человеческой солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полусознанном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех и на

чувстве справедливости или беспристрастия, которое вынуждает индивидуума рассматривать права каждого другого, как равные его собственным правам. Но этот вопрос выходит за пределы настоящего труда.

Вследствие всего сказанного, я думал, что книга о «Взаимной Помощи, как законе природы и факторе эволюции» могла бы заполнить очень важный пробел. Когда Гексли выпустил в 1888 году свой «манифест» о борьбе за существование («Struggle for Existence and its Bearing upon Man»), — который, с моей точки зрения, был совершенно неверным изображением явлений природы, как мы их видим в тайге и в степях, — я обратился к редактору «Nineteenth Century», прося его дать место на страницах редактируемого им журнала для обработанной критики взглядов одного из наиболее выдающихся дарвинистов; и м-р Джемс Ноульз (Knowles) отнесся к моему предложению с полной симпатией. — также говорил по этому поводу с В. Бэтсом (Bates), — великим «Натуралистом на Амазонке», который собирал, как известно, материалы для Уолесса и Дарвина и которого Дарвин совер-

шенно верно охарактеризовал в своей автобиографии как одного из умнейших встреченных им людей. «Да, конечно, это истинный дарвинизм, — воскликнул Бэтс. — Просто возмутительно, во что они обратили Дарвина. Пишите ваши статьи, и, когда они будут напечатаны, я напишу вам письмо, которое вы сможете опубликовать». К несчастью, составление этих статей заняло у меня почти семь лет, и, когда последняя из них была напечатана, Бэтса уже не было в живых.

Подвергнув обсуждению важность Взаимной Помощи среди различных классов животных, я, очевидно, обязан был обсудить важность того же фактора в развитии человека. Это было тем более необходимо, что имеются эволюционисты, готовые допустить важность Взаимной Помощи среди животных, но вместе с тем, подобно Герберту Спенсеру, отрицающие ее по отношению к человеку. Для первобытного человека, утверждают они, война каждого против всех была преобладающим законом жизни. Насколько это утверждение, которое чересчур охотно повторяют без надлежащей проверки со времен

Гоббса, совпадает с тем, что нам известно относительно ранних фаз человеческого развития, я постарался разобрать в настоящей книге, в главах, посвященных жизни дикарей и варваров.

Число и важность различных учреждений Взаимной Помощи, которые развились в человечестве, благодаря созидательному гению диких и полудиких масс, в течение самого раннего периода родового быта, и еще более того впоследствии в течение следующего периода деревенской общины, а также громадное влияние, которое эти ранние учреждения оказали на дальнейшее развитие человечества, вплоть до настоящего времени, побудили меня распространить область моих изысканий и на более поздние исторические времена; в особенности я остановился на наиболее интересном периоде средневековых свободных городов-республик, которых повсеместность и влияние на современную нашу цивилизацию до сих пор еще не достаточно оценены. Наконец, я попытался также указать вкратце на громадную важность, которую привычки взаимной поддержки, унасле-

дованные человечеством за чрезвычайно долгий период его развития, играют даже теперь, в нашем современном обществе, хотя о нем думают и говорят, что оно покоится на принципе: «Каждый для себя и Государство для всех», — принцип, которому человеческие общества никогда не следовали вполне и который никогда не будет приведен в осуществление.

Мне возразят, может быть, что в настоящей книге как люди, так и животные изображены с чересчур благоприятной точки зрения, что их общежительные качества чересчур выдвинуты вперед, в то время как их противообщественные наклонности и инстинкты самоутверждения едва отмечены. Но это, однако, было неизбежно. За последнее время мы столько слышали о «суровой, безжалостной борьбе за жизнь», которая якобы ведется каждым животным против всех остальных, каждым «дикарем» против всех остальных «дикарей» и каждым цивилизованным человеком против всех его сограждан, причем подобные утверждения сделались своего рода догматом, религией образованного об-

щества, что было необходимо, прежде всего, противопоставить им обширный ряд фактов, рисующих жизнь животных и людей с совершенно другой стороны. Необходимо было показать сперва преобладающую роль, которую играют общительные привычки в жизни природы и в прогрессивной эволюции, как животных видов, так равно и человеческих существ. Надо было доказать, что они дают животным лучшую охрану против их врагов, что они облегчают им добывание пищи (зимние запасы, переселения, кормление под охраной сторожей и т. п.) и увеличивают предел жизненности и, вследствие этого, облегчают и развитие умственных способностей; что они дали людям, помимо выше указанных, общих с животными выгод, возможность выработать те учреждения, которые помогли человечеству выжить в суровой борьбе с природой и совершенствоваться, невзирая на все превратности истории. — это сделал. А потому настоящая книга есть книга о законе Взаимопомощи, рассматриваемом, как один из главных факторов эволюции, а не о всех факторах эволюции и их относительной цен-

ности; и эту книгу надо было написать раньше, чем станет возможным исследование вопроса об относительном значении различных факторов эволюции.

Я, конечно, менее всего склонен недооценивать роль, которую самоутверждение личности играло в развитии человечества. Но этот вопрос, по моему мнению, требует рассмотрения гораздо более глубокого, чем какое он встречал до сих пор. В истории человечества самоутверждение личности часто представляло, и продолжает представлять, нечто совершенно отличное и нечто более обширное и

глубокое, чем та мелочная, неразумная умственная узость, которую большинство писателей выдает за «индивидуализм» и «самоутверждение». Равным образом, двигавшие историю личности вовсе не сводились на одних тех, кого историки изображают нам в качестве героев. Вследствие этого я имею в виду, если удастся, подробно разобрать впоследствии роль, которую сыграло самоутверждение личности в прогрессивном развитии человечества. Теперь же я ограничусь лишь сле-

дующим общим замечанием.

Когда учреждения Взаимопомощи — т.е. родовой строй, деревенская община, гильдия, средневековый город — начинали в течение исторического процесса терять свой первоначальный характер, когда в них начинали появляться паразитные, чуждые им наросты, вследствие чего сами эти учреждения становились помехой прогрессу, тогда возмущение личностей против этих учреждений всегда принимало двоякий характер. Часть восставших стремилась к очищению старых учреждений от чуждых им элементов или к выработке высших форм свободного общежития, основанных опять-таки на началах Взаимной Помощи; они пытались, например, ввести в уголовное право начало «возмещения» (виры) на место закона кровавого возмездия, а позднее провозглашали «прощение обид», то есть еще более высокий идеал равенств пред человеческою совестью, взамен «возмещения», которое платилось сообразно классовой ценности пострадавшего. Но в то же самое время другая часть тех же личностей, восставших против кристаллизовавшегося

строю, пытались просто разрушить охранительные учреждения взаимной поддержки, с тем чтобы на место их поставить свой собственный произвол, таким образом увеличить свои собственные богатства и усилить свою собственную власть. В этой тройственной борьбе, между двумя разрядами возмущившихся личностей и защитниками существующего, и состоит вся истинная трагедия истории. Но для того чтобы изобразить эту борьбу и честно изучить роль, сыгранную в развитии человечества каждой из вышеуказанных трех сил, потребовалось бы, по меньшей мере, столько же лет труда, сколько мне пришлось отдать на то, чтобы написать эту книгу. (...)

ГЛАВА I

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ У ЖИВОТНЫХ

«Борьба за существование». — Взаимная помощь — закон природы и главное условие прогрессивного развития. — Беспозвоночные животные. — Муравьи и пчелы. — Птицы: их союзы для охоты и рыбной ловли. — Их общительность. Взаимная охрана у мелких птиц. — Журавли; попугаи.

Понятие о борьбе за существование, как об условии прогрессивного развития, внесенное в науку Дарвином и Уоллэсом, позволило нам охватить в одном обобщении громаднейшую массу явлений; и это обобщение легло с тех пор в основу всех наших философских, биологических и общественных теорий. Несметное количество самых разнообразных фактов, которые мы прежде объясняли каждый своею причиною, было охвачено Дарвином в одно широкое обобщение. Приспособление живых существ к обитаемой ими среде, их прогрессивное развитие, анатомическое и физиологическое, умственный прогресс и даже нрав-

ственное совершенствование, — все эти явления стали представляться нам как части одного общего процесса. Мы начали понимать их как ряд непрерывных усилий, как борьбу против различных неблагоприятных условий, ведущую к развитию таких личностей, рас, видов и обществ, которые представляли бы собою наибольшую полноту, наибольшее разнообразие и наибольшую интенсивность жизни.

Весьма возможно, что, в начале своих работ, Дарвин сам не сознавал всего значения и общности того явления борьбы за существование, к которому он обратился за объяснением одной группы фактов, а именно накопление отклонений от первоначального типа и образования новых видов. Но он понимал, что выражение, которое он вводил в науку, утратило бы свой философский точный смысл, если бы оно было понято исключительно в его узком смысле, как борьба между индивидуумами из-за средств существования. А потому, уже в самом начале своего великого исследования о происхождении видов, он настаивал на том, что «борьбу за существова-

ние» следует понимать в ее широком и переносном (метафорическом) смысле, т.е. включая сюда зависимость одного живого существа от других, а также, — что гораздо важнее, — не только жизнь самого индивидуума, но и возможность для него оставить по себе потомство.

Таким образом, хотя сам Дарвин для своей специальной цели и употреблял слова «борьба за существование» преимущественно в их узком смысле, он предупреждал, однако, своих последователей от ошибки (в которую, по видимому, он сам было впал одно время) — от слишком узкого понимания этих слов. В своем последующем сочинении «Происхождение человека» он написал даже несколько прекрасных сильных страниц, чтобы выяснить истинный широкий смысл этой борьбы. Он показал здесь, как в бесчисленных животных сообществах борьба за существование между отдельными членами этих сообществ совершенно исчезает и как вместо борьбы является содействие (кооперация), ведущее к такому развитию умственных способностей и нравственных качеств, которое обеспечивает дан-

ному виду наилучшие шансы жизни и распространения. Он указал, таким образом, что в этих случаях «наиболее приспособленными» оказываются вовсе не те, кто физически сильнее, или хитрее, или ловчее других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать друг друга — как сильных, так и слабых, — ради блага всего своего общества. «Те общества, писал он, — которые содержат наибольшее количество сочувствующих друг другу членов, будут наиболее процветать и оставят по себе наибольшее количество потомства» (второе, английское издание, с. 163).

Выражение, заимствованное Дарвином из мальтусовского представления о борьбе всех против каждого, потеряло, таким образом, свою узость, когда оно переработалось в уме человека, глубоко понимавшего природу.

К несчастью, эти замечания Дарвина, которые могли бы стать основой самых плодотворных исследований, прошли незамеченными из-за массы фактов, в которых выступала или предполагалась действительная борьба между индивидуумами из-за средств существования. Притом Дарвин не подверг более

строгому исследованию сравнительную важность и относительную распространенность двух форм «борьбы за жизнь» в животном мире: непосредственной борьбы отдельных особей между собою и общественной борьбы многих особей — сообща, и он не написал также сочинения, которое собирался написать, о природных препятствиях чрезмерному размножению животных, каковы засуха, наводнения, внезапные холода, поварьные болезни и т. п.

Между тем именно такое исследование и было необходимо, чтобы определить истинные размеры и значение в природе единичной борьбы за жизнь между членами одного и того же вида животных, по сравнению с борьбой целым обществом против природных препятствий и врагов из других видов. Мало того, в той же самой книге о происхождении человека, где он писал только что указанные места, опровергающие узкое мальтузианское понимание «борьбы», опять-таки пробивалась мальтусовская закваска, — например, там, где он задавался вопросом: следует ли поддерживать жизнь «слабых умом и

телом» в наших цивилизованных обществах? (гл. V). Как будто бы тысячи «слабых телом» поэтов, ученых, изобретателей и реформаторов, а также так называемых «слабоумных энтузиастов» не были самым сильным оружием человечества в его борьбе за жизнь, — борьбе умственными и нравственными средствами, значение которых сам Дарвин так прекрасно выставил в этих главах своей книги.

С теорией Дарвина случилось то же, что случается со всеми теориями, имеющими отношение к человеческой жизни. Его последователи не только не расширили ее, согласно его указаниям, а напротив того, сузили ее еще более. И в то время как Спенсер, работая независимо, но в сходном направлении, постарался до некоторой степени расширить исследование вопроса: «кто же оказывается лучше приспособленным?» (в особенности в приложении к третьему изданию «Data of Ethics»), многочисленные последователи Дарвина сузили понятие о борьбе за существование до самых тесных пределов. Они стали изображать мир животных, как мир непрерывной

борьбы между вечно голодающими существами, жаждущими каждое крови своих собратьев. Они наполнили современную литературу возгласами: «Горе побежденным!» — и стали выдавать этот клич за последнее слово науки о жизни.

«Беспощадную борьбу из-за личных выгод они возвели на высоту принципа, закона всей биологии, которому человек обязан подчиняться, — иначе он погибнет в этом мире, основанном на взаимном уничтожении. Оставляя в стороне экономистов, которые из всей области естествознания обыкновенно знают лишь несколько ходячих фраз, и то заимствованных у второстепенных популяризаторов, мы должны признать, что даже наиболее авторитетные представители взглядов Дарвина употребляют все усилия для поддержания этих ложных идей. Если взять, например, Гексли, который, несомненно, считается одним из лучших представителей теории развития (эволюции), то мы видим, что в статье, озаглавленной “Борьба за существование и ее отношение к человеку”, он учит нас, что “с точки зрения моралиста животный мир нахо-

дится на том же уровне, что борьба гладиаторов. Животных хорошо кормят и выпускают их на борьбу: в результате — лишь наиболее сильные, наиболее ловкие и наиболее хитрые выживают для того только, чтобы на следующий день тоже вступить в борьбу. Зрителю нет нужды даже, повернув палец книзу, требовать, чтобы слабые были убиты: здесь и без того никому не бывает пощады»».

В той же статье Гексли дальше говорит, что среди животных, как и среди первобытных людей, «наиболее слабые и наиболее глупые обречены на гибель, в то время как выживают наиболее хитрые и те, кого труднее пронять, те, которые лучше сумели приспособиться к обстоятельствам, но вовсе не лучшие в других отношениях. Жизнь, говорит он, была постоянной всеобщей борьбой, и, за исключением ограниченных и временных отношений в пределах семьи, гоббсовская война каждого против всех была нормальным состоянием существования».

Насколько подобный взгляд на природу оправдывается действительно, видно будет из тех фактов, которые приведены в этой кни-

ге, как из мира животных, так и из жизни первобытного человека. Но мы теперь уже можем сказать, что взгляд Гексли на природу имеет так же мало прав на признание его научным выводом, как и противоположный взгляд Руссо, который видел в природе лишь любовь, мир и гармонию, нарушенные появлением человека. Действительно, первая же прогулка в лесу, первое наблюдение над любым животным обществом или даже ознакомление с любым серьезным трудом, трактующим о жизни животных (например, Д'Орбиньи, Одюбона, Ле Вальяна), должны заставить натуралиста задуматься над ролью, которую играет общественная жизнь в мире животных, и предостеречь его, как от понимания природы в виде всеобщего поля битвы, так и от противоположной крайности, видящей в природе одну гармонию и мир. Ошибка Руссо заключалась в том, что он совершенно упустил из виду борьбу, ведущуюся клювом и когтями, а Гексли повинен в ошибке противоположного характера; но ни оптимизм Руссо, ни пессимизм Гексли не могут быть признаны беспристрастным научным истолковани-

ем природы.

Едва только мы начинаем изучать животных — не в одних лишь лабораториях и музеях, но также и в лесу, в лугах, в степях и в горных странах, — как тотчас же мы замечаем, что хотя между различными видами, и в особенности между различными классами животных, ведется в чрезвычайно обширных размерах борьба и истребление, — в то же самое время в таких же или даже в еще больших размерах наблюдается взаимная поддержка, взаимная помощь и взаимная защита среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду или, по крайней мере, к тому же сообществу. Общественность является таким же законом природы, как и взаимная борьба. Конечно, чрезвычайно затруднительно было бы определить, хотя бы приблизительно, относительное числовое значение обоих этих разрядов явлений. Но если прибегнуть к косвенной проверке и спросить природу: «Кто же оказывается более приспособленным: те ли, кто постоянно ведет войну друг с другом, или же, напротив, те, кто поддерживает друг друга?» — то мы тотчас увидим, что

те животные, которые приобрели привычки взаимной помощи, оказываются, без всякого сомнения, наиболее приспособленными. У них больше шансов выжить, и единично, и как вид, и они достигают в своих соответствующих классах (насекомых, птиц, млекопитающих) наивысшего развития ума и телесной организации. Если же принять во внимание бесчисленные факты, которые все говорят в поддержку этого взгляда, то с уверенностью можно сказать, что взаимная помощь представляет такой же закон животной жизни, как и взаимная борьба. Более того. Как фактор эволюции, т.е. как условие развития вообще — она, по всей вероятности, имеет гораздо большее значение, чем взаимная борьба, потому что способствует развитию таких привычек и свойств, которые обеспечивают поддержание и дальнейшее развитие вида при наибольшем благосостоянии и наслаждении жизнью для каждой отдельной особи и в то же время при наименьшей бесполезной растрате ею энергии, сил.

Насколько мне известно, из ученых — последователей Дарвина, первым признавшим

за взаимной помощью значение закона природы и главного фактора эволюции, был очень известный русский зоолог, бывший декан Петербургского университета, профессор К. Ф. Кесслер. Он развил эту мысль в речи, произнесенной в январе 1880 года, за несколько месяцев до своей смерти, на съезде русских естествоиспытателей, но, подобно многим другим хорошим вещам, напечатанным лишь на одном только русском языке, эта замечательная речь осталась почти совершенно неизвестной. Как старый зоолог, говорил Кесслер, он чувствовал себя обязанным выразить протест против злоупотребления термином «борьба за существование», заимствованным из зоологии, или, по крайней мере, против чересчур преувеличенной оценки его значения. «Особенно в зоологии, — говорил он, — и в науках, посвященных разностороннему изучению человека, на каждом шагу указывают на жестокий закон борьбы за существование и часто совершенно упускают из виду, что есть другой закон, который можно назвать законом взаимной помощи и который, по крайней мере по отношению к жи-

вотным, едва ли не важнее закона борьбы за существование» [1]. Затем Кесслер указывал на то, как потребность оставить после себя потомство неизбежно соединяет животных, и «чем теснее дружатся между собою неделимые известного вида, чем больше оказывают взаимной помощи друг другу, тем больше упрочивается существование вида и тем больше получается шансов, что данный вид пойдет дальше в своем развитии и усовершенствуется, между прочим, также и в интеллектуальном отношении». «Взаимную помощь друг другу оказывают животные всех классов, особенно высших». — продолжал Кесслер (с. 131), и он подтверждал свою идею примерами, взятыми из жизни жуков-гробocopателей и из общественной жизни птиц и некоторых млекопитающих. Примеры эти были не многочисленны, как и следовало быть в краткой вступительной речи, но главные пункты были ясно установлены. Упомянув далее о том, что в развитии человечества взаимная помощь играла еще более значительную роль, Кесслер закончил свою речь следующими замечаниями:

«Я ведь не отрицаю борьбы за существование, но только утверждаю, что прогрессивному развитию, как всего животного царства, так специально человечества, не столько содействует взаимная борьба, сколько взаимная помощь... Всем органическим телам присущи две коренные потребности, потребность питания и потребность размножения. Потребность в питании ведет их к борьбе за существование и к взаимному истреблению друг друга, а потребность в размножении ведет их к сближению между собою и к взаимной помощи друг другу. Но на развитие органического мира, на преобразование одних форм в другие оказывает едва ли не более влияния сближение между неделимыми одного и того же вида, нежели борьба между ними».

Правильность вышеприведенных взглядов обратила на себя внимание большинства присутствовавших на съезде русских зоологов, и Н. А. Северцов, работы которого хорошо известны орнитологам и географам, поддержал их и пояснил на нескольких добавочных примерах. Он упомянул о некоторых видах

соколов, которые одарены «почти идеальной организацией в целях нападения», но тем не менее вымирают, в то время как другие виды соколов, практикующие взаимопомощь, процветают. «С другой стороны, возьмите такую общительную птицу, как утка, — говорил он, — в общем она плохо организована, но она практикует взаимную поддержку, и, судя по ее бесчисленным видам и разновидностям, она положительно стремится распространиться по всему земному шару».

Готовность русских зоологов воспринять воззрения Кесслера объясняется весьма естественно тем, что почти все они имели случай изучать животный мир в обширных незаселенных областях Северной Азии или Восточной России, а изучение подобных областей неизбежно приводит к тем же выводам. — помню впечатление, произведенное на меня животным миром Сибири, когда я исследовал Олекминско-Витимское нагорье в сообществе с таким выдающимся зоологом, каким был мой друг Иван Семенович Поляков. Мы оба были под свежим впечатлением «Происхождения Видов» Дарвина, но тщетно искали то-

го обостренного соперничества между животными одного и того же вида, к которому приготовило нас чтение работы Дарвина, — даже принявши во внимание замечание в III главе этой работы.

«Где же эта борьба?» — спрашивал я его. Мы видели множество приспособлений для борьбы, очень часто борьбы общей, против неблагоприятных климатических условий или против различных врагов, и И. С. Поляков написал несколько прекрасных страниц о взаимной зависимости хищных, жвачных и грызунов в их географическом распределении. С другой стороны, мы видели значительное количество фактов взаимной поддержки, в особенности во время переселений птиц и жвачных; но даже в Амурской и Уссурийской областях, где животная жизнь отличается очень большим изобилием, факты действительного соперничества и борьбы между особями одного и того же вида среди высших животных мне пришлось наблюдать очень редко, хотя я и искал их. То же впечатление выносишь и из трудов большинства русских зоологов, и это обстоятельство, может быть,

объясняет, почему идеи Кесслера были так хорошо встречены русскими дарвинистами, тогда как подобные взгляды не в ходу среди последователей Дарвина в Западной Европе.

Первое, что поражает нас, как только мы начинаем изучать борьбу за существование, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения, это — изобилие фактов взаимной помощи, практикуемой не только в целях воспитания потомства, как это признается большинством эволюционистов, но также и в целях безопасности особи и добывание ею необходимой пищи. Во многих обширных подразделениях животного царства взаимная помощь является общим правилом. Взаимная помощь встречается далее среди самых низших животных, и мы, вероятно, узнаем когда-нибудь от лиц, изучающих микроскопическую жизнь стоячих вод, о фактах бессознательной взаимной поддержки даже среди мельчайших микроорганизмов.

Конечно, наши познания о жизни беспозвоночных, — за исключением термитов, муравьев и пчел, — чрезвычайно ограничены; но, несмотря на это, даже из жизни низших

животных мы можем привести несколько фактов вполне достоверной взаимопомощи. Бесчисленные сообщества саранчи, бабочек особенно ванесс, — сверчков, жучков (цициндел) и т.д., в сущности, совершенно еще не исследованы; но уже самый факт их существования указывает на то, что они должны составляться приблизительно на таких же началах, как и временные сообщества муравьев и пчел для целей переселения. Что же касается жуков, то известны вполне точно наблюдаемые факты взаимной помощи среди могильщиков (*Necrophorus*). Им нужен какой-нибудь разлагающийся органический материал для кладки в нем яиц и обеспечения их личинок пищей; но гниение подобного материала не должно происходить слишком быстро. Вследствие этого жуки-могильщики закапывают в землю трупы всяких мелких животных, которые случайно попадаются им во время их поисков. Вообще, жуки этой породы живут особняком; но, когда один из них находит труп мыши или птицы, который он не может сам закопать, он созывает еще несколько других могильщиков (их сходится

иногда до шести), чтобы совершить эту операцию соединенными силами. Если нужно, они переносят труп на более подходящую, мягкую почву. Вообще, закапывание производится чрезвычайно обдуманно и совершенно без спора относительно того, кому придется воспользоваться привилегией положить яички в закопанном трупе. И когда Гдедич привязывал мертвую птицу к кресту, сделанному из двух палочек, или подвешивал лягушку к палке, воткнутой в землю, могильщики самым дружественным образом направляли усилия своих соединенных умов, чтобы преодолеть хитрость человека. (...)

Факты взаимопомощи у термитов, муравьев и пчел настолько хорошо известны почти всякому читателю, в особенности благодаря популярным книгам Романеса, Бюхнера и Джона Лэббока, что я могу ограничиться весьма немногими указаниями. Если мы возьмем муравейник, то мы не только увидим, что всякого рода работа — воспитание потомства, фуражировка, постройка, воспитание куколок, выкармливание тлей и т. п. — выполняется согласно принципам доброволь-

ной взаимной помощи; но, вместе с Форелем, мы должны будем также признать, что главной, основной чертой жизни многих видов муравьев является тот факт, что каждый муравей делится и обязан делиться своей пищей, уже проглоченной и отчасти переваренной, с каждым членом общины, предъявляющим на нее требование. Два муравья, принадлежащие к двум различным видам или к двум враждебным муравейникам, будут, при случайной встрече, избегать друг друга. Но два муравья, принадлежащие к одному и тому же муравейнику или к одной и той же колонии муравейников, всегда подходят друг к другу, обмениваются несколькими движениями щупалец, и «если один из них голоден или чувствует жажду и в особенности если у другого в это время зобик полон, то первый немедленно просит пищи». Муравей, к которому таким образом обратились с просьбой, никогда не отказывает, он раздвигает свои челюсти и, придав телу надлежащее положение, отрыгивает каплю прозрачной жидкости, которая слизывается голодным муравьем. Отрыгивание пищи для кормления дру-

гих является такой важной чертой в жизни муравьев (на воле) и так постоянно применяется, как для кормления голодных товарищей, так и для выкармливания личинок, что, по мнению Фореля, пищеварительные органы муравьев состоят из двух различных частей: одна из них, задняя, предназначается для специального пользования самого индивидуума, а другая, передняя, — главным образом, на пользу общины. Если бы какой-нибудь муравей с полным зобиком оказался настолько себялюбивым, что отказал бы в пище товарищу, с ним поступили бы как с врагом или даже хуже. Если бы отказ был сделан в такое время, когда его сородичи сражаются с каким-либо иным видом муравьев или с чужим муравейником, они напали бы на своего жадного товарища с большим ожесточением, чем на самих врагов. Но если бы муравей не отказался накормить другого муравья, принадлежащего к вражескому муравейнику, то сородичи последнего стали бы обращаться с ним, как с другом. Все это подтверждено чрезвычайно точными наблюдениями и опытами, не оставляющими никакого сомнения ни

в действительности самих фактов, ни в правильности их истолкования.

Таким образом, в этом огромном отделе животного мира, который охватывает более тысячи видов и настолько многочислен, что Бразилия, по уверению бразильцев, принадлежит не людям, а муравьям, — совершенно отсутствует борьба и состязание из-за пищи между членами одного и того же муравейника или колонии муравейников. Как бы ни были ужасны войны между различными видами муравьев и различными муравейниками, какие бы жестокости ни совершались во время войны, взаимная помощь внутри общины и самоотречение на пользу общую обратились в привычку, а самопожертвование индивидуума для общего блага является общим правилом. Муравьи и термиты отrekliсь, таким образом, от «Гоббсовой войны» и только выиграли от этого. Их поразительные муравейники, их постройки, превосходящие по относительной высоте людские постройки; их мощные дороги и крытые галереи — между муравейниками; их обширные залы и зернохранилища; их хлебные поля, их жатвы и «со-

ложение» ими зерна; удивительные «огороды» «зонтичного муравья», который объедает листья и удобряет кусочки земли катышками из пережеванных кусочков листа, причем в этих огородах растет только одна порода грибков, а все остальные уничтожаются; их рациональные методы вынянчивания яичек и личинок, общие всем муравьям, и построение социальных гнезд и загородей для выращивания тлей, которых Линней так живописно назвал «муравьиными коровками», и, наконец, их храбрость, отважность и высокое умственное развитие, — все это естественные результаты взаимной помощи, практикуемой ими на каждом шагу их деятельной и трудолюбивой жизни. Общительность муравьев привела также к развитию другой существенной черты их жизни, а именно, к огромному развитию личного почина, который, в свою очередь, содействовал развитию у муравьев таких высоких и разнообразных умственных способностей, что они вызывают восторг и удивление каждого наблюдателя.

Если бы мы не были знакомы ни с какими другими фактами из жизни животных, кро-

ме тех, которые известны о муравьях и термитах, мы могли бы уже с уверенностью заключить, что взаимная помощь (ведущая к взаимному доверию первому условию мужества) и индивидуальная инициатива (первое условие умственного прогресса) являются двумя условиями, несравненно более важными в эволюции мира животных, чем взаимная борьба. Действительно, муравей процветает, хотя и не обладает ни одной из тех «защитительных» черт, без которых не может обойтись ни одно из животных, ведущих одинокую жизнь. Их окраска делает очень заметными для их врагов, а высокие муравейники многих видов сразу обращают на себя внимание в лесах и на лугах. У муравья нет твердого панциря, а его жало, как бы ни было оно опасно, когда сотни жал вонзаются в тело животного, не имеет большой цены для целей индивидуальной защиты. В то же время личинки и куколки муравьев (так называемые муравьиные яйца) составляют лакомство для многих обитателей лесов. И тем не менее муравьи, несмотря на их многочисленность, не подвергаются сильному истреблению птица-

ми и даже муравьядами и внушают ужас насекомым, гораздо более сильным, чем они сами. Когда Форель опорожнял мешок с муравьями на лугу, он видел, как «сверчки разбежались, оставляя свои норы на разграбление муравьям; пауки и жуки бросали свои жертвы из боязни самим очутиться в положении жертвы», муравьи захватывали даже гнезда ос после битвы, во время которой многие из них гибли для блага общины. Даже самые быстрые насекомые не успевали спастись, и Форелю часто приходилось видеть, как муравьи внезапно нападали и убивали бабочек, комаров, мух и т.д. Сила их заключается во взаимной поддержке и взаимном доверии. И если муравей, — не говоря еще о более развитых термитах, — стоит на самой вершине целого класса насекомых по своим умственным способностям; если по храбрости его можно приравнять к наиболее мужественным позвоночным, и его мозг, говоря словами Дарвина, «представляет один из самых чудесных атомов материи в мире, может быть, даже более удивительный, чем мозг человека», то не обязан ли муравей всем этим тому, что взаимная

помощь совершенно заменила взаимную борьбу в его общинах?

То же самое справедливо и относительно пчел. Эти маленькие насекомые, которым так легко было бы стать добычей многочисленных птиц и мед которых привлекает все классы животных, начиная с жука и кончая медведем, также не имеют ни одной из защитительных особенностей в строении или в области мимикрии [2], без которых насекомые, живущие в одиночку, едва ли могли бы избежать полного истребления; но, несмотря на это, вследствие практикуемой пчелами взаимной помощи, они, как известно, успели широко распространиться по земному шару, обладают поразительной смышленостью и выработали поразительные формы общежития.

Работая сообща, они этим умножают в невероятных размерах свои индивидуальные силы; а прибегая ко временному разделению труда, — причем за каждой пчелой сохраняется способность исполнить, когда это понадобится, любого рода работу, — они достигают такой степени благосостояния и безопас-

ности, какой нельзя ожидать ни у одного изолированного животного, как бы оно ни было сильно или хорошо вооружено.

В своих сообществах пчелы часто превосходят человека, когда он пренебрегает выгодами обдуманной взаимной помощи. Так, например, когда рой пчел готовится покинуть улей, чтобы основать новое сообщество, некоторое количество пчел предварительно исследует соседнюю местность, и, если им удастся открыть удобное место для жилья — например, старую корзину, или что-нибудь в этом роде — они завладевают им, чистят его и охраняют, иногда в продолжение целой недели, пока рой не выростит и не оседет здесь, на выбранном месте. Между тем как людям сплошь да рядом приходилось погибать при переселении в новые страны потому только, что переселенцы не понимали необходимости объединения усилий! При помощи коллективного ума пчелы с успехом борются даже против неблагоприятных обстоятельств, иногда совершенно непредвиденных и необычных, как, например, это случилось с пчелами на Пражской выставке, где они зале-

пили пчелиным клеем (узой) ставню, закрывавшую окно, устроенное в стене их улья [3]. Кроме того, они вовсе не отличаются кровопролитными наклонностями и любовью к бесполезным битвам, которыми многие писатели так охотно наделяют всех животных. Часовые, охраняющие вход в улей, безжалостно убивают всех пчел-грабительниц, стремящихся проникнуть к ним; но пчелы-чужаки, попадающие по ошибке, остаются не тронутыми, в особенности если они прилетают обремененные запасом собранной цветочной пыли или если это молодые пчелы, которые могут легко сбиться с пути. Таким образом, военные действия сводятся к строго необходимым.

Общественность пчел тем более поучительна, что хищнические инстинкты и леность продолжают существовать среди них и вновь проявляются каждый раз, когда тому благоприятствуют обстоятельства. Известно, что всегда имеется некоторое количество пчел, которые предпочитают жизнь грабителей трудолюбивой жизни рабочего; причем в периоды скудости, как и в периоды необы-

чайного изобилия пищи, число грабителей быстро возрастает. Когда жатва кончена и на наших полях и лугах остается мало материала для выводки меда, пчелы-грабительницы появляются в большом числе; с другой стороны, на сахарных плантациях Вест-Индии и на рафинадных заводах Европы грабеж, леность и очень часто пьянство становятся обычным явлением среди пчел. Мы видим, таким образом, что противообщественные инстинкты продолжают существовать среди пчел, но естественный подбор непрерывно должен уничтожать их, так как в конце концов практика взаимности оказывается более выгодной для вида, чем развитие особей, одаренных хищническими наклонностями. «Наиболее хитрые и наиболее бесцеремонные», о которых говорил Гексли, уничтожаются, чтобы дать место особям, понимающим методы общественной жизни и взаимной поддержки.

Конечно, ни муравьи, ни пчелы, ни даже термиты не поднялись до понимания высшей солидарности, которая охватывала бы весь их вид. В этом отношении они, очевидно, не достигли той ступени развития, которой мы не

находим даже среди политических, научных и религиозных руководителей человечества. Их общественные инстинкты почти не переходят за пределы муравейника или улья. Тем не менее Форель описал колонии муравьев на Мон-Тандре и на горе Салеве, заключавшие в себе не менее двух сот муравейников, причем обитатели таких колоний принадлежали к двум различным видам... (*Formica exsecta* и *F. pressilabris*). Форель утверждает при этом, что каждый член этих колоний узнает всех остальных членов и что все они принимают участие в общей защите. Мак-Кук наблюдал в Пенсильвании целую нацию муравьев, состоявшую из 1600-1700 муравейников, живших в полном согласии; а Бэте описал огромные пространства в Бразильских «кампосах» (степях), покрытые холмиками термитов, причем некоторые муравейники служили убежищем для двух или трех различных видов, и большинство этих построек было соединено между собою сводчатыми галереями и крытыми аркадами. Таким образом, попытки объединения довольно обширных подразделов вида, для целей взаимной за-

щиты и общественной жизни, встречаются даже среди беспозвоночных животных.

Переходя теперь к высшим животным, мы находим еще больше случаев, несомненно, сознательной взаимной помощи, практикуемой для всевозможных целей, — хотя, впрочем, мы должны заметить, что наши познания о жизни даже высших животных все еще отличаются большой недостаточностью. Множество фактов этого рода было собрано самими первоклассными зоологами, но тем не менее имеются целые отделы животного царства, о которых нам почти ничего не известно.

Особенно мало у нас достоверных сведений относительно рыб, отчасти вследствие затруднительности наблюдений, а отчасти вследствие того, что на этот предмет до сих пор не было обращено должного внимания. Что же касается до млекопитающих, то уже Кесслер заметил, как мало мы знакомы с их жизнью. Многие из них только по ночам выходят из своих логовищ; другие скрываются под землей; те же жвачные, которых общественная жизнь и переселения представляют

глубочайший интерес, не дают человеку близко подойти к их стадам. Больше всего мы знаем о птицах; но все же общественная жизнь очень многих видов остается нам очень мало известной. Впрочем, в общем нечего жаловаться на недостаток хорошо установленных фактов, как это видно будет из нижеследующего.

Мне нет надобности останавливаться здесь на сообществах между самцом и самкою для воспитания их потомства, для обеспечения его пищей на первых ступенях жизни и для совместной охоты; хотя и можно упомянуть, что подобные семейные ассоциации широко распространены даже у наименее общительных плотоядных животных и хищных птиц; причем их главный интерес состоит в том, что семейное общество представляет среду, в которой развиваются более нежные чувства даже среди животных, чрезвычайно свирепых в других отношениях. Можно также прибавить, что редкость сообществ, выходящих за пределы семьи, у плотоядных животных и хищных птиц хотя и является в большинстве случаев результатом об-

раза их питания, но может быть также объяснена, до известной степени, как вследствие тех перемен в животном мире, которые были вызваны быстрым размножением человечества. Во всяком случае, не мешает заметить, что есть виды, которых особи живут совершенно одинокою жизнью в густонаселенных областях, в то время как те же самые виды или их ближайшие сородичи, живут стадами в местностях, не обитаемых человеком. Для примера в этом отношении можно указать на волков, лисиц и некоторых хищных птиц.

Впрочем, сообщества, не переходящие за пределы семьи, представляют для нас сравнительно малый интерес; тем более что известно много других сообществ, гораздо более общего характера, как, например, ассоциации, составляемые многими животными для охоты, для взаимной защиты или же просто для наслаждения жизнью. Одубон уже указывал, что орлы иногда слетаются вместе, по нескольку особей, и его рассказ о двух лысых орлах, самце и самке, охотившихся на Миссисипи, хорошо известен, как образец художественного описания. Но одно из наиболее убе-

дительных наблюдений в этом направлении принадлежит Северцову. Изучая фауну русских степей, он однажды увидел орла, принадлежащего к стайному виду (белохвост, *Haliaeetus albicilla*), поднимавшегося в вышину; в продолжение получаса он молча описывал широкие круги, и вдруг внезапно раздался его пронзительный клекот. На этот крик вскоре ответил крик другого орла, подлетавшего к первому, за ним последовал третий, четвертый и т.д., пока не собралось девять или десять орлов, которые вскоре исчезли из виду. После полудня Северцов отправился к тому месту, куда, как он заметил, полетели орлы; укрываясь за одним из волнообразных возвышений степи, он приблизился к орлиной стае и увидел, что она собралась вокруг лошадиного трупа. Старые орлы, которые вообще кормятся первые, — таковы правила приличия в орлином обществе — уже сидели на соседних стогах сена, в качестве часовых, в то время как молодые продолжали кормиться, окруженные стаями ворон. Из этого и других подобных наблюдений Северцов вывел заключение, что белохвостые орлы соединя-

ются между собою для охоты; поднявшись все на большую высоту, они, если их будет, например, около десятка, могут осмотреть площадь, по крайней мере, около пятидесяти квадратных верст; причем как только один из них открывает что-нибудь, он тотчас сообщает об этом сотоварищам [4].

Конечно, можно было бы сказать, что инстинктивный крик первого орла при виде добычи или даже его движения могли привлечь других; но в вышеприведенном случае есть указание в пользу взаимного предупреждения, так как орлы слетелись раньше, чем спуститься к павшей лошади. Кроме того, Северцову приходилось несколько раз позже убеждаться в том, что белохвостые орлы всегда слетаются по нескольку на падаль и что некоторые из них (в начале пиршества молодые) всегда выполняют роль часовых, в то время как другие едят. Действительно, белохвостые орлы — одни из самых храбрых и наилучших охотников — вообще стайная птица, и Брем говорит, что, попадая в неволю, они быстро привязываются к человеку.

Общежительность является общей чертой

для очень многих других хищных птиц. Бразильский коршун (кара-кара) — один из самых «бесстыжих» грабителей, оказывается тем не менее чрезвычайно общительным. Его сообщества для охоты были описаны Дарвином и другими натуралистами, причем оказывается, что если он схватит чересчур крупную добычу, то созывает пять или шесть товарищей, чтобы унести ее. Вечером, когда эти коршуны, все время находящиеся в движении, налетавшись за день, отправляются на покой и садятся на какое-нибудь одинокое дерево в степи, они всегда собираются небольшими стаями, причем к ним присоединяются перкноптеры, небольшие темнокрылые коршуны, похожие на ворону, — «их истинные друзья», говорит Д'Орбиньи. В Старом Свете, в Закаспийских степях, коршуны имеют, по наблюдениям Зарудного, ту же привычку вить свои гнезда по нескольку в одном месте. Общительный гриф — одна из самых сильных пород коршунов, — получил самое свое название за любовь к обществу. Они живут огромными стаями, и в Африке попадаются горы, буквально покрытые, в каждом свобод-

ном местечке, их гнездами. Они положительно наслаждаются общественной жизнью и собираются очень большими стаями для высоких полетов, составляющих своего рода спорт. «Они живут в большей дружбе», говорит Ле Вальян, и «иногда в одной и той же пещере я находил до трех гнезд». Коршуны Урубубу в Бразилии отличаются, пожалуй, еще большей общительностью, чем грачи, говорит Бэтс. Маленькие египетские коршуны (*Pernopterus stercorarius*) тоже живут в большой дружбе. Они играют стаями в воздухе, вместе проводят ночь и утром гурьбой отправляются в поиски за пищей, причем между ними не бывает никаких, даже мелких, ссор: так свидетельствует Брем, имевший полную возможность наблюдать их жизнь. Красногорлый сокол также встречается многочисленными стаями в бразильских лесах, а сокол пустельга (*Tinnunculus cenchris*), оставив Европу и достигнув зимой степей и лесов Азии, собирается в большие сообщества. В степях Южной России он ведет (вернее, вел) такую общительную жизнь, что Нордмал видел его в больших стаях, совместно с другими

соколами (*Falco tinnunculus*, *F. oesulon* и *F. subbuteo*), которые собирались в ясные дни около четырех часов пополудни и наслаждались своими полетами до поздней ночи. Они обыкновенно летели все вместе, по совершенно прямой линии, вплоть до известной определенной точки, после чего немедленно возвращались по той же линии и затем снова повторяли тот же полет.

Подобные полеты стаями, ради самого удовольствия полета, очень обыкновенны среди всякого рода птиц. Ч. Диксон сообщает, что в особенности по реке Эмбер (Nunber) на болотистых равнинах часто появляются в конце августа многочисленные стаи куликов (*Tringa alpina*, горный песочник, зовут также чернозобик) и остаются на зиму. Полеты этих птиц чрезвычайно интересны, так как, собравшись огромною стаею, они описывают в воздухе круги, затем рассеиваются, а затем снова собираются, проделывая этот маневр с аккуратностью хорошо обученных солдат. Среди них бывают рассеяны песочники других видов, улиты и кулики.

Перечислить здесь различные охотничьи

сообщества птиц было бы просто невозможно: они представляют самое обыкновенное явление; но следует отметить по крайней мере рыбачьи сообщества пеликанов, в которых эти неуклюжие птицы проявляют замечательную организацию и смышленность. Они всегда отправляются на рыбную ловлю большими стаями и, выбрав подходящую губу, составляют широкий полукруг, лицом к берегу; мало-помалу полукруг этот стягивается, по мере того как птицы подгребаются к берегу и благодаря этому маневру вся рыба, попавшая в полукруг, вылавливается. На узких реках и на каналах пеликаны даже разделяются на две партии, из которых каждая составляет свой полукруг, и обе плывут навстречу друг к другу совершенно так же, как если бы две партии людей шли навстречу друг к другу с двумя длинными неводами, чтобы захватить рыбу, попавшую между неводов. С наступлением ночи пеликаны улетают на свое обычное место отдыха всегда одно и то же для каждой отдельной стаи и никто никогда не видал, чтобы между ними происходили драки из-за того или другого места рыбной ловли

или места отдыха. В Южной Америке пеликаны собираются стаями до 40 000 и до 50 000 птиц, часть которых наслаждается сном, в то время как другие стоят на страже, а часть отправляется на рыбную ловлю. (...)

Самых поразительных результатов, в смысле обеспечения личной безопасности, наслаждения жизнью и развития умственных способностей путем общественной жизни, достигли два больших семейства птиц, а именно, журавли и попугаи. Журавли чрезвычайно общительны и живут в превосходных отношениях не только со своими сородичами, но и с большинством водяных птиц. Их осторожность не менее удивительна, чем их ум. Они сразу разбираются в новых условиях и действуют сообразно новым требованиям. Их часовые всегда находятся на страже, когда стая кормится или отдыхает, и охотники по опыту знают, как трудно к ним подобраться. Если человеку удается захватить их где-нибудь врасплох — они больше не возвращаются на это место, не выславши вперед сперва одного разведчика, а вслед за ним — партию разведчиков; и когда эта партия возвратится

с известием, что опасности не предвидится, высылаются вторая партия разведчиков для проверки показания первых, прежде чем вся стая решится двинуться вперед. Со сродными видами журавли вступают в действительную дружбу, а в неволе нет другой птицы, — за исключением только не менее общительного и смышленного попугая, — которая вступала бы в такую действительную дружбу с человеком. «Журавль видит в человеке не хозяина, а друга, и всячески старается выразить это», — говорит Брем на основании личного опыта. С раннего утра до поздней ночи журавль находится в непрерывной деятельности; но он посвящает всего несколько часов утром на добывание пищи, главным образом растительной; остальное же время он отдает жизни в обществе. «Он схватывает маленькие кусочки дерева или камешки, подбрасывает их на воздух, пытаясь потом снова схватить их; он выгибает шею, распускает крылья, пляшет, подпрыгивает, бегаёт и всячески выражает свое хорошее настроение и всегда остается красивым и грациозным». Так как он постоянно живет в обществе, то почти не имеет врагов,

и хотя Брему приходилось иногда наблюдать, как одного из них случайно схватил крокодил, но, за исключением крокодила, он не знал никаких других врагов у журавля. Осторожность журавля, вошедшая в поговорку, спасает его от всех врагов, и вообще он доживает до глубокой старости. Неудивительно поэтому, что для сохранения вида журавлю нет надобности воспитывать многочисленное потомство, и он обыкновенно кладет не более двух яиц. Что касается до высокого развития его ума, то достаточно сказать, что все наблюдатели единогласно признают, что умственные способности журавля сильно напоминают способности человека.

Другая чрезвычайно общительная птица, попугай, стоит, как известно, по развитию ее умственных способностей во главе всего пернатого мира. Их образ жизни, так превосходно описан Бремом, что мне достаточно будет привести нижеследующий отрывок, как лучшую характеристику:

«Попугаи, — говорит он, — живут очень многочисленными обществами или стаями, за исключением периода спаривания. Они

выбирают для стоянки место в лесу, откуда каждое утро отправляются на свои охотничьи экспедиции. Члены каждой стаи очень привязаны друг к другу и делят между собой и горю, и радость. Каждое утро они вместе отправляются в поле, или в сад, или на какое-нибудь фруктовое дерево, чтобы кормиться там фруктами или плодами. Они расставляют часовых для охраны всей стаи и внимательно относятся к их предостережениям. В случае опасности все спешат улететь, оказывая поддержку друг другу, а вечером все в одно и то же время возвращаются на место отдохновения. Коротче говоря, они всегда живут в тесном дружественном союзе».

Они также находят удовольствие в обществе других птиц. В Индии говорит Латард — сойки и вороны слетаются из-за многих миль, чтобы провести ночь вместе с попугаями в бамбуковых зарослях. Отправляясь на охоту, попугаи проявляют не только удивительную смышленность и осторожность, но и умение соображаться с обстоятельствами. Так, например, стая белых какаду в Австралии, прежде чем начать грабить хлебное поле, непременно

но сперва вышлет разведочную партию, которая располагается на самых высоких деревьях по соседству с намеченным полем, тогда как другие разведчики садятся на промежуточные деревья, между полем и лесом, и передают сигналы. Если сигналы извещают, что «все в порядке», тогда десяток какаду отделяется от стаи, делает несколько кругов в воздухе и направляется к деревьям, ближайшим к полю. Эта вторая партия, в свою очередь, довольно долго осматривает окрестности и только после такого осмотра дает сигнал к общему передвижению, — после чего вся стая снимается сразу и быстро обирает поле. Австралийские колонисты с большим трудом преодолевают бдительность попугаев; но если человеку, при всей его хитрости и с его оружием, удастся убить несколько какаду, то они становятся после того настолько бдительными и осторожными, что уже расстраивают вслед за тем все ухищрения врагов.

Нет никакого сомнения, что только благодаря общественному характеру их жизни попугаи могли достичь того высокого развития смысленности и чувств, почти доходящих до

человеческого уровня, которое мы встречаем у них. Высокая их смышленность побудила лучших натуралистов назвать некоторые виды — а именно серых попугаев, — «птицей человеком». А что касается до их взаимной привязанности, то известно, что если один из их стаи бывает убит охотником, остальные начинают летать над трупом своего сотоварища с жалостными криками и «сами падают жертвами своей дружеской привязанности», как писал Одюбон; а если два пленных попугая, хотя бы принадлежащих к двум разным видам, подружились между собою и один из них случайно умирает, то другой также нередко погибает от тоски и горя по умершему другу.

Не менее очевидно и то, что в своих сообществах попугаи находят несравненно большую защиту от врагов, чем они могли бы найти при самом идеальном развитии у них «клюва и когтей». Весьма немногие хищные птицы и млекопитающие осмеливаются нападать на попугаев, — и то только на мелкие породы, — и Брем совершенно прав, говоря о попугаях, что у них, как у журавлей и у общи-

тельных обезьян, едва ли имеются какие-либо иные враги, помимо человека; причем он прибавляет: «Весьма вероятно, что большинство крупных попугаев умирает от старости, а не от когтей своих врагов. Один только человек, благодаря своему высшему разуму и вооружению, — которые также составляют результат его жизни обществами, — может до известной степени истреблять попугаев. Самая их долговечность оказывается, таким образом, результатом их общественной жизни. И, по всей вероятности, нужно то же сказать и относительно их поразительной памяти, развитию которой, несомненно, способствует жизнь обществами, а также долговечность, сопровождаемая полным сохранением как телесных, так и умственных способностей вплоть до глубокой старости».

Из всего вышеприведенного видно, что война всех против каждого вовсе не является преобладающим законом природы. Взаимная помощь — настолько же закон природы, как и взаимная борьба, и этот закон станет для нас еще очевиднее, когда мы рассмотрим некоторые другие сообщества птиц и обще-

ственную жизнь млекопитающих. Некоторые беглые указания на значение закона взаимной помощи в эволюции животного царства уже сделаны были на предыдущих страницах; но значение его выяснится с большею определенностью, когда, приведя несколько фактов, мы сможем сделать на основании их наши заключения.

ГЛАВА II

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ У ЖИВОТНЫХ

(Продолжение)

Перелет птиц. — Сообщества для гнездования. — Осенние сообщества. Млекопитающие: малое число видов необщительных. — Охотничьи сообщества волков и т.д. — Сообщества грызунов, обезьян. — Взаимная помощь в борьбе за жизнь. — Аргументация Дарвина для доказательства борьбы за жизнь в пределах вида. — Естественные препятствия чрезмерному размножению. — Предполагаемое уничтожение промежуточных звеньев. — Устранение соперничества в природе.

Лишь только весна снова наступает в уме-

ренном поясе, целые мириады птиц, рассеянных по теплым странам юга, собираются в бесчисленные стаи и, полные радостной энергии, спешат на Север — выводить потомство. И каждая изгородь, каждая роща, каждая скала на берегах океана, каждое озеро или пруд, которыми усеяны Северная Америка, Северная Европа и Северная Азия, могли бы рассказать нам в эту пору года о том, что представляет собою взаимная помощь в жизни птиц; какую силу, какую энергию и сколько защиты она дает каждому живому существу, как бы слабо и незащищено оно ни было само по себе.

Возьмите, например, одно из бесчисленных озер русских или сибирских степей раннею весною. Берега его населены мириадами водяных птиц, принадлежащих, по меньшей мере, к двадцати различным видам, живущим в полном согласии и постоянно защищающим друг друга. Вот как Северцов описывает одно из таких озер:

«Затемнело озеро между желто-рыжими песками и темно-зелеными талами и камышами... Оно кипит птицами. Голова кружится

от этого вихря... Воздух наполнен рыбниками (*Larus rudibundus* и *Sterna hirundo*), потрясаясь их звонким криком. Тысячи куликов снуют и посвистывают по берегу... далее, почти на каждой волне колышется, крикает утка. Высоко тянут стада казарок; ниже то и дело налетают на озеро подорлики (*Aquila clanga*) и болотные луни, немедленно преследуемые крикливой стаей рыбников... У меня глаза разбежались» [5].

Везде жизнь бьет ключом. Но вот и хищники — «наиболее сильные и ловкие», как говорит Гексли, «и идеально приспособленные для нападения», как говорит Северцов. И вы слышите их голодные, жадные, озлобленные крики, когда они в продолжение целых часов выжидают удобного случая, чтобы выхватить из этой массы живых существ хотя бы одну беззащитную особь. Но лишь только они приближаются, как об их появлении возвещают дюжины добровольных часовых, и сейчас же сотни чаек и морских ласточек начинают гонять хищника. Обезумев от голода, он наконец отбрасывает обычные предосторожности; он внезапно бросается на живую массу птиц;

но, атакованный со всех сторон, он снова бывает вынужден отступить. В порыве голодного отчаяния он набрасывается на диких уток; но смышленные общительные птицы быстро собираются в стаю и улетают, если хищник оказался рыбным орлом; если это сокол, они ныряют в озеро; если же это коршун, они поднимают облака водяной пыли и приводят хищника в полное замешательство. И в то время, как жизнь по-прежнему кишмя кишит на озере, хищник улетает с гневными криками и ищет падали или какой-нибудь молоденькой птички или полевой мышки, которые еще не привыкли повиноваться вовремя предостережениям товарищей. В присутствии всей этой, потоками льющейся, жизни идеально вооруженному хищнику приходится довольствоваться одними отбросками жизни. Еще далее к северу, в Арктических архипелагах, «вы можете плыть целые мили вдоль берега, и вы видите, что все выступы, все скалы и уголки горных склонов, на двести, а не то на пятьсот футов над морем, буквально покрыты морскими птицами, белые грудки которых выделяются на фоне темных

скал, так что скалы кажутся как будто обрызганы мелом. Воздух, вблизи и вдали, переполнен птицами».

Каждая из таких «птичьих гор» представляет живой пример взаимной помощи, а также бесконечного разнообразия характеров, личных и видовых, являющихся результатом общественной жизни. Так, например, устричник известен своей готовностью нападать на любую хищную птицу. Болотный кулик славится своей бдительностью и умением делаться вожаком более мирных птиц. Близкий предыдущей «переводчик», когда он окружен товарищами, принадлежащими к более крупным видам, предоставляет им заботиться об охране всех и даже становится довольно боязливой птицею, но когда ему приходится быть окруженным мелкими пташками, он принимает на себя, в интересах сообщества, обязанность часового и заставляет себя слушаться, говорит Брем. Здесь вы можете наблюдать властолюбивых лебедей и наряду с ними — чрезвычайно общительных, даже нежных чаек киттивак, между которыми, как говорит Науманн, ссоры случаются

очень редко и всегда бывают кратковременны; вы видите привлекательных полярных кайр, постоянно расточающих ласки друг другу; эгоисток гусынь, отдающих на произвол судьбы сирот, оставшихся после убитой подруги, и рядом с ними других гусынь, которые заботятся о таких сиротах и плавают, окруженные 50-60 малышами, о которых они заботятся, как будто все были их родными детьми. Наряду с пингвинами, ворующими друг у друга яйца, вы увидите пыжиков, семейные отношения которых так «очаровательны и трогательны», что даже страстные охотники не решаются стрелять в самку пыжика, окруженную выводком, или гагок, среди которых (подобно бархатным уткам, или согоуас саванн) несколько самок высиживают яйца в одном и том же гнезде; или кайр, которые, так утверждают достойные доверия наблюдатели — иногда поочередно сидят над общим выводком. Природа — само разнообразие, и она представляет всевозможные оттенки характеров, до самых возвышенных. Поэтому-то природу нельзя и изобразить одним каким-нибудь широковещательным утвер-

ждением. Еще менее можно судить о ней с точки зрения моралиста, так как взгляды моралиста сами являются результатом — большей частью бессознательным — наблюдений над природой.

Привычка собираться вместе в период гнездования настолько обыкновенна у большинства птиц, что едва ли надо приводить дальнейшие примеры. Вершины наших деревьев увенчаны группами вороньих гнезд; живые изгороди полны гнезд мелких пташек; на фермах гнездятся колонии ласточек; в старых башнях и колокольнях укрываются сотни ночных птиц; и легко было бы наполнить целые страницы самыми очаровательными описаниями мира и гармонии, встречаемых почти во всех этих птичьих сообществах для гнездования. А насколько такие сообщества служат защитой для самых слабых птиц, само собою очевидно. Такой превосходный наблюдатель, как американский д-р Coues, видел, например, как маленькие ласточки (cliff Swallows) устраивали свои гнезда в непосредственном соседстве со степным соколом (*Falco polyargus*). Сокол свил свое гнездо на

верхушке одного из тех глиняных минаретов, которых так много в каньонах Колорадо, а колония ласточек жила непосредственно ниже его. Маленькие миролюбивые птички не боялись своего хищного соседа; они просто не позволяли ему приближаться к своей колонии. Если он это делал, они немедленно окружали его и начинали гонять, так что хищнику приходилось тотчас же удалиться.

Жизнь сообществами не прекращается и тогда, когда закончено время гнездования; она только принимает новую форму. Молодые выводки собираются тогда в сообщества молодежи, в которые обыкновенно входит по нескольку видов. Общественная жизнь практикуется в это время главным образом ради доставляемого ею удовольствия, а также отчасти ради безопасности. Так мы находим осенью в наших лесах сообщества, составленные из молодых кедровок (*Sitta coesia*), вместе с синицами, зябликами, королями, пищухами и зелеными дятлами. В Испании ласточки встречаются в компании с пустельгами, мухоловками и даже голубями. На американском Дальнем Западе молодые хохлатые жаворон-

ки (horned lark) живут в больших сообществах, совместно с другим видом полевых жаворонков (Sparque 's lark) с воробьем саванн (Savannah Sparrow) и некоторыми видами овсянок и подорожников. В сущности, гораздо легче было бы описать все виды, ведущие изолированную жизнь, чем поименовать те виды, которых молодежь составляет осенние сообщества, вовсе не в целях охоты и гнездования, а лишь только для того, чтобы наслаждаться жизнью в обществе и проводить время в играх и спорте, после тех немногих часов, которые им приходится отдавать на поиски за кормом.

Наконец, мы имеем перед собою еще одну громаднейшую область взаимопомощи у птиц, во время их перелета; она до того обширна, что я могу только в немногих словах напомнить этот великий факт природы. Достаточно сказать, что птицы, жившие до тех пор целые месяцы маленькими стаями, рассыпанными на обширном пространстве, начинают собираться весною или осенью тысячами; несколько дней под ряд, иногда неделю и более, — они слетаются в определенное ме-

сто, прежде чем пуститься в путь, и, очевидно, обсуждают подробности предстоящего путешествия. Некоторые виды каждый день, под вечер, упражняются в подготовительных полетах, готовясь к дальнему путешествию. Все они поджидают своих запоздавших сородичей, и, наконец, все вместе исчезают в один прекрасный день, т.е. улетают в известном, всегда хорошо выбранном направлении, представляющем, несомненно, плод накопленного коллективного опыта. При этом самые сильные особи летят во главе стаи, сменяясь поочередно для выполнения трудовой обязанности. Таким образом, птицы перелетают даже широкие моря большими стаями, состоящими как из крупных, так и из мелких птиц; и когда на следующую весну они возвращаются в ту же местность, каждая птица направляется в то же, хорошо знакомое место, и в большинстве случаев даже каждая пара занимает то же гнездо, которое она чинила или строила в предыдущем году. (...)

Переходя теперь к млекопитающим, первое, что поражает нас в этом обширном классе животных, — это громаднейшее численное

преобладание общительных видов над теми немногими хищниками, которые живут особняком. Плоскогорья, горные страны, степи и низменности Старого и Нового Света буквально кишат стадами оленей, антилоп, газелей, буйволов, диких коз и диких овец, т.е. всё животными общественными. Когда европейцы начали проникать в прерии Северной Америки, они нашли их до того густо заселенных буйволами, что пионерам приходилось иногда останавливаться, и надолго, когда колонна перекочевывающих буйволов пересекала их путь; такое шествие буйволов густою колонною продолжалось иногда два и три дня; а когда русские заняли Сибирь, они нашли в ней такое огромное количество оленей, антилоп, косуль, белок и других общительных животных, что самое завоевание Сибири было не что иное, как охотничья экспедиция, растянувшаяся на два столетия. Травянистые же степи Восточной Африки до сих пор переполнены стадами зебр и разнообразных видов антилоп.

Вплоть до очень недавнего времени мелкие реки Северной Америки и Северной Сиби-

ри были еще заселены колониями бобров, а Европейской России, вся северная ее часть, еще в XVII веке была покрыта подобными же колониями. Луговые равнины четырех великих континентов до сих пор еще густо заселены бесчисленными колониями кротов, мышей, сурков, тарбаганов, «земляных белок» и других грызунов. В более низких широтах Азии и

Африки леса по сию пору являются жилищем многочисленных семей слонов, носорогов, гиппопотамов и бесчисленных сообществ обезьян. На дальнем Севере олени собираются в бесчисленные стада, а еще дальше на север мы находим стада мускусных быков и неисчислимыя сообщества песцов. Берега океана оживлены стадами тюленей и моржей, а его воды — стадами общительных животных, принадлежащих к семейству китов; наконец, даже в пустынях высокого плоскогорья Центральной Азии мы находим стада диких лошадей, диких ослов, диких верблюдов и диких овец. Все эти млекопитающие живут сообществами и племенами, насчитывающими иногда сотни тысяч особей, хотя теперь,

после трех веков цивилизации, пользовавшейся порохом, мы находим лишь жалкие остатки тех неисчислимых сообществ животных, которые существовали в былые времена.

Как ничтожно, по сравнению с ними, число хищников! И как ошибочна вследствие этого точка зрения тех, кто говорит о животном мире, точно он весь состоит из одних только львов и гиен, запускающих окровавленные клыки в свою добычу! Это все равно, как если бы мы стали утверждать, что вся жизнь человечества сводится к одной войне и избиению.

Ассоциация и взаимная помощь являются правилом у млекопитающих. Привычка к общественной жизни встречается даже у хищников, и во всем этом обширном классе животных мы можем назвать только одно семейство Кошачьих (львы, тигры, леопарды и т.д.), которого члены действительно предпочитают одинокую жизнь жизни общественной и только изредка встречаются — теперь по крайней мере, — небольшими группами. Впрочем, даже среди львов «самое обыкновенное дело — охотиться группами», говорит

известный охотник и знаток С. Бэкер; а недавно г. Н. Шиллингс, охотившийся в экваториальной восточной Африке даже снял фотографию — ночью, при внезапной вспышке магниевового света — со львов, собиравшихся группами в три взрослых особи и охотившихся сообща; утром же он насчитывал у реки, к которой во время засухи стекались ночью на водопой стада зебр, следы еще большего количества львов — до тридцати, — приходивших охотиться за зебрами, причем, конечно, никогда, за много лет, ни Шиллингс, ни кто-либо другой не слышал, чтобы львы дрались или ссорились из-за добычи. Что же касается до леопардов и до южноамериканской пумы (род небольшого льва), то их общительность хорошо известна.

В семействе Вивер (виверы, циветы и т.д.) — хищников, представляющих нечто среднее между кошками и куницами, и в семействе Куниц (куница, горноста́й, ласка, хорек, барсук и др.) также преобладает одинокий образ жизни. Но можно считать вполне установленным, что не дальше как в конце XVIII века обыкновенная ласка (*Mustela*

vulgaris) была более общежительна, чем теперь; она встречалась тогда в Шотландии, а также в Унтервальденском кантоне Швейцарии более многочисленными группами.

Что касается до обширного семейства Собак (собаки, волк, шакал, лисица, песец), то их общительность и их общества в целях охоты можно рассматривать как характерную черту для многочисленных видов этого семейства. Всем известно, как волки собираются стаями для охоты, и исследователь природы Альп Чуди оставил превосходное описание того, как, расположившись полукругом, они окружают корову, пасущуюся на горном склоне, а потом, выскочивши внезапно с громким лаем, заставляют ее свалиться в пропасть. Одюбон, в 30-х годах прошлого столетия, также видел, как лабрадорские волки охотились стаями, причем одна стая гналась за человеком вплоть до его хижины и разорвала его собак. В суровые зимы стаи волков делаются настолько многочисленными, что они становятся опасными для людских поселений, как это было во Франции в 40-х годах. В русских степях волки никогда не нападают

на лошадей иначе как стаями, причем им приходится выдерживать ожесточенную борьбу, во время которой лошади (по свидетельству Коля) иногда переходят в наступление; в подобном случае, если волки не поспешат отступить, они рискуют быть окруженными лошадьми, которые убивают их ударами копыт. Известно также, что степные волки (*Canis latrans*) американских прерий собираются стаями в 20 и 30 штук, чтобы напасть на буйвола, случайно отбившегося от стада. Шакалы, которые отличаются большою храбростью и могут считаться одними из самых умных представителей псового семейства, постоянно охотятся стаями; объединенные, таким образом, они не страшатся более крупных хищников. Что же касается до диких собак Азии (Ползуны, или *Dholes*), то Вильямсон видел, что их большие стаи нападают решительно на всех крупных животных, кроме слона и носорога, и что им удается побеждать даже медведей и тигров, у которых они, как известно, постоянно отнимают детенышей. (...)

В обширном семействе Лошадиных, в кото-

рое входят дикие лошади и дикие ослы Азии, зебры, мустанги, *simarrones* пампасов и полудикие лошади Монголии и Сибири, мы опять находим самую тесную общительность. Все эти виды и породы живут многочисленными табунами, из которых каждый слагается из многих косяков, по несколько кобыл в каждом, под руководством одного жеребца. Эти бесчисленные обитатели Старого и Нового Света, вообще говоря, довольно слабо организованные для борьбы с их многочисленными врагами, а также для защиты от неблагоприятных климатических условий, скоро исчезли бы с лица земли, если бы не их общительный дух. Когда к ним приближается хищник, несколько косяков немедленно соединяются вместе; они отражают нападение хищника и иногда даже преследуют его: вследствие этого ни волк, ни медведь, ни даже лев не могут выхватить лошади или хотя бы даже зебры, пока она не отбилась от косяка. Даже ночью, благодаря их необыкновенной стадной осторожности и предварительному осмотру местности опытными особями, зебры могут ходить на водопой к реке, несмотря на львов,

засевших в кустарниках. Когда засуха выжигает траву в прериях, косяки лошадей и зебр собираются стадами, численность которых доходит иногда до десяти тысяч голов, и переселяются на новые места. А когда зимой в наших азиатских степях разражается метель, косяки держатся близко друг от друга и вместе ищут защиты в какой-нибудь ложине. Но если взаимное доверие почему-либо исчезает в косяке или же группу лошадей охватит паника и они разбегутся, то большинство их гибнет, а уцелевших находят после метели полумертвыми от усталости. Объединение является, таким образом, их главным оружием в борьбе за существование, а человек — их главным врагом.

Отступая перед увеличивающейся численностью этого врага, предки нашей домашней лошади (наименованные Поляковым *Equus Przewalskii*) предпочли переселиться в самые дикие и наименее доступные части высокого плоскогорья на границах Тибета, где они выжили до сих пор, окруженные, правда, хищниками, и в климате, мало уступающем по суровости Арктической области, но зато в мест-

ности, недоступной для человека. (...)

Таким образом, даже из нашего беглого обзора видно, что жизнь сообществами не представляет исключения в животном мире; она, напротив, является общим правилом — законом природы — и достигает своего полнейшего развития у высших беспозвоночных. Видов, живущих в одиночестве, или только небольшими семьями, очень мало, и они сравнительно немногочисленны. Мало того, есть основание предполагать, что, за немногими исключениями, все те птицы и млекопитающие, которые в настоящее время живут стадами или стаями, жили ранее сообществами, пока род людской не размножился на земной поверхности и не начал вести против них истребительной войны, а равным образом не стал истреблять их источники прокормления. «On ne s'associe pas pour mourir» (для умирания не собираются вместе), — справедливо заметил Эпинас, а Хузо (Houzeau), хорошо знавший животный мир некоторых частей Америки раньше, чем животные подвергались истреблению человеком в больших размерах, высказал в своих произведениях ту

же мысль.

Ассоциация встречается в животном мире на всех ступенях эволюции; и соответственно великой идее Герберта Спенсера, так блестяще развитой в работе Перье, «Colonies Animates», «колонии», т.е. сообщества, появляются уже в самом начале развития животного мира. Но по мере того как мы поднимаемся по лестнице эволюции, мы видим, как ассоциация становится все более и более сознательной. Она теряет свой чисто физический характер, она перестает быть просто инстинктивной и становится обдуманной. Среди высших позвоночных она уже бывает временною, периодичною или же служит для удовлетворения какой-нибудь определенной потребности, — например, для воспроизведения, для переселений, для охоты или же для взаимной защиты.

Она становится даже случайной, — например, когда птицы объединяются против хищника или млекопитающие сходятся для эмиграции под давлением исключительных обстоятельств. В этом последнем случае ассоциация становится добровольным отклонением

от обычного образа жизни.

Затем объединение бывает иногда в две или три степени — сначала семья, потом группа и, наконец, ассоциации групп, обыкновенно рассеянных, но соединяющихся в случае нужды, как мы это видели на примере буйволов и других жвачных. Ассоциация также принимает высшие формы, и тогда обеспечивает большую независимость для каждого отдельного индивидуума, не лишая его вместе с тем выгод общественной жизни. Таким образом, у большинства грызунов каждая семья имеет свое собственное жилище, куда она может удалиться, если пожелает уединения, но эти жилища располагаются поселениями и целыми городами, так, чтобы всем обитателям были обеспечены все удобства и удовольствия общественной жизни. И наконец, у некоторых видов, как, например, у крыс, сурков, зайцев и т.д., общительность жизни поддерживается, несмотря на сварливость или вообще на эгоистические склонности отдельно взятых особей. Во всех этих случаях общественная жизнь уже не обуславливается, как у муравьев и пчел, физиологи-

ческой структурой; она культивируется ради выгод, даваемых взаимной помощью, или же ради приносимых ею удовольствий. И это, конечно, проявляется во всех возможных степенях и при величайшем разнообразии индивидуальных и видовых признаков, — причем самое разнообразие форм общественной жизни является последствием, а для нас и дальнейшим доказательством, ее всеобщности [6].

Общительность, т.е. ощущаемая животным потребность в общении с себя подобными, любовь к обществу ради общества, соединенная с «наслаждением жизнью», только теперь начинает получать должное внимание со стороны зоологов. В настоящее время нам известно, что все животные, начиная с муравьев, переходя к птицам и кончая высшими млекопитающими, любят игры, любят бороться и гоняться один за другим, пытаются поймать друг друга, любят поддразнивать друг друга и т.д. И если многие игры являются, так сказать, подготовительной школой для молодых особей, приготавливая их к надлежащему поведению, когда наступит зрелость, то наряду с ними имеются и такие игры, кото-

рые, помимо их утилитарных целей, вместе с танцами и пением, представляют простое проявление избытка жизненных сил — «наслаждения жизнью», и выражают желание, тем или иным путем, войти в общение с другими особями того же или даже иного вида. Короче говоря, эти игры представляют проявление общительности в истинном смысле этого слова, являющейся отличительной чертой всего животного мира. Будет ли это чувство страха, испытываемого при появлении хищной птицы, или «взрыв радости», проявляющийся, когда животные здоровы и в особенности молоды, или же просто стремление освободиться от избытка впечатлений и кипящей жизненной силы, необходимость сообщения своих впечатлений другим, необходимость совместной игры, болтовни или просто ощущения близости других родственных живых существ, — эта потребность проникает всю природу; и в столь же сильной степени, как и любая физиологическая функция, она составляет отличительную черту жизни и впечатлительности вообще. Эта потребность составляет высшее развитие и принимает

наиболее прекрасные формы у млекопитающих, особенно у молодых особей, и еще более у птиц; но она проникает всю природу. Ее обстоятельно наблюдали лучшие натуралисты, включая Пьера Гюбнера, даже среди муравьев; и нет сомнения, что та же потребность, тот же инстинкт собирает бабочек и других насекомых в огромные колонии, о которых мы говорили выше.

Привычка птиц сходиться вместе для танцев и украшение ими мест, где они обыкновенно предаются танцам, вероятно, хорошо известна читателям хотя бы по тем страницам, которые Дарвин посвятил этому предмету в «Происхождении человека» (гл. XIII). Посетители Лондонского зоологического сада знакомы также с красивоукрашенной беседкой «атласной птицы» [7], устраиваемой с тою же целью. Но этот обычай танцев оказывается гораздо более распространенным, чем предполагалось прежде, и В. Гедсон (W. Hudson), в своей мастерской работе о Ла-Плате, дает чрезвычайно интересное описание (чтобы оценить его вполне, надо прочесть его в оригинале) сложных танцев, выполняемых

многочисленными видами птиц: дергачами, щеглами, пиголицами и т.д.

Привычка петь совместно, существующая у некоторых видов птиц, принадлежит к той же категории общественных инстинктов. В поразительной степени она развита у южноамериканского чакара (*Chauna chavaria*, из породы, близкой к гусям), которому англичане дали самое прозаическое прозвище «холодного крикуна». Эти птицы собираются иногда громадными стаями и в таких случаях часто устраивают целый концерт. В. Гедеон встретил их однажды в бесчисленном количестве сидящими вокруг озера в пампасах отдельными стаями, около 500 птиц в каждой.

«Вскоре, — говорит он, — одна из стай, находившаяся вблизи меня, начала петь, и этот могущественный хор не замолкал в течение трех или четырех минут; когда он затих, соседняя стая начала петь, вслед за нею следующая и т.д., пока не принеслось ко мне пение стай, находившихся на противоположном берегу озера, и звуки его тонко и ясно неслись по воде; затем они мало-помалу затихли и снова начинали раздаваться возле меня».

Другой раз тому же зоологу пришлось наблюдать бесчисленное стадо чакаров, покрывавшее всю равнину, но на этот раз не разбитое на отделы, а разбросанное парами и небольшими группами. Около девяти часов вечера, внезапно вся эта масса птиц, покрывавшая болота на целые мили крутом, разразилась могущественной вечернею песней... Стоило проехать сотню миль, чтобы послушать такой концерт. К вышеприведенному можно прибавить, что чакар, подобно всем общительным животным, легко делается ручным и очень привязывается к человеку. Об них говорят, что «это очень миролюбивые птицы, которые редко ссорятся», хотя они хорошо вооружены и снабжены довольно грозными шпорами на крыльях. Жизнь сообществами делает, однако, это оружие излишним.

Тот факт, что жизнь сообществами служит самым могущественным оружием в борьбе за существование (принимая этот термин в самом широком смысле слова), был пояснен, как мы видели, на предыдущих страницах довольно разнообразными примерами, и таких

примеров, если бы это было нужно, можно было бы привести несравненно больше. Жизнь сообществами (мы это видели) дает возможность самым слабым насекомым, самым слабым птицам и самым слабым млекопитающим защищаться против нападений самых ужасных хищников из среды птиц и животных или же охранять себя от них; она обеспечивает им долголетие; она дает возможность виду выкармливать свое потомство с наименьшей ненужной растратой энергии и поддерживает свою численность даже при очень сильной рождаемости; она позволяет стадным животным совершать переселение и находит себе новые местожительства. Поэтому, хотя и признавая вполне, что сила, быстрота, предохранительная окраска, хитрость и выносливость к холоду и голоду, упоминаемые Дарвином и Уоллэсом, действительно представляют качества, которые делают особь или вид наиболее приспособленными при некоторых известных обстоятельствах, — мы вместе с тем утверждаем, что общительность является величайшим преимуществом в борьбе за существование

при всяких, как бы то ни было, природных обстоятельствах. Те виды, которые волей или неволей отказываются от нее, обречены на вымирание; тогда как животные, умеющие наилучшим образом объединяться, имеют наибольшие шансы на выживание и на дальнейшую эволюцию, хотя бы они и оказались ниже других в каждой из особенностей, перечисленных Дарвином и Уоллэсом, за исключением только умственных способностей. Высшие позвоночные, и в особенности человеческий род, служат лучшим доказательством этого утверждения. Что же касается до умственных способностей, то каждый дарвинист согласится с Дарвином в том, что они представляют наиболее могущественный фактор дальнейшей эволюции; он согласится также и с тем, что умственные способности, еще более всех остальных, обуславливаются в своем развитии общественной жизнью. Язык, подражание другим и накопленный опыт — необходимые элементы для развития умственных способностей, и именно их лишены животные необщественные. Поэтому-то мы и находим, что на вершине раз-

личных классов стоят такие животные, как муравьи и термиты, попугаи, обезьяны, у которых высоко развиты как умственные способности, так и общительность. «Наиболее приспособленными», наилучше приспособленными для борьбы со всеми враждебными элементами оказываются, таким образом, наиболее общительные животные, — так что общительность можно принять главным фактором эволюции, как непосредственно, потому что она обеспечивает благосостояние вида, вместе с уменьшением бесполезной растраты энергии, так и косвенно, потому что она благоприятствует росту умственных способностей.

Кроме того, очевидно, что жизнь сообщества была бы совершенно невозможна без соответственного развития общественных чувств, и в особенности если бы известное коллективное чувство справедливости (начало нравственности) не развивалось и не обрасталось в привычку. Если бы каждый индивидум постоянно злоупотреблял своими личными преимуществами, а остальные не заступались бы за обиженного, никакая обще-

ственная жизнь не была бы возможна. Поэтому у всех общительных животных, в большей или меньшей степени, развивается чувство справедливости. Как бы ни было велико расстояние, с которого прилетели ласточки или журавли, и те и другие возвращаются, каждый и каждая, к тому гнезду, которое было выстроено или починено ими в предыдущем году. Если какой-нибудь ленивый (или молодой) воробей пытается овладеть гнездом, которое вьет его товарищ, или даже украдет из него несколько соломинок, вся местная группа воробьев вмешивается в дело против ленивого товарища; и, очевидно, что, если бы подобное вмешательство не было общим правилом, то сообщества птиц для гнездования были бы невозможны. Отдельные группы пингвинов имеют свои места для отдыха и свои места для рыбной ловли и не дерутся из-за них. Стада рогатого скота в Австралии имеют каждое свое определенное место, куда оно неизменно, изо дня в день, отправляется на отдых, и т.д.

Мы располагаем очень большим количеством непосредственных наблюдений, гово-

рящих о том согласии, которое господствует среди гнездящихся сообществ птиц, в поселениях грызунов, в стадах травоядных и т.д.; но, с другой стороны, нам известны лишь весьма немногие общительные животные, которые постоянно ссорились бы между собою, как это делают крысы в наших погребах, или же моржи, которые дерутся из-за места на солнечном пригреве на занимаемом ими берегу. Общительность, таким образом, кладет предел физической борьбе и дает место для развития лучших нравственных чувств. Высокое развитие родительской любви во всех решительно классах животных, не исключая даже львов и тигров, — достаточно общеизвестно. Что же касается до молодых птиц и млекопитающих, которых мы постоянно видим в общении друг с другом, то в их сообществах получает дальнейшее развитие уже симпатия, а не любовь. Оставляя в стороне действительно трогательные факты взаимной привязанности и сострадания, которые наблюдались, как среди домашних животных, так и среди диких, содержащихся в неволе, — мы располагаем достаточным числом хорошо удостоверенных

фактов, свидетельствующих о проявлении чувства сострадания среди диких животных на свободе. Макс Перти и Л. Бюхнер собрали немало таких фактов [8]. Рассказ Вуда о том, как одна ласка явилась, чтобы поднять и унести с собою пострадавшего товарища, пользуется вполне заслуженной популярностью. К тому же разряду фактов относится известное наблюдение капитана Стансбюри во время путешествия его по высокому плоскогорью Utah в

Скалистых горах, цитируемое Дарвином. Стансбюри видел слепого пеликана, которого кормили, и притом хорошо кормили, другие пеликаны рыбой, принося ее из-за сорока пяти верст. Или же Г. А. Уэдделль, во время своего путешествия по Боливии и Перу, неоднократно наблюдал, что, когда стадо вигоней преследуется охотниками, сильные самцы прикрывают отступление стада, нарочно отставая, чтобы охранять отступающих. Что же касается фактов о выражении сострадания животными к их раненым сотоварищам, то о них постоянно упоминается зоологами, изучавшими жизнь природы. Подобные факты

совершенно естественны. Сострадание необходимо развивается при общественной жизни. Но сострадание, в свою очередь, указывает на значительный общий прогресс в области умственных способностей и чувствительности. Оно является первым шагом на пути к развитию высших нравственных чувств и, в свою очередь, становится могущественным фактором дальнейшей эволюции.

Если взгляды, развитые на предыдущих страницах, правильны, то естественно возникает вопрос: насколько они согласуются с теорией о борьбе за существование в том виде, как она была развита Дарвином, Уоллэсом и их последователями? И я вкратце отвечу теперь на этот важный вопрос. Прежде всего, ни один натуралист не усомнится в том, что идея о борьбе за существование, проведенная через всю органическую природу, представляет величайшее обобщение нашего века. Жизнь есть борьба; и в этой борьбе выживают наиболее приспособленные. Но если поставить вопрос: «Каким оружием ведется главным образом эта борьба?» и «Кто в этой борьбе оказывается наиболее приспособлен-

ным»? — то ответы на эти два вопроса будут совершенно различны, смотря по тому, какое значение будет придано двум различным сторонам этой борьбы: прямой борьбе за пищу и безопасность между отдельными особями, и той борьбе, которую Дарвин назвал «метафорической», т.е. борьбе, очень часто совместной, против неблагоприятных обстоятельств. Никто не станет отрицать, что в пределах каждого вида имеется некоторая степень состязания из-за пищи, хотя бы по временам. Но вопрос заключается в том, доходит ли это состязание до пределов, допускаемых Дарвином или даже Уоллэсом? и играло ли оно в эволюции животного царства ту роль, которая ему приписывается?

Идея, которую Дарвин проводит через всю свою книгу о происхождении видов, есть, несомненно, идея о существовании настоящего состязания [9], борьбы, в пределах каждой животной группы, из-за пищи, безопасности и возможности оставить после себя потомство. Он часто говорит об областях, переполненных животной жизнью до крайних пределов, и из такого переполнения он выводит

неизбежность состязания, борьбы между обитателями. Но если мы станем искать в его книге действительных доказательств такого состязания, то мы должны признать, что достаточно убедительных доказательств нет. Если мы обратимся к параграфу, озаглавленному «Борьба за существование — наиболее суровая между особями и разновидностями одного и того же вида», то мы не найдем в нем того обилия доказательств и примеров, которые мы привыкли находить во всякой работе Дарвина. В подтверждение борьбы между особями одного и того же вида не приводится под вышеупомянутым заголовком ни одного примера: она принимается как аксиома; состязание же между близкими видами животных подтверждается лишь пятью примерами, из которых, во всяком случае, один (относящийся к двум видам дроздов) оказывается по позднейшим наблюдениям сомнительным. Но если мы станем искать дальнейших подробностей, с целью убедиться, насколько уменьшение одного вида действительно обуславливается возрастанием другого вида, то мы найдем, что Дарвин, со своей

обычной прямоотой, говорит следующее:

«Мы можем догадываться (dimly see), почему состязание должно быть особенно сурово между родственными формами, заполняющими почти одно и то же место в природе; но, вероятно, ни в одном случае мы не могли бы с точностью определить, почему один вид одержал победу над другим в великой битве жизни».

Что же касается Уоллэса, приводящего в своем изложении дарвинизма те же самые факты, но под слегка видоизмененным заголовком («Борьба за существование между близкородственными животными и растениями часто бывает наиболее сурова»), то он делает нижеследующее замечание, дающее вышеприведенным фактам совершенно иное освещение. Он говорит (курсив мой):

«В некоторых случаях, несомненно, ведется действительная война между двумя видами, причем более сильный вид убивает более слабый; но это вовсе не является необходимостью, и могут быть случаи, когда виды, более слабые физически, могут одержать верх, вследствие своей способности к более быстро-

му размножению, большей выносливостью по отношению к враждебным климатическим условиям или большей хитрости, помогающей им избегать нападений со стороны их общих врагов».

Таким образом, в подобных случаях, то, что приписывается состязанию, борьбе, может быть вовсе не состязанием и борьбою. Один вид вымирает вовсе не потому, что другой вид истребил его или выморил, отнявши у него средства пропитания, а потому, что он не смог хорошо приспособиться к новым условиям, тогда как другому виду удалось это сделать. Выражение «борьба за существование», стало быть, употребляется здесь опять-таки в переносном смысле и, может быть, другого смысла не имеет. Что же касается до действительного состязания из-за пищи между особями одного и того же вида, которое Дарвин поясняет в другом месте примером, взятым из жизни рогатого скота в Южной Америке во время засухи, то ценность этого примера значительно уменьшается тем, что он взят из жизни прирученных животных. Бизоны, при подобных обстоятельствах, пере-

селяются с целью избежать состязания из-за пищи. Как бы ни была сурова борьба между растениями, она вполне доказана, мы можем только повторить относительно ее замечание Уоллэса, «что растения живут там, где могут», тогда как животные в значительной мере имеют возможность сами выбирать себе местожителство. И мы снова себя спрашиваем: «До каких же размеров действительно существует состязание, борьба в пределах каждого животного вида? На чем основано это предположение?»

То же самое замечание приходится мне сделать относительно того «косвенного» аргумента в пользу действительности сурового состязания и борьбы за существование в пределах каждого вида, который можно вывести из «истребления переходных разновидностей», так часто упоминаемого Дарвином. Как известно, Дарвина долгое время смущало затруднение, которое он видел в отсутствии длинной цепи промежуточных форм между близкородственными видами; и известно, что он нашел разрешение этого затруднения в предположенном им истреблении этих про-

межуточных форм [10]. Однако внимательное чтение различных глав, в которых Дарвин и Уоллэс говорят об этом предмете, вскоре приводит к заключению, что слово «истребление», употребляемое ими, вовсе не имеет в виду действительного истребления; то замечание, которое Дарвин сделал относительно смысла его выражения: «борьба за существование», очевидно, прилагается в равной мере и к слову «истребление». Последнее никоим образом не может быть понимаемо в его прямом значении, но только в «метафорическом», переносном смысле.

Если мы отправимся от предположения, что данная площадь переполнена животными до крайних пределов ее вместимости и что вследствие этого между всеми ее обитателями ведется обостренная борьба из-за насущных средств существования — причем каждое животное вынуждено бороться против всех своих сородичей, чтобы добыть себе дневное пропитание, — тогда появление новой и успешной разновидности, несомненно, будет состоять во многих случаях (хотя не всегда) в появлении таких индивидуумов, кото-

рые смогут захватить более чем приходящуюся им по справедливости долю средств существования; результатом тогда действительно было бы то, что подобные особи обрекли бы на недоедание, как первоначальную родительскую форму, не усвоившую новой разновидности, так и все те переходные формы, которые не обладали бы новою особенностью в той же степени, как они. Весьма возможно, что спервоначала Дарвин понимал появление новых разновидностей именно в таком виде; по крайней мере, частое употребление слова «истребление» производит такое впечатление. Но он, как и Уоллэс знали природу чересчур хорошо, чтобы не увидеть, что это вовсе не единственно возможный и необходимый исход.

Если бы физические и биологические условия данной поверхности, а также пространство, занимаемое данным видом, и образ жизни всех членов этого вида оставались всегда неизменными, тогда внезапное появление новой разновидности, действительно, могло бы повести к недоеданию и истреблению всех тех особей, которые не усвоили бы в доста-

точной мере новую черту, характеризующую новую разновидность. Но именно подобной комбинации условий, подобной неизменности мы не видим в природе. Каждый вид постоянно стремится к расширению своего местожительства, и переселения в новые местожительства являются общим правилом, как для быстролетающей птицы, так и для медлительной улитки. Затем в каждом данном пространстве земной поверхности постоянно совершаются физические изменения, и характерною чертою новых разновидностей среди животных, в громадном числе случаев — пожалуй, в большинстве — бывает вовсе не появление новых приспособлений для выхвата пищи изо рта сородичей — пища является лишь одним из сотни разнообразных условий существования, — но, как сам Уоллэс показал в прекрасном параграфе, «о расхождении характеров» (Darvinism, с. 107), началом новой разновидности бывает образование новых привычек, передвижения в новые местожительства и переход к новым видам пищи. Во всех этих случаях не произойдет никакого истребления, даже будет отсутство-

вать борьба за пищу, так как новое приспособление послужит к облегчению соперничества, если последнее действительно существовало, и тем не менее при этом тоже получится, спустя некоторое время, отсутствие переходных звеньев, как результат просто выживания тех, которые наилучше приспособлены к новым условиям — и совершится это так же несомненно, как если бы происходило, предполагаемое гипотезой, истребление первоначальной формы. Едва ли нужно добавлять, что если мы вместе с Спенсером, вместе со всеми ламаркистами и с самим Дарвином, допустим изменяющее влияние среды на живущие в ней виды, — а современная наука все более и более движется в этом направлении, — то окажется еще менее надобности в гипотезе истребления переходных форм.

Значение переселений и последующей изоляции групп животных для появления и закрепления новых разновидностей, а в конце концов и новых видов, на которые указал Мориц Вагнер, вполне было признано впоследствии самим Дарвином. Позднейшие же изыскания еще более подчеркнули важность

этого фактора, и они указали также, каким образом обширность территории, занимаемой данным видом — этой обширности Дарвин вполне основательно придавал большое значение для появления новых разновидностей — может быть соединена с изоляцией отдельных частей данного вида, в силу местных геологических перемен или возникновения местных преград. Входить здесь в обсуждение всего этого обширного вопроса было бы невозможно; но нескольких замечаний будет достаточно, чтобы пояснить соединенное действие таких влияний. Известно, что части данного вида нередко переходят к новому роду пищи. Белки, например, если случится неурожай на шишки в лиственничных лесах, переходят в сосновые боры, и эта перемена пищи производит известные физиологические эффекты в организме этих белок. Если это изменение привычек будет непродолжительно, — если в следующем же году будет опять изобилие шишек в темных лиственничных лесах, то никакой новой разновидности белок, очевидно, не образуется. Но если часть обширного пространства, занимаемого

белками, начнет изменять свой физический характер — скажем, вследствие смягчения климата или высыхания, причем обе эти причины будут способствовать увеличению площади сосновых боров, в ущерб лиственный лесам, — и, если некоторые другие условия будут содействовать тому, чтобы часть белок держалась на окраинах области, тогда получится новая разновидность, т.е. зарождающийся новый вид белок; но появление этой разновидности не будет сопровождаться решительно ничем таким, что могло бы заслужить название истребления среди белок. Каждый год несколько большая пропорция белок этой новой, лучше приспособленной, разновидности будет выживать по сравнению с другими, и промежуточные звенья будут вымирать с течением времени, из года в год, вовсе не будучи обрекаемы на голодную смерть своими мальтузианскими конкурентами. Именно подобные процессы и совершаются на наших глазах, вследствие великих физических изменений, происходящих на обширных пространствах Центральной Азии вследствие высыхания, которое идет там со

времени ледникового периода.

Возьмем другой пример. Доказано геологами, что современная дикая лошадь (*Equus Pnewalskii*) есть результат медленного процесса эволюции, совершавшегося в течение позднейших частей третичного и всего четверичного (ледникового и послеледникового) периода; но что в течение этого длинного ряда столетий предки теперешней лошади не оставались на каком-нибудь одном определенном пространстве земного шара. Напротив того, они странствовали по Старому и Новому Свету, по всей вероятности, вернулись, в конце концов, вполне видоизмененные, к тем самым пастбищам, которые они когда-то оставили в течение своих многих переселений. Из этого ясно, что если мы не находим теперь в Азии всех промежуточных звеньев между современной дикой лошадью и ее азиатскими третичными предками, это вовсе не значит, чтобы промежуточные звенья были истреблены. Подобного истребления никогда не происходило. Даже никакой особенно высокой смертности могло не быть среди прародительских видов нынешней лошади:

особи, принадлежавшие к промежуточным разновидностям и видам, умирали при самых обычных условиях — часто даже среди изобилия пищи, — и их остатки рассыпаны теперь в недрах земли по всему земному шару.

Короче говоря, если мы вдумаемся в этот предмет и внимательно перечитаем то, что сам Дарвин писал о нем, мы увидим, что если уже употреблять слово «истребление» в связи с переходными разновидностями, то его следует употреблять в метафорическом, переносном смысле. Что же касается до «соперничества», или «состязания» (competition), то это выражение также постоянно употреблялось Дарвином (см., например, главу «об угасании»), скорее, как образ или как способ выражения, не придавая ему значения действительной борьбы за средства существования между двумя частями одного и того же вида. Во всяком случае отсутствие промежуточных форм не составляет аргумента в пользу интенсивной борьбы и состязания. В действительности, главным аргументом для доказательства острого состязания из-за средств существования — соревнования, продолжающе-

гося непрестанно в пределах каждого животного вида, является, по выражению проф. Гедса, «ариометический аргумент», заимствованный у Мальтуса.

Но этот аргумент ничего подобного не доказывает. С таким же правом мы могли бы взять несколько сел в юго-восточной России, обитатели которых не терпели недостатка в пище, но вместе с тем никогда не имели никаких санитарных приспособлений; и заметивши, что за последние семьдесят или восемьдесят лет средняя рождаемость достигла у них 60 на 1000, а между тем население за это время нисколько не увеличилось, — мы могли бы прийти к заключению, что между обитателями этих деревень идет чрезвычайно обостренная борьба за пищу. В действительности же окажется, что население не возрастает по той простой причине, что одна треть новорожденных умирает каждый год, не достигнув шестимесячного возраста; половина детей умирает в течение следующих четырех лет, и из каждой сотни родившихся только семнадцать достигают двадцатилетнего возраста. Таким образом, новые пришель-

цы в мире уходят из него раньше, чем достигают возраста, когда они могли бы стать конкурентами. Очевидно, что если нечто подобное может происходить в людской среде, то тем более оно вероятно среди животных. И действительно, в мире пернатых уничтожение яиц идет в таких колоссальных размерах, что в начале лета яйца составляют главную пищу нескольких видов животных; не говоря уже о бурях и наводнениях, истребляющих миллионы гнезд в Америке и в Азии, и о внезапных переменах погоды, от которых массы гибнут молодые особи у млекопитающих. Каждая буря, каждое наводнение, каждое посещение птичьего гнезда крысою, каждая внезапная перемена температуры уничтожают тех соперников, которые кажутся столь страшными в теории.

Что же касается до фактов чрезвычайно быстрого размножения лошадей и рогатого скота в Америке, а также свиней и кроликов в Новой Зеландии, с тех пор как европейцы ввезли их в эти страны, и даже диких животных, ввезенных из Европы (где количество их уменьшается человеком, а вовсе не соперни-

чеством), то они, по-видимому, скорее, противоречат теории избыточного населения. Если лошади и рогатый скот могли с такой быстротой размножиться в Америке, то это просто доказывает, что как ни были в то время бесчисленны бизоны и другие животные в Новом Свете, его травоядное население все-таки было далеко ниже того количества, которое могло бы прокормиться в прериях. Если миллионы новых пришельцев все-таки находили достаточно пищи, не заставляя голодать прежнее население прерий, мы, скорее, должны прийти к заключению, что европейцы нашли в Америке не излишек, а недостаточное количество травоядных. И у нас имеются серьезные основания думать, что такая недостаточность животного населения представляет естественное положение вещей на поверхности всего земного шара, за немногими, и то временными, исключениями из этого общего правила. Действительно, наличное количество животных на данном пространстве земли определяется вовсе не высшею продовольственной способностью этого пространства, а тем, что оно представляет каждый год

при наименее благоприятных условиях. Так что вследствие одной этой причины состязание, борьба из-за пищи едва ли может быть нормальным условием жизни; но, помимо этого, есть еще другие причины, которые в свою очередь низводят животное население еще ниже этого невысокого уровня. Если мы возьмем лошадей (также и рогатый скот), которые всю зиму проводят на подножном корму в степях Забайкалья, то мы найдем всех их очень исхудалыми и истощенными в конце зимы. Это истощение, впрочем, оказывается результатом не недостатка в корме, так как под тонким слоем снега везде имеется трава в изобилии; причина его лежит в трудности добывания травы из-под снега, а эта трудность одинакова для всех лошадей. Кроме того, ранней весной обыкновенно бывает гололедица, и если она продолжится несколько дней подряд, то лошади приходят в еще большее изнурение. Но вслед за тем часто наступают бураны, метели, и тогда животные, уже ослабевшие, вынуждены бывают оставаться по нескольку дней совершенно без корма, вследствие чего они падают в очень больших коли-

чествах. Потери в течение весны бывают так велики, что, если весна отличалась особою суровостью, они не могут быть пополнены даже новым приплодом — тем более что все лошади бывают истощены, и жеребята рождаются слабыми. Количество лошадей и рогатого скота всегда остается, таким образом, гораздо ниже того уровня, на котором оно могло бы держаться, если бы не было этой специальной причины холодной и бурной весны: в продолжение всего года имеется пищи в изобилии: ее хватило бы на количество животных в пять или десять раз больше, чем то, которое существует в действительности, а между тем животное население степей возрастает чрезвычайно медленно. Но лишь только буряты, владельцы скота и табунов, начинают делать хотя бы самые незначительные запасы сена в степи и открывают к ним доступ во время гололедицы или глубоких снегов, как немедленно замечается увеличение их стад и табунов. Почти в таких же условиях находятся почти все живущие на свободе травоядные животные и многие грызуны Азии и Америки, а потому мы с уверенностью можем утвер-

ждать, что их численность понижается не путем соперничества и взаимной борьбы; что ни в какое время года им не приходится бороться из-за пищи; и что если они никогда не размножаются до степени перенаселения, то причина этого лежит в климате, а не во взаимной борьбе из-за пищи.

Значение в природе естественных препятствий к излишнему размножению, и в особенности их отношение к гипотезе соревнования, по-видимому, никогда еще не принимались в расчет в должной мере. Об этих препятствиях или, точнее, об некоторых из них упоминается мимоходом, но до сих пор их воздействие не разбиралось в подробности. Между тем если сравнить действительное воздействие естественных причин на жизнь животных видов с возможным воздействием соперничества внутри вида, мы тотчас же должны признать, что последнее не выдерживает никакого сравнения с предыдущим. Так, например, Бэтс упоминает о просто невообразимом количестве крылатых муравьев, которые гибнут, когда роятся. Мертвые или полумертвые тела огненных муравьев

(*Myrmica saevissima*), нанесенные в реку во время шторма, «представляли валик в дюйм или два высоты и такой же ширины, причем этот валик тянулся без перерыва на протяжении нескольких миль у края воды». Мириады муравьев были таким образом уничтожены среди природы, которая могла бы прокормить в тысячу раз больше муравьев, чем их жило тогда в этом месте. Д-р Альтум, немецкий лесничий, который написал очень поучительную книгу о животных, вредящих нашим лесам, также дает много фактов, указывающих на огромную важность естественных препятствий чрезмерному размножению. Он говорит, что ряд бурь или же холодная и туманная погода во время отравлянья сосновой моли (*Bombuxrini*) уничтожает ее в невероятных количествах, и весной 1871 года вся эта моль исчезла сразу, вероятно уничтоженная рядом холодных ночей. Много подобных примеров можно было бы привести относительно насекомых разных частей Европы. Д-р Альтум также упоминает о птицах, пожирающих сосновую моль, и об огромном количестве яиц этого насекомого, уничтожаемых лисица-

ми; но он добавляет, что паразитные грибки, нападающие на нее периодически, оказываются гораздо более ужасными врагами моли, чем какая бы то ни была птица, так как они уничтожают моль сразу на огромном пространстве. Что же касается до различных видов мышей (*Mus sylvaticus*, *Arvicola arvalis* и *L. agrestis*), то Альтум, приведя длинный список их врагов, замечает: «Однако самыми страшными врагами мышей являются не другие животные, а те внезапные перемены погоды, которые случаются почти каждый год». Если морозы и теплая погода начинают чередоваться, они уничтожают их в бесчисленных количествах: «одна такая внезапная перемена погоды может из многих тысяч мышей оставить в живых всего несколько особей». С другой стороны, теплая зима или зима, наступающая постепенно, дает им возможность размножаться в угрожающей пропорции, невзирая ни на каких врагов; так было в 1876 и 1877 годах. Соперничество оказывается, таким образом, по отношению к мышам совершенно ничтожным фактором в сравнении с погодой. Факты такого же рода даны тем же

автором и относительно белок.

Что же касается птиц, то всем нам хорошо известно, как они страдают от внезапных перемен погоды. Метели позднею весною так же губительны для птиц на диких местах Англии (moors), как и в Сибири; и г. Диксону приходилось видеть красных тетеревов, доведенных до того исключительно суровыми зимними холодами, что они в больших количествах покидали дикие места, «и нам известны случаи, когда их ловили на улицах Шеффилда. Продолжительная сырая погода, — прибавляет он, — почти также губительна для них».

С другой стороны, заразные болезни, которые посещают по временам большинство животных видов, уничтожают их в таких количествах, что потери часто не могут быть пополнены в течение многих лет, даже среди наиболее быстро размножающихся животных. Так, например, в сороковых годах суслики внезапно исчезли в окрестностях Сарепы, в юго-восточной России, вследствие какой-то эпидемии, и в течение многих лет в этой местности нельзя было встретить ни одного

суслика. Прошло много лет, раньше чем они размножились по-прежнему.

Подобных фактов, из которых каждый уменьшает значение, придаваемое соперничеству и борьбе внутри вида, можно было бы привести множество. Конечно, можно было бы ответить на них словами Дарвина, — что тем не менее каждое органическое существо в какой-нибудь период своей жизни, в продолжение какого-нибудь времени года, в каждом поколении или по временам должно бороться за существование и претерпевать великое истребление, и что лишь наиболее приспособленные переживают подобные периоды тяжелой борьбы за существование. Но если бы эволюция животного мира была основана исключительно, или даже преимущественно, на переживании наиболее приспособленных в периоды бедствий; если бы естественный подбор был органичен в своем воздействии периодами исключительной засухи, или внезапных перемен температуры, или наводнений, — то прогресс был бы общим правилом в животном мире. Те, которые переживают голод или эпидемию холеры,

оспы или дифтерита, свирепствующих в тех размерах, которые наблюдаются в нецивилизованных странах, вовсе не являются ни наиболее сильными, ни наиболее здоровыми, ни наиболее разумными. Никакой прогресс не мог бы основаться на подобных переживаниях, — тем более что все пережившие обыкновенно выходят из испытания с подорванным здоровьем подобно тем забайкальским лошадям, о которых мы упоминали выше, или экипажам арктических судов, или гарнизонам крепостей, вынужденным жить в течение нескольких месяцев на половинных рационах, и по прекращении осады выходящие с разбитым здоровьем и с проявляющейся впоследствии склонностью к совершенно ненормальной смертности. Все, что естественный подбор может сделать в периоды бедствий, сводится к сохранению особей, одаренных наибольшею выносливостью в перенесении всякого рода лишений. Такова и есть роль естественного подбора среди сибирских лошадей и рогатого скота. Они, действительно, отличаются выносливостью; они могут питаться, в случае необходимости, полярной бе-

резой; они могут противостоять холоду и голоду. Но зато сибирская лошадь может нести только половину того груза, который без напряжения несет европейская лошадь; ни одна сибирская корова не дает половины того количества молока, которое дает джерсейская корова, и ни один туземец нецивилизованных стран не выдержит сравнения с европейцами. Такие туземцы могут легче выносить голод и холод, но их физические силы гораздо ниже сил хорошо питающегося европейца, а их умственный прогресс совершается с отчаянной медленностью. «Зло не может породить добра», — как писал Чернышевский в замечательном очерке, посвященном дарвинизму [11].

К счастью, состязание не составляет общего правила ни для животного мира, ни для человечества. Оно ограничивается, среди животных, известными периодами, и естественный подбор находит лучшую почву для всей деятельности. Лучшие условия для прогрессивного подбора создаются устранением состязания путем взаимной помощи и взаимной поддержки.

В великой борьбе за существование — за наиболее возможную полноту и интенсивность жизни при наименьшей ненужной трате энергии — естественный подбор постоянно выискивает пути именно с целью избежать, насколько возможно, состязания. Муравьи объединяются в гнезда и племена; они делают запасы, воспитывают для своих нужд «коров» и таким образом избегают состязания; и естественный подбор выбирает из всех муравьев те виды, которые лучше умеют избегать внутреннего состязания с его неизбежными пагубными последствиями. Большинство наших птиц медленно перекочевывает к югу, по мере наступления зимы, или же они собираются бесчисленными сообществами и предпринимают далекие путешествия и, таким образом, избегают состязания. Многие грызуны впадают в спячку, когда наступает время возможного состязания, а другие породы грызунов запасаются на зиму пищей и собираются вместе обширными поселениями, дабы иметь необходимую защиту во время работы. Олени, когда олений мох засыхает внутри материка, переселяются по направле-

нию к морю. Буйволы пересекают огромные материки ради изобилия пищи. А колонии бобров, когда они чересчур расплодятся на реке, разделяются на две части: старики уходят вниз по реке, а молодые идут вверх, для того чтобы избежать состязания. А если, наконец, животные не могут ни впасть в спячку, ни переселиться, ни сделать запасов пищи, ни сами выращивать потребную пищу, как это делают муравьи, — тогда они поступают, как синицы (прекрасное описание см. у Уоллэса, «Darwinism», гл. V), а именно: они переходят к новому роду пищи и, таким образом, опять-таки избегают состязания.

«Один из самых обычных способов, которыми действует естественный подбор, — говорит Дарвин, — это — приспособление некоторых особей данного вида к несколько различному образу жизни, вследствие чего они могут захватить еще не захваченные места в природе» («Происхождение видов», гл. VI), другими словами — избегнуть состязания.

«Избегайте состязания! Оно всегда вредно для вида, и у вас имеется множество средств избежать его!» Такова тенденция при-

роды, не всегда его вполне осуществляемая, но всегда ей присущая. Таков лозунг, доносящийся до нас из кустарников, лесов, рек, океанов. «А потому объединяйтесь практикуйте взаимную помощь! Она представляет самое верное средство для обеспечения наибольшей безопасности, как для каждого в отдельности, так и для всех вместе; она является лучшей гарантией для существования и прогресса физического, умственного и нравственного». Вот чему учит нас Природа; и этому голосу Природы вняли все те животные, которые достигли наивысшего положения в своих соответствующих классах. Этому же велению Природы подчинился человек — самый первобытный человек, — и лишь вследствие этого он достиг того положения, которое мы занимаем теперь. В справедливости этого читатель убедится из последующих глав, посвященных взаимной помощи в человеческих обществах. (...)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если взять теперь то, чему учит нас рассмотрение современного общества в связи с фактами, указывающими на значение взаимной помощи в постепенном развитии животного мира и человечества, мы можем вывести из нашего исследования следующие заключения.

В животном мире мы убедились, что огромное большинство видов живет сообществами и что в общительности они находят лучшее оружие для борьбы за существование, понимая, конечно, этот термин в его широком, дарвиновском смысле: не как борьбу за прямые средства к существованию, но как борьбу против всех естественных условий, неблагоприятных для вида. Виды животных, у которых индивидуальная борьба доведена до самых узких пределов, а практика взаимной помощи достигла наивысшего развития, оказываются неизменно наиболее многочисленными, наиболее процветающими и наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу. Взаимная защита, получающаяся

В таких случаях, а вследствие этого возможность достижения преклонного возраста и накопления опыта, высшее умственное развитие и дальнейший рост общежительных навыков, — обеспечивают сохранение вида, его распространение на более широкой площади и дальнейшую прогрессивную эволюцию. Напротив, необщительные виды, в громадном большинстве случаев, осуждены на вырождение.

Переходя затем к человеку, мы нашли его живущим родами и племенами уже на самой заре каменного века; мы видели обширный ряд общественных учреждений и привычек, развившихся уже на низшей ступени развития дикарей, в пределах рода. И мы нашли, что древнейшие родовые обычаи и навыки дали человечеству, в зародыше, все те институты, которые позднее послужили главнейшими импульсами дальнейшего прогресса. Из родового быта дикарей выросла варварская деревенская община; и новый, еще более обширный круг общительных обычаев, навыков и институций, часть которых дожила и до нашего времени, развился под сенью принци-

пов общего владения данною землею и защиты ее общими силами, и под защитою судебных прав деревенского мирского схода и федерации деревень, принадлежавших или предполагавших, что они принадлежат к одному общему племени. И когда новые потребности побудили людей сделать новый шаг в их развитии, они образовали народоправства вольных городов, которые представляли двойную сеть: земельных единиц (деревенских общин) и гильдий, возникших из общих занятий данным искусством или ремеслом или же для взаимной защиты и поддержки.

Наконец, в последних двух главах были собраны факты, указывающие, что хотя образование государств по образцу императорского Рима насильственно уничтожило все средневековые учреждения для взаимной поддержки, эта новая форма цивилизации не могла, однако, долго продержаться в таком виде, не уступивши той же живой потребности людей в прямом объединении для целей взаимной поддержки. Государство, опирающееся на мало связанные между собою агрегаты единичных личностей и взявшие на себя задачу

быть их единственным объединяющим началом, не ответило своей цели. В конце концов, стремление людей к взаимной помощи разрушило железные законы государства; оно проявилось снова и утвердилось в бесконечном разнообразии всевозможных сообществ, которые и стремятся теперь охватить все проявления жизни, овладеть всем, что потребно для человеческой жизни и для заполнения трат, обусловленных жизнью.

Вероятно, нам заметят, что взаимная помощь, хотя она и представляет один из факторов эволюции, все-таки является только одним из различных видов отношений людей между собою; что рядом с этим течением, как бы оно ни было могущественно, существует и всегда существовало другое течение самоутверждение индивидуума, не только в его усилиях достигнуть личного или кастового превосходства в экономическом, политическом или духовном отношении, но также в его более важной, хотя и менее заметной функции разрывания тех уз, всегда стремящихся к окристаллизации, окаменению, которые род, деревенская община, город или

государство налагают на личность. Другими словами, в человеческом обществе имеется также самоутверждение индивидуума, рассматриваемое как элемент прогресса.

Очевидно, что никакой обзор эволюции не может претендовать на полноту, если в нем не будут рассмотрены оба эти господствующих течения. Но дело в том, что самоутверждение индивидуума или групп индивидуумов, их борьба за превосходство и проистекавшие из нее столкновения и борьба были уже с незапамятных времен разбираемы, описываемы и прославляемы. Действительно, вплоть до настоящего времени одно это течение и пользовалось вниманием эпических поэтов, историков, летописцев и социологов. История, как ее до сих пор писали, почти всецело является описанием тех путей и средств, при помощи которых церковная власть, военная власть, политическое единодержавие, а позднее богатые классы, устанавливали и удерживали свое правление. Борьба между этими силами и составляет в действительности сущность истории. Мы можем, поэтому, считать, что значение индивидуально-

го фактора в истории человечества вполне известно, хотя и в этой области остается еще немало поработать в только что указанном направлении. Между тем фактор взаимной помощи до сих пор оставался совершенно забытым; писатели настоящего и прошлого поколений просто отрицали его или подсмеивались над ним. Вследствие этого необходимо было, прежде всего, установить ту огромную роль, которую этот фактор играет в эволюции, как животного мира, так и человеческих обществ. Лишь после того, как это его значение будет вполне признано, возможно будет начать сравнение обоих факторов: общественного и индивидуального.

Произвести более или менее статистическим методом хотя бы грубую оценку их относительного значения, очевидно, невозможно. Одна какая-нибудь война как все мы знаем — может, непосредственно или своими последствиями, принести больше зла, чем сотни лет беспрепятственного воздействия принципа взаимной помощи могут произвести добра. Но когда мы видим, что в животном мире прогрессивное развитие и взаимная помощь

идут рука об руку, а внутренняя борьба в пределах вида, напротив того, сопровождается ретрогрессивным развитием; когда мы замечаем, что у человека даже успех в борьбе и в войне пропорционален развитию взаимной помощи в каждой из двух борющихся сторон, будут ли то нации, города, племена или только партии, и что в процессе эволюции сама война (поскольку она может содействовать в этом направлении) подчиняется конечным целям прогресса взаимной помощи в пределах нации, города или племени, — сделавши эти наблюдения, мы уже получаем представление о преобладающем влиянии фактора взаимной помощи, как элемента прогресса.

Но мы видим также, что практика взаимной помощи и ее последовательное развитие создали самые условия общественной жизни, благодаря которым человек смог развить свои ремесла и искусства, свою науку и свой разум; и мы видим, что периоды, когда институты, имевшие целью взаимную помощь, достигали своего высшего развития, были также периодами величайшего прогресса в области искусств, промышленности и науки.

Действительно, изучение внутренней жизни средневековых городов и городов Древней Греции обнаруживает тот факт, что сочетание взаимной помощи, как она практиковалась в пределах гильдии, с общиной или греческим родом, — при широкой инициативе, предоставленной индивидууму и группе в силу применения федеративного начала, — дало человечеству два величайших периода его истории — период городов Древней Греции и период средневековых городов, тогда как разрушение институций взаимной помощи, совершившееся в течение последовавших затем государственных периодов истории, соответствует в обоих случаях периодам быстрого упадка.

Что же касается до внезапного промышленного прогресса, который совершился в XIX веке и который обыкновенно приписывается торжеству принципов индивидуализма и конкуренции, этот прогресс, вне всякого сомнения, имеет несравненно более глубокое происхождение. После того, как были сделаны великие открытия XV века, в особенности открытие давления атмосферы, поддержан-

ное целым рядом других успехов в области физики — а эти открытия были сделаны в средневековых городах — после этих открытий изобретение парового двигателя и вся та промышленная революция, которая была вызвана применением новой силы — пара, были необходимым последствием. Если бы средневековые города дожили до развития начатых ими открытий, т.е. до практического применения нового двигателя, то этические последствия революции, вызванной применением пара, могли бы носить иной характер; но та же самая революция в области техники производств и науки и тогда была бы неизбежна. Остается, однако, открытым вопрос, не было ли замедлено появление паровой машины, а также последовавший затем переворот в области искусств, тем общим упадком ремесел, который последовал за разрушением свободных городов и был особенно заметен в первой половине XVIII века. Рассматривая поразительную быстроту промышленного прогресса в период с XII до XV столетия, — в ткацком деле, в обработке металлов, в архитектуре, в мореплавании, — и размышляя над на-

учными открытиями, к которым этот промышленный прогресс привел в конце XV века, — мы в праве задать вопрос: не запоздало ли человечество в исполнении всех этих научных завоеваний, когда в Европе начался общий упадок в области искусств и промышленности вслед за падением средневековой цивилизации? Конечно, исчезновение артистов, ремесленников, каких произвела Флоренция, Нюрнберг и т.д., упадок крупных городов и прекращение сношений между ними не могли благоприятствовать промышленной революции, и нам известно, например, что Джемс Уатт, изобретатель современной паровой машины, потратил около двадцати лет своей жизни, чтобы сделать свое изобретение практически полезным, так как он не мог найти в XVIII веке таких помощников, каких он с легкостью бы нашел в средневековой Флоренции, Нюрнберге или Брюгге, т.е. ремесленников, способных воплотить его изобретения в металле и придать им ту художественную законченность и точность, которые необходимы для паровой машины.

Таким образом, приписывать промышлен-

ный прогресс XIX века войне каждого против всех — значит рассуждать подобно тому, кто, не зная истинных причин дождя, приписывает его жертве, принесенной человеком глиняному идолу. Для промышленного прогресса, как для всякого иного завоевания в области природы, взаимная помощь и тесные сношения, несомненно, являются и являлись более выгодными, чем взаимная борьба.

Великое значение начала взаимной помощи выясняется, однако, в особенности в области этики, или учения о нравственности. Что взаимная помощь лежит в основе всех наших этических понятий, достаточно очевидно. Но каких бы мнений мы ни держались относительно первоначального происхождения чувства или инстинкта взаимной помощи — будем ли мы приписывать его биологическим или сверхъестественным причинам — мы должны признать, что проследить его существование возможно уже на низших ступенях животного мира, а от этих стадий мы можем проследить непрерывную его эволюцию через все классы животного мира и, несмотря на значительное количество противодействи-

ющих ему влияний, через все ступени человеческого развития, вплоть до настоящего времени. Даже новые религии, рождающиеся от времени до времени — всегда в эпохи, когда принцип взаимопомощи приходил в упадок, в теократиях и деспотических государствах Востока, или при падении Римской империи — даже новые религии всегда являлись только подтверждением того же самого начала. Они находили своих первых последователей среди смиренных, низших, попираемых слоев общества, где принцип взаимной помощи является необходимым основанием всей повседневной жизни; и новые формы единения, которые были введены в древнейших буддистских и христианских общинах, в общинах моравских братьев и т.д., приняли характер возврата к лучшим видам взаимной помощи, практиковавшимся в древнем родовом периоде.

Каждый раз, однако, когда делалась попытка возвратиться к этому старому принципу, его основная идея расширялась. От рода она распространилась на племя, от федерации племен она расширилась до нации и, на-

конец, — по крайней мере, в идеале — до всего человечества. В то же самое время она постепенно принимала более возвышенный характер. В первобытном христианстве, в произведениях некоторых мусульманских вероучителей, в ранних движениях реформационного периода, и в особенности в этических и философских движениях XVIII века и нашего времени, все более и более настойчиво отмечается идея мести или «достодолжного воздаяния» — добром за добро и злом за зло. Высшее понимание: «Никакого мщения за обиду» — и принцип: «Давай ближнему не считая — больше, чем ожидаешь от него получить», провозглашаются как действительные принципы нравственности, как принципы, стоящие выше простой «равноценности», беспристрастия и холодной справедливости, как принципы, скорее и вернее ведущие к счастью. И человека призывают руководиться в своих действиях не только любовью, которая всегда имеет личный или, в лучших случаях, родовой характер, но понятием о своем единстве со всяким человеческим существом.

В практике взаимной помощи, которую

мы можем проследить до самых древнейших зачатков эволюции, мы, таким образом, находим положительное и несомненное происхождение наших этических представлений, и мы можем утверждать, что главную роль в этическом прогрессе человека играла взаимная помощь, а не взаимная борьба. В широком распространении принципа взаимной помощи, даже и в настоящее время, мы также видим лучший задаток еще более возвышенной дальнейшей эволюции человеческого рода.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ НАУКА И АНАРХИЯ

1. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И АНАРХИЯ

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНАРХИИ

Два основных течения в обществе: народное и начальническое. — Сродство анархизма с народно-созидательным течением.

Анархия, конечно, ведет свое происхождение не от какого-нибудь научного открытия и не от какой-нибудь системы философии. Общественные науки еще очень далеки от того момента, когда они получают ту же степень точности, как физика или химия. И если мы в изучении климата и погоды не достигли еще того, чтобы предсказывать предстоящую погоду за месяц или даже неделю вперед, то было бы нелепо претендовать, что в общественных науках, имеющих дело с явлениями гораздо более сложными, чем ветер и дождь, мы могли бы уже предсказывать научно грядущие события. Не надо забывать тем более,

что ученые — такие же люди, как и все другие, и что в большинстве они принадлежат к зажиточным классам и поэтому разделяют все предрассудки этих классов; многие из них даже находятся прямо на службе у государства. Понятно, что не из университетов идет к нам анархизм.

Как и социализм вообще и как всякое другое общественное движение, анархизм родился среди народа, и он сохранит свою жизненность и творческую силу только до тех пор, пока он будет оставаться народным.

Во все времена в человеческих обществах сталкивались в борьбе два враждебных течения. С одной стороны, народ, народные массы вырабатывали в форме обычая множество учреждений, необходимых для того, чтобы сделать жизнь в обществах возможной, — чтобы поддержать мир, улаживать ссоры и оказывать друг другу помощь во всем, что требует соединенных усилий. Родовой быт у дикарей, затем, позднее, сельская община и, еще позднее, промышленная гильдия и средневековые вольные города — республики вечнового строя, которые положили первые ос-

нования международного права, — все эти и многие другие учреждения были выработаны не законодателями, а творческим духом самих народных масс.

С другой стороны, во все времена существовали колдуны, маги, вызыватели дождя, оракулы, жрецы. Они были первыми обладателями знания природы и первыми основателями различных религиозных культов (культ солнца, сил природы, предков и т.д.), так же как различных обрядностей, помогавших поддерживать единство союзов между отдельными племенами.

В эти времена первые зачатки изучения природы (астрономия, предсказание погоды, изучение болезней и т.д.) были тесно связаны с различными суевериями, выраженными в различных обрядностях и культах. Все искусства и ремесла имели такое же происхождение и вытекали из изучения и суеверий. И каждое из них имело свои мистические формулы, которые сообщались только посвященным и оставались старательно скрытыми от народных масс.

Рядом с этими первыми представителями

науки и религии мы находим также людей, которые, как барды, ирландские брегоны, сказители законов у скандинавских народностей и т.д., рассматривались как знатоки и хранители преданий и старых обычаев, к которым все должны были обращаться в случае несогласия и ссор... Они хранили законы в своей памяти (иногда при помощи знаков, которые были зачатками письма), и в случае разногласий к ним обращались как к посредникам.

Наконец, были также временные начальники боевых дружин, владевшие, как предполагалось, колдовскими чарами, при помощи которых они могли обеспечить победу; они владели также тайнами отравления оружия и другими военными секретами.

Эти три категории людей всегда, с незапамятных времен составляли между собой тайные общества, чтобы сохранять и передавать следующему поколению (после долгого и тяжелого периода посвящения) тайны их специальностей; и если иногда они боролись друг с другом, они всегда кончали тем, что приходили к взаимному соглашению. Тогда они спланивались между собой, вступали в

союз и поддерживали друг друга, чтобы господствовать над народом, держать его в повиновении, управлять им — и заставлять его работать на них.

Очевидно, что анархизм представляет собой первое из этих двух течений то есть творческую созидательную силу самого народа, выработавшего учреждения обычного права, чтобы лучше защититься от желающего господствовать над ним меньшинства. Именно силою народного творчества и народной созидательной деятельности, опирающейся на всю мощь современной науки и техники, анархизм и стремится теперь выработать учреждения, необходимые для обеспечения свободного развития общества, — в противоположность тем, кто возлагает всю свою надежду на законодательство, выработанное правительством, состоящим из меньшинства и захватившим власть над народными массами при помощи суровой жестокой дисциплины.

В этом смысле анархисты и государственники существовали во все времена истории.

Затем во все времена происходило также

то, что все учреждения, даже самые лучшие, которые были выработаны первоначально для поддержания равенства, мира и взаимной помощи, со временем застывали, окаменевали по мере того, как они старели и дряхлели. Они теряли свой первоначальный смысл, подпадали под владычество небольшого, властолюбивого меньшинства и кончали тем, что становились препятствием для дальнейшего развития общества. Тогда отдельные личности восставали против этих учреждений. Но, тогда как одни из этих недовольных, восставая против учреждения, которое, устарев, стало стеснительным, старались видоизменить его в интересах всех, и в особенности низвергнуть чуждую ему власть, которая в конце концов завладела этим учреждением, — другие стремились освободиться от того или иного общественного установления (род, сельская коммуна, гильдия и т.д.) исключительно для того, чтобы стать вне этого учреждения и над ним, — чтобы господствовать над другими членами общества и обогащаться на их счет.

Все реформаторы, политические, религиоз-

ные и экономические, принадлежали к первой из этих категорий. И среди них всегда находились такие личности, которые, не дожидаясь того, чтобы все их сограждане или даже меньшинство среди них прониклись теми же взглядами, шли сами вперед и восставали против угнетения — или более-менее многочисленными группами или совсем одни, если за ними никто не следовал. Таких революционеров мы встречаем во все эпохи истории.

Однако сами революционеры были также двух совершенно различных родов. Одни из них, вполне восставая против власти, выросшей внутри общества, вовсе не стремились уничтожить ее, а желали только завладеть ею сами. На место власти, устаревшей и ставшей стеснительной, они стремились образовать новую власть, обладателями которой они должны были стать сами, и они обещали, часто вполне чистосердечно, что новая власть будет держать близко к сердцу интересы народа, истинной представительницей которого она явится, — но это обещание позднее неизбежно ими забывалось или нарушалось. Таким образом, между прочим, создавалась им-

ператорская власть цезарей в Риме, церковная власть в первые века христианства, власть диктаторов в эпоху упадка средневековых городов-республик и так далее. То же течение было использовано для образования в Европе королевской власти в конце феодального периода. Вера в императора-«народника», Цезаря, не угасла еще даже и в наши дни.

Но рядом с этим государственным течением утверждалось также другое течение в такие эпохи пересмотра установленных учреждений. Во все времена, начиная с Древней Греции и до наших дней, появлялись личности и течения мысли и действия, стремившиеся не к замене одной власти другой, а к полному уничтожению власти, завладевшей общественными учреждениями, не создавая вместо нее никакой другой власти. Они провозглашали верховные права личности и народа и стремились освободить народные учреждения от государственных наростов, чтобы иметь возможность дать коллективному народному творчеству полную свободу, чтобы народный гений мог свободно перестроить учреждения взаимной помощи и за-

щиты, согласно новым потребностям и новым условиям существования. В городах Древней Греции и особенно в средневековых городах (Флоренция, Псков и т.д.) мы находим много примеров борьбы этого рода.

Мы можем, следовательно, сказать, что всегда существовали якобинцы и анархисты между реформаторами и революционерами.

В прошлые века происходили даже громадные народные движения, запечатленные анархическим характером. Многие тысячи людей в селах и городах поднимались тогда против государственного принципа, против органов государства и его орудий — судов и законов — и провозглашали верховные права человека. Они отрицали все писанные законы и утверждали, что каждый должен повиноваться лишь голосу своей собственной совести. Они стремились создать, таким образом, общество, основанное на принципах равенства, полной свободы и труда. В христианском движении, начавшемся в Иудее в правление Августа против римского закона, против римского государства и римской тогдашней нравственности (или, вернее, безнрав-

ственности), было, без сомнения, много серьезных анархических элементов. Но понемногу оно выродилось в церковное движение, построенное по образцу древнееврейской церкви и самого императорского Рима, — и это, очевидно, убило то, что христианство имело в себе анархического в начале своего существования; оно придало ему римские формы и сделало из него в скором времени главный оплот и поддержку власти, государства, рабства и угнетения. Первые зародыши «оппортунизма», которые были введены в христианство, уже заметны в Евангелиях и в Посланиях Апостолов или, по крайней мере, в тех редакциях этих писаний, которые составляют Новый Завет.

Точно так же в движении анабаптистов шестнадцатого века, которое начало и произвело Реформацию, было очень много анархического. Но раздавленное теми из реформаторов, которые под руководством Лютера соединились с принцами и князьями против восставших крестьян, это движение было задавлено ужасными кровавыми расправами над крестьянами и «простонародьем» городов. То-

гда правое крыло реформаторов выродилось понемногу и превратилось в тот компромисс со своею совестью и государством, который существует теперь под именем протестантизма.

Итак, подводя вкратце итог сказанному, — анархизм родился из того же протеста, критического и революционного, из которого родился вообще весь социализм. Только некоторые социалисты, дойдя до отрицания капитала и общественного строя, основанного на порабощении труда капиталом, остановились на этом. Они не восстали против того, что составляет, по нашему мнению, истинную силу капитала — государства и его главных оплотов: централизации власти, закона (составленного всегда меньшинством и в пользу меньшинства) и суда, созданных главным образом ради защиты власти и капитала.

Что касается анархизма, то он не останавливается на одной критике этих учреждений. Он поднимает свою святотатственную руку не только против капитала, но также против его оплотов: государства, централизации и установленных государством законов и суда.

II. УМСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ XVIII в.

Его основные черты: исследования всех явлений научным методом.

Но если анархизм, подобно всем другим революционным направлениям, зародился среди народов, в шуме борьбы, а не в кабинете ученого, то тем не менее важно знать, какое место он занимает среди различных научных и философских течений мысли, существующих в настоящее время? Как относится анархизм к этим различным течениям? На которое из них он преимущественно опирается? Каким методом исследования он пользуется, чтобы обосновать и подкрепить свои выводы и заключения? Иначе говоря, к какой школе философии права принадлежит анархизм? И с каким из ныне существующих направлений в науке он выказывает наибольшее сходство?

Ввиду того непомерного увлечения экономической метафизикой, которое мы видели в последнее время в социалистических кругах, этот вопрос представляет известный интерес. Поэтому я постараюсь ответить на него кратко и возможно просто, избегая мудреных слов

там, где их можно избежать.

Умственное движение XIX в. ведет свое происхождение от работ английских и французских философов середины и начала предыдущего столетия.

Всеобщий подъем мысли, начавшийся в ту пору, воодушевил этих мыслителей желанием охватить все человеческие знания в одной общей системе — системе природы. Отбросив окончательно средневековую схоластику и метафизику, они имели смелость взглянуть на всю природу — на звездный мир, на нашу солнечную систему и на наш земной шар, на развитие растений, животных и человеческих существ на поверхности земли — как на ряд фактов, могущих быть изученными по такому же методу, по какому изучают естественные науки.

Широко пользуясь истинно научным, индуктивно-дедуктивным методом, они приступили к изучению всех групп явлений, какие мы наблюдаем в природе, будь то явления из мира звезд или мира животных или из мира человеческих верований и учреждений — совершенно так же, как если бы это были во-

просы физики, изучаемые натуралистом.

Они сначала тщательно собирали факты, и когда они затем строили свои обобщения, то они делали это путем наведения (индукции). Они строили известные предположения (гипотезы), но этим предположениям они приписывали не больше значения, чем Дарвин своей гипотезе о происхождении новых видов путем борьбы за существование или Менделеев своему «периодическому закону». Они видели в них лишь предположения, которые представляют возможное и вероятное объяснение и облегчают группировку фактов и их дальнейшее изучение; но они не забывали, что эти предположения должны быть подтверждены приложением к множеству фактов и объяснены также дедуктивным путем и что они могут стать законами, т.е. доказанными обобщениями, не раньше чем они выдержат эту проверку и после того, как причины постоянных соотношений и закономерности между ними будут выяснены.

Когда центр философского движения XVIII века был перенесен из Англии и Шотландии во Францию, то французские философы, с

присущим им чувством стройности и системы, принялись строить по одному общему плану и на тех же началах все человеческие знания: естественные и исторические. Они сделали попытку построить обобщенное знание-философию всего мира и всей его жизни в строго научной форме, отбрасывая всякие метафизические построения предыдущих философов и объясняя все явления тех же физических (то есть механических) сил, которые оказались для них достаточными для объяснения происхождения и развития земного шара.

Говорят, что когда Наполеон I сделал Лапласу замечание, что в его «Изложении системы мира» нигде не упоминается имя Бога, то Лаплас ответил: «Я не нуждался в этой гипотезе». Но Лаплас сделал лучше. Ему не только не понадобилась такая гипотеза, но более того, он не чувствовал надобности вообще прибегать к мудреным словам метафизики, за которыми прячется туманное непонимание и полунепонимание явлений и неспособность представить их себе в конкретной, вещественной форме в виде измеримых величин.

Лаплас обошелся без метафизики так же хорошо, как без гипотезы о творце мира. И хотя его «Изложение системы мира» не содержит в себе никаких математических вычислений и написано оно языком, понятным для всякого образованного читателя, математики смогли впоследствии выразить каждую отдельную мысль этой книги в виде точных математических уравнений, то есть в отношениях измеримых величин, — до того точно и ясно мыслил и выражался Лаплас!

Что Лаплас сделал для небесной механики, то французские философы XVIII в. пытались сделать, в границах тогдашней науки, для изучения жизненных явлений (физиологии), а также явлений человеческого познания и чувства (психологии). Они отвергли те метафизические утверждения, которые встречались у их предшественников и которые мы видим позднее у немецкого философа Канта. В самом деле, известно, что Кант, например, старался объяснить нравственное чувство в человеке, говоря, что это есть «категорический императив» и что известное правило поведения обязательно, «если мы можем при-

нять его как закон, способный к всеобщему приложению». Но каждое слово в этом определении представляет что-то туманное и непонятное («императив», «категорический», «закон», «всеобщий») вместо того вещественного, всем нам известного факта, который требовалось объяснить.

Французские энциклопедисты не могли удовольствоваться подобными «объяснениями» при помощи «громких слов». Как их английские и шотландские предшественники, они не могли для объяснения того, откуда в человеке является понятие о доброте и зле, вставлять, как выражается Гёте, «словечко там, где не хватает идеи». Они изучали этот вопрос и — так же, как сделал Гэтчесон в 1725 г., а позже Адам Смит в своем лучшем произведении «Происхождение нравственных чувств», — нашли, что нравственные понятия в человеке развились из чувства сожаления и симпатии, которое мы чувствуем по отношению к тому, кто страдает, причем они происходят от способности, которой мы одарены, отождествлять себя с другими настолько, что мы чувствуем почти физическую боль, если в

нашем присутствии бьют ребенка, и мы возмущаемся этим.

Исходя из такого рода наблюдений и всем известных фактов, энциклопедисты приходили к самым широким обобщениям. Таким образом они действительно объясняли нравственное понятие, являющееся сложным явлением, более простыми фактами. Но они не подставляли вместо известных и понятных фактов непонятные, туманные слова, ничего не объяснявшие, вроде «категорического императива» или «всеобщего закона».

Преимущество метода, принятого энциклопедистами, очевидно. Вместо «вдохновения свыше», вместо неестественного и сверхъестественного объяснения нравственных чувств они говорили человеку: «Вот чувство жалости, симпатии, имевшееся у человека всегда со времени его появления на свет, использованное им в его первых наблюдениях над себе подобными и постепенно усовершенствованное, благодаря опыту общественной жизни. Из этого чувства происходят у нас наши нравственные понятия».

Таким образом, мы видим, что мыслители

XVIII в. не меняли своего метода, переходя от мира звезд к миру химических реакций или даже от физического и химического мира к жизни растений и животных или к развитию экономических и политических форм общества, к эволюции религий и т. п. Метод оставался всегда тот же самый. Во всех отраслях науки они прилагали всегда индуктивный метод. И так как ни в изучении религий, ни в анализе нравственных понятий, ни в анализе мышления вообще они не встречали ни одного пункта, где бы этот метод оказался недостаточным и где был бы приложим другой метод, и так как нигде они не видели себя принужденными прибегать ни к метафизическим понятиям (Бог, бессмертная душа, жизненная сила, категорический императив, внушенный высшим существом и т. п.), ни к диалектическому методу, то они стремились объяснить Вселенную и все явления мира при помощи того же естественнонаучного метода.

В течение этих лет замечательного умственного развития энциклопедисты составили свою монументальную Энциклопедию; Лаплас опубликовал свою «Систему мира» и

Гольбах — «Систему природы»; Лавуазье утверждал неуничтожаемость материи и, следовательно, энергии, движения. Ломоносов в России, вдохновленный, вероятно, Бейлем, набрасывал уже в это время механическую теорию теплоты; Ламарк объяснял появление бесконечного разнообразия видов растений и животных при помощи их приспособления к различной среде; Дидро давал объяснения нравственности, обычаев, первобытных учреждений и религий, не прибегая ни к каким внушениям свыше; Руссо старался объяснить зарождение политических учреждений путем общественного договора, то есть акта человеческой воли. Словом, не было ни одной области, изучение которой не было бы начато на почве фактов, при помощи того же естественнонаучного метода индукции и дедукции, проверенного наблюдением фактов и опытом.

Конечно, были сделаны ошибки в этой огромной и смелой попытке. Там, где в то время не хватало знаний, высказывались предположения, иногда поспешные, а иногда совершенно ошибочные. Но новый метод был

приложен к разработке всех отраслей знания, и благодаря ему самые ошибки впоследствии были легко открыты и исправлены. Таким образом, XIX в. получил в наследство могучее орудие исследования, которое дало нам возможность построить наше миросозерцание на научных началах и освободить его, наконец, от затемнявших его предрассудков и от туманных, ничего не говоривших слов, которые были введены благодаря дурной привычке отделяться таким образом от трудных вопросов.

III. РЕАКЦИЯ В НАЧАЛЕ XIX в

Застой научной мысли. — Пробуждение социализма; его влияние на развитие науки. — Пятидесятые годы.

После поражения Великой Французской революции Европа, как известно, пережила период всеобщей реакции: в области политики, науки и философии. Белый террор Бурбонов, Священный Союз, заключенный в 1815 г. между монархами Австрии, Пруссии и России для борьбы против либеральных идей, мистицизм и «набожность» высшего европейского общества и государственная полиция повсюду

ду торжествовали по всей линии.

Однако основные принципы революции не должны были погибнуть. Освобождение крестьян и городских рабочих, вышедших из полурабского состояния, в котором они до тех пор пребывали, равенство перед законом и представительное правление — эти три принципа, провозглашенные революцией и пронесенные революционными армиями по всей Европе вплоть до Польши, пролагали себе путь в Европе, как во Франции. После революции, провозгласившей великие принципы свободы, равенства и братства, началась медленная эволюция, то есть медленное преобразование учреждений: приложение в повседневной жизни общих принципов, провозглашенных в 1789-1793 гг. Заметим, кстати, что такое осуществление эволюцией начал, выставленных предыдущей революционной бурей, может быть признано как общий закон общественного развития.

Хотя церковь, государство и даже наука начали топтать в грязь то знамя, на котором революция начертала свой клич: «Свобода, Равенство и Братство», и хотя приспособление к

существующему стало тогда всеобщим лозунгом, даже в философии, тем не менее великие принципы свободы проникали всюду в жизнь. Правда, крепостные обязательства крестьян, так же как и инквизиция, уничтоженные революционными армиями в Италии и Испании, были восстановлены. Но им был уже нанесен смертельный удар, от которого они никогда не оправались.

Волна освобождения дошла сначала до Западной Германии, потом она докатилась до Пруссии и Австрии и распространилась по полуостровам Испании, Италии и Греции; идя на восток, она достигла в 1861 г. до России и в 1878 г. до Балкан. Рабство исчезло в Америке в 1863 г. В то же время идеи равенства всех перед законом и представительного правления распространились также с запада на восток, и к концу столетия одна только Россия и Турция оставались еще под игом самодержавия, впрочем, уже весьма ослабевшего.

Более того, на рубеже двух столетий, XVIII-XIX вв., мы встречаем уже громко провозглашенные идеи экономического освобождения.

Сейчас же после низложения королевской власти населением Парижа 10 августа 1792 г., и в особенности после свержения жирондистов 2 июня 1793 г., мы видим в Париже и по всей стране подъем коммунистических настроений; революционные «секции» больших городов и многих муниципалитетов маленьких городов во Франции действуют в этом направлении.

Интеллигентные люди нации заявляли, что равенство должно перестать быть пустым словом — оно должно претвориться в факт. А так как тяжесть войны, которую революция должна была вести против «королей-заговорщиков», падала прежде всего на бедных, то народ заставлял комиссаров Конвента проводить коммунистические меры в смысле уравнивания всех граждан.

Сам Конвент принужден был действовать в коммунистическом направлении и принял несколько мер, имевших целью «уничтожение бедности» и «уравнивание состояний». После того как жирондисты были изгнаны из правительства во время восстания 31 мая — 2 июня 1793 г., Конвент был даже принужден

провести законы, имевшие в виду национализацию не только земли, но также и торговли, по крайней мере, торговли предметами первой необходимости.

Это движение, очень глубокое, продолжалось вплоть до июля 1793 г., когда буржуазная реакция жирондистов, войдя в сношение с монархистами, взяла верх 9-го термидора. Но несмотря на короткий срок, оно придало XIX в. свой явный отпечаток — коммунистическое и социалистическое направление наиболее передовых элементов.

Пока движение 1793-1794 гг. продолжалось, оно находило для своего выражения народных ораторов. Но среди писателей того времени не было во Франции никого, кто мог бы дать литературное выражение этим идеям (которые называли тогда «дальше Марата») и произвести длительное впечатление на умы.

И только в Англии, уже в 1793 г., выступил Годвин, опубликовав свой поистине замечательный труд «Исследование политической справедливости и ее влияния на общественную нравственность» (Enquiry concerning Political Justice and its influence on general

virtue and happiness), где он явился первым теоретиком социализма без правительства, то есть анархизма, а с другой стороны Бабеф, под влиянием, по-видимому, Буонарроти, выступил в 1795 г. во Франции в качестве первого теоретика централизованного социализма, т.е. государственного коммунизма, который почему-то в Германии и России приписывают теперь Марксу.

Затем, разрабатывая принципы, уже намеченные, таким образом, в конце XVIII в., появляются в XIX в. Фурье, Сен-Симон и Роберт Оуэн — три основателя современного социализма в его трех главных школах; а еще позднее, в 40-х годах, явился Прудон, который, не зная работ Годвина, положил сызнова основы анархизма.

Научные основы социализма как государственного, так и безгосударственного были таким образом разработаны еще в начале XIX в. с полнотою, к сожалению, неизвестной нашим современникам. Современный же социализм, считающий свое существование со времени Интернационала, пошел дальше этих основателей только в двух пунктах, правда

очень важных: он стал революционным и он порвал с идеей о «социалисте и революционере Христе», которую любили выставлять до 1848 г.

Современный социализм понял, что, для того чтобы осуществить его идеалы, нужна социальная революция, не в том смысле, в котором употребляют иногда слово «революция», говоря о «революции промышленной» или «революции в науках», но в точном, ясном смысле этого слова, — в смысле всеобщей и немедленной перестройки самых основ общества. С другой стороны, современный социализм перестал смешивать свои воззрения с весьма неглубокими и сентиментальными реформами, о которых говорили некоторые христианские реформаторы. Но это последнее — это нужно помнить — уже было сделано Годвином, Фурье и Робертом Оуэном. Что же касается до администрации, централизации и культа власти и дисциплины, которыми человечество обязано особенно духовенству и римскому императорскому закону, то эти «пережитки» темного прошлого, как их прекрасно охарактеризовал П. Л. Лавров, до

сих пор еще удержались полностью среди многих социалистов, которые, таким образом, еще не достигли уровня своих французских и английских предшественников.

Было бы трудно говорить здесь о том влиянии, которое оказала на развитие наук реакция, господствовавшая после Великой Революции. Достаточно будет сказать, что все, чем так гордится в настоящее время современная наука, было уже намечено, и часто более чем намечено — иногда высказано, — в точной научной форме еще в конце XVIII в. Механическая теория теплоты, неуничтожаемость движения (сохранение энергии), изменимость видов под непосредственным влиянием окружающей среды, физиологическая психология, понимание истории, религии и законодательства как естественных последствий жизни людей в тех или других условиях, законы развития мышления — одним словом, все естественнонаучное мирозерцание, так же как синтетическая философия (т.е. философия, охватывающая все физические, химические, жизненные и общественные явления как одно целое), были уже наме-

чены и отчасти разработаны в XVIII в.

Но с реакцией, воцарившейся после конца Великой Революции в течение целого полу- столетия, началось течение, стремившееся подавить эти открытия. Ученые-реакционеры обзывали их «малонаучными». Под предлогом изучения сначала «фактов» и собирания «научного материала» ученые общества отвергали даже такие исследования, которые сводились к точным измерениям, как, например, определение Сегеном-старшим (Seguin) и затем Джоулем (Joule) механического эквивалента теплоты (т.е. количества механического трения, необходимого для получения данного количества теплоты); «Королевское общество» в Англии, которое является английской Академией наук, отказалось даже напечатать труд Джоуля по этому вопросу, найдя его «ненаучным». Что же касается замечательной работы Грова (Grove) о единстве всех физических сил, написанной им в 1843 г., то она была оставлена без внимания до 1856 г.!

Только знакомясь с историей научного развития в первой половине девятнадцатого века, понимаешь ту густоту мрака, которая

охватила Европу после поражения Французской революции...

Завеса была порвана сразу, к концу 50-х годов, когда на Западе началось либеральное движение, которое привело к восстанию Гарибальди, освобождению Италии, уничтожению рабства в Америке, либеральным реформам в Англии и т.д. То же движение вызвало в России уничтожение крепостного права, кнута и шпицрутенов, опрокинуло в нашей философии авторитеты Шеллинга и Гегеля и дало начало смелому отрицанию умственного рабства и преклонения перед всякого рода авторитетами, известному под именем нигилизма.

Теперь, когда мы можем проследить историю умственного развития этих годов, для нас очевидно, что именно пропаганда республиканских и социалистических идей, которая велась в 30-х и 40-х годах, и революция 1848 г. помогли науке разорвать душившие ее узы.

Действительно, не вдаваясь в детали, здесь достаточно будет заметить, что Сеген, имя которого мы уже упомянули, Огюстен Тьерри (историк, который первый положил основы

изучения вечевого строя коммун и идей федерализма в средних веках) и Сисмонди (историк свободных городов в Италии) были учениками Сен-Симона, одного из трех основателей социализма в первой половине XIX в. Альфред Р. Уоллес, пришедший одновременно с Дарвином к теории происхождения видов при помощи естественного подбора, был в юности убежденным последователем Роберта Оуэна; Опост Конт был сен-симонист; Рикардо, так же как Бентам, были оуэнисты; материалисты Карл Фохт и Д. Люис, так же как Гров, Милль, Герберт Спенсер и многие другие, находились под влиянием радикально-социалистического движения в Англии 30-х и 40-х годов. В этом движении они почерпнули свое мужество для научных работ.

Появление на коротком протяжении пяти или шести лет, с 1856 г. по 1862 г., работ Грова, Джоуля, Вертело, Гельмгольца и Менделеева в физических науках; Дарвина, Клода Бернара, Спенсера, Молешотта и Фохта в науках естественных; Лайеля о происхождении человека; Бэна и Милля в науках политических; и Бюрнуфа в происхождении религий, — одно-

временное появление всех этих работ произвело полную революцию в основных воззрениях ученых того времени — наука сразу рванулась вперед на новый путь. Целые отрасли знания были созданы с поразительной быстротой.

Наука о жизни (биология), о человеческих учреждениях (антропология и этнология), о разуме, воле и чувствах (физическая психология), история права и религий и т.д. образовались на наших глазах, поражая ум смелостью своих обобщений и революционным характером своих выводов. То, что в прошлом веке было только неопределенными предположениями, часто даже догадкой, явилось теперь доказанным на весах и под микроскопом и проверенным тысячами наблюдений и в приложениях на практике. Самая манера писать совершенно изменилась, и ученые, которых мы только что назвали, все вернулись к простоте, точности и красоте стиля, которые так характерны для индуктивного метода и которыми обладали в такой степени те из писателей XVIII в., которые порвали с метафизикой.

Предсказать, по какому направлению пой-

дет в будущем наука, конечно, невозможно. Пока ученые будут зависеть от богатых людей и от правительств, их наука будет неизбежно носить известный отпечаток и они смогут всегда задерживать развитие знаний, как они это сделали в первой половине XIX в. Но одно ясно. Это то, что в науке, как она складывается теперь, нет более надобности ни в гипотезе, без которой мог обойтись Лаплас, ни в метафизических «словечках», над которыми смеялся Гёте. Мы можем уже читать книгу природы, понимая под этим развитие органической жизни и человечества, не прибегая ни к творцу, ни к мистической «жизненной силе», ни к бессмертной душе, ни к гегелевской триаде и не скрывая нашего незнания под какими-либо метафизическими символами, которым мы сами приписали реальное существование. Механические явления, становясь все более и более сложными по мере того, как мы переходим от физики к явлениям жизни, но оставаясь всегда теми же механическими явлениями, достаточны нам для объяснения всей природы и жизни органической, умственной и общественной.

Без сомнения, остается еще много неизвестного, темного и непонятного в мире; без сомнения, всегда будут открываться новые пробелы в нашем знании по мере того, как прежние пробелы будут заполняться. Но мы не видим области, в которой нам будет невозможно найти объяснения явлениям при помощи тех же простейших физических фактов, наблюдаемых нами вокруг, как, например, при столкновении двух шаров на бильярде, или при падении камня, или при химических реакциях. Этим механическим фактам нам пока достаточно для объяснения всей жизни природы. Нигде они нам не изменили, и мы не видим даже возможности открыть такую область, где механические факты будут недостаточны. И пока, до сих пор, ничто не позволяет нам даже подозревать существование такой области.

IV. ПОЗИТИВНАЯ, Т.Е. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНТА

Попытка Огюста Конта построить синтетическую философию. — Причины неполной его удачи: религиозное объяснение нравствен-

ности в человеке.

Очевидно, что как только наука начала достигать таких результатов, должна была быть сделана попытка построения синтетической философии, которая охватывала бы все эти результаты. Были естественны попытки построить философию, которая являлась бы систематической, объединенной, обоснованной сводкой всего нашего знания, причем эта философия не должна была больше останавливаться на плодах нашего воображения, которыми философы угощали когда-то наших отцов и дедов, вроде различных «сущностей», «мировых идей», «назначения жизни» и тому подобных символических выражений; не должна была она также прибегать и к антропоморфизму, т.е. придавать природе и физическим силам человеческие свойства и намерения. Поднимаясь постепенно от простого к сложному, эта философия должна была бы изложить основные начала жизни Вселенной и дать ключ к пониманию природы во всем ее целом. Этим она дала бы нам могучее орудие исследования, которое помогло бы открыть новые отношения между различными явле-

ниями, т.е. новые законы природы, и внушило бы нам в то же время уверенность в справедливости наших заключений, как бы они ни противоречили установившимся ходячим воззрениям.

Много попыток подобного рода было действительно сделано в XIX в., и попытки Огюста Конта и Герберта Спенсера заслуживают особенно нашего внимания.

Необходимость синтетической философии была, правда, понята даже в XVIII в. энциклопедистами в их «Энциклопедии», Вольтером в его превосходном «Философском словаре», который до сих пор остается монументальным трудом, а также экономистом Тюрго и позднее, в еще более ясной форме, Сен-Симоном. Но в первой половине XIX в. Опост Конт принял тот же труд в строго научной форме, отвечающей последнему прогрессу естественных наук.

Известно, что, насколько дело касается математики и точных наук вообще, Конт выполнил свою задачу замечательным образом. Всеми также признается, что он был вполне прав, введя науку о жизни (биологию) и нау-

ку о человеческих обществах (социологию) в круг наук положительных. Наконец, известно, какое громадное влияние позитивная философия Конта имела на большинство мыслителей и ученых второй половины XIX.

Но почему, спрашивают себя поклонники великого философа, почему Конт оказался так слаб, когда он принялся в своей «Позитивной политике» за изучение современных учреждений, и в особенности за изучение этики, т.е. науки о нравственных понятиях?

Каким образом такой широкий позитивный ум мог дойти до того, чтобы сделаться основателем религии и культа, как это сделал Конт в конце своей жизни?

Многие из его учеников стараются примирить эту религию и этот культ с его предыдущими работами и утверждают, против всякой очевидности, что философ следовал одному и тому же методу в обеих своих работах: «Позитивной философии» и «Позитивной политике». Но два столь выдающихся позитивистских философа, как Дж. С. Милль и Литтре, сходятся на том, что они не признают «Позитивной политики» частью философии Кон-

та. Они не видят в ней ничего другого, как продукт ослабевшего уже ума.

И, однако, противоречие, существующее между обоими произведениями Конта — «Философией» и «Политикой», — в высшей степени характерно и бросает яркий свет на самые важные вопросы нашего времени.

Когда Конт кончил свой «Курс позитивной философии», он должен был, конечно, заметить, что его философия не коснулась еще самого главного происхождения нравственного чувства в человеке и влияния этого чувства на человеческую жизнь и общество. Он должен был, конечно, показать, откуда явилось это чувство в человеке, и объяснить его влиянием тех же причин, которыми он объяснял жизнь вообще. Он должен был показать, почему человек чувствует потребность повиноваться этому чувству или по крайней мере считаться с ним.

В высшей степени замечательно, что Конт был на правильной дороге, — по той же дороге шел впоследствии Дарвин, когда этот великий английский натуралист пытался объяснить в своем труде «Происхождение челове-

ка» происхождение нравственного чувства. Действительно, Конт написал в «Позитивной политике» много замечательных страниц, показывающих общение и взаимопомощь у животных, и этическая важность этого явления не ускользнула от его внимания.

Но, чтобы извлечь из этих фактов надлежащие позитивные заключения, знания по биологии в то время были еще недостаточны, и Конту не хватало смелости. Тогда он отвергнул Бога, божество позитивных религий, которому человек должен был поклоняться и молиться, чтобы быть нравственным, и на его место поставил Человечество с прописной буквой. Перед этим новым идолом он нам велит поклоняться и обращать к нему наши молитвы, чтобы развить в нас нравственное чувство.

Но раз этот шаг был сделан, раз было признано необходимым поклоняться чему-то, стоящему вне и выше личности, чтобы удержать зверя в человеке на пути добродетели, то все остальное вытекло само собою. Даже обрядность религии Конта сложилась вполне естественно по образцу старых религий, при-

шедших с Востока.

В самом деле, Конт был приведен к этому невольно, раз он не признал, что нравственное чувство в человеке, так же как общительность и даже само общество были явлениями дочеловеческого происхождения; раз он не усмотрел в этом дальнейшего развития той же общительности, которая наблюдается у животных и которая укрепилась в человеке, благодаря его наблюдению природы и жизни человеческих обществ.

Конт не понял, что нравственное чувство человека зависит от его природы в той же степени, как и его физический организм; что и то и другое являются наследством от весьма долгого процесса развития эволюции, которая длилась десятки тысяч лет. Конт прекрасно заметил чувства общительности и взаимной симпатии у животных; но, находясь под влиянием крупного зоолога, Кювье, который в то время считался высшим авторитетом, он не признал того, на что Бюффон и Ламарк уже пролили свет, — именно изменяемость видов. Он не признал эволюции, переходящей от животного к человеку. Поэтому он не видел

того, что понял Дарвин, — что нравственное чувство человека есть не что иное, как развитие инстинктов, привычек взаимопомощи, существовавших во всех животных обществах задолго до появления на земле первых человекоподобных существ.

В результате Конт не видел, как мы это видим теперь, что, каковы бы ни были безнравственные поступки отдельных личностей, нравственное начало необходимо будет жить в человечестве как инстинкт, — пока род человеческий не начнет склоняться к упадку; что поступки, противные происходящему отсюда нравственному чувству, должны неизбежно вызывать реакцию со стороны других людей, — точно так же как механическое действие вызывает реакцию в физическом мире. И он не заметил, что в этой способности реагировать на противообщественные поступки отдельных лиц коренится естественная сила, которая неизбежно поддерживает нравственное чувство и привычки общительности в человеческих обществах, — точно так же как она поддерживает их в животных обществах без всякого вмешательства извне; причем эта

сила бесконечно более могуча, чем повеления какой бы то ни было религии или каких бы то ни было законодателей. Но раз Конт этого не признал, он должен был невольно изобрести новое божество — Человечество — и новый культ, новое поклонение, для того чтобы эта религия приводила человека на путь нравственной жизни.

Как Сен-Симон, как Фурье, он таким образом заплатил также дань своему христианскому воспитанию. Если не допустить борьбу между началом Зла и началом Добра, которые по силе равны друг другу, и если не допускать, что человек обращается к представителю начала Добра, чтобы укрепить себя в борьбе против представителя Зла, то без этого христианство не может существовать. И Конт, проникнутый этой христианской идеей, вернулся к ней, как только он встретился на своем пути с вопросом о нравственности и о средствах укрепления нравственного в наших чувствах и понятиях. Поклонение человечеству должно было служить ему орудием для избавления человека от губительного влияния Зла.

V. ПРОБУЖДЕНИЕ В 1856-1862 гг.

Расцвет точных наук в 1856-62 гг. — Выработка механического мирозерцания, охватывающего также развитие человеческих понятий и учреждений.

Если Огюсту Конту не удалось его исследования человеческих учреждений и в особенности нравственных понятий, — то не следует забывать, что он написал свою «Философию» и «Политику» задолго до упомянутых уже нами 1856-62 гг., которые так внезапно расширили горизонт науки и подняли уровень мирозерцания каждого образованного человека.

Появившиеся за эти пять-шесть лет работы в различных отраслях науки произвели такой полный переворот в наших взглядах на природу, на жизнь вообще, и в частности на жизнь человеческих обществ, что подобную ей нельзя найти во всей истории наук за время свыше 20 столетий.

То, что энциклопедисты только предвидели или, скорее, предчувствовали, то, что лучшие умы XIX столетия выясняли с таким трудом до тех пор, выявилося теперь внезапно во

всеоружии знания. И все это было разработано так полно и так всесторонне, благодаря индуктивно-дедуктивному методу естественных наук, что всякий другой метод исследования сразу оказался несовершенным, ложным и бесполезным.

Остановимся, однако, на одно мгновение на результатах, достигнутых наукой за это время, чтобы быть в состоянии лучше оценить последующую попытку построения синтетической философии, сделанную Гербертом Спенсером.

В течение этих шести лет Гров, Клаузиус, Гельмгольц, Джоуль и целый ряд физиков и астрономов (включая сюда Кирхгофа, который, благодаря своему открытию химического спектрального анализа, дал нам возможность узнать химический состав звезд, то есть самых отдаленных от нас солнц) совершенно разбили те рамки, которые не позволяли ученым в течение более половины XIX в. пускаться в смелые и широкие обобщения в области физики. В течение нескольких лет они доказали и установили единство природы во всем неорганическом мире. С тех пор

говорить о каких-то таинственных «жидкостях», теплородных, магнетических, электрических или других, к которым физики прибегали раньше для объяснения различных физических сил, стало совершенно невозможным.

Было доказано, что механические движения частиц, вроде тех движений, которые дают нам волны в морях или которые мы открываем в дрожании колокола или металлической пластинки, вполне достаточны для объяснения всех физических явлений: теплоты, света, звука, электричества, магнетизма.

Более того. Мы научились измерять эти невидимые движения, эти дрожания частиц — взвешивать, так сказать, их энергию — таким же образом, как мы измеряем энергию падающего камня или движущегося поезда. Физика, таким образом, стала отраслью механики.

Кроме того, в течение все тех же нескольких лет было доказано, что в самых отдаленных от нас небесных телах, включая бесчисленные солнца, которые мы видим в неизмеримом количестве в Млечном Пути, наблюда-

ются абсолютно те же простые химические тела или элементы, которые известны нам на нашей Земле, и что абсолютно те же дрожания частиц происходят там, с теми же физическими и химическими результатами, что и на нашей планете. Даже массовые движения небесных тел, звезд, несущихся в пространстве по закону всемирного тяготения, являются по всему вероятно не чем иным, как результатом всех этих колебаний, передающихся на биллионы и триллионы верст в междузвездном пространстве Вселенной.

Те же тепловые и электрические колебания достаточны для объяснения химических явлений. Химия — есть лишь глава молекулярной механики. И даже жизнь растений и животных, во всех ее бесчисленных проявлениях, есть не что иное, как обмен частиц или, скорее, атомов во всем этом обширном ряду очень сложных и поэтому очень неустойчивых химических тел, из которых слагаются живые ткани всех живых существ. Жизнь есть не что иное, как ряд химических разложений и вновь возникающих соединений из очень сложных молекул — ряд «брожений»,

возникающих под влиянием ферментов (бро-
дил) химических, неорганических.

Кроме того, в то же время было понято, а в течение 1890-1900 гг. признано и доказано, как жизнь клеточек нервной системы и способность их передавать каждое раздражение от одной к другой дают механическое объяснение передачи раздражения в растениях и в нервной жизни животных. В результате этих исследований мы можем теперь, не выходя из области чисто физических наблюдений, понять, как образы и вообще впечатления запечатлеваются в нашем мозгу, как они действуют одно на другое и как от них происходят понятия, идеи.

Мы также можем теперь понять «ассоциацию идей» — то есть каким образом каждое впечатление вызывает накопленные раньше впечатления. Мы схватываем, следовательно, самый механизм мышления.

Конечно, мы остаемся еще бесконечно далеко от открытия «всего» в этом направлении; мы сделали только первые шаги, и нам остается открывать бесконечно многое. Наука, едва освободившаяся от душившей ее ме-

тафизики, только приступает к исследованию этой громадной области — физической психологии. Но солидная база уже заложена для дальнейших исследований. Старое деление на две совершенно отдельные области, которые пытался установить немецкий философ Кант, — область явлений, которую мы исследуем, по его словам, «во времени и пространстве» (физическая область), и другая, которая может быть исследована только «во времени» (область явлений духа), это деление ныне отпадает. И на вопрос, который однажды был поставлен русским профессором материалистом Сеченовым: «Куда отнести и как изучать психологию?», ответ уже дан: «К физиологии, физиологическим методам». В самом деле, новейшие исследования физиологов уже пролили более света относительно механизма мышления, происхождения впечатлений, их закрепления в памяти и передачи, чем все изящные рассуждения, которые подносили нам до сих пор метафизики.

Таким образом, даже в этой крепости, которая принадлежала без всяких споров метафизике, она теперь побеждена. Область пси-

хологии захвачена естественными науками и материалистической философией, которые двигают наши знания относительно механизма мышления в этой области с невиданной доколе быстротой.

Однако среди работ, которые появились в продолжение тех же пяти-шести лет, есть одна, затмившая собой все остальные. Это книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов».

Уже в прошлом столетии Бюффон и на рубеже двух столетий Ламарк решились утверждать, что различные виды растений и животных, которые мы встречаем на земле, не представляют собой неподвижных форм: они изменчивы и постоянно изменяются под влиянием среды. Разве самое семейное сходство, наблюдающееся между различными видами, принадлежащими к той или иной группе, не доказывает, говорили они, что эти виды происходят от общих предков? Так, различные виды лютиков, которые мы находим в наших лугах и в болотах, должны быть потомками одного вида общих предков, — потомками, которые видоизменились в зависимости от изменений и приспособлений, которым они

подвергались в различных условиях существования. Точно так же теперешние породы волка, собаки, шакала, лисицы не существовали раньше; но вместо них существовала порода животных, которая в течение столетий постепенно дала происхождение волкам и собакам, шакалам и лисицам. Относительно лошади, осла, зебры и т. п. уже доподлинно известно, что у них существовал общий предок, скелет которого открыт в древних геологических пластах.

Но в XVIII в. рискованно было высказывать такие ереси. За гораздо меньшее, чем это, Бюффону даже угрожало преследование перед церковным трибуналом, и он был принужден напечатать в своей «Естественной истории» отречение от своих слов. Церковь в это время была еще очень сильна, и натуралисту, осмеливавшемуся поддерживать такие неприятные для епископов ереси, грозила тюрьма, пытка или сумасшедший дом. Вот почему «еретики» высказывались тогда очень осторожно.

Но теперь, после революций 1848 г., Дарвин и Уоллес осмелились утверждать ту же

ересь, а Дарвин даже имел мужество прибавить, что человек также развивался путем медленной физиологической эволюции; что он произошел от породы обезьяноподобных животных; что «бессмертный дух» и «нравственная душа» человека развивались тем же путем, как ум и общественные привычки у обезьяны или муравья.

Известно, какие громы были обрушены тогда стариками на голову Дарвина и в особенности на голову его смелого ученого и интеллигентного апостола Гэкли за то, что он резко подчеркивал те из заключений дарвинизма, которые более всего приводили в ужас духовенство всех религий.

Борьба была жестокая, но дарвинисты вышли из нее победителями. И с тех пор перед нашими глазами выросла совершенно новая наука, биология — наука о жизни во всех ее проявлениях.

Работа Дарвина дала в то же время новый метод исследования для понимания явлений всякого рода: в жизни физической материи, в жизни организмов и в жизни обществ. Идея «непрерывного развития», то есть эволюции

и постепенного приспособления особей и обществ к новым условиям по мере того, как изменяются эти условия, — эта мысль нашла себе гораздо более широкое приложение, чем одно объяснение происхождения новых видов. Когда она была введена в изучение природы вообще, а также людей, их способностей и их общественных учреждений, она открыла новые горизонты и дала возможность объяснять самые непонятные факты в области всех отраслей знания. Основываясь на этом начале, столь богатом последствиями, возможно было перестроить не только историю организмов, но также историю человеческих учреждений.

В руках Спенсера биология показала нам, как все виды растений и животных, обитающих на земном шаре, могли развиваться, происходя от нескольких простейших организмов, населявших землю вначале; и Геккель мог начертить правдоподобный набросок родословного дерева различных видов животных, включая сюда человека. Это было уже огромно. Но стало также возможно заложить некоторые первые научные основания для

истории нравов, обычаев, верований и человеческих учреждений, чего совершенно не хватало XVIII в. и Огюсту Конту. Эту историю мы можем писать теперь, не прибегая к метафизическим формулам Гегеля и не останавливаясь ни на «врожденных идеях», ни на «станциях» Канта, ни на вдохновении свыше. Вообще мы можем проследить ее, не имея нужды в формулах, которые убивали дух исследования и за которыми, как за облаками, скрывалось всегда все то же невежество, то же старое суеверие, та же слепая вера.

Благодаря, с одной стороны, трудам натуралистов и, с другой стороны, работе Генри Мэна и его последователей, в том числе М. М. Ковалевского, которые приложили тот же индуктивный метод к изучению первобытных учреждений и вытекавших из них законов, история развития человеческих учреждений могла быть поставлена, в течение этих последних пятидесяти лет, на столь же твердое основание, как и история развития любого вида растений или животных.

Без сомнения, было бы несправедливо забывать о работе, проделанной уже в 30-х го-

дах XIX столетия школой Огюстена Тьерри во Франции и школой Маурера и «германистов» в Германии, продолжателями которых в России были Костомаров, Беляев и многие другие. Метод эволюции прилагался, конечно, уже раньше, со времени энциклопедистов, к изучению нравов и учреждений, а также языков. Но получить правильные научные результаты стало возможным лишь после того, как научились смотреть на собранные исторические факты так же, как натуралист смотрит на постепенное развитие органов растения или нового вида.

Метафизические формулы помогали, конечно, в свое время делать некоторые приблизительные обобщения. Они будили сонную мысль, они волновали ее своими неопределенными намеками на единство и вечную жизнь природы. В эпоху реакции, подобную той, которая царила в первые десятилетия XIX в., когда индуктивные обобщения энциклопедистов и их английских и шотландских предшественников стали забываться, особенно в эпоху, когда требовалось нравственное мужество, чтобы осмелиться говорить перед

лицом торжествующего мистицизма о единстве физической и «духовной» природы (а этого мужества не хватало философам), туманная метафизика немцев, без сомнения, поддерживала вкус к обобщениям.

Но обобщения того времени, установленные либо диалектическим методом, либо полусознательною индукциею, отличались поэтому отчаянною неопределенностью. Первые из них основывались, в сущности, на весьма наивных умозаклучениях, подобно тому как некоторые греки древности доказывали, что планеты должны двигаться в пространстве по кругам, так как круг — самая совершенная кривая. Только наивность этих утверждений и отсутствие доказательств прикрывались неопределенными рассуждениями, туманными словами, а также неясным и до смешного тяжелым стилем. Что же касается до обобщений, вытекавших из полусознательной индукции, то они всегда основывались на крайне ограниченном количестве наблюдений — как, например, весьма широкие и мало обоснованные обобщения Вейсмана, которые недавно наделали столь-

ко шума. Так как индукция была в этом случае несознательная, то ценность ее догадочных заключений легко преувеличивалась и их выставляли как бесспорные законы, между тем как они, в сущности, были лишь предположениями, гипотезами, зачатками обобщений, которые нужно было еще подвергнуть элементарной проверке, сравнив полученные результаты с фактами, наблюдаемыми в действительности.

Наконец, все эти обобщения были выражены в столь отвлеченной и столь туманной форме — как, например, «тезис, антитезис и синтезис» Гегеля, — что они давали полный произвол мыслителям, когда они желали вывести практические заключения. Таким образом, из них можно было выводить (и это делалось на самом деле) и революционный дух Бакунина вместе с Дрезденской революцией, и революционный якобинизм Маркса, и «разумность существующего» Гегеля, которая привела многих к «примирению с действительностью», то есть с самодержавием. Даже в наши дни достаточно вспомнить о многочисленных экономических ошибках, в кото-

рые на наших глазах впали недавно социалисты вследствие их пристрастной склонности к диалектическому методу и метафизике в экономической науке, к которым они прибегли, вместо того чтобы обратиться к изучению реальных фактов экономической жизни народов.

VI. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СПЕНСЕРА

Возможность новой синтетической философии. — Попытка Спенсера. — Почему она не вполне удалась. — Метод не выдержан. — Неверное понимание «борьбы за существование».

С тех пор как антропологию — то есть физиологическое развитие человека и историю его религий и его учреждений — стали изучать таким же путем, как изучают и все другие естественные науки, стало, наконец, возможным понять главные существенные черты истории человечества. Так же стало возможно отделаться навсегда от метафизики, мешавшей изучению истории, как библейские предания мешали когда-то изучению геологии.

Казалось бы поэтому, что когда Герберт Спенсер, в свою очередь, принялся за построение «Синтетической философии» во второй половине XIX в., он мог бы сделать это, не впадая в ошибки, которые встречаешь в «Позитивной политике» Конта. И, однако, «Синтетическая философия» Спенсера, представляя собой шаг вперед (в этой философии нет места для религии и религиозных обрядов), содержит еще в своей социологической части столь же крупные ошибки, как и работа Конта.

Дело в том, что, дойдя до психологии обществ, Спенсер не сумел остаться верным своему строго научному методу при изучении этой отрасли знания и не решился признать всех выводов, к которым его приводил этот метод. Так, например, Спенсер признавал, что земля не должна быть частною собственностью. Землевладелец, пользуясь своим правом повышать по своему усмотрению арендную плату за землю, может мешать тем, кто работает на земле, извлекать из нее все то, что они могли бы извлечь посредством усиленной обработки; или даже он может оста-

вить землю без всякой обработки, ожидая того времени, когда цена за десятину его земли поднимется достаточно высоко вследствие того только, что другие земледельцы будут трудиться вокруг на своей земле. Подобная система — Спенсер поспешил признать это — вредна для общества и полна опасностей. Но, признавая это зло относительно земли, он не решился сделать то же заключение относительно других накопленных богатств ни даже относительно рудников и доков, не говоря уже о фабриках и заводах.

Или также он поднял голос против вмешательства государства в жизнь общества и даже придал одной из своих книг заглавие, представлявшее целую революционную программу, — «Личность против государства». Но мало-помалу, под предлогом сохранения охранительной деятельности государства, он кончил тем, что восстановил государство полностью, как оно есть теперь, поставив ему только несколько робких ограничений.

Можно объяснить, без сомнения, эти и другие противоречия того же рода тем, что Спенсер построил социологическую часть своей

философии под влиянием английского радикального движения гораздо раньше, чем он написал естественнонаучную часть. Действительно, он напечатал свою «Статику» в 1851 г., то есть в эпоху, когда антропологическое изучение человеческих учреждений было еще в зародыше. Но во всяком случае результат был тот, что так же, как Конт, Спенсер не изучал человеческие учреждения самих по себе, без предвзятых идей, заимствованных из чуждой науке области. Кроме того, как только Спенсер дошел до философии общественной, он начал пользоваться новым, самым обманчивым методом — именно методом сходств (аналогий), которым он, конечно, не пользовался при изучении физических фактов. Этот метод позволил ему оправдать целую массу предвзятых идей. В результате мы до сих пор не имеем еще настоящей синтетической философии, построенной по одному и тому же методу в обеих своих частях: естественнонаучной и социологической.

Нужно сказать, что Спенсер был наименее подходящим человеком для изучения первобытных учреждений дикарей. В этом отноше-

нии он даже преувеличивал обычную для большинства англичан ошибку — именно неспособность понимать нравы и обычаи других народов. «Мы — люди римского права, а ирландцы — люди обычного права; вот почему мы не понимаем друг друга», сказал мне однажды Джемс Ноульз, очень умный и очень проницательный англичанин. Но эта неспособность понимать другую цивилизацию становится еще более очевидной, когда дело идет о тех, кого англичане называют «низшими расами». Так было со Спенсером. Он был совершенно неспособен понять дикаря с его почитанием своего племени, «с его кровной мезтью», которая считалась долгом у героев исландских саг, и он так же был неспособен понять бурную, полную борьбы и гораздо более близкую нам жизнь средневековых городов. Понятия права, встречающиеся в эти эпохи, были совершенно чужды Спенсеру. Он видел в них только дикость, варварство, жестокость, и в этом отношении он делал решительно шаг назад по сравнению с Огюстом Контом, который понимал важную роль средних веков в прогрессивном развитии учре-

ждении, — идея, с тех пор слишком забываемая во Франции.

Мало того — и это была самая важная ошибка, — Спенсер, подобно Гэкли и многим другим, понял идею «борьбы за существование» совершенно неправильным образом. Он представлял ее себе не только как борьбу между различными видами животных (волки поедают зайцев, многие птицы питаются насекомыми и так далее), но и как ожесточенную борьбу за средства существования и место на земле внутри каждого вида, между особями одного и того же вида. Между тем подобная борьба не существует, конечно, в тех размерах, в каких воображали ее себе Спенсер и другие дарвинисты.

Насколько сам Дарвин виноват в таком неправильном понимании борьбы за существование, мы не будем разбирать здесь [12]. Но достоверно, что, когда двенадцать лет спустя после появления «Происхождения видов» Дарвин напечатал «Происхождение человека», он понимал уже борьбу за существование в гораздо более широком и метафорическом смысле, чем как отчаянную борьбу внутри

каждого вида. Так, в своем втором сочинении он писал, что «те животные виды, в которых наиболее развиты чувства взаимной симпатии и общности, имеют больше шансов сохранить свое существование и оставить после себя многочисленное потомство». И он развивал даже ту идею, что социальный инстинкт у каждой особи более силен и более постоянен и активен, чем инстинкт самосохранения. А это уже совсем не то, что говорят нам некоторые «дарвинисты».

Вообще главы, посвященные Дарвином этому вопросу в «Происхождении человека», могли бы стать основанием для разработки чрезвычайно богатого выводами представления о природе и развитии человеческих обществ (Гёте уже догадывался об этом на основании одного или двух фактов). Но эти главы прошли незамеченными. И только в 1879 г. в речи русского зоолога Кесслера мы находим ясное понимание существующих в природе отношений между борьбой за существование и взаимной помощью. «Для прогрессивного развития вида, — сказал он, приводя несколько примеров, закон взаимной помощи имеет

гораздо большее значение, чем закон взаимной борьбы».

Год спустя Ланессан выступил со своей лекцией «Борьба за существование и ассоциация в борьбе», и в то же время Бюхнер напечатал свой труд «Любовь», в котором он показал важность симпатии между животными для развития первых нравственных понятий; но только опираясь главным образом на семейную любовь и взаимное сочувствие, он напрасно ограничил круг своих изысканий.

Мне легко было доказать и развить в 1890 г. в моей книге «Взаимная помощь» идею Кесслера и распространить ее на человека, опираясь на точные наблюдения природы и на последние исследования по истории человеческих учреждений. Взаимная помощь действительно есть не только самое могучее орудие для каждого животного вида в его борьбе за существование против враждебных сил природы и других враждующих видов, но она есть также главное орудие прогрессивного развития. Даже самым слабым животным она дает долголетие (и, следовательно, накопление опыта), обеспечивает их потомство и ум-

ственное развитие. В результате те животные виды, которые больше практикуют взаимопомощь, не только выживают лучше других, но они занимают первое место каждый во главе своего класса (насекомые, птицы, млекопитающие), благодаря превосходству своего физического строения и умственного развития.

Этого основного факта природы Спенсер не замечал. Борьбу за существование внутри каждого вида, борьбу отчаянную, «клювом и когтями», из-за каждого куска пищи он принял как принцип, не требующий доказательств, как аксиому. Природа, «обагрённая кровью гладиаторов», как ее рисует английский поэт Теннисон, — таково было его представление животного мира. И только в 1890 г. в статье в журнале «Nineteenth Century» он начал понимать до некоторой степени важность взаимной помощи (или, скорее, чувства симпатии) в животном мире и начал собирать факты и производить наблюдения в этом направлении. Но до самой его смерти первобытный человек остался для него воображаемым диким зверем, который только и выжил благодаря тому, что рвал «зубами и

когтями» последний кусок у своего ближнего.

Очевидно, что, усвоив в качестве основания для своих выводов такую ложную посылку, Спенсер не мог построить своей синтетической философии без того, чтобы не впасть в целый ряд ошибок и заблуждений.

VII. О РОЛИ ЗАКОНА В ОБЩЕСТВЕ

Ложное учение «мир во зле лежит». — Государственное насаждение того же взгляда на «коренную испорченность человека». — Взгляды современной науки. Выработка форм общественной жизни «массами» и закон. — Его двойственный характер.

Спенсер, впадая в эти ошибки, был, однако, не один. Верная Гоббсу, вся философия XIX в. продолжала рассматривать первобытных людей как стадо диких зверей, которые жили отдельными маленькими семьями и дрались между собой из-за пищи и из-за своих жен до тех пор, пока не появилось благодетельное начальство, которое водворило среди них мир. Даже такой натуралист, как Гексли, продолжал повторять все то же фантастическое утверждение Гоббса и заявил (в 1885 г.), что вначале люди жили, борясь «каждый против

всех», до тех пор пока благодаря нескольким передовым людям эпохи не было «основано первое общество». Таким образом, даже ученый дарвинист, как Гексли, не догадывался, что общество, вместо того чтобы быть созданным человеком, существовало задолго до появления человека среди животных. Такова сила укоренившегося предрассудка.

Если проследить историю этого предрассудка, то легко можно заметить, что он черпает свое происхождение в религиях, в церквях. Тайные общества колдунов, вызывателей дождя, шаманов, а позднее ассирийских и египетских жрецов, а еще позднее христианских священников всегда стремились убедить людей, что «мир погряз в грехе»; что только благодетельное вмешательство шамана, колдуна, святого или священника мешает силе зла овладеть человеком; что только они могут умолить злое божество, чтобы оно не насылало на человека всякие несчастья в наказание за его грехи.

Первобытное христианство, несомненно, стремилось ослабить этот предрассудок относительно священника; но христианская цер-

ковь, опираясь на слова самих евангелий о «вечном огне», только усилила его. Самая идея о Боге Сыне, пришедшем умереть на земле, чтобы искупить грехи мира, также подтверждает этот взгляд. Именно это-то и позволило впоследствии «святой инквизиции» предавать свои жертвы самым жестоким пыткам и сжиганию на медленном огне, — этим она давала им возможность раскаяться, чтобы спастись от вечных мук на том свете. Кроме того, не одна католическая церковь действовала таким образом; все христианские церкви, верные тому же принципу, соперничали между собой в изобретении новых мук или ужасов, чтобы исправить людей, погрязших в «пороке». До сих пор 999 человек из тысячи еще верят, что разные естественные невзгоды — засухи, землетрясения и заразные болезни посылаются свыше неким божеством, чтобы привести грешное человечество на стезю добродетели.

В то же время государство в своих школах и своих университетах поддерживало и продолжает поддерживать ту же веру в естественную испорченность человека. Доказать

необходимость какой-то силы, находящейся выше общества и работающей над тем, чтобы вдохнуть нравственный элемент в общество посредством наказаний, налагаемых за нарушение «нравственного закона» (который посредством ловкой передержки отождествляется с писанным законом), убедить людей, что эта власть необходима, — все это вопрос жизни или смерти для государства. Потому что, если люди начнут сомневаться в необходимости насаждения нравственных начал силою власти, они скоро потеряют веру в высокую миссию своих правителей.

Таким образом, все наше воспитание — религиозное, историческое, юридическое и социальное — проникнуто мыслью, что человек, предоставленный самому себе, становится диким зверем. При отсутствии власти люди грызлись бы между собой; от «толпы» нельзя ожидать ничего другого, кроме животности и войны каждого против всех.

Эта человеческая толпа погибла бы, если бы над ней не были избранники священник, законодатель и судья с своими помощниками: полицейским и палачом. Именно они не

допускают всеобщей драки всех против всех; это именно они воспитывают людей в уважении к закону, учат их дисциплине и ведут их твердой рукой к тем грядущим дням, когда лучшие понятия созреют в «ожесточенных сердцах» людей и сделают кнут, тюрьму и виселицу менее необходимыми, чем теперь.

Мы смеемся над тем королем, который, уезжая в изгнание в 1848 г., говорил: «Бедные мои подданные! Они погибнут без меня!» Мы потешаемся над английским купцом, который убежден, что его соотечественники происходят от потерявшегося колена Израилева и что на основании этого судьба предназначила им дать хорошее правительство «низшим расам».

Но разве не то же преувеличенное мнение о себе мы находим в любом другом народе у громадного большинства людей, которые учились «чему-нибудь и как-нибудь»?

Между тем научное изучение развития человеческих обществ и учреждений приводит нас к совершенно другим выводам. Оно нам показывает, что обычаи и приемы, созданные человечеством в целях взаимной помощи,

защиты и мира вообще, были выработаны именно «толпой» без имени. И именно эти обычаи позволили человеку, как и существующим в наше время животным видам, выжить в борьбе за существование. Наука показывает нам, что так называемые руководители, герои и законодатели человечества ничего не внесли в течение истории, кроме того, что было уже выработано в обществе обычным правом. Лучшие среди них только дали форму и санкцию этим учреждениям. Но очень многие из этих мнимых благодетелей человечества стремились все время либо уничтожить те из учреждений обычного права, которые мешали образованию личной власти, либо преобразовать их в своих личных интересах или в интересах своей касты.

Уже в самой глубокой древности, теряющейся во мраке ледникового периода, люди жили обществами. И в этих обществах был выработан целый ряд свято соблюдавшихся обычаев и учреждений, чтобы сделать возможной жизнь сообща. Позднее, в течение дальнейшего развития человечества, та же творческая сила безыменной толпы всегда

помогала вырабатывать новые формы общественной жизни, взаимной помощи и охраны мира, по мере того как создавались новые условия.

С другой стороны, современная наука показывает с полной очевидностью, что всякий закон, каково бы ни было его предполагаемое происхождение говорят ли нам, что он исходит от Бога или мудрого законодателя, — никогда не делал ничего иного, как только закреплял, кристаллизовывал в постоянную форму или распространял обычаи, уже существовавшие раньше. Все своды законов древности были только собранием обычаев и преданий, записанных или нацарапанных на камне, чтобы сохранить их для следующих поколений. Только делая это, свод законов прибавлял всегда к обычаям, уже принятым всеми, несколько новых правил, сделанных в интересах богатых, вооруженных и воинов, — и этими правилами закреплялись нарождавшиеся обычаи неравенства и порабощения, выгодные для меньшинства.

«Не убий, — гласил, например, закон Моисеев, — не укради, не лжесвидетельствуй». Но

к этим прекрасным правилам поведения он прибавлял также: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни осла его», — и этим самым узаконял надолго рабство и ставил женщину на один уровень с рабом или вьючным животным. «Люби ближнего твоего», — говорило позднее христианство и тут же спешило прибавить устами апостола Павла: «Рабы да повинуются господам своим» и «Несть власти чаще не от Бога», — узаконяя таким образом, обожествляя разделение на господ и рабов и освящая власть негодяев, царивших тогда в Риме.

Самые Евангелия, проповедуя высшую идею прощения, которая является главной сутью христианства, говорят, однако, все время о божьей мести и проповедуют этим месть.

То же самое было в сводах законов так называемых варваров — галлов, лангобардов, германцев, саксонцев, славян — после падения Римской империи. Они узаконили, несомненно, хороший обычай, распространившийся в это время: обычай платить вознаграждение за нанесение раны и убийство, вместо того чтобы практиковать бывший

раньше в ходу закон возмездия (око за око, зуб за зуб, рана за рану, смерть за смерть). Таким образом, варварские законы представляли собой прогресс по сравнению с законом возмездия, господствовавшим в родовом быту. Но в то же время они установили также деление свободных людей на классы, которое в эту эпоху намечалось.

Такое-то вознаграждение, говорили эти своды законов, следует платить за раба (оно платилось его господину), такое-то за свободного человека и такое-то за начальника — в этом случае вознаграждение было так велико, что для убийцы обозначало рабство до самой смерти. Первоначальной мыслью этих различий было, без сомнения, то, что семья князя, убитого в драке, теряла в нем гораздо больше, чем семья простого свободного человека в случае смерти своего главы; поэтому она имела право, по тогдашним взглядам, на большее вознаграждение, чем последняя. Но обращая этот обычай в закон, узаконялось этим навсегда деление людей на классы и узаконялось так прочно, что до сих пор мы не можем отделаться от этого.

То же самое мы встречаем в законодательствах всех времен, вплоть до наших дней: притеснение предыдущей эпохи всегда переносится посредством закона на последующие эпохи. Несправедливость Персидской империи передалась Греции; несправедливость Македонии перешла к Риму; насилие и жестокость Римской империи и восточных тираний передались молодым зарождавшимся варварским государствам и христианской церкви. Так налагает прошедшее, посредством закона, свои цепи на будущее.

Все необходимые гарантии для жизни в обществах, все формы общественной жизни в родовом быту, в сельской общине и средневековом городе, все формы отношений между отдельными племенами и позднее между республиками-городами, послужившие впоследствии основанием для международного права, — одним словом, все формы взаимной поддержки и защиты мира, включая сюда суд присяжных, были созданы творческим гением безымянной народной толпы. — Между тем как все законы, от самых древних до наших дней, состояли всегда из следующих двух

элементов: первый утверждал и закреплял известные обычные формы жизни, признанные всеми полезными, а второй являлся приставкой, часто даже простой, но хитрой манерой выразить словами существующий уже обычай; но эта приставка всегда имела целью насадить или укрепить зарождающуюся власть господина, воина, царька и священника, укрепить и освятить их власть, их авторитет.

Именно к этому нас приводит научное изучение развития обществ изучение, проделанное в течение последних сорока лет многими добросовестными учеными. Правда, очень часто ученые сами не осмеливались формулировать столь еретические заключения, как приведенные выше. Но вдумчивый читатель придет неизбежно к тому же, читая их работы.

VIII. ПОЛОЖЕНИЕ УЧЕНИЯ ОБ АНАРХИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Его стремление выработать синтетическое (объемлющее) понимание всего мира. — Его цель.

Какое положение занимает анархия в ве-

ликом умственном движении XIX в.?

Ответ на этот вопрос намечается уже тем, что было сказано в предыдущих главах. Анархия есть мирозерцание, основанное на механическом понимании явлений (лучше было бы сказать кинетическом, так как этим выразилось бы постоянное движение частиц вещества; но это выражение менее известно), охватывающее всю природу, включая сюда и жизнь человеческих обществ. Ее метод исследования — метод естественных наук; этим методом должно быть проверено каждое научное положение. Ее тенденция — основать синтетическую философию, т.е. философию, которая охватывала бы все явления природы, включая сюда и жизнь человеческих обществ, и их экономические, политические и нравственные вопросы, но не впадая, однако, в ошибки, сделанные Контом и Спенсером вследствие вышеуказанных причин.

Очевидно, что анархия поэтому необходимо должна дать на все вопросы, поставленные современной жизнью, другие ответы и занять иную позицию, чем все политические, а также, до известной степени, и социалисти-

ческие партии, которые еще не отделались от старых метафизических верований.

Конечно, выработка полного механического понятия природы и человеческих обществ едва началась в его социологической части, изучающей жизнь и развитие обществ. Однако то немногое, что было сделано, носит уже — иногда, впрочем, бессознательно — характер, который мы только что указали. В философии права, в теории нравственности, в политической экономии и в изучении истории народов и учреждений анархисты уже доказали, что они не будут довольствоваться метафизическими заключениями, а будут искать естественнонаучное обоснование для своих заключений.

Они отказываются подчиняться метафизике Гегеля, Шеллинга или Канта, считаются с комментаторами римского права и церковного права, с учеными профессорами государственного права и с политической экономией метафизиков, — и они стараются отдать себе ясный отчет во всех вопросах, поднятых в этих областях знания, основываясь на массе работ, сделанных в течение этих последних

сорока или пятидесяти лет, с точки зрения натуралиста.

Подобно тому, как метафизические понятия о «всемирном духе», «созидательной силе природы», «любовном притяжении материи», «воплощении идеи», «цели природы и смысле ее существования», о «непознаваемом», «человечестве», понимаемом в смысле существа, одухотворенного «дуновением духа», и тому подобные понятия отброшены ныне философией материалистической (механической или, скорее, кинетической), а зачатки обобщений, скрывающихся позади этих слов, переводятся на конкретный язык фактов, — так точно мы пробуем поступать, когда обращаемся к фактам общественной жизни.

Когда метафизики желают убедить натуралиста, что умственная и чувственная жизнь человека развивается согласно «имманентным законам духа», натуралист пожимает плечами и продолжает терпеливо заниматься своим изучением жизненных, умственных и чувственных явлений, чтобы доказать, что все они могут быть сведены к физическим и химическим явлениям. Он стара-

ется открыть их естественные законы.

Точно так же, когда анархисту говорят, что, согласно Гегелю, всякая эволюция представляет собой «тезис, антитезис и синтезис», или что «право имеет целью водворение справедливости, которая является материальным овеществлением высшей идеи», или когда у него спрашивают, какова, по его мнению, «цель жизни», анархист тоже пожимает плечами и спрашивает себя: «Как это возможно, что, несмотря на современное развитие естественных наук, находятся еще старики, продолжающие верить в эти »жупелы«, и остальные люди, говорящие языком примитивного дикаря, который »очеловечивал« природу и представлял ее себе как нечто, управляемое существами человеческого вида?»

Анархисты не поддаются таким «звучным словам», потому что знают, что эти слова служат всегда прикрытием или незнания — то есть незаконченного исследования, — или, что еще хуже, суеверия. Поэтому, когда им говорят такие слова, они проходят мимо, не останавливаясь; они продолжают свое изучение общественных понятий и учреждений

прошлого и настоящего, следуя естественно-научному методу. И они находят, очевидно, что развитие жизни человеческих обществ в действительности бесконечно сложнее (и интереснее для практических целей), чем можно было бы думать, если судить по этим формулам.

Мы много слышали за последнее время о диалектическом методе, который рекомендуют нам социал-демократы для выработки социалистического идеала. Мы совершенно не признаем этого метода, который также не признается ни одной из естественных наук. Для современного натуралиста этот «диалектический метод» напоминает что-то давно прошедшее, пережитое и, к счастью, давно уже забытое наукой. Ни одно из открытий XIX в. — в механике, астрономии, физике, химии, биологии, психологии, антропологии — не было сделано диалектическим методом. Все они были сделаны единственнонаучным индуктивным методом. И так как человек есть часть природы, а его личная и общественная жизнь есть так же явление природы, как и рост цветка или развитие общественной жизни.

ни у муравьев и пчел, то нет основания, переходя от цветка к человеку или от поселения бобров к человеческому городу, оставлять метод, который до сих пор так хорошо служил нам, и искать другой в арсенале метафизики.

Индуктивный метод, употребляемый нами в естественных науках, так хорошо доказал свою силу, что XIX век мог двинуть науки в течение ста лет больше, чем они подвинулись в течение двух предыдущих тысячелетий. И когда, во второй половине XIX в., его начали прилагать к изучению человеческих обществ, то нигде не встретилось ни одного пункта, где было бы необходимо отбросить его и вернуться к средневековой схоластике, возрожденной Гегелем. Более того. Когда натуралисты, платя дань своему буржуазному воспитанию, желали учить нас, основываясь якобы на научном методе дарвинизма, и говорили: «Дави всякого, кто слабее тебя: таков закон природы», — то нам было легко доказать при помощи того же научного метода, что эти ученые шли по ложному пути; что такого закона не существует; что природа учит нас совершенно другому и что подобные заключе-

ния ни с какой стороны не научны. То же самое можно сказать про утверждение, которое желало бы заставить нас поверить, что неравенство имуществ есть «закон природы» и что капиталистическая эксплуатация представляет собой самую выгодную форму общественной организации. Именно приложение метода естественных наук к экономическим фактам и позволяет нам доказать, что так называемые «законы» буржуазных общественных наук — включая сюда и политическую экономию — вовсе не законы, а простые утверждения или даже предположения, которые никогда не проверялись на практике.

Прибавим еще несколько слов. Научное исследование бывает плодотворно только при условии, что оно имеет определенную цель, и только тогда, когда оно предпринято с намерением найти ответ на определенный, точно поставленный вопрос. Каждое исследование тем более плодотворно, чем яснее понимаются отношения, существующие между поставленным к разрешению вопросом и основными линиями нашего мирозерцания. Чем лучше этот вопрос входит в наше миро-

созерцание, тем легче его разрешить.

И вот вопрос, который ставит себе анархия, мог бы быть выражен следующими словами: «Какие общественные формы лучше обеспечивают в данном обществе и, следовательно, в человечестве вообще наибольшую сумму счастья, а потому и наибольшую сумму жизненности?» — «Какие формы общества позволяют лучше этой сумме счастья расти и развиваться качественно и количественно; то есть позволяют счастью стать более полным и более общим?» Это, между прочим, дает нам и формулу прогресса. Желание помочь эволюции в этом направлении определяет характер общественной, научной, артистической и т.д. деятельности анархиста.

IX. АНАРХИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ

Его происхождение. — Предшествующие революции. — Как он вырабатывается естественнонаучным методом.

Анархия, как мы уже сказали, родилась из указаний практической жизни.

Годвин, современник Великой Революции 1789 — 1793 гг., видел своими собственными глазами, как правительственная власть, со-

зданная во время Революции и силами Революции, сделалась в свою очередь препятствием к развитию революционного движения. Он знал также то, что происходило в Англии под прикрытием парламента: грабеж общинных земель, продажа выгодных правительственных должностей, охота на детей бедняков, которые отнимались специальными агентами, разъезжавшими для этого по Англии, и посылались на фабрики в Ланкашир, где они гибли массаами; и так далее. Годвин понял, что правительство, будь это даже правительство «Единой и Нераздельной Республики» якобинцев, никогда не сможет совершить необходимую революцию социальную, коммунистическую революцию; что даже революционное правительство уже по одному тому, что оно является охранителем государства и привилегий, которое всякое правительство должно защищать, само становится скоро препятствием для революции. Он понял и высказал основную анархическую мысль, что для торжества революции люди должны, прежде всего, отделаться от своих верований в закон, власть, порядок, собствен-

ность и другие суеверия, унаследованные ими от рабского прошлого.

Второй теоретик анархии, пришедший после Годвина, — Прудон, пережил неудавшуюся революцию 1848 г. Он также видел своими глазами преступления, совершенные республиканским правительством, и в то же время он мог убедиться в бессилии государственного социализма Луи Блана. Под свежим еще впечатлением того, что он пережил во время движения 1848 г., он написал свою «Общую идею революции», где смело провозгласил уничтожение государства и анархию.

Наконец, в Интернационале анархическая идея созрела также после революции, то есть после Парижской Коммуны 1871 г. Полное революционное бессилие совета Коммуны, который имел, однако, в своей среде в справедливой пропорции представителей всех революционных фракций того времени (якобинцев, бланкистов и интернационалистов), а также неспособность Генерального совета Интернационала, заседавшего в Лондоне, и его столь же нелепые, сколько вредные претензии управлять парижским движением по-

средством приказов, посылаемых из Англии, — эти два урока открыли глаза многим. Они заставили многих членов Интернационала, считая в том числе Бакунина, задуматься над злом всякой власти, даже если она избрана свободно, как это было в Коммуне и в рабочем Интернационале.

Несколько месяцев спустя решение Генерального совета Интернационала, принятое на тайной конференции, созванной в Лондоне в 1871 г. вместо ежегодного конгресса, сделало еще более очевидным неудобство правительства в Международном союзе рабочих. После этой несчастной резолюции силы рабочего союза, до сих пор направлявшиеся на экономически-революционную борьбу, на прямую, открытую борьбу рабочих союзов против капитализма хозяев, были брошены в политическое, избирательное и парламентарное движение, где они могли только обесцветиться, распылиться и погибнуть.

Это решение вызвало открытое восстание латинских федераций — Испанской, Итальянской, Юрской и отчасти Бельгийской — против Генерального Лондонского совета (во

Франции Интернационал был строго запрещен); и с этого восстания начинается анархическое движение, которое продолжается до наших дней.

Таким образом, анархическое движение начиналось каждый раз под впечатлением какого-нибудь большого практического урока. Оно зарождалось из уроков самой жизни. Но раз начавшись, оно стремилось также немедленно найти свое теоретическое, научное выражение и обоснование, — научное не в том смысле, чтобы усвоить себе непонятный большинству язык, и не в смысле обращения к отвлеченной метафизике, а в том смысле, что оно находило свое обоснование в естественных науках данного времени и само становилось одной из отраслей естественных наук.

В то же время анархисты работали над развитием своего идеала: своего понимания будущего строя жизни.

Никакая борьба не может иметь успеха, если она остается бессознательной, если она не отдает себе конкретного, реального отчета в своих целях. Никакое разрушение существую-

щего невозможно без того, чтобы уже в момент разрушения и борьбы, ведущей к разрушению, люди не представляли себе в уме, что займет место того, что желают разрушить. Невозможно даже теоретически критиковать существующее, не рисуя уже себе в уме более или менее определенный образ того, что желают видеть на месте существующего. Сознательно или бессознательно идеал ~ понятие о лучшем — рисуется в уме каждого, кто критикует существующие учреждения.

Это особенно относится к человеку действия. Сказать людям: «Давайте сначала разрушим капитализм или самодержавие, а потом мы увидим, что поставить на их место», — значило бы просто обманывать себя и других. Но силы нельзя создать обманом. И действительно, даже тот, кто говорит таким образом, имеет какое-нибудь представление о том, что он желал бы увидеть на месте того, на что он нападает. Так, например, работая над разрушением в России самодержавия, одни рисуют себе в близком будущем конституцию на английский или немецкий лад. Другие мечтают о республике, подчиненной, мо-

жет быть, могучей диктатуре их партии, о монархической республике, как во Франции, или о федеративной республике, как в Соединенных Штатах Америки. Наконец, другие думают об еще большем ограничении власти государства — о еще большей свободе городов, коммун, рабочих союзов и всяких групп, соединившихся между собой федеральными узами.

Точно так же каждый, кто нападает на капитализм, имеет какое-нибудь определенное или неясное представление о том, что он желал бы видеть на месте существующего буржуазного капитализма: государственный капитализм, или какой-нибудь род государственного коммунизма по плану Бабефа, или, наконец, федерацию более или менее коммунистических ассоциаций для производства, обмена и потребления того, что они доставляют из земли, или того, что они производят в промышленности.

Каждая партия имеет, таким образом, свое представление о будущем, свой идеал, который помогает ей судить обо всех фактах политической и экономической жизни народов, а

также и находить способы действия, которые подходят к ее идеалу и позволят ей лучше идти к своей цели.

Вполне естественно, что хотя анархия родилась среди каждодневной борьбы, она также работала над выработкой своего идеала; и этот идеал, эта цель, эти стремления скоро отделили анархистов в их способах действия от всех других политических партий, а также, в большинстве случаев, от социалистических партий, которые верили в возможность удержать старинный римско-церковный идеал государства и перенести его в будущее общество своих мечтаний.

X. АНАРХИЯ

Краткий обзор ее основных начал. — Закон. — Нравственность. Экономические понятия. — Государство.

В силу различных исторических, политических и экономических данных, а также в силу уроков новейшей истории, у анархистов сложился, как мы уже сказали, свой взгляд на общество, совершенно иной, чем у всех политических партий, стремящихся к захвату государственной власти в свои руки.

Мы представляем себе общество в виде организма, в котором отношения между отдельными его членами определяются не законами, наследием исторического гнета и прошлого варварства, не какими бы то ни было властителями, избранными или же получившими власть по наследию, а взаимными соглашениями, свободно состоявшимися, равно как и привычками и обычаями, также свободно признанными. Эти обычаи, однако, не должны застывать в своих формах и превращаться в нечто незыблемое под влиянием законов или суеверий. Они должны постоянно развиваться, применяясь к новым требованиям жизни, к прогрессу науки и изобретений и к развитию общественного идеала, все более разумного, все более возвышенного.

Таким образом — никаких властей, которые навязывают другим свою волю, никакого владычества человека над человеком, никакой неподвижности в жизни, а вместо того — постоянное движение вперед, то более скорое, то замедленное, как бывает в жизни самой природы. Каждому отдельному лицу предоставляется, таким образом, свобода дей-

ствий, чтобы оно могло развить все свои естественные способности, свою индивидуальность, т.е. все то, что в нем может быть своего, личного, особенного. Другими словами — никакого навязывания отдельному лицу каких бы то ни было действий под угрозой общественного наказания или же сверхъестественного мистического возмездия: общество ничего не требует от отдельного лица, чего это лицо само не согласно добровольно в данное время исполнить. Наряду с этим — полнейшее равенство в правах для всех.

Мы представляем себе общество равных, не допускающих в своей среде никакого принуждения; и, несмотря на такое отсутствие принуждения, мы нисколько не боимся, чтобы в обществе равных вредные обществу поступки отдельных его членов могли бы принять угрожающие размеры. Общество людей свободных и равных сумеет лучше защитить себя от таких поступков, чем наши современные государства, которые поручают защиту общественной нравственности полиции, сыщикам, тюрьмам — т.е. университетам преступности, — тюремщикам, палачам и судам.

В особенности сумеет оно предупреждать самую возможность противообщественных поступков путем воспитания и более тесного общения между людьми.

Ясно, что до сих пор нигде еще не существовало общества, которое применяло бы на деле эти основные положения. Но во все времена в человечестве было стремление к их осуществлению. Каждый раз, когда некоторой части человечества удавалось хоть на время свергнуть угнетавшую его власть или же уничтожить укоренившиеся неравенства (рабство, крепостное право, самодержавие, владычество известных каст или классов), всякий раз, когда новый луч свободы и равенства проникал в общество, всегда народ, всегда угнетенные старались хотя бы отчасти провести в жизнь только что указанные основные положения.

Поэтому мы вправе сказать, что анархия представляет собой известный общественный идеал, существенно отличающийся от всего того, что до сих пор восхвалялось большинством философов, ученых и политиков, которые все хотели управлять людьми и да-

вать им законы. Идеалом господствующих классов анархия никогда не была. Но зато она часто являлась более или менее сознанным идеалом масс.

Однако было бы ошибочно сказать, что анархический идеал общества представляет собою утопию. Всякий идеал представляет стремление к тому, что еще не осуществлено, тогда как слову «утопия» в обыденной речи придается значение чего-то неосуществимого.

В сущности, слово «утопия» должно было бы применяться только к таким представлениям об обществе, которые основаны лишь на том, что писателю представляется теоретически желательным, и никогда не должно прилагаться к представлениям, основанным на наблюдении того, что уже совершается в обществе. Таким образом, в число утопий должны быть включены: Республика Платона, Всемирная Церковь, о которой мечтали папы, наполеоновская Империя, мечтания Бисмарка, мессианизм поэтов, ожидающих появления Спасителя, который возвестит миру великие идеи обновления. Но совершенно

ошибочно применять слово «утопия» к предвидениям, которые, подобно анархии, основаны на изучении направлений, уже обозначающихся в обществе в его теперешнем развитии. Здесь мы выходим из области утопических мечтаний и вступаем в область положительного знания — научного предвидения.

В данном случае тем более ошибочно говорить об утопии, что отмеченные нами стремления играли уже не раз чрезвычайно важную роль в истории человечества, потому что именно они послужили основанием для так называемого обычного права — права, господствовавшего в Европе среди миллионов людей с пятого по шестнадцатое столетие. Эти стремления стали теперь вновь проявляться в образованных обществах, после того как в течение трех столетий Европа производила у себя опыты с государственною формою общежития. И на этом наблюдении, важность которого не ускользнет от внимания всякого, кто изучал историю цивилизации, основывается наша уверенность в том, что анархия представляет собою идеал возможный, осуществимый.

Нам, конечно, говорят, что от идеала далеко до его осуществления. Несомненно, так. Но не мешает помнить, что в конце XVIII столетия, в то самое время, когда созидались Соединенные Штаты Северной Америки, среди очень умных людей в Европе желание создать известной величины общество с республиканским строем правления считалось бессмыслицей: республика, говорили тогда, может существовать только маленькая, как Швейцария или Штаты Голландии [13]. А между тем республики Северной и Южной Америки, а затем Франция доказали, что «утописты» были не со стороны республиканцев, а со стороны монархистов.

«Утопистами» были всегда те, кто в силу своих личных желаний не хотел принимать во внимание новые, уже намечавшиеся тенденции, новые направления; те, кто приписывал слишком большую устойчивость тому, что уже стало достоянием прошлого, не замечая, что это прошлое было последствием переходящих исторических условий, заменившихся новыми условиями жизни.

Мы уже сказали в начале настоящего очер-

ка, что, изучая происхождение анархического течения мысли, мы всегда наталкиваемся на два главных его источника: с одной стороны, критика государственных, иерархических организаций и представлений о власти вообще, а с другой стороны, разбор тех направлений, которые постоянно намечались и намечаются в поступательном движении человечества в прошлом и особенно в настоящее время.

С самых отдаленных времен каменного века дикари должны были видеть, какие происходят плачевные последствия, как только люди позволяют завладеть властью кому-нибудь из своей среды, хотя бы то был самый умный, самый храбрый, самый мудрый из них. Вот почему наши предки уже в самые отдаленные времена старались выработать такие учреждения, которые мешали бы отдельным лицам захватывать власть. Их племена, их роды, а в более поздний период деревенская община, средневековые цехи (цехи доброго соседства, цехи ремесел и искусств, купцов, охотников и т. п.) и, наконец, вольные города или «народоправства» (как их совершенно верно называл Костомаров) с XII по XVI в. —

все это были учреждения, возникшие среди народа. Они установлены были не предводителями и не вожаками, а самим народом, чтобы противодействовать захвату власти иноземными завоевателями или отдельными членами своего же рода, племени или города.

То же направление народной мысли проявилось в религиозных движениях народных масс во всей Европе во время движения гуситов в Богемии и анабаптистов в западной части Европы. Эти движения, носившие в себе зачатки анархической противугосударственной мысли, послужили, как известно, предтечами, подготовлением протестантской Реформации и крестьянских восстаний XVI в.

Гораздо позже, в 1793-1794 гг., во Франции мы снова видим проявление такого же народного творчества и такой же независимо народный образ действий в удивительно плодотворной деятельности «секций», т.е. «отделов» города Парижа и других больших городов, равно как и целого ряда маленьких общин во время Великой Революции (см. подробно об этом в моей книге о Французской революции).

И наконец, еще позже мы встречаем тот же дух в рабочих союзах, образовавшихся в Англии и Франции, как только стала развиваться в этих странах современная промышленность, причем эти союзы слагались и действовали, несмотря на драконовские законы, направленные против них. И здесь мы снова наталкиваемся на тот же народный дух, который старается защитить себя — на этот раз от насилия капиталистов и их пособников — церкви и государства.

Понятия анархизма у древних; в средние века; в конце XVIII и в середине XIX в.: Годвин. — Прудон. — Штирнер.

Народные движения — плод народного творчества — не могли не отразиться в литературе. Действительно, мы встречаем анархические мысли уже у древних философов, а именно у Лаоцзы в Китае и у некоторых древнейших греческих философов, каковы Аристипп и циники, а также у Зенона и некоторых стоиков. Впрочем, так как анархическая мысль рождалась главным образом среди масс, а не среди немногочисленной аристократии ученых, и эти последние чувствовали

мало симпатии к народным движениям, то мыслители обыкновенно и не старались выяснить ту глубокую мысль, которой всегда вдохновлялись народные движения. Во все времена философы и ученые предпочитали покровительствовать государственному направлению мысли и духу иерархической подчиненности. Еще в те времена, когда только занималась заря науки, их любимым предметом изучения было искусство управления людьми, а потому нечего удивляться, что так редко были философы с анархическим направлением мысли.

Однако одним из таковых был греческий стоик Зенон. Он проповедовал свободную общину без правительства и противопоставлял ее утопии государственного направления — Республике Платона. Зенон уже указывал на инстинкт общности в человеке, который, по его словам, природа развила как противовес эгоистическому инстинкту самосохранения. Он предвидел то время, когда люди соединятся, невзирая на границы, и составят «Космос», Вселенную, не нуждаясь больше ни в законах, ни в судах, ни в храмах, ни в день-

гах, чтобы обмениваться взаимными услугами. Даже его выражения, по-видимому, поразительно сходны с выражениями, употребляемыми теперь анархистами.

Епископ Альбский, Марк Джироламо Вида, исповедовал в 1553 г. подобные же взгляды против государства, против его законов и его «высшей несправедливости». Те же мысли мы встречаем также у гуситов (особенно у Хоецкого в XV столетии) и у первых анабаптистов, так же как и у их предшественников IX века, армянских рационалистов.

Рабле в первой половине XVI в., Фенелон к концу XVII столетия и, главным образом, энциклопедист Дидро во второй половине XVIII в. развивали те же мысли, которые, как мы уже сказали, начали применяться до некоторой степени в независимой деятельности отделов (секций) и коммун (общин) во время Великой Французской революции.

Но первым изложил политические и экономические положения анархизма англичанин Уильям Годвин в 1793 г. в своем «Исследовании относительно Политической Правды и ее влияния на общую нравственность и сча-

стве». Он не употреблял слова «анархия», но очень хорошо излагал ее основные положения, нападая на законы, доказывая ненужность государства и говоря, что только с уничтожением судов будет достигнуто настоящее правосудие — единственное настоящее основание всякого общества. Что касается собственности, то он прямо требовал коммунизма.

Прудон первый употребил слово «анархия» в смысле общественного строя без правительства и первый подверг строгой критике тщетные усилия людей дать себе правительство, которое мешало бы богатым угнетать бедных и вместе с тем оставалось бы под контролем управляемых. Тщетные попытки, делавшиеся во Франции начиная с 1793 г., чтобы дать себе конституцию, которая отвечала бы этой двойственной цели, и неудача революции 1848 г. доставили ему, конечно, богатый материал для такой критики.

Прудон был врагом всяких форм государственного социализма; коммунисты же того времени (тридцатые и сороковые годы XIX в.) являлись одною из разновидностей государ-

ственного социализма; а потому Прудон беспощадно разбирал и отрицал все планы подобной революции. Принимая за основание «чеки труда» [14], предложенные Робертом Оуэном, он развивал понятие о взаимности (мютюэлизме), которое сделало бы излишним всякое политическое правительство.

Так как, говорил Прудон, меновая ценность всех товаров может быть измеряема только количеством труда, необходимого в данное время в обществе для производства каждого товара, то весь обмен товаров в обществе может производиться при посредстве Национального банка, который принимал бы в уплату за товары «чеки труда». Clearing House, т.е. особая счетная контора, как это теперь делается банками, определял бы каждый день разницу между приходом и следуемыми платежами всех отделений Национального банка.

Услуги, которыми таким образом обменивались бы различные лица, были бы равнозначными, т.е. представляли бы одинаковые ценности. Кроме того, Национальный банк был бы в состоянии дать займы производи-

телям, объединенным в производительные союзы, суммы, необходимые для их производства, — но не деньгами, а чеками труда. В результате по этим займам не приходилось бы платить процентов, так как вместо частного капиталиста заимодателем являлась бы нация, весь народ, оказывающий друг другу кредит при посредстве Национального банка. А чтобы покрыть издержки по управлению Банком, достаточно было бы платить один процент в год с одолженной суммы или даже меньше полпроцента. При таких условиях беспроцентных займов капитал потерял бы свой вредный характер; он перестал бы быть средством эксплуатации. Прибавим, что Прудон подробно развил свою систему взаимности, доказывая фактами свои мысли о ненужности и вреде государства и правительства. Вероятно, он не знал своих английских предшественников, но факт тот, что экономическая часть его программы была еще раньше, в 1829 г., развита в Англии Уильямом Томпсоном, очень известным экономистом, который проповедовал взаимность раньше, чем сделался коммунистом. Ту же мысль развивали

потом английские продолжатели Томпсона — Джон Грэй (John Gray, 1825-1831), Ходжскин (Hodgskin, 1825 — 1832) и И. Т. Брэй (J. T. Bray, 1839). Хотя названные авторы не формулировали анархии, как это сделал Прудон и его продолжатели, тем не менее верно — как заметил английский профессор Фоксвелл (Foxwell) в своем введении к английскому переводу замечательной книги А. Менгера «Право на цельный продукт труда» (*Droit au produit integral du travail*. Vienne, 1886), — что течение анархической мысли дает себя чувствовать во всем английском социализме этих годов.

В Соединенных Штатах то же направление было представлено Джошуа Уорреном (Joshua Warren), который, бывши сначала членом колонии Оуэна «Новая Гармония», сделался противником коммунизма и основал в 1826 г. в Цинциннати «склад», где продукты обменивались на основании ценности, измеряемой часами труда и «чеками труда» (трудовыми марками). Подобные учреждения существовали еще в 1865 г. под названием справедливых складов, справедливых домов и справедли-

вых деревень.

Ту же мысль об обмене произведенных полезностей, измеряя ценность каждой из них количеством труда, потребного для ее производства, проповедовали в Германии в 1843-1845 гг. Моисей Гесс и Карл Грюн, а в Швейцарии — Вильгельм Марр. Они, таким образом, боролись против учения о государственном коммунизме, которое проповедовал Вейтлинг в своих кружках, очевидно являвшихся преемниками французских последователей Бабефа (бабувистов).

С другой стороны, в Германии, в противовес государственному коммунизму Вейтлинга, находившему довольно многочисленных сторонников среди рабочих, один немецкий гегелианец, Макс Штирнер (его настоящее имя было Иоанн Каспар Шмидт), опубликовал в 1845 г. свою работу «Единственный и его достояние», которая несколько лет тому назад была, так сказать, вновь открыта Маккаем (Маккау) и произвела большой шум в наших анархических кругах, где некоторые смотрели на нее как на своего рода манифест анархистов-индивидуалистов.

Работа Штирнера представляет собой возмущение против государства и новой тирании, которая установилась бы, если бы государственному коммунизму удалось восторжествовать. Рассуждая как истый метафизик-гегельянец, Штирнер проповедовал возрождение человеческого «Я» и «Главенство» отдельной личности. Таким образом он приходил к проповеди «а-морали», т.е. отсутствия нравственности, и «сообщества эгоистов».

Ясно, однако, как на это уже указывали писатели-анархисты и еще недавно французский профессор В. Баш (Basch) в своем интересном труде «Анархический индивидуализм: Макс Штирнер» (Париж, 1904 г.), что этот род индивидуализма, требуя «полного развития» — не для всех членов общества, но только для тех, которые будут признаны самими способными, не заботясь о развитии всех, является скрытым возвратом к существующей теперь монополии досуга, обеспеченности и образования в пользу небольшого количества людей под покровительством государства. Это не что иное, как «право на полное развитие» для привилегированного мень-

шинства, т.е. право, которое только и может существовать при условии обеспечения этого права государством.

Действительно, допустивши даже, что подобная монополия желательна — что было бы совершенно нелепо, — она не могла бы существовать без покровительства подобающего законодательства, без власти, организованной в государстве. Таким образом, требования индивидуалистов вроде Штирнера обязательно приводят их обратно к идее государства и власти, которую они сами так хорошо критикуют. Их положение — подобно положению Спенсера или школы буржуазных экономистов, известной под именем манчестерской, которые также начинают с суровой критики государства, но кончают признанием его отправлений для поддержания монополии собственности, которой лучшим покровителем всегда было государство. Без государства монополия личной собственности и всяких «Я», воображающих себя «сверхчеловеками», невозможна.

XI. АНАРХИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Дальнейшее ее развитие. — Способы дей-

ствия. — Международный союз рабочих (Интернационал). — Коммунисты-государственники и мютюэлисты (прудонианцы). — Сенсимонизм.

Мы вкратце познакомились с развитием анархической мысли начиная с Французской революции и Годвина до Прудона. Ее дальнейшее развитие происходило в Международном союзе рабочих, союзе, внушившем столько надежд рабочим и столько страха буржуазии в 1868-1870 гг., как раз перед началом франко-немецкой войны.

Что этот союз не был основан Марксом, как это любят утверждать марксисты, — это ясно. Известно, что он был следствием встречи делегации французских рабочих, приехавших в 1862 г. в Лондон для осмотра Второй Всемирной выставки, с представителями английских профессиональных союзов (трэд-юнионов), которые вместе с присоединившимися к ним несколькими английскими радикалами встречали эту делегацию. Связь, установившаяся с этого посещения, еще более окрепла по случаю митинга сочувствия Польше в 1863 г., и в сентябре следующего 1864 г.

на митинге в Сент-Мартинс Холле Союз был основан окончательно. Марксу поручили составить воззвание Союза, которое было напечатано в конце года особою брошюрою, вместе с Временным Уставом Интернационала, выработанным особым комитетом.

Уже в 1830 г., в то время, когда основывался в Англии Великий Национальный Союз всех ремесел (The Great National Trades Union), Роберт Оуэн пытался устроить Международный Союз всех ремесел.

Но скоро эту мысль пришлось оставить, так как английское правительство стало яростно преследовать Национальный Союз. Однако мысль Интернационала не была потеряна; она тлела под пеплом в Англии, нашла сторонников во Франции, и после поражения, которое потерпела революция 1848 г., та же мысль была перенесена французскими изгнанниками в Соединенные Штаты и распространялась там французскою газетою «Интернационал».

Французские рабочие, посетившие Лондон в 1862 г., были большею частью прудонисты, т.е. мютюэлисты; английские же члены рабо-

чих союзов принадлежали, главным образом, к школе Роберта Оуэна. Английский оуэнизм таким образом соединился с французским мютюэлизмом, вне влияния политической буржуазии; и следствием этого союза было основание сильной международной организации рабочих с целью вести борьбу, главным образом на экономической почве и раз навсегда порвать со всякими радикальными, чисто политическими партиями [15].

Этот союз двух главных направлений среди рабочих-социалистов того времени нашел поддержку в лице Маркса и других — у остатков тайной политической организации коммунистов; в нее входило тогда все, что еще оставалось от тайных обществ Барбеса и Бланки, которые, подобно немецким тайным коммунистическим обществам Вейтлинга, вели свое начало из заговора государственных коммунистов, организованного Бабефом в 1794-1795 гг.

В одной из предыдущих глав (гл. V) читатель видел, что 1856-1862 гг. были отмечены необыкновенным подъемом естественных наук и философии. Это были также годы по-

чти всеобщего политического пробуждения радикальных идей в Европе и Америке. Оба эти движения пробуждали и рабочие массы, которые начали понимать, что им самим предстоит задача подготовить народную пролетарскую революцию. После поражения политической революции 1848 г. выступила мысль о необходимости приготовления экономической революции в среде самих рабочих. На Международную выставку 1862 г. смотрели как на великий праздник мировой промышленности, и она сделалась отправным пунктом развития в борьбе труда за свое освобождение; и когда Международный союз рабочих громко заявил о своем разрыве со всеми старыми политическими партиями и о решении рабочих взять в свои руки дело своего освобождения, он повсеместно произвел глубокое впечатление.

Действительно, Интернационал начал быстро распространяться в латинских странах. Его боевая сила скоро достигла угрожающих размеров, тогда как конгрессы его федераций и ежегодные конгрессы всего Интернационала давали рабочим возможность самим

обсуждать, в чем должна состоять социальная революция и как могла бы она совершиться. Они, таким образом, побуждали созидательные силы рабочих масс изыскивать новые формы объединения для производства, потребления и обмена.

В ту пору повсеместно думали, что в Европе скоро разразится великая революция; а между тем представления, более или менее ясного, относительно политических форм, которые могла бы принять революция, и относительно ее первых шагов — не существовало. Напротив того, в самом Интернационале встречались и сталкивались несколько совершенно противоположных течений социализма.

Господствующей мыслью в союзе рабочих была мысль о прямой, непосредственной борьбе труда против капитала на экономической почве, т.е. освобождение труда не при помощи законодательства, на которое согласилась бы буржуазия, а самими рабочими, которые силою будут вырывать у капиталистов и в конце концов заставят их сдать-ся вполне. «Освобождение рабочих должно

быть делом самих рабочих!» — гласило основное правило Интернационала; и теперь это основное начало снова возродилось в синдикалистском движении, которое тоже принимает интернациональный характер.

Но как, в какой форме совершится освобождение труда из-под ига капиталистов? Какую новую форму могло бы принять устройство производства и обмена? По этому вопросу социалисты 1864-1870 гг. были так же несогласны между собой, как и в 1848 г., когда представители различных социалистических учений встретились в Париже, в Учредительном собрании провозглашенной в феврале 1848 г. Республики.

Подобно своим французским предшественникам 1848 г., которых стремления так хорошо изложил Консидеран в своей книге «Социализм перед лицом Старого Света», социалисты Интернационала точно так же не могли сойтись под одним знаменем. Они колебались в выборе между различными решениями, и ни одно из них не было ни достаточно правильно, ни достаточно очевидно, чтобы объединить умы; причем объединение было

тем более трудно, что сами социалисты еще не расстались со своим уважением к капиталу и государственной власти.

Бросим же беглый взгляд на эти различные течения. В Интернационале встречались, во-первых, прямые наследники якобинства Великой Французской революции — т.е. заговора Бабефа — в лице тайных обществ французских «коммунистов» (бланкистов) и немецкого Коммунистического Союза, основанного Вейтлингом. И те и другие жили традициями ярого якобинства 1793 г. Известно, что в 1848 г. они все еще мечтали завладеть в один прекрасный день политической властью в государстве посредством заговора — может быть, также при помощи диктатора — и установить «диктатуру пролетариата» по образцу якобинских обществ 1793 г., но на этот раз в пользу рабочих. Эта диктатура, думали они, установит коммунизм посредством законодательства.

Правительству, говорили они, достаточно будет провести законодательством всевозможные стеснительные законы и налоги, которые сделают существование собственников

настолько затруднительным, что они сами скоро будут счастливы избавиться от собственности и передать ее государству. Тогда государство будет посылать «армии земледельцев», чтобы обрабатывать поля. Промышленные заведения, устроенные по тому же полувоенному образцу, будут тоже вестись государством [16].

Такие же взгляды были распространены среди социалистов и во время основания Интернационала, и они продолжали находить сторонников позднее: во Франции среди бланкистов и в Германии — у лассальянцев и у социал-демократов.

С другой стороны, английские рабочие школы Роберта Оуэна держались взглядов, прямо противоположных этим якобинским воззрениям. Они положительно отказывались рассчитывать на силу государства, как для совершения революции, так и в деле созидания социалистического строя. Они рассчитывали, главным образом, на деятельность объединенных рабочих союзов (трэд-юнионов). При этом английские последователи Оуэна не стремились к государственному

коммунизму. Подобно французским последователям Фурье, они придавали большое значение свободно составленным и объединенным между собой общинам и группам, которые сообща владели бы землей и фабриками, но сами организовали бы свое производство и сдавали бы то, что сработают, в общественные склады для продажи.

Вообще, производители могли бы работать как большими или малыми группами, так и в одиночку, согласно требованиям производства. Вознаграждение же за работу в общинах и группах, так же как и обмен между общинами, производились бы марками труда. Эти марки, или чеки, означали бы количество рабочих часов, проведенных в работе на общинных полях или на фабриках и в мастерских, и каждая община оплачивала бы такими марками продукты, произведенные индивидуально и сданные каждым производством в общинные склады для обмена.

Та же мысль вознаграждения марками труда была, как мы уже видели, принята Прудоном и мютюэлистами в их планах преобразования общества. Они так же отрицали вме-

шательство государственной власти в обществе, которое родилось бы из революции. Они говорили, что социальная революция сделает хозяйственную деятельность государства ненужной, так как весь обмен может производиться Национальными банками и расчетными конторами (Clearing House), а воспитание, санитарные мероприятия, пути сообщения, промышленные предприятия и т.д. были бы в руках независимых общин.

Наконец, та же мысль о марках труда, заменяющих деньги при обмене, но уже в государстве, ставшем собственником всех земель, копей, железных дорог, заводов, проводилась в 1848 г. двумя замечательными писателями, Пеккером и Видалем, которые называли свою систему коллективизмом. Оба упорно замалчиваются теперь социалистами, тем легче, что их труды, изданные в конце сороковых годов, сохранились лишь в весьма небольшом количестве экземпляров [17]. Видаль был секретарем Люксембургской Комиссии, а Пеккер был членом Учредительного собрания 1848 г. и написал тогда об этом предмете замечательный трактат. Он в нем подробно из-

ложил свою систему — даже в виде законов, которые собранию достаточно было бы, по его словам, провести, чтобы совершить социальную революцию [18].

Во время основания Интернационала имена Пеккера и Видаля, по-видимому, были совершенно забыты даже их современниками, но мысли их были очень распространены, и скоро они стали еще более распространяться, в особенности в Германии, под именами «научного социализма», «марксизма» и «коллективизма» [19].

Социалистические воззрения в Интернационале. — Сенсимонизм.

Наряду с только что упомянутыми школами социализма была также, как известно, школа сенсимонистов. Главной своей силой она достигла, правда, в 30-х гг. XIX в., но и гораздо позже продолжалось ее глубокое влияние на социалистические воззрения членов Интернационала.

Многие блестящие писатели — мыслители, политики, историки, романисты, а также промышленники развились в 30-х и 40-х годах под влиянием сенсимонизма. Достаточно

назвать здесь Огюста Конта в философии, Огюс-тена Тьерри между историками и Сисмонди среди экономистов. Все социальные реформаторы середины XIX в. испытали на себе влияние этой школы.

Движение человечества вперед, говорили сенсимонисты, до сих пор состояло в том, что рабский труд превратился в крепостной труд, а крепостной — в наемный. Но недалеко время, когда станет необходимо уничтожить и денежную зависимость труда, а с этим вместе, в свою очередь, должна будет исчезнуть и частная собственность на все необходимое для производства. В этом, прибавляли они, не надо видеть ничего невозможного, потому что Собственность и Власть уже претерпели немало изменений в исторические времена. Новые изменения оказываются нужными, и они необходимо должны совершиться.

Уничтожение частной собственности, говорили сенсимонисты, могло бы произойти постепенно, при помощи ряда мероприятий (напомним, что Великая Французская революция уже положила им начало). Эти мероприятия позволили бы, например, государ-

ству при помощи больших налогов на наследство брать себе все большую и большую часть собственности, передаваемой одним поколением другому. Таким образом количество собственности, переходящей в частные руки, постоянно уменьшалось бы, и постепенно частная собственность исчезла бы, так как сами богатые убедились бы, что им выгодно отказаться от преимуществ, созданных в их пользу исчезающею цивилизацией. Тогда добровольный отказ богатых от собственности и уничтожение наследования законодательным путем превратили бы сенсимонистское государство в единственного собственника земли и промышленности, в высшего распорядителя работами, никому не подчиненного начальника и направителя искусств, науки и промышленности.

Каждый член общества работал бы в одной из этих областей и был бы «чиновником» сенсимонистского государства. Управление же представляло бы из себя иерархию, т.е. лестничную организацию «лучших людей», — лучших в науках, искусствах и промышленности.

Распределение продуктов происходило бы согласно такому положению: «Каждому — согласно его способностям, каждому таланту — сообразно его произведениям».

Кроме этих планов будущего, сенсимонистская школа и получившая в ней свое начало позитивная философия дали XIX веку ряд замечательнейших исторических трудов, в которых происхождение власти, частной собственности и государства рассматривались с действительно научной точки зрения. Эти работы и до сих пор сохранили все свое значение.

В то же время сенсимонисты подвергли строгому разбору политическую экономию так называемой классической школы, т.е. школы Адама Смита и Рикардо, которая позже стала известна под именем «Манчестерской школы» и проповедовала так называемое «невмешательство государства».

Наконец, Огюст Конт, основатель «позитивной», т.е. естественнонаучной философии, охватывающей все явления как в жизни природы, так и в постепенном развитии (эволюции) человечества, был сперва учеником и

последователем Сен-Симона.

Но, борясь против промышленного индивидуализма и конкуренции, сенсимонисты впадали в ту же ошибку, против которой они боролись вначале, когда выступили против военного государства и его иерархических ступеней. Они кончили признанием всемогущества государства и основывали свой порядок как это уже заметил Консидеран — на неравенстве и власти: на правительственной иерархии, которой они даже хотели придать духовный характер.

Таким образом, сенсимонисты 40-х годов, признавая верховную власть государства так же, как признавали ее якобинские коммунисты, отличались от них только той долей личного участия, которую они предоставляли производителю в общем производстве товаров. Несмотря на прекрасные работы по политической экономии, сделанные многими из них, они еще не дошли до представления, что богатства производятся обществом — всеми вместе, а не отдельными лицами. Иначе они поняли бы, что нет возможности справедливо определить, какая часть из общего количе-

ства произведенных богатств должна быть предоставлена каждому отдельному производителю.

По этому пункту существовало глубокое разногласие между коммунистами и сенсимонистами; но зато они вполне сходились в том, что ни те, ни другие не придавали значения отдельной личности, ее правам и желаниям. Все, что предоставляли ей коммунисты, ограничивалось правом избрания своих чиновников и правителей, и сенсимонисты тоже нехотя признали это право после 1848 г. Раньше же они не признавали даже права выборов. Но для коммунистов, как и для сенсимонистов, равно как и для современных нам коллективистов и социал-демократов, всякое отдельное лицо есть только чиновник государства.

В лице Кабе, написавшего «Путешествие в Икарию» и основавшего коммунистические колонии в Америке, якобинский коммунизм и подавление личности нашли полнейшее выражение. Действительно, в «Путешествии» Кабе мы везде встречаем власть, государство — вплоть до кухни в каждом хозяйстве.

Не довольствуясь составлением «поваренного руководства», которое будет получать каждая семья, Икарийская Республика утверждает список одобренных съестных продуктов, заставляет своих земледельцев и рабочих производить их и раздает их своим подданным. «А так как, — писал Кабе, — никто не может иметь других съестных припасов, кроме раздаваемых республикою, то ты понимаешь, что никто не может есть ничего, что не было бы одобрено ею» («Путешествие в Икарию», 5-е французское издание, 1848 г., с. 52).

Заботливость правительства доходит до того, что Комитет определяет, сколько раз в день должно есть, в какое время и как долго, и назначает количество кушаний, их состав и порядок, в котором они должны подаваться. Что же касается одежды, то она заказывается Комитетом по определенным образцам, причем каждый носит форму, соответствующую его общественному положению. Рабочие, всегда делающие одну и ту же вещь, составляют полк. «До такой степени господствуют порядок и дисциплина!» — восклицает с восторгом Кабе.

Нечего и говорить, что никто ничего не может печатать, не получив на это разрешение Республики, и то только после сдачи соответствующего экзамена и полученного по всем правилам разрешения быть писателем.

Сомнительно, чтобы утопия Кабе, вся в целом, имела многочисленных сторонников в Интернационале; но дух ее оставался. Положительно верно — и мы сами очень хорошо это чувствовали во время споров, которые вели с государственниками, в особенности с немецкими коммунистами, — что даже строгий регламент, о котором мы только что упоминали и который нам теперь кажется таким бессмысленным, был тогда принимаем (в 70-е гг., особенно немцами) за выражение глубокой мудрости. На наши возражения нам отвечали словами Кабе:

«Конечно, коммуна непременно образом связывает и лишает свободы действий, но это потому, что ее главная обязанность дать богатство и счастье. Чтобы избежать двойной затраты труда и напрасных убытков, чтобы достигнуть возможно большей производительности в земледелии и промышленности при

возможно меньшей затрате труда, необходимо, чтобы общество все имело в своих руках, все бы направляло и всем бы распоряжалось; надо, чтобы оно подчиняло своим правилам, своим порядкам, своей дисциплине все воли, все действия». Добрый гражданин должен даже «удерживаться от всего, что не предписано» («Путешествие в Икарию», 5-е французское издание, с. 403).

Хуже всего то, что у государственников оставалось еще убеждение, что в конце концов, как сказал Кабе, «коммунизм так же возможен при монархе, как при президенте республики». Эта-то мысль и уготовила путь для государственного переворота Наполеона III и затем, много позже, позволяла социалистам-государственникам относиться так легко к буржуазной реакции.

Наконец, мы должны также упомянуть о школе Луи Блана, которая во время основания Интернационала имела многочисленных сторонников во Франции и Германии, где она была представлена сплоченною массою ласальянцев. Эти социалисты, такие же сторонники государства, как и предыдущие, счита-

ли, что переход промышленной собственности из рук капитала в руки труда может произойти, если правительство, порожденное революцией и вдохновляемое социалистическими воззрениями, поможет рабочим устроить обширные рабочие производительные кооперативы, которым правительство же даст займы необходимые средства. Эти кооперативы были бы соединены в обширную систему национального производства. Как временная мера могло бы быть принято денежное вознаграждение, равное для всех; но конечною целью было бы распределение продуктов согласно потребностям каждого производителя.

В сущности, мы видим, что социализм Луи Блана был, как говорит совершенно верно Консидеран, «коммунистический сенсимонизм», управляемый демократическим государством.

Опираясь на обширную систему национального кредита, поддерживаемые государственными заказами, рабочие кооперативы, которые хотел основать Луи Блан, получая деньги займы от государства по очень низ-

кому проценту, были бы в состоянии конкурировать с капиталистической промышленностью. Они скоро вытеснили бы капиталистов из производства и сами стали бы на их место.

Они также могли бы развиваться и в земледелии. Что же касается до рабочих, то они никогда не должны были бы терять из виду этого экономического, социалистического идеала и не должны были бы увлекаться просто демократическим идеалом буржуазных политиков.

Все эти воззрения, выработавшиеся под влиянием социалистической пропаганды в сороковые года, равно как под влиянием февральского и июньского восстаний 1848 г., были, с различными изменениями в подробностях, широко распространены в Международном союзе рабочих. Различия в воззрениях были большие; но, как мы уже видели, сторонники всех этих школ сходились в одном: все они признавали, что в основании будущей революции должно будет лежать сильное правительство, которое будет держать в своих руках хозяйственную жизнь страны.

Все они признавали централизованное и иерархическое устройство государства.

К счастью, наряду с этими якобинскими воззрениями, в противовес им, существовало также и учение фурьеристов, к разбору которого мы теперь перейдем.

XII. АНАРХИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Социалистические воззрения в Интернационале. — Фурьеризм.

Фурье, современник Великой Революции, уже не был в живых, когда основывался Интернационал. Но его мысли были так широко распространены его последователями-в особенности Консидераном, который придал им известный научный характер, — что сознательно или бессознательно самые образованные члены Интернационала находились под влиянием фурьеризма [20].

Что же касается программы практических действий в «Коммунистическом Манифесте», то, как это показал профессор Андлер, образцом для нее послужила программа тайных коммунистических обществ, французских и немецких, которые продолжали дело тайных обществ Бабефа и Буонарроти. Изучение кни-

ги Консидерана «Социализм перед лицом старого света» (Le Socialisme devant le vieux monde) нельзя не порекомендовать серьезно-му вниманию современных социалистов.

Чтобы понять влияние фурьеризма в те годы, надо заметить, что господствующею мыслью Фурье не было объединение капитала, труда и таланта для производства богатств, как это обыкновенно утверждается в книгах по истории социализма. Его главной целью было положить конец частной торговле, которая ведется в целях наживы и которая необходимо приводит к крупным, недобросовестным спекуляциям. Чтобы достигнуть этого, он предлагал создать свободную национальную организацию для обмена всяких продуктов. Таким образом, Фурье вновь поднял мысль, которую уже пыталась осуществить Великая Революция в 1793-1794 гг., после того как парижский народ изгнал жирондистов из Конвента и Конвент принял закон о максимуме цен на предметы первой необходимости.

Как говорил Консидеран в своей книге «Социализм перед лицом старого света», Фурье

видел средство для прекращения всех безобразий современной эксплуатации «в установлении непосредственных сношений между производителем и потребителем, — в устройстве общинных посреднических агентур, являющихся складами, но не владельцами продуктов, которые они получают непосредственно с места их производства и передают непосредственно потребителям».

В таких условиях цена товаров перестала бы служить предметом спекуляции. Она могла бы повышаться только на то, во что обойдутся «издержки по перевозке, хранению и управлению, тяжесть которых почти нечувствительна» (Консидеран, с. 39).

Уже ребенком Фурье, помещенный родителями в торговое заведение, принес клятву ненависти к торговле, худые стороны которой он близко узнал из собственного опыта. И с тех пор он дал себе слово бороться против нее. Позже, во время Великой Революции, он был свидетелем ужасающих спекуляций сперва при продаже и покупке национальных имений, отобранных у церкви и дворян, а потом — в невероятном повышении цен на

все продукты во время войн Революции против европейских монархий. Он также знал из опыта, что ни якобинский Конвент, ни террор с его беспощадной гильотиной не в силах были прекратить эти спекуляции. Тогда он понял, что отсутствие национальной, общественной организации обмена, по крайней мере для предметов, необходимых для жизни, могло сделать недействительными для народа все благодетельные последствия экономической революции, произведенной отобранием земель у духовенства и дворянства в пользу демократии. Тогда же он должен был увидеть необходимость национализации торговли и оценить попытку, сделанную в этом направлении народом, «санкюлотами», в 1793-1794 гг. Он сделался ее апостолом (...).

Свободная община — хранительница продуктов, произведенных ее членами, даст, по его мнению, разрешение великой задачи устройства обмена и распределения предметов первой необходимости. Но община не должна быть собственницей складочных магазинов, подобно теперешним кооперативам. Она должна быть только хранительницей —

агентством, куда продукты сдаются для их распределения, без всякого права взимать плату с потребителей и без права спекуляции на изменениях цен.

Мысль Фурье разрешить социальную задачу, организовав потребление и обмен на общественном начале, уже делает из него одного из самых глубоких социалистических мыслителей.

Но он не остановился на этом. Он, кроме того, предположил, что все члены земледельческой или промышленной, или, вернее сказать, смешанной земледельческо-промышленной общины, составят фалангу. Они соединят в одно свои земли, рабочий скот, инструменты и машины и будут обрабатывать земли или работать на фабриках, считая, что земли, машины, фабрики и т.д. принадлежат им всем сообща, — но ведя при этом строгий счет, насколько каждое отдельное лицо увеличило общий капитал.

Два главных правила, говорил он, должны быть соблюдаемы в фаланге. Во-первых, не должно быть неприятных работ. Всякая работа должна быть так оборудована, так распре-

делена и настолько разнообразна, чтобы всегда быть привлекательной. Во-вторых, в обществе, устроенном на основаниях свободного сотрудничества, не должно быть допущено никакого принуждения, да и не будет причин, делающих нужным принуждение.

При наличности сколько-нибудь внимательного, вдумчивого отношения к личным нуждам каждого члена фаланги и при некоторой снисходительности к особенностям различных характеров, а также соединяя труд земледельческий, промышленный, умственный и художественный, члены фаланги скоро убедятся, что даже людские страсти, которые, при современном устройстве, являются часто злом и опасностью (что в свою очередь всегда приводится в оправдание применения силы), могут быть источником дальнейшего развития прогресса. Достаточно ближе узнать сущность этих страстей и найти им общественное применение. Новые предприятия, опасные приключения, общественное возбуждение, жажда перемен и т.д. дадут этим страстям необходимый выход. Действительно, всякий знает, насколько страсть к азарту и

непривычка к регулярному труду бывают причинами воровства, грабежа и других поступков, наказываемых теперь уголовными законами. В разумно устроенном обществе самые эти страсти нашли бы себе лучший исход.

Правда, что Фурье платил еще дань государственным идеям. Таким образом он признавал, что для того, чтобы сделать опыт с его сообществом, чтобы испытать сперва «простую гармонию», которая будет предтечей «настоящей гармонии, представитель верховной власти мог бы сослужить службу». — «Можно было бы, например, предоставить главе Франции честь вывести род человеческий из социального хаоса, ставши основателем гармонии и освободителем земного шара», — говорил он в своем первом сочинении; и ту же мысль он повторил позже, в 1808 г., в своей «Теории четырех движений». Впоследствии он даже обращался с этой целью к королю Людовику Филиппу (Пелларэн Ш. Фурье, его жизнь и его учение; 4-е французское издание, с. 114). Но все это относилось только к первому подготовительному опыту.

Что же касается того общества, которое он называл «настоящею гармониею» или всемирною гармониею, то в ней он не давал места никакому правительству. Эта гармония, говорил он, не может быть вводимая «по частям». Превращение должно произойти одновременно в общественных, политических, хозяйственных и нравственных отношениях людей. Когда Фурье начинал разбирать идею государства, он был так же последователен в своей критике, как и мы теперь. — «Политический беспорядок, — говорил он, — является одновременно и следствием, и выражением хозяйственного (социального) беспорядка. Неравенство становится крайнею несправедливостью. Государство, во имя которого действует власть, по происхождению и по основным своим началам является, несомненно, слугою привилегированных классов и их защитником против остального населения». И так далее.

Вообще в «Гармоническом обществе» Фурье, которое будет создано полным проведением в жизнь его мыслей, нет места принуждению.

Фурье писал непосредственно после поражения Великой Революции и потому неизбежно склонялся к мирным разрешениям социального вопроса. Он настаивал на необходимости признать в принципе совместную деятельность капитала, труда и таланта. Вследствие этого ценность каждого продукта, произведенного фалангой, должна была быть разделена на три части, из которых одна часть (половина или же семь двенадцатых всей суммы) служила бы вознаграждением труда, вторая часть (три двенадцатых) поступала бы в пользу капитала, а третья часть (две или три двенадцатых) — в пользу таланта.

Однако большинство приверженцев Фурье в Интернационале не придавало большого значения этой части его системы. Они понимали, что тут сказывалось влияние того времени, когда он писал. И наоборот, они особенно помнили следующие основные положения учения Фурье:

- 1) Свободная община, т.е. небольшое земельное пространство, вполне независимое, делается основанием, единицей в новом со-

циальном обществе.

2) Община является хранительницей всех продуктов, произведенных внутри ее, и посредницей при всякого рода обмене с другими общинами. Она также представляет собой союз потребителей, и весьма возможно, что в большинстве случаев она будет также единицей производства, которою, впрочем, может быть и профессиональная группировка (т.е. рабочий союз) или же союз нескольких производительных артелей.

3) Общины свободно объединяются между собой, чтобы составить федерацию, область, народ.

4) Труд должен быть сделан привлекательным: без этого он всегда ведет к рабству. И раньше, чем это будет сделано, невозможно никакое решение социального вопроса. Достигнуть же этого вполне возможно (две глубокие истины, слишком легко забываемые теперь). Труд должен и может быть гораздо производительнее, чем теперь.

5) Для поддержания порядка в подобного рода общинах не требуется никакого принуждения: вполне достаточно влияния обще-

ственного мнения.

Что касается распределения произведенных продуктов и потребления, то относительно этого мнения еще очень разделялись.

После основания Интернационала социалистические идеи имели успех, прежде всего на конгрессах в Брюсселе в 1868 г. и в Базеле в 1869 г. Интернационал высказался громадным большинством за коллективную собственность на землю, годную к обработке, на леса, железные дороги, каналы, телеграфы и т.д., рудники, а также машины. Приняв коллективную собственность и экспроприацию как средство ее достижения, члены Интернационала противогосударственники приняли название коллективистов, чтобы ясно отделить себя от государственного и централ изаторского коммунизма Маркса и Энгельса и их сторонников и от такого же направления французских коммунистов, державшихся государственных традиций Бабефа и Кабе [21].

В брошюре «Мысли о социальной организации», опубликованной в 1876 г. Джемсом Гильомом, который сам принимал активное участие в пропаганде коллективизма, а также

в его главном сочинении «Интернационал. Документы и воспоминания» (4 тома, появившихся в Париже в 1905 — 1910 гг.) и, наконец, в его статье «Коллективизм в Интернационале», которую Гильом написал недавно для «Синдикалистской энциклопедии», интересующиеся могут найти все детали о точном смысле, который придавали слову «коллективизм» наиболее деятельные члены федералистского Интернационала — Варлен, Гильом, Де-Пап, Бакунин и их друзья. Они объявили, что в противоположность государственному коммунизму они подразумевают под словом «коллективизм» — коммунизм негосударственный, федералистский, или анархический. И называя себя коллективистами, они прежде всего подчеркивали, что они противого-сударственники. Они не желали предрешать формы, которую примет потребление в обществе, совершившем экспроприацию. Для них было важно стремление не замыкать общество в суровые рамки, они желали сохранить для более передовых групп самую широкую свободу в этом отношении. К несчастью, идеи о коллективной собственно-

сти, брошенные в Интернационале, не имели времени распространиться в рабочих массах, когда разразилась франко-немецкая война, десять месяцев спустя после Базельского Конгресса, — так что ни одной серьезной попытки в этом направлении не было сделано во время Парижской Коммуны. А после того, как Франция и Коммуна были раздавлены, федералистский Интернационал должен был сосредоточить все свои силы на поддержание главной своей идеи — противогосударственной организации рабочих сил в целях непосредственной борьбы труда против капитала, чтобы прийти к социальной революции. Волей-неволей вопросы будущего должны были остаться на втором плане, и если идеи коллективизма, понимаемого в смысле анархического коммунизма, продолжали распространяться некоторыми приверженцами, то они наталкивались, с одной стороны, на понятия государственного коллективизма, развитые марксистами после того, как они начали пренебрегать идеями «Коммунистического Манифеста», и с другой стороны — на государственный коммунизм бланкистов и на

весьма распространенные предрассудки против коммунизма вообще, укрепившиеся в рабочих массах латинских стран после 1848 г. под влиянием сильной критики государственного коммунизма, выдвинутой Прудоном. Это сопротивление было так сильно, что в Испании, например, где федералистский

Интернационал был в тесных сношениях с широкой федерацией рабочих профессиональных союзов, в то время и гораздо позже коллективизм истолковывали как подтверждение коллективной собственности, просто прибавляя к нему слова «и анархия» (*anarquía u colectivismo*), чтобы только подкрепить противогосударственную идею, не предрешая, каков будет способ распределения — коммунистический или иной, — который мог быть принят каждой отдельной группой производителей и потребителей.

Наконец, что касается способа перехода от современного общества к обществу социалистическому, то деятели Интернационала не придавали большого значения тому, что по этому поводу говорил Фурье. Они чувствовали, что в Европе развивается положение дел,

ведущее к революции, и видели, что приближается революция более глубокая и более общая, чем революция 1848 г. И когда она начнется, говорили они, рабочие должны сделать все от них зависящее, чтобы отнять у капитала захваченные им монополии и передать их в руки самих производителей, т.е. рабочих, не дожидаясь приказов правительства.

Толчок, данный Парижской Коммуной. — Бакунин.

Из короткого обзора, данного в предшествующих главах, уже можно представить себе, на какой почве развивались анархические идеи в Интернационале.

Мы видели, какую смесь централистического и государственного якобинства с стремлением к местной независимости и федерации представляли тогда понятия деятелей Международного союза рабочих. И то и другое течение мысли — мы теперь это знаем — имело своим источником Великую Французскую революцию. Централистические идеи происходили по прямой линии от якобинства 1793 г., а идеи местной независимой деятельности были наследием крупной созидатель-

ной и разрушительной революционной работы куммун (общин) 1793-1794 гг. и их отделов (секций) в больших городах.

Надо сказать, однако, что из этих двух течений, якобинское, без сомнения, преобладало. Почти все буржуазные интеллигенты, вошедшие в Интернационал, мыслили как государственники-якобинцы, а рабочие находились под их влиянием.

Нужно было, чтобы совершилось событие такой громадной важности, как провозглашение Парижской Коммуны и геройская борьба парижского народа против буржуазии, чтобы дать новое направление революционной мысли, по крайней мере в латинских странах, особенно в Испании, Италии и части французской Швейцарии.

В июле 1870 г. началась ужасная франко-прусская война, в которую бросились Наполеон III и его советники, чтобы спасти Империю от неизбежной республиканской революции. Война привела к жестокому разгрому Франции, к гибели Империи, к временному правительству Тьера и Гамбетты и к Парижской Коммуне, за которою последовали по-

добные же попытки в Сент-Этьене, Нарбонне и других южных городах Франции и, позднее, в Барселоне и Картагене в Испании.

Для Интернационала — по крайней мере, для тех его членов, которые умели мыслить и извлекать пользу из уроков жизни, — происшедшие события послужили уроком. Общинные (коммунальные) восстания были настоящим откровением. Социалисты видели, как отдельные города объявили свою независимость от государства и свое право самим начинать новую жизнь, не дожидаясь, пока вся нация с ее отсталыми областями согласится тоже выступить на новый путь; и они поняли, что, совершаясь под красным знаменем социальной революции, которое парижские рабочие ценой своей жизни отчаянно защищали на баррикадах, восстания городов указали, какую должна быть, какою, вероятно, будет политическая форма будущей революции среди латинских народностей.

Не демократическая республика, как то думали в 1848 г., а Община свободная, независимая и, весьма вероятно, коммунистическая.

Понятно, что спутанность мысли, царив-

шая тогда в умах относительно того, какие политические и экономические меры нужно принять во время народной революции, чтобы обеспечить ей успех, дала себя почувствовать и во время Парижской Коммуны. Там царила та же умственная неопределенность, которую мы видели в Интернационале.

Якобинцы, т.е. правительственные централисты, с одной стороны, и коммунисты-федералисты, т.е. общинники, с другой, были одинаково представлены в парижском восстании, и очень скоро в Коммуне между ними стали происходить несогласия. Самый воинствующий элемент находился среди якобинцев и бланкистов. Но Бланки сидел в тюрьме, а среди бланкистских главарей буржуа, по большей части — уже немного осталось от коммунистических идей их предшественников, последователей Бабефа. Для них экономический вопрос был чем-то таким, чем надо будет заняться потом, после того как восторжествует Коммуна; а так как это мнение было с самого начала очень распространено, то народные коммунистические стремления не успели развиться настоящим образом. Тем бо-

лее что и сама Коммуна, провозглашенная, когда немецкие армии стояли вокруг Парижа, просуществовала всего 70 дней.

При таких условиях поражение не заставило себя ждать, и беспощадная месть трусливой, напуганной и злобной буржуазии еще раз доказала, что торжество народной коммуны может быть достигнуто только в том случае, если народные массы, побуждаемые потребностью завоеваний на экономической почве, со страстью вступят в движение.

Чтобы общинная политическая революция могла восторжествовать, надо уметь провести одновременно революцию экономическую.

Что Парижская Коммуна сделала невозможным восстановление монархии, которого хотела буржуазия, — в этом нет сомнения. Но в то же время она дала другой важный урок — она сделала то, что революционный пролетариат латинских стран стал яснее понимать с тех пор истинное положение вещей.

Свободная община — такова политическая форма, которую должна будет принять социальная революция. Пускай вся страна, пускай

все соседние страны будут против такого образа действий, но раз жители данной общины и данной местности решат ввести обобществление потребления предметов, необходимых для удовлетворения их потребностей, а также обобществление обмена этих продуктов и их производства — они должны осуществить это сами, у себя, на деле, не дожидаясь решений в этом смысле национального парламента. И если они это сделают, если они направят свои силы на это великое дело, то они найдут внутри своей общины такую силу, которой они никогда бы не нашли, если б захотели увлечь за собой всю страну со всеми ее частями — отсталыми, враждебными или безразличными. Лучше открыто бороться против них, чем тянуть их за собой, как ядро, привязанное к ногам революции.

Больше того. Мы также считаем, что если не нужно центральное правительство, чтобы приказывать свободным общинам, если национальное правительство уничтожается и единство страны достигается помощью свободной федерации общин, — в таком случае таким же лишним и вредным является и цен-

тральное городское управление. Дела, которые приходится решать внутри отдельной общины, даже в большом городе, в действительности гораздо менее сложны, интересы граждан менее разнообразны и противоположны, чем внутри страны, хотя бы она была не больше Швейцарии или одного из ее кантонов. Федеративный принцип, т.е. вольное объединение кварталов, промышленных союзов потребления и обмена и т.д., вполне достаточен, чтобы установить внутри общины согласие между производителями, потребителями и другими группами граждан.

Парижская Коммуна дала ответ еще на один вопрос, который мучил каждого истинного революционера. Два раза Франция делала попытку провести социальную революцию, оба раза при помощи центрального правительства: первый раз в 1793-1794 гг., когда после изгнания жирондистов из Конвента Франция попробовала ввести «действительное равенство», т.е. равенство настоящее, экономическое — при помощи строгих законодательных мер; и второй раз в 1848 г., когда она попробовала дать себе через Национальное

собрание «социал-демократическую республику». И оба раза она потерпела полнейшую кровавую неудачу.

Теперь сама жизнь нам подсказывала новое решение — «Свободная община». Община сама должна произвести революцию в своих пределах в то же время, когда она будет освобождаться от центрального государства. И по мере того как выяснилось в умах это решение, стал развиваться новый идеал: анархия.

Мы тогда поняли, что в книге Прудона «Общее понятие о революции в девятнадцатом веке» заключалась глубоко практичная мысль: идея анархии. И мысль передовых людей латинских народностей начала работать в этом направлении.

Увы, только в латинских странах — во Франции, Испании, Италии, в романской Швейцарии и в валлонской части Бельгии. Немцы, наоборот, вынесли из своей победы над Францией совсем другое заключение: они пришли к преклонению перед государственной централизацией. Они еще остаются запутанными в робеспьеровской фазе и преклоняются перед Клубом якобинцев, как его описы-

вают (наперекор действительности) якобинские историки.

Государство с сильно сосредоточенною в нем властью и враждебное всякому намеку на национальную независимость, сильная лестничная централизация чиновничества и сильное правительство — вот к каким выводам пришли немецкие социалисты и радикалы. Они не хотели даже понять, что их победа над Францией была победой многочисленной армии (свыше миллиона солдат), возможной при всеобщей воинской повинности, над малочисленной французской армией (420 000), собранной при существовавшем тогда во Франции рекрутском наборе; что победа была одержана главным образом над разлагающею Вторую империю, когда ей уже угрожала революция, — революция, которая принесла бы пользу всему человечеству, если бы ей не помешало вторжение немцев во Францию.

Таким образом Парижская Коммуна дала толчок идее анархизма среди латинских народов.

С другой стороны, государственные стремления в Главном совете Интернационала,

обозначаясь все сильнее и угрожая всему Интернационалу, укрепили этим анархические течения; независимость национальных федераций была в нем основным началом, причем Главный совет, существовавший только для облегчения сношений, не должен был иметь никакой власти. Между тем в 1872 г., после поражения Франции и Коммуны, Главный совет Интернационала под руководством Маркса и Энгельса, которых поддерживали в этом французские бланкисты, эмигрировавшие в Лондон после Парижской Коммуны, воспользовался данными ему правами, чтобы произвести насильственный переворот.

Созвавши вместо всеобщего, международного съезда небольшую «Конференцию» из своих приверженцев, Совет заменил в программе действий Союза прямую борьбу труда против капитала агитацией в буржуазных парламентах. Этот переворот убил Интернационал, но открыл многим глаза. Даже самые доверчивые увидали, как глупо поручать ведение своих дел правительству, хотя бы оно было избрано на таких демократических началах, как это было при избрании Главного

совета Интернационала. Таким образом федерации Испанская, Итальянская, Юрская, Валлонская и одна английская секция восстали против власти Главного совета.

В лице Бакунина анархическое направление, начавшее развиваться в Интернационале, нашло могучего и страстного защитника. Вокруг Бакунина и его юрских друзей быстро сплотился небольшой круг молодых швейцарцев, итальянцев и испанцев, который дал более широкое развитие его мыслям.

Пользуясь своими широкими познаниями в истории и философии, Бакунин дал обоснование современному анархизму в целом ряде сильных брошюр, статей и писем.

Он храбро выступил с мыслью о совершенном уничтожении государства со всем его устройством, его идеалом и его целями. В свое время, в прошлом, государство являлось исторической необходимостью. Это было учреждение, роковым образом развивавшееся из влияния, приобретенного религиозными кастами. Но теперь полнейшее уничтожение государства является в свою очередь исторически необходимым, потому что государство —

это отрицание свободы и равенства; потому что оно только портит все, за что принимается, даже тогда, когда хочет провести в жизнь то, что должно служить на пользу всем.

Каждый народ, как бы мал он ни был, каждая община, а в общине все профессиональные, производительные и потребительные союзы должны иметь возможность свободно устроиться, как они это понимают, поскольку они не угрожают своим соседям. То, что на политическом наречии называется «федерализмом» и «автономией», еще не достаточно; это только слова, которые прикрывают власть централизованного государства. Полнейшая независимость общины, союз свободных общин и социальная революция внутри общины, т.е. корпоративные группировки людей для производства, которые заменят государственную организацию существующего теперь общества, — вот идеал, который, как показал Бакунин, встает теперь перед нашею общественностью по мере того, как мы выходим из мрака прошедших веков. Человек начинает понимать, что он не будет совершенно свободен, пока в такой же степени не бу-

дет свободно все вокруг него.

В своих экономических взглядах Бакунин был полнейшим коммунистом, но, по уговору со своими друзьями федералистами из Интернационала, он называл себя анархическим коллективистом, отдавая дань недоверию, которое вызвали к себе во Франции коммунисты-государственники. Однако его коллективизм, конечно, не был коллективизмом Видаля, Пеккера, ни их нынешних последователей, которые стремятся просто к государственному капитализму. Для него, как и для его друзей, коллективизм означал общее владение всем, что служит для производства, не определяя заранее, в какой форме будет производиться вознаграждение труда среди различных групп производителей: примут ли они коммунистическое решение, или же предпочтут марки труда, или равную для всех поденную заработную плату, или какое-либо другое решение.

При своих анархических взглядах он был одновременно горячим пропагандистом социальной революции, скорое пришествие которой в то время предвидело большинство со-

циалистов и которую он горячо проповедовал в своих письмах и сочинениях.

XIII. АНАРХИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Анархическое учение в его современном виде.

Если накануне 1848 г. и в последующие годы, вплоть до Интернационала, возмущение против государства принимало форму возмущения отдельной личности против общества и его условной нравственности и проявлялось главным образом среди молодого поколения буржуазии, то теперь, в рабочей среде, оно приняло более серьезный характер. Оно преобразилось в искание новой формы общества, свободного от притеснений и эксплуатации, которым теперь способствует государство.

Интернационал, по мысли основавших его рабочих, должен был быть, как мы видели, обширным Союзом (федерацией) рабочих групп, которые являлись бы начатком того, чем сможет стать общество, обновленное социальной революцией; общество, в котором современный правительственный механизм и капиталистическая эксплуатация должны исчезнуть и уступить место новым отноше-

ниям между федерациями производителей и потребителей.

При этих условиях идеал анархизма не мог более быть личным, как у Штирнера: он становился идеалом общественным.

По мере того как рабочие обеих частей света ближе знакомились между собою и вступали в непосредственные сношения, невзирая на разделявшие их границы, они начинали лучше разбираться в социальном вопросе и с большим доверием относились к своим собственным силам.

Они предвидели, что если бы землю стал владеть народ и если бы промышленные рабочие, завладев фабриками и мастерскими, стали бы сами управлять промышленностью и направлять ее на производство всего необходимого для жизни народа, то тогда нетрудно было бы широко удовлетворять все основные потребности общества. Недавние успехи науки и техники являлись залогом успеха. И тогда производители различных наций сумели бы установить международный обмен на справедливых основаниях. Для тех, кто был близко знаком с фабриками, заводами, копя-

ми, земледелием и торговлею, это не подлежало ни малейшему сомнению.

В то же время все больше росло число рабочих, которые понимали, что государство, со своей чиновничьей иерархией и с тяжестью лежащих на нем исторических преданий, не может не быть тормозом нарождению нового общества, свободного от монополий и эксплуатации.

Само историческое развитие государства было вызвано не чем иным, как возникновением земельной собственности и желанием сохранить ее в руках одного класса, который таким образом стал бы господствующим. Какие же средства может доставить государство для уничтожения этой монополии, если сами трудящиеся не смогут найти этих средств в своих собственных силах и в своем объединении? В течение XIX века государство неимоверно усилилось в смысле утверждения монополий промышленной собственности, торговли и банков в руках вновь разбогатевших классов, которым оно доставляло дешевые рабочие руки, отнимая землю у деревенских общин и сокрушая крестьян непосильными на-

логами. Какие преимущества может доставить государство, чтобы уничтожить эти самые привилегии, если у крестьян не будет сил объединиться и добиться этого самим? Государственный механизм, развиваясь, имел своей целью созидание и укрепление привилегий — как же может он послужить их уничтожению? Разве такая новая деятельность не потребует новых исполнительных органов? И разве эти исполнительные органы не должны быть созданы теперь самими рабочими, внутри их союзов, их федераций, без всякого отношения к государству?

Тогда, когда падут созданные и поддерживаемые государством преимущества для отдельных лиц и классов, существование государства потеряет всякий смысл. Совершенно новые формы общежития должны будут возникнуть, раз отношения между людьми перестанут быть отношениями между эксплуатируемыми и эксплуататорами. Жизнь упростится, когда станет излишним механизм, существующий для того, чтобы помогать богатым еще более богатеть за счет бедных.

Представляя себе мысленно свободные об-

щины, сельские и городские (т.е. земельные союзы людей, связанных между собой по месту жительства), и обширные профессиональные и ремесленные союзы (т.е. союзы людей по роду их труда), причем общины и профессиональные и ремесленные союзы тесно переплетаются между собою, — представляя себе такое устройство взаимных отношений между людьми, анархисты могли уже составить себе определенное конкретное представление о том, как может быть организовано общество, освободившееся от ига капитала и государства. К этому им оставалось прибавить, что рядом с общинами и профессиональными союзами будут появляться тысячами бесконечно разнообразные общества и союзы: то прочные, то эфемерные, возникающие среди людей в силу сходства их личных наклонностей. Мало ли у людей общих интересов, общественных, религиозных, художественных, ученых, в целях воспитания, исследования или даже просто развлечения! Такие союзы, вне всяких политических или хозяйственных целей, создаются уже теперь во множестве; число их, несомненно, должно

расти, и они будут тесно переплетаться с другими союзами как земельными, так и союзами для производства, для потребления и для обмена продуктов.

Эти три рода союзов, сетью покрывающих друг друга, дали бы возможность удовлетворять всем общественным потребностям: потребления, производства и обмена, путей сообщения, санитарных мероприятий, воспитания, взаимной защиты от нападений, взаимопомощи, защиты территории; наконец — удовлетворения потребностей художественных, литературных, театральных, а также потребностей в развлечениях и т. п. Все это — полное жизни и всегда готовое отвечать на новые запросы и на новые влияния общественной и умственной среды и приспособляться к ним.

Если бы общество такого рода развивалось на достаточно обширной и достаточно населенной территории, где самые различные вкусы и потребности могли бы проявить себя, то всем скоро стала бы ясна ненужность каких бы то ни было начальственных принуждений. Бесполезные для поддержания эконо-

мической жизни общества, эти принуждения были бы столь же бесполезны для того, чтобы помешать большинству противообщественных деяний.

И в самом деле, в современном государстве самой большой помехой развитию и поддержанию нравственного уровня, необходимого для жизни в обществе, является отсутствие общественного равенства. Без равенства — «без равенства на деле», как выражались в 1793 г., — чувство справедливости не может сделаться общим достоянием. Справедливость должна быть одинакова для всех; а в нашем обществе, расслоенном на классы, чувство равенства терпит поражения каждую минуту, на каждом шагу. Чтобы чувство справедливости по отношению ко всем вошло в нравы и в привычки общества, надо, чтобы равенство существовало на деле. Только в обществе равных мы найдем справедливость.

Тогда потребность в принуждении или, вернее, желание прибегать к принуждению перестало бы проявляться. Всякому стало бы ясно, что нет нужды стеснять личную свободу, как это делается теперь, то страхом нака-

зания, судебного или свыше, то подчинением людям, признанным высшими, то преклонением перед метафизическими существами, созданными страхом или невежеством. Все это в современном обществе ведет только к умственному рабству, к принижению личной предприимчивости, к понижению нравственного уровня людей, к остановке движения вперед.

В среде равных человек мог бы с полным доверием предоставить собственному разуму направлять себя; ибо разум, развиваясь в такой среде, необходимо должен был бы нести на себе печать общительных привычек среды. В таких условиях — и только в таких условиях — человек мог бы достичь полного развития своей личности, между тем как восхваляемый в наше время буржуазией индивидуализм, якобы являющийся для «высших натур» средством достижения полного развития человеческого существа, — есть только самообман. Восхваляемый ими индивидуализм, наоборот, является самой верной помехой для развития всякой ярко выраженной личности.

В нашем обществе, которое преследует

личное обогащение и тем самым осуждено на всеобщую бедность в своей среде, самый способный человек осужден на жестокую борьбу ради приобретения средств, необходимых для поддержки его существования. Как бы ни были скромны его требования, он работает как вол шесть дней из семи, только чтобы добыть себе кров и пищу. Что же касается тех в сущности очень немногих лиц, которым удается отвоевать, кроме того, известный досуг, необходимый для свободного развития своей личности, то современное общество разрешает им пользоваться этим досугом только под одним условием: надеть на себя ярмо законов и обычаев буржуазной посредственности и никогда не потрясать основ этого царства посредственности ни слишком едкою критикою, ни личным возмущением.

«Полное развитие личности» разрешается только тем, кто не угрожает никакой опасностью буржуазному обществу, — тем, кто для него занимателен, но не опасен.

Как мы уже сказали, анархисты основывают свои предвидения будущего на данных, добытых путем наблюдения.

В самом деле, если мы будем разбирать направления мысли, преобладающие в образованных обществах с конца XVIII века, мы должны признать, что направление централистское и государственное еще очень сильно среди духовенства, буржуазии и тех рабочих, которые получили буржуазное образование и сами стремятся войти в буржуазию; тогда как направление противогосударственное, противоцентралистское и проти во военное, так же как и учение о свободном соглашении, имеет многочисленных сторонников среди рабочих и среди хорошо образованной, более или менее свободомыслящей части интеллигентной буржуазии.

В самом деле, как я на это уже указывал в моих работах («Хлеб и Воля», «Взаимопомощь»), в настоящее время замечается сильное стремление к созиданию, помимо государства и церкви, тысяч и тысяч небольших союзов для удовлетворения всевозможных потребностей: экономических (железнодорожные общества, рабочие синдикаты и синдикаты предпринимателей, кооперативы, товарищества земледельческие, для вывоза

продуктов и т.д.), политических, умственных, художественных, воспитательных, для пропаганды и так далее. То, что прежде было неоспоримо обязанностью государства и церкви, теперь составляет отрасль деятельности свободных организаций. Это направление делается все более и более видимым. Достаточно было, чтобы дуновение свободы немного обуздало церковь и государство, чтобы свободные организации начали появляться тысячами. И можно предвидеть, что, как только права этих двух вековых врагов свободы будут еще более ограничены, сейчас же еще шире разовьют свою деятельность свободные организации.

Будущее и прогресс лежат в этом направлении, а анархия есть выражение того и другого.

Отрицание государства.

Надо, конечно, признать, что на экономических понятиях анархистов сказалось влияние хаотического состояния, в котором еще пребывает наука о политической экономии. Среди них, как и среди социалистов-государственников, мнения по этому предмету делят-

ся.

Подобно всем тем членам социалистических партий, которые остались социалистами, анархисты считают, что существующая теперь частная собственность на землю и на все необходимое для производства точно так же, как теперешняя система производства, преследующая цели наживы и являющаяся его следствием, есть зло; что современные наши общества должны уничтожить эту систему, если они не хотят погибнуть, как погибло уже множество древних цивилизаций.

Что же касается тех средств, при помощи которых могла бы произойти эта перемена, то тут анархисты находятся в полном противоречии со всеми фракциями социалистов-государственников. Они отрицают возможность разрешить задачу при помощи государственного капитализма, т.е. захвата государством всего общественного производства или же его главных отраслей. Передача почты, железных дорог, рудников, земли в руки современного государства, т.е. в управление назначаемых парламентом министров и их чиновничьих канцелярий, не является для нас идеалом. Мы

В этом видим только новую форму закрепощения рабочих и эксплуатации рабочего капиталистом. И мы, конечно, не верим, чтобы государственный капитализм был путем к уничтожению закрепощения и эксплуатации или же одной из переходных ступеней на пути к этой цели.

Таким образом, пока социализм понимался в его настоящем и широком смысле, как освобождение труда от эксплуатации его капиталом, анархисты шли в согласии с теми, кто тогда были социалистами. И те и другие предвидели социальную революцию и желали ее наступления; причем анархисты надеялись, что революция породит новую безгосударственную форму общества, тогда как социалисты, из которых весьма многие были тогда еще коммунистами, не стремились точно определить, в какой форме они представляли себе будущий переворот, а многие из них согласились, что надо непременно ослабить центральную власть.

Но анархистам пришлось окончательно отмежеваться, когда если не большинство, то очень сильная фракция социалистов-государ-

ственников прониклась мыслью, что совсем не требуется уничтожать капиталистическую эксплуатацию, что для нашего поколения и для той ступени экономического развития, на которой мы находимся, не требуется ничего другого, как уменьшить эксплуатацию, заставив капиталистов подчиниться известным законодательным ограничениям.

С этим анархисты не могли согласиться. Мы утверждаем, что если мы в будущем хотим достичь уничтожения капиталистической эксплуатации, то уже теперь, с сегодняшнего же дня мы должны направлять наши усилия к уничтожению этой эксплуатации. Уже теперь мы должны стремиться к непосредственной передаче всего, что служит для производства, — угольных копей, рудников, заводов, фабрик, путей сообщения и в особенности всего необходимого для жизни производителей — из рук личного капитала в группы производителей, стремиться к этому и действовать соответственным образом.

Кроме того, мы должны очень беречься от передачи средств существования и производства в руки современного буржуазного госу-

дарства. В то время как социалистические партии во всей Европе требуют передачи железных дорог, производства соли, рудников и угольных копей, банков (в Швейцарии) и монополии спирта буржуазному государству в современном его виде, мы видим в этом захвате общественного достояния буржуазным государством одно из самых больших препятствий, какие только можно воздвигнуть, чтобы помешать переходу этого достояния в руки трудящихся, производителей и потребителей.

Мы в этом видим средство к усилению капиталиста, к росту его сил, направленных на борьбу против возмущившегося рабочего. Наиболее проникательные из среды капиталистов прекрасно это понимают. Они понимают, что их капиталы, например, будут гораздо сохраннее и их дивиденды гораздо надежнее, если они будут вложены в железные дороги, принадлежащие государству и управляемые государством по военному образцу. Для тех, кто привык задумываться над социальными явлениями в их совокупности, нет ни тени сомнения относительно следующего

положения, которое может считаться общественной аксиомой: «Нельзя готовить социальные перемены, не делая никаких шагов в направлении желательных перемен. Мы будем удаляться от нашей цели, если пойдем этим путем». И в самом деле, это значило бы удаляться от момента, когда производители и потребители станут сами хозяевами производства, если начать с передачи производства и обмена в руки парламентов, министерств, современных чиновников, которые теперь не могут быть ничем иным, как орудиями крупного капитала, так как все государство теперь зависит от него.

Нельзя уничтожить созданные в прошлом монополии, создавая новые монополии, всегда в пользу тех же прежних монополистов.

Мы не можем также забыть, что церковь и государство были той политической силой, к которой привилегированные классы — в ту пору, когда они еще только начинали утверждаться, — прибегали, чтобы сделаться законными обладателями всяких привилегий и прав над остальными людьми. Государство было именно тем учреждением, которое укре-

пило уверенность с обеих сторон в праве пользования этими привилегиями. Оно было выработано, создано веками с тем, чтобы утвердить господство привилегированных классов над крестьянами и рабочими. И вследствие этого ни церковь, ни государство не могут теперь сделаться тою силою, которая послужила бы к уничтожению этих привилегий. Тем более ни государство, ни церковь не могут быть той формой общественного устройства, которая возникнет, когда уничтожены будут эти привилегии. Наоборот, история нас учит, что каждый раз, когда в недрах нации зарождалась какая-нибудь новая хозяйственная форма общежития (например, замена рабства крепостным правом или крепостного права — наемным трудом), всегда в таких случаях приходилось выработать новую форму политического общежития.

Точно так же, как церковь никогда не может быть использована, чтобы освободить человека из-под ига старых суеверий или чтобы дать ему новую, свободно признанную, высшую нравственность; точно так же, как чувства равенства, тесной сплоченности и едине-

ния всех людей хотя и проповедаются всеми религиями, но широко распространятся в человечестве только тогда, когда примут формы, совершенно различные от тех, которые им давались церквями, потому что церкви завладевали ими, чтобы использовать их в пользу духовенства, точно так же и экономическое освобождение произойдет только тогда, когда будут разбиты старые политические формы, нашедшие свое выражение в государстве. Человек будет вынужден найти новые формы для всех общественных отправлений, которые теперь государство распределяет между своими чиновниками. Орудие угнетения, порабощения, рабской подчиненности не может стать орудием освобождения. Вольный человек сумеет найти новые формы жизни взамен рабской иерархии чиновников. Эти формы уже намечаются. И пока они не выработаются самою жизнью освобождающихся людей, самою освободительною революцией), до тех пор ничего не будет сделано.

Анархия работает именно для того, чтобы этим новым формам общественной жизни легче было пробить себе путь, а пробьют они

его себе, как это всегда бывало в прошлом, в момент великих освободительных движений. Их выработает созидательная сила народных масс при помощи современного знания.

Вот почему анархисты отказываются от роли законодателей и от всякой другой государственной деятельности. Мы знаем, что социальную революцию нельзя произвести законами. Потому что законы, если даже они приняты Учредительным собранием под влиянием улиц (хотя как могут быть они приняты, когда в палате приходится согласовать представителей самых разнообразных требований?), даже после того, как они приняты палатой, законы суть не что иное, как просто приглашение работать в известном направлении, как поощрение лицам, живущим среди народа, чтобы они использовали свою энергию, свою изобретательность, свои организаторские и созидательные таланты для проведения в жизнь известных направлений. Но для этого требуется, чтобы на местах были силы, готовые и способные перевести формулы и пожелания закона в реальную действительность [22].

В силу тех же причин, с самого возникновения Интернационала вплоть до наших дней, многие анархисты постоянно принимали деятельное участие в рабочих организациях, создавшихся для прямой борьбы труда против капитала. Такая борьба, скорее чем всякая косвенная, политическая агитация, помогает рабочим достигнуть некоторых улучшений их участи; она открывает им глаза на то зло, которое приносит обществу капиталистическое устройство и поддерживающее его государство; и в то же время она заставляет их задуматься над вопросом о том, как организовать потребление, производство и непосредственный обмен между заинтересованными сторонами, не прибегая к помощи ни капиталиста, ни государства.

Что касается до формы распределения труда в обществе, освободившемся от вмешательства капитала и государства, то тут, как мы это уже видели, мнения анархистов расходятся.

Все сходятся в отрицании той новой формы заработной платы, которая появилась бы, если б государство взяло в свои руки орудия

производства и обмен, подобно тому как оно уже завладело железными дорогами, почтой, образованием, взаимным страхованием и защитой территории. Вновь приобретенное промышленное могущество вместе с уже существующим (налоги, защита территории, государственная церковь и т. п.) создало бы новое могучее орудие власти на службе у тирании.

Поэтому большинство анархистов присоединяется в настоящее время к тому решению вопроса, которое дается анархистами-коммунистами. Постепенно среди думающих об этом вопросе складывается убеждение, что коммунизм — по крайней мере, по отношению к предметам первой необходимости — представляет решение, к которому идут современные общества, и что в цивилизованном обществе единственно возможной формой коммунизма является та, которую предлагают анархисты, т.е. безначальный коммунизм. Всякий другой коммунизм невозможен. Мы переросли его. Коммунизм, по существу своему, предполагает равенство всех членов коммуны и отрицает поэтому всякую

власть. С другой стороны, немислимо никакое анархическое общество известной величины, которое не начало бы с обеспечения всем хотя бы некоторого уровня жизненных удобств, добываемых всеми сообща.

Таким образом, понятия коммунизма и анархии необходимо дополняют друг друга.

Но наряду с коммунистическими течениями продолжает существовать также и другое направление, которое видит в анархии осуществление полного индивидуализма. Об этом течении мы скажем теперь несколько слов.

Индивидуалистическое направление.

Индивидуалистическое направление в анархии представляется пережитком давно прошедших времен, когда средства производства не достигли еще такой степени совершенства, какую придают им современная наука и прогресс техники, и когда вследствие недостаточности всего производства в коммунистическом обществе видели неизбежность общей нищеты и общего порабощения.

Индивидуалистическое направление в анархии имеет, конечно, главным своим ос-

нованием желание сохранить в полноте независимость личности. В этом оно идет вполне рука об руку с коммунистическим направлением. Оба стремятся к тому, чтобы никакие общественные цепи — вроде тех, которые налагала старозаветная семья, или городская община, или цех (гильдия) в то время, когда они уже вымирали, — не стесняли свободного развития личности. В этом одинаково заинтересованы и коммунист-анархист, и индивидуалист вообще.

Но индивидуалистский анархизм является также противником коммунистского анархизма; и тогда несогласие между ними бывает основано, по нашему мнению, на недоразумении.

Всего каких-нибудь пятьдесят или шестьдесят лет тому назад, самый скромный достаток и возможность располагать частью своего свободного времени были достоянием лишь весьма небольшого числа людей, эксплуатировавших труд других и живших трудом рабочих, крестьян или рабов. Поэтому те, кому дорога была экономическая независимость, со страхом ждали дня, когда им нельзя будет

принадлежать к небольшой привилегированной кучке людей. В личной собственности они видели тогда единственное спасение для обеспечения человеку достатка, досуга, свободы. Не надо забывать, что в то время Прудон оценивал все производство Франции всего в пять су, т.е. в 12 копеек в день на человека.

Однако теперь это затруднение перестало существовать. При наличности огромной производительности человеческого труда, которая достигнута нами в земледелии и промышленности (см., например, мою работу «Поля, фабрики и мастерские»), не подлежит никакому сомнению, что очень высокая степень достатка для всех могла бы быть достигнута легко и в короткое время при помощи умно организованного коммунистического труда; причем от каждого отдельного лица потребовалось бы не более 4 — 5 часов работы в день; а это дало бы возможность иметь по крайней мере пять совершенно свободных часов в день после удовлетворения всех главных потребностей: жилья, пищи и одежды.

Таким образом, возражение о всеобщей бедности при коммунизме, а следовательно,

и подавлении всех тяжелою работою совершенно отпадает. Остается только желание, совершенно справедливое желание, сохранить для личности наибольшую свободу рядом с выгодами общественной жизни, т.е. возможность каждой личности в полности развивать свои личные таланты и особенности.

Как бы то ни было, анархический индивидуализм, т.е. направление, ставящее во главу своих желаний полную независимость личности без всякой заботы о том, как сложится общество, — это направление в настоящее время подразделяется на две главные ветви. Во-первых, есть чистые индивидуалисты толка Штирнера, которые в последнее время нашли подкрепление в художественной красоте писаний Ницше. Но мы не станем долго на них останавливаться, так как в одной из предыдущих глав уже указали, насколько «утверждение личности» метафизично и далеко от действительной жизни; насколько оно оскорбляет чувство равенства — основу всякого освобождения, т. к. нельзя освободиться, желая господствовать над другими; и насколько оно приближает тех, кто зовет себя

«индивидуалистами», к привилегированному меньшинству: к духовенству, буржуа, чиновникам и т. п., которые также считают себя стоящими выше толпы и которым мы обязаны государством, церковью, законами, полицией, военщиной и всевозможными вековыми притеснениями.

Другая ветвь «анархистов-индивидуалистов» состоит из «мютюэлистов» т.е. последователей взаимности Прудона. Эти анархисты ищут разрешения социальной задачи в свободном, добровольном союзе тысяч мелких союзов, который ввел бы обмен продуктами при помощи «марок труда». Марки труда обозначали бы число рабочих часов, необходимых для производства известного предмета, или же число часов, которые были потрачены отдельным лицом на производство общественно необходимой работы.

Но в сущности, такое устройство общества вовсе не индивидуализм, оно вовсе не является презрением общественности и возвеличением личности в противность обществу. Напротив того, оно является, подобно коммунизму, одною из высших форм общественности,

по сравнению с теперешним строем. Его можно упрекнуть только в том, что оно представляет сделку (компромисс) между коммунизмом и индивидуализмом, так как проповедует коммунизм — во владении всем, что служит для производства, и индивидуализм, т.е. сохранение теперешней заработной платы, личный расчет, — в вознаграждении за труд.

Эта двойственность и является, по нашему мнению, непреодолимым препятствием для введения такой формы общежития. Невозможно обществу организовать, следуя двум противоположным началам: с одной стороны превращение в общую собственность всего, что было произведено до известного дня; а с другой — строгое сохранение личной собственности на то, что будет сработано лично при помощи общественных орудий и запасов, причем такое личное право было бы не только на предметы роскоши, относительно которых вкусы и спрос разнятся до бесконечности, но также и на те предметы необходимости, на которые в каждом обществе установилось известное однообразие оценки.

Не надо также упускать из виду огромного

разнообразия в машинах и в способах производства в различных местностях, когда в большом обществе развивается промышленность. Вследствие этого разнообразия мы постоянно видим, что с такою-то машиною и с таким-то оборудованием производства удается произвести, при той же затрате труда и времени, вдвое или втрое больше, чем когда работают более отсталыми машинами. Так, например, в ткацком деле в настоящее время употребляются такие разнообразные станки, что число станков, которыми может управлять один человек, разнится от трех до двенадцати и до двадцати (в Америке). Затем не следует также упускать из виду разницу в мускульной и мозговой силе, которую приходится расходовать отдельным рабочим в различных отраслях производства. И если принять во внимание все эти различия, то невольно приходится спросить себя — сможет ли когда-нибудь рабочий час служить мериллом для торгового обмена продуктами?

Современный торговый обмен в капиталистическом обществе понятен; но нельзя понять торгового обмена, основанного на числе

рабочих часов, потребных для производства данного товара в обществе тогда, когда рабочий час перестанет уже иметь торговую ценность; если рабочая сила перестанет быть продажным товаром. Рабочий час мог бы служить мерилom для установления равноценности продуктов (или, скорее, для приблизительной оценки) только в обществе, которое уже приняло бы коммунистический принцип для большинства предметов первой необходимости.

Если же в виде уступки идее личного вознаграждения было бы введено, кроме вознаграждения за «простой» рабочий час, еще особое вознаграждение за «квалифицированный» труд, требующий предварительного обучения, или же если бы люди вздумали принимать во внимание «возможности повышения» в иерархии промышленных служащих, то этим были бы восстановлены те самые отличительные черты современной заработной платы со всеми ее недостатками, которые нам хорошо известны и которые заставляют нас искать средства, чтобы избавиться от нее. Нужно, впрочем, прибавить,

что прудоновская идея «взаимности» имела некоторый успех среди фермеров в Соединенных Штатах, где эта система продолжает, по видимому, существовать среди нескольких довольно больших фермерских организаций.

К мютюэлистам же приближаются и те американские анархисты-индивидуалисты, которые в 50-х годах XIX века были представлены С. П. Эндрюсом (S. P. Andrews), В. Грином (W. Green) и в особенности очень талантливым мыслителем Лизандром Спунером (Lysander Spooner), а в самое недавнее время — Венъямином Тэккером (Tucker), многолетним издателем журнала «Liberty» (Свобода).

Их учение идет от Прудона, но также (у Тэккера) и от Герберта Спенсера. Они исходят из положения, что для анархиста существует один только принудительный закон, это — заниматься самому своими собственными делами. Поэтому каждая отдельная личность и группа имеют «право» поступать как им угодно — даже подчинить себе все человечество, если у них хватит на это сил. Если бы эти начала, говорит Тэккер, нашли бы себе всеоб-

щее применение, они не представляли бы никакой опасности, потому что могущество каждого отдельного лица было бы ограничено равными «правами» всех других.

Но рассуждать подобным образом, по нашему мнению, значит отдавать слишком большую дань метафизике и делать совершенно фантастические предположения. Говорить, что кто-нибудь имеет «право» уничтожить все человечество, если у него на то хватит сил, и вместе с тем утверждать, что «права» каждого ограничены такими же правами всех, представляется нам чистейшим препирательством словами (диалектикою) господ метафизиков, без применения к жизни. Для нас, правду сказать, такие «словеса» лишены смысла.

Если оставаться в области действительной жизни людей, то нет никакой возможности вообразить себе какое бы то ни было общество или даже просто скопление людей, имеющих какое бы то ни было общее дело, в котором дела одного члена не касались бы многих других членов, если не всех остальных. Еще менее возможно представить себе обще-

ство, в котором постоянные взаимные сношения между его членами не вызвали бы интереса каждого (или почти каждого) ко всем остальным и не сделали бы для него просто невозможным действовать, не думая о последствиях его поступков для общества.

Вот почему Тэккер, подобно Спенсеру, великолепно раскритиковав государство и высказав очень важные мысли в защиту прав отдельной личности, но признав также личную собственность на землю, кончил тем, что воссоздал в лице «организаций для защиты» других то же государство, чтобы помешать гражданам-индивидуалистам делать зло друг другу. Правда, что Тэккер признает за таким государством только право защищать своих членов, но это право и эти отправления приводят к установлению государства с теми же правами, какими оно пользуется в настоящее время. Действительно, если взглядеться внимательно в историю развития государства, видно, что оно создано именно под предлогом защиты прав отдельной личности. Его законы, его чиновники, уполномоченные охранять интересы обиженной личности; его

лестничное чиновничество, установленное, чтобы наблюдать за исполнением законов; его университеты, открытые для того, чтобы изучать источники законов; и, наконец, церковь, долженствующая освятить идею закона, его разделение общества на классы для поддержания «порядка»; его обязательная военная служба, созданные им монополии, наконец, все его пороки, его тирания — все, все это вытекает из одного главного положения: кто-то, вне самой общины, вне самого мира или союза, берет на себя охранение прав личности на тот случай, если их начнет попираТЬ другая личность, и понемногу этот охранитель становится владыкою, тираном.

Эти беглые заметки объясняют, почему индивидуалистические системы анархизма, если они и находят сторонников среди буржуазной интеллигенции, не распространяются, однако, среди рабочих масс. Но это не мешает, конечно, признать большое значение критики, которой анархисты-индивидуал исты подвергают своих собратий коммунистов: они предостерегают нас от увлечения центральной властью и чиновничеством и за-

ставляют нас постоянно обращать нашу мысль к свободной личности как источнику всякого свободного общества. Наклонность впасть в старые ошибки чиновачалия и власти, как мы знаем, слишком распространена даже среди передовых революционероB.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время учение анархистов-коммунистов более других решений завоеывает симпатии тех рабочих — принадлежащих главным образом к латинской расе, — которые задумываются о предстоящих им в ближайшем будущем революционных выступлениях и вместе с тем потеряли веру в «спасителей» и в благодеяния государства.

Рабочее движение, дающее возможность сплачиваться боевым силам рабочих и удаляющее их от бесплодных политических партийных столкновений, а также позволяющее им измерить свои силы более верным способом, чем путем выборов, — это движение сильно способствует развитию анархо-коммунистического учения.

Поэтому можно без преувеличения надеяться, что когда начнутся серьезные движе-

ния среди трудовых масс в городах и селах, то, несомненно, будут сделаны попытки в анархо-коммунистическом направлении, и что эти попытки будут глубже и плодотворнее тех, которые были сделаны французским народом в 1793-1794 гг.

XIV. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ АНАРХИЗМА

Право и закон с точки зрения метафизики и естествознания. «Категорический императив» Канта и экономические вопросы с тех же двух точек зрения. — То же относительно понятия о государстве.

После того как мы изложили происхождение анархизма и его принципы, мы теперь дадим несколько примеров, взятых из жизни, которые позволят нам точнее определить положение наших воззрений в современном научном и общественном движении.

Когда, например, нам говорят о Праве, с прописной начальной буквой, и заявляют, что «Право есть объективированье Истины», или что «законы развития Права суть законы развития человеческого духа», или еще что «Право и Нравственность суть одно и то же и

различаются только формально», мы слушаем эти звучные фразы с столь же малым уважением, как это делал Мефистофель в «Фаусте» Гёте. Мы знаем, что те, кто писали эти фразы, считая их глубокими истинами, употребили известное усилие мысли, чтобы до них додуматься. Но мы знаем также, что эти мыслители шли ложной дорогой, и видим в их звучных фразах лишь попытки бессознательных обобщений, построенных на совершенно недостаточной основе и, кроме того, затененных таинственными словами, чтобы гипнотизировать этим людей.

В прежнее время Праву старались придать божественное происхождение; затем стали подыскивать метафизическую основу; а теперь мы можем уже изучать происхождение правовых понятий и их развитие точно так же, как стали бы изучать развитие ткацкого искусства или способ делать мед у пчел. И, пользуясь трудами, сделанными антропологической школой в XIX в., мы изучаем общественные обычаи и правовые понятия, начиная с самых первобытных дикарей, переходя затем к последовательному развитию права

в сводах законов различных исторических эпох, вплоть до наших дней.

Таким образом мы приходим к тому заключению, которое уже было упомянуто на одной из предыдущих страниц: все законы, говорим мы, имеют двойное происхождение, и это именно отличает их от установившихся путем обычая привычек, которые представляют собой правила нравственности, существующие в данном обществе в данное время. Закон подтверждает эти обычаи, кристаллизует их, но в то же время пользуется ими, чтобы ввести, обыкновенно в скрытой, незаметной форме, какое-нибудь новое учреждение в интересах правящего меньшинства и военной касты. Например, закон, подтверждая разные полезные обычаи, вводит или утверждает рабство, деление на классы, власть главы семьи, жреца или воина; он незаметно вводит крепостное право, а позднее — порабощение государством. Таким образом, на людей всегда умели наложить ярмо, так что они этого даже не замечали, — ярмо, от которого впоследствии они не могли освободиться иначе как путем кровавых ре-

волюций.

И так это идет все время вплоть до наших дней. То же самое мы видим даже в современном, так называемом рабочем законодательстве, которое рядом с «покровительством труду», являющимся признанной целью этих законов, проводит потихоньку идею обязательного посредничества государства в случае стачек (посредничество — обязательное!, какое противоречие!) или начало обязательного рабочего дня с таким-то минимумом числа часов. Этим открывается возможность для военной эксплуатации железных дорог во время стачек, дается утверждение обезземеливанию крестьян в Ирландии, у которых предыдущие законы отняли землю, и т. п. Или, например, вводят страхование против болезни, старости и даже безработицы, и этим дают государству право и обязанность контролировать каждый день рабочего и возможность лишить его права иногда давать себе день отдыха, не получив на это разрешения государства и чиновника.

И это будет продолжаться, пока одна часть общества будет издавать законы для всего об-

щества, постоянно увеличивая этим власть государства, являющегося главной поддержкой капитализма. Это будет продолжаться, пока вообще будут издаваться законы.

Вот почему анархисты, начиная с Годвина, всегда отрицали все писанные законы, хотя каждый анархист, более чем все законодатели взятые вместе, стремится к справедливости, которая для него равноценна равенству и невозможна, немыслима без равенства.

Когда нам возражают, что, отрицая закон, мы отрицаем этим самым всякую нравственность, потому что не признаем «категорический императив», о котором говорил Кант, мы отвечаем, что самый язык этого возражения нам непонятен и совершенно чужд [23]. Он нам чужд и непонятен в той же степени, в какой он является чуждым для натуралиста, изучающего нравственность. И потому, прежде чем начать спор, мы поставим нашему собеседнику следующий вопрос: «Но что же, скажите нам наконец, хотите вы заявить с этими вашими категорическими императивами? Не можете ли вы перевести ваши изречения на простой понятный язык, как это де-

лал, например, Лаплас, когда он находил способы для выражения формул высшей математики на понятном для всех языке? Все великие ученые поступали таким образом, почему вы этого не делаете?»

В самом деле, что, собственно, хотят сказать, когда говорят нам о «всеобщем законе» или «категорическом императиве»? Что у всех людей есть эта мысль: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали другие»? Если так, очень хорошо. Давайте изучать (как уже это делали Гэтчесон и Адам Смит), откуда появились у людей такие нравственные понятия и как они развились.

Затем будем изучать, насколько идея справедливости подразумевает идею равенства. Вопрос очень важный, потому что только тот, кто считает другого как равного себе, может применить к правилу «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали другие». Владелец крепостными душами и торговец рабами, очевидно, не могли признать «всеобщего закона» и «категорического императива» по отношению к крепостному и негру, потому что они не признавали их рав-

ными себе. И если наше замечание правильно, то посмотрим, не нелепо ли насаждать нравственность, насаждая в то же время идеи неравенства?

Продумаем, наконец, как это сделал Гюйо, что такое «самопожертвование»? И посмотрим, что способствовало в истории развитию нравственных чувств в человеке, — хотя бы чувств, выраженных в фразе о равенстве по отношению к ближнему. Только после того как мы сделаем эти три различных исследования, мы сможем вывести, какие общественные условия и какие учреждения обещают лучшие результаты для «будущего». Тогда мы узнаем, насколько этому помогает религия, экономическое и политическое неравенство, установленное законом, а также закон, наказание, тюрьма, судья, тюремщик и палач.

Исследуем все это подробно, каждое в отдельности, — и тогда уже станем говорить с основанием о нравственности и нравственном влиянии закона, суда и полицейского. Громкие же слова, служащие только прикрытием поверхности нашего полужнания, мы лучше оставим в стороне. Может быть, они

были неизбежны в известную эпоху; но вряд ли они были полезны когда-либо; теперь же, раз мы в состоянии начать изучение самых жгучих общественных вопросов таким же способом, как садовник и ботаник изучают наиболее благоприятные условия для роста растений, давайте приступим к этому.

То же самое в экономических вопросах. Так, когда экономист говорит нам: «В совершенно открытом рынке ценность товаров измеряется количеством труда, общественно необходимого для их производства (смотри Рикардо, Прудона, Маркса и многих других), мы не принимаем этого утверждения как абсолютно верного потому только, что оно сказано такими авторитетами, или потому, что нам кажется “чертовски социалистичным” говорить, что труд есть истинное мерило ценности товаров». — «Возможно, — скажем мы, — что это верно. Но не замечаете ли вы, что, делая такое заявление, вы утверждаете, что ценность и количество труда обязательно пропорциональны Друг Другу, — точно так же, как скорость падающего тела пропорциональна числу секунд, в течение которых оно

падало? Таким образом, вы утверждаете, что есть известное количественное соотношение между этими двумя величинами; и тогда — сделали вы измерения и наблюдения, измеряемые количественно, которые единственно могли бы подтвердить ваше заявление о количествах? Говорить же, что вообще меновая ценность увеличивается, если количество необходимого труда больше, вы можете. Такое заключение уже и сделал Адам Смит. Но говорить, что вследствие этого две эти величины пропорциональны, что одна является мерилем другой, значило бы сделать грубую ошибку, как было бы грубой ошибкой сказать, например, что количество дождя, который выпадет завтра, будет пропорционально количеству миллиметров, на которое упадет барометр ниже среднего уровня, установленного для данной местности в данное время года. Тот, кто первый заметил, что есть известное соотношение между низким стоянием барометра и количеством выпадающего дождя, и кто понял, что камень, падая с большой высоты, приобретает большую быстроту, чем камень, падающий с высоты одной сажени, —

эти люди сделали научные открытия (как и Адам Смит по отношению к ценности). Но человек, который будет после них утверждать, что количество падающего дождя измеряется количеством делений, на которое барометр опустился ниже среднего уровня, или что расстояние, пройденное падающим камнем, пропорционально времени падения и измеряется им, — сказал бы глупость. Кроме того, он показал бы этим, что метод научного исследования для него абсолютно чужд, как бы он ни щеголял словами, заимствованными из научного жаргона».

Заметим, кроме того, что если бы в виде оправдания нам стали бы говорить об отсутствии точных данных для установления, в точных измерениях, ценности товара и количества необходимого для его производства труда, то это оправдание было бы недостаточно. Мы знаем в естественных науках тысячи подобных случаев соотношений, в которых мы видим, что две величины зависят друг от друга и что если одна из них увеличивается, то увеличивается и другая. Так, например, быстрота роста растения зависит, между про-

чим, от количества получаемого им тепла и света; или откат пушки увеличивается, если мы увеличим количество пороха, сжигаемого в заряде.

Но какому ученому, достойному этого имени, придет в голову дикая мысль утверждать (не измерив их количественные соотношения), что вследствие этого быстрота роста растения и количество полученного света или откат пушки и заряд сожженного пороха суть величины пропорциональные; что одна должна увеличиться в два, три, десять раз, если другая увеличилась в той же пропорции: иначе говоря, что они измеряются одна другою, как это утверждают после Рикардо относительно ценности товара и затраченного на него труда?

Кто, сделав гипотезу, предположение, что отношения подобного рода существуют между двумя величинами, осмелился бы выдавать эту гипотезу за закон? Только экономисты или юристы, т.е. люди, которые не имеют ни малейшего представления о том, что в естественных науках понимается под словом «закон», могут делать подобные заявления.

Вообще отношения между двумя величинами — очень сложная вещь, и это относится к ценности и труду. Меновая ценность и количество труда именно не пропорциональны друг другу: одна никогда не измеряет другую. Это именно и заметил Адам Смит. Сказав, что меновая ценность каждого предмета измеряется количеством труда, необходимого для его производства, он вынужден был прибавить (после изучения ценностей товаров), что если так было при существовании первобытного обмена, то это прекратилось при капиталистическом строе. И это совершенно верно. Капиталистический режим вынужденного труда и обмена ради наживы разрушил эти простые отношения и ввел много новых причин, которые изменили отношения между трудом и меновой ценностью. Не обращать на это внимания — значит не разрабатывать политическую экономию, а запутывать идеи и мешать развитию экономической науки.

То же замечание, которое мы только что высказали относительно ценности, относится почти ко всем экономическим положениям, которые принимаются теперь как незыб-

лемые истины — особенно среди социалистов, любящих называть себя научными социалистами, — и выдаются с неподражаемой наивностью за естественные законы. Между тем не только большинство из этих так называемых законов не верно, но мы утверждаем еще, что те, кто в них верит, скоро поймут это сами, если только они придут к пониманию необходимости проверить свои количественные утверждения путем количественных же исследований.

Впрочем, вся политическая экономия представляется нам, анархистам, в несколько ином виде, чем она понимается экономистами как буржуазного лагеря, так и социал-демократами. Так как научный, индуктивный метод чужд как тем, так и другим, то они не отдадут себе отчета в том, что такое «закон природы», хотя очень любят употреблять это выражение. Они не замечают, что всякий закон природы имеет условный характер. Он выражается всегда так: «Если такие-то условия наблюдаются в природе, то результат будет такой-то или такой-то; если прямая линия пересекает другую прямую линию, образуя с

ней равные углы по обе стороны пересечения; то последствия этого будут такие-то; если на два тела действуют одни только движения, существующие в междузвездном пространстве, и если не находится других тел, действующих на данные тела в расстоянии, которое не является бесконечным, то центры тяжести этих двух тел будут сближаться между собой с такою-то быстротой (это закон всемирного тяготения)».

И так далее. Всегда есть какое-нибудь если, какое-нибудь условие.

Вследствие этого все так называемые законы и теории политической экономии являются в действительности ничем иным, как утверждениями, которые имеют следующий характер: «Если допустить, что в данной стране всегда имеется значительное количество людей, не могущих прожить одного месяца, ни даже пятнадцати дней, без того чтобы не принять условия труда, которые пожелает наложить на них государство (под видом налогов) или которые будут им предложены теми, кого государство признает собственниками земли, фабрик, железных дорог и т.д., то по-

следствия этого будут такие-то и такие-то».

До сих пор политическая экономия была всегда перечислением того, что случается при таких условиях; но она не перечисляла и не разбирала самых условий, и она не рассматривала, как эти условия действуют в каждом отдельном случае и что поддерживает эти условия. И даже когда эти условия упоминались кое-где, то сейчас же забывались.

Впрочем, экономисты не ограничивались этим забвением. Они представляли факты, происходящие в результате этих условий, как фатальные, незыблемые законы.

Что же касается до социалистической политической экономии, то она критикует, правда, некоторые из этих заключений или же толкует другие несколько иначе; но она также все время забывает их, и, во всяком случае, она еще не проложила себе собственной дороги. Она остается в старых рамках и следует по тем же путям. Самое большое, что она сделала (с Марксом), — это взяла определения политической экономии, метафизической и буржуазной, и сказала: «Вы хорошо видите, что, даже принимая ваши определения,

приходится признать, что капиталист эксплуатирует рабочего!» Это, может быть, хорошо звучит в памфлете, но не имеет ничего общего с наукой.

Вообще мы думаем, что наука политической экономии должна быть построена совершенно иначе. Она должна быть поставлена как естественная наука и должна назначить себе новую цель. Она должна занимать по отношению к человеческим обществам положение, аналогичное с тем, которое занимает физиология по отношению к растениям и животным. Она должна стать физиологией общества. Она должна поставить себе целью изучение все растущих потребностей общества и различных средств, употребляемых для их удовлетворения. Она должна разобрать эти средства и посмотреть, насколько они были раньше и теперь подходящи для этой цели; и наконец, так как конечная цель всякой науки есть предсказание, приложение к практической жизни (Бэкон указал это уже давно), то она должна изучить способы лучшего удовлетворения всех современных потребностей, способы получить с наименьшей

тратой энергии (с экономией) лучшие результаты для человечества вообще.

Отсюда понятно, почему мы приходим к заключениям столь отличным в некоторых отношениях от тех, к которым приходит большинство экономистов как буржуазных, так и социал-демократов; почему мы не признаем «законами» некоторые соотношения, указанные ими; почему наше изложение социализма отличается от ихнего; и почему мы выводим из изучения направлений развития, наблюдаемых нами действительно в экономической жизни, заключения, столь отличные от их заключений относительно того, что желательно и возможно; иначе говоря, почему мы приходим к свободному коммунизму, между тем как они приходят к государственному капитализму и коллективистскому наемному труду.

Возможно, что мы ошибаемся и что они правы. Может быть. Но если желательно проверить, кто из нас прав и кто ошибается, то этого нельзя сделать, ни прибегая к византийским комментариям относительно того, что писатель сказал или хотел сказать, ни го-

воря о триаде Гегеля, и в особенности — продолжая употреблять их диалектический метод.

Это можно сделать, только принявшись за изучение экономических отношений, как изучают явления естественных наук [24].

Мысль об интеграции труда и разделении труда во времени (мысль, что для общества было бы полезно, чтобы каждый мог работать в земледелии, в промышленности и заниматься умственным трудом), чтобы разнообразить свой труд и развивать всесторонне свою личность, должна стать одним из краеугольных камней экономической науки. Есть множество биологических фактов, совпадающих с только что подчеркнутою мною мыслью и показывающих, что это есть закон природы, иначе говоря, что в природе экономия сил часто достигается таким способом. Если исследовать жизненные функции какого-нибудь существа в различные периоды его жизни и даже в разные времена года, и в некоторых случаях в отдельные моменты дня, то находишь приложение того же разделения труда во времени, которое неразрывно связано с

разделением труда между различными органами (закон Адама Смита).

Люди науки, не знающие естественных наук, не способны понять истинный смысл закона природы; они ослеплены словом закон и воображают, что закон, подобный закону Адама Смита, имеет фатальную силу, от которой невозможно освободиться. Когда им показывают обратную сторону этого закона, результаты, плачевные с точки зрения развития и счастья человеческой личности, они отвечают: «Таков неумолимый закон», — и иногда этот ответ дается в таком резком тоне, который доказывает их веру в свою непогрешимость. Натуралист знает, что наука может уничтожить вредные последствия закона, что часто человек, который желает осилить природу, одерживает победу

Сила тяжести заставляет тела падать; но та же сила тяжести заставляет воздушный шар подниматься. Это кажется нам просто; экономисты же классической школы, по-видимому, с большим трудом понимают смысл такого замечания.

Закон разделения труда во времени станет

поправкой к закону Адама Смита и позволит интеграцию индивидуального труда.

Пользуясь постоянно тем же методом, анархизм приходит также к заключениям, характерным для него относительно политических форм общества и особенно государства. Анархист не может подчиниться метафизическим положениям вроде следующих: «Государство есть утверждение идеи высшей справедливости в обществе», или «государство есть орудие и носитель прогресса», или еще: «без государства нет общества». Верный своему методу, анархист приступает к изучению государства с совершенно тем же настроением, как естествоиспытатель, собирающийся изучать общество у муравьев, пчел или у птиц, прилетающих вить гнезда на берегах озер в северных странах. Мы уже видели по короткому изложению в X и XII главах, к каким заключениям приводит такое изучение относительно политических форм в прошлом и их вероятного и возможного развития в будущем.

Прибавим только, что для нашей европейской цивилизации (цивилизации последних пятнадцати столетий, к которой мы принад-

лежим) государство есть форма общественной жизни, которая развилась только в XVI столетии, — и это произошло под влиянием целого ряда причин, которые читатель найдет дальше в главе «Государство и его роль в истории». Раньше этой эпохи, после падения Римской империи, государство в его римской форме не существовало. Если же оно существует, несмотря на все, в учебниках истории, то это — продукт воображения историков, которые желали проследить родословное дерево французских королей до Меровингов, русских царей до Рюрика и т.д. При свете истинной истории оказывается, что современное государство образовалось только на развалинах средневековых городов.

С другой стороны, государство как политическая и военная власть, а также современный государственный суд, церковь и капитализм являются в наших глазах учреждениями, которые невозможно отделить одно от другого. В истории эти четыре учреждения развивались, поддерживая и укрепляя друг друга.

Они связаны между собой не по простому

совпадению. Между ними существует связь причины и следствия.

Государство в совокупности есть общество взаимного страхования, заключенного между землевладельцем, воином, судьей и священником, чтобы обеспечить каждому из них власть над народом и эксплуатацию бедноты.

Таково было происхождение государства, такова была его история, и таково его существо еще в наше время.

Мечтать об уничтожении капитализма, поддерживая в то же время государство и получая поддержку от государства, которое было создано затем, чтобы помогать развитию капитализма, и росло всегда и укреплялось вместе с ним, так же ошибочно, по нашему мнению, как надеяться достичь освобождение рабочих при помощи церкви или царской власти (цезаризма). Правда, в 30-х, 40-х и даже 50-х годах XIX века было много фантазеров, которые мечтали о социалистическом цезаризме: традиции эти существуют со времени Бабефа до наших дней. Но питаться подобными иллюзиями в начале XX века — поистине слишком наивно.

Новой форме экономической организации должна необходимо соответствовать новая форма политической организации; и произойдет ли перемена резко, посредством революции, или медленно, посредством постепенной эволюции, — обе перемены, экономическая и политическая, должны будут идти совместно, рука об руку. Каждый шаг к экономическому освобождению, каждая истинная победа над капиталом будет также победой над государством, шагом в направлении освобождения политического; это будет освобождением от ига государства посредством свободного соглашения территориального и профессионального, и соглашения относительно участия в общей жизни страны всех заинтересованных членов общества.

XV. СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ

Усиливать подчинение личности государству — противореволюционно. Нужны новые отношения личности к государству. — Нужно ослабление государственной власти. — Примеры предыдущих революций. — Чем подготовляются реакционные диктатуры? — «Завоевание власти» не может дать успеш-

ной революции. — Необходимость местных восстаний и местного творчества.

Очевидно, что если анархизм так расходится и в своих методах исследования, и в своих основных принципах с академической наукой, и со своими собратьями социал-демократами, он должен отличаться от них также и своими способами действия.

С нашей точки зрения на право, закон и государство, мы не можем видеть обеспеченного прогресса и еще менее приближения к социальной революции во все растущем подчинении личности государству. Сказать, как часто говорят поверхностные критики общества, что современный капитализм берет свое начало в «анархии производства» — в «теории невмешательства государства», которое якобы проводило формулу «пусть делают, что хотят» (*laisser faire, laisser passer*), повторять этого мы не можем, потому что знаем, что это неверно. Мы прекрасно знаем, что правительство, давая полную свободу капиталистам наживаться трудом доведенных до нищеты рабочих, никогда в течение XIX в. и нигде не давало рабочим свободы «делать,

что они хотят». Никогда и нигде формула «laissez faire, laissez passer» не применялась на практике. Зачем же говорить обратное?

Во Франции даже свирепый «революционный», то есть якобинский, Конвент объявил смертную казнь за стачку, за союзы — за «образование государства в государстве»! Нужно ли говорить после этого об империи, о восстановленной королевской власти и даже о буржуазной республике?

В Англии в 1813 г. вешали еще за стачку, а в 1831 г. ссылали рабочих в Австралию за то, что они осмелились образовать профессиональный союз Роберта Оуэна. В 60-х годах еще посылали стачечников на каторжные работы под

хорошо известным предлогом «защиты свободы труда». И даже в наши дни, в 1903 г., в Англии одна компания добилась судебного приговора, по которому профессиональный союз рабочих должен был уплатить ей 1 275 000 франков убытков за отговаривание рабочих идти на завод на работы во время стачки (за так называемое Picketing). Что же сказать о Франции, где разрешение основывать сою-

зы было дано лишь в 1884 г., после анархического брожения в Лионе и движения среди рабочих в Монсо (Monceau le Mines)! Что сказать о Бельгии, Швейцарии (вспомните бойню в Айроло!) и особенно о Германии и России? С другой стороны, нужно ли напоминать, как государство посредством своих налогов и создаваемых им монополий приводит рабочих деревень и городов к нищете, передавая их связанными руками и ногами во власть фабриканта! Нужно ли рассказывать, как в Англии разрушили и разрушают еще теперь общинное владение землею, позволяя местному лорду (некогда он был только судьей, но никогда не был землевладельцем) огораживать общинные земли и завладевать ими в свою пользу? Или нужно рассказывать, как земля, даже теперь, в этот момент, отнимается у крестьянских общин в России правительством Николая II?

Нужно ли, наконец, говорить, что даже теперь все государства без исключения создают громадные монополии всякого рода, не говоря уже о монополиях, созданных в завоеванных странах, как Египет, Тонкий или Транс-

вааль? Что уж тут говорить о первоначальном накоплении, о котором Маркс говорил нам как о факте прошлого, тогда как каждый год парламентами создаются новые монополии в области железных дорог, трамваев, газа, водопровода, электричества, школ и так далее без конца!

Одним словом, никогда, ни в одном государстве, ни на год, ни на один час не существовала система «laissez faire». Государство всегда было и есть еще теперь опора и поддержка и также создатель, прямой и косвенный, капитала. А потому если буржуазным экономистам позволительно утверждать, что система «невмешательства» существует, так как они стремятся доказать, что нищета масс есть закон природы, — то как же могут социалисты говорить такие речи рабочим? Свободы сопротивляться эксплуатации до сих пор не было никогда и нигде. Везде ее нужно было завоевывать шаг за шагом, покрывая поле битвы неслыханным количеством жертв. «Невмешательство» и даже более чем «невмешательство» — помощь, поддержка, покровительство существовали всегда в пользу одних

эксплуататоров.

Иначе быть не могло. Мы уже сказали, что какова бы ни была форма, под которой социализм явится в истории, чтобы приблизить коммунизм, он должен будет найти свою форму политических отношений. Он не может воспользоваться старыми политическими формами, как он не может воспользоваться религиозной иерархией и ее учением или императорской или диктаторской формой правления и ее теорией. Так или иначе социализм должен будет сделаться более народным, более приблизиться к форуму (народному вечу), чем представительное управление. Он должен будет менее зависеть от представительства и подойти ближе к самоуправлению. Это именно и пытался сделать в 1871 г. пролетариат Парижа; к этому и стремились в 1793 — 1794 гг. секции Парижской Коммуны и много других менее значительных коммун.

Когда мы наблюдаем современную политическую жизнь во Франции, Англии и Соединенных Штатах, мы видим, что там зарождается действительно очень ясная тенденция к образованию коммун, городских и

сельских, независимых, но объединенных между собой для удовлетворения тысячи различных потребностей союзными федеративными договорами, заключенными, каждый в отдельности, для специальной, определенной цели. И эти коммуны имеют тенденцию все более и более делаться производителями необходимых продуктов для удовлетворения потребностей всех своих жителей. К коммунальным трамваям прибавилась коммунальная вода, часто проводимая издалека несколькими соединившимися для этого городами, газовое освещение, двигательная энергия для заводов; есть даже коммунальные угольные шахты и молочные фермы для получения чистого молока, коммунальные стада коз для чахоточных (в Торки, в Англии), проведение горячей воды, коммунальные огороды и т.д.

Конечно, не германский кайзер и не якобинцы, утвердившиеся у власти в Швейцарии, поведут нас к этой цели. Они, наоборот, устремив взоры в прошлое, стремятся все сосредоточить в руках государства и уничтожить всякий след независимости территори-

альной и независимого участия в общей жизни страны.

Нам нужно обратиться к той части европейских и американских обществ, где мы находим ясно выраженное направление организоваться вне государства и заменять его все более и более, захватывая, с одной стороны, важные экономические функции, а с другой стороны — функции, которые государство действительно продолжает рассматривать как свои, но которые оно никогда не могло выполнять надлежащим образом.

Церковь имеет своей целью удержать народ в умственном рабстве. Цель государства — держать его в полуголодном состоянии, в экономическом рабстве. Мы стремимся теперь стряхнуть с себя оба эти ярма.

Зная это, мы не можем считать все растущее подчинение государству гарантией прогресса. Учреждения не меняют своего характера по желанию теоретиков. Поэтому мы ищем прогресса в наиболее полном освобождении личности, в самом широком развитии инициативы личности и общества, и в то же время — в ограничении отправлений госу-

дарства, а не в расширении их.

Мы представляем себе дальнейшее развитие как движение прежде всего к уничтожению правительственной власти, которая надела на общество, особенно начиная с XVI в., и не переставала с тех пор увеличивать свои отправления; во-вторых, к развитию, насколько возможно широкому, элемента соглашения, временного договора и в то же время независимости всех групп, которые возникают для определенной цели и покрывают своими союзами все общество. Вместе с этим мы представляем себе строение общества как нечто, никогда не принимающее окончательной формы, но всегда полное жизни и потому меняющее свою форму, сообразно потребностям каждого момента.

Такое понимание прогресса, а также наше представление о том, что желательно для будущего (все, что способствует увеличению суммы счастья для всех) необходимо приводит нас к выработке для борьбы своей тактики; и состоит она в развитии наибольшей возможной личной инициативы в каждой группе и в каждой личности, причем един-

ство действия достигается единством цели и силой убеждения, которую имеет каждая идея, если она свободно выражена, серьезно обсуждена и найдена справедливой.

Это стремление кладет свою печать на всю тактику анархистов и на внутреннюю жизнь каждой из их групп.

Мы утверждаем, что работать для пришествия государственного капитализма, централизованного в руках правительства и сделавшегося поэтому всемогущим, значит работать против уже обозначившегося направления современного прогресса, ищущего новых форм организации общества вне государства.

В неспособности социалистов-государственников понять истинную историческую задачу социализма мы видим грубую ошибку мышления, пережиток абсолютистских и религиозных предрассудков — и мы боремся против этой ошибки. Сказать рабочим, что они смогут ввести социалистический строй, совершенно сохраняя государственную машину и только переменяя людей у власти, мешать, вместо того чтобы помогать уму рабочих направляться на изыскание новых

форм жизни, подходящих для них — это в наших глазах есть историческая ошибка, граничащая с преступлением.

Наконец, так как мы являемся партией революционной, мы особенно изучаем в истории происхождение и развитие предыдущих революций, и мы стараемся освободить историю от ложного государственного толкования, которое до сих пор постоянно придавалось ей. В историях различных революций, написанных до сего дня, мы еще не видим народа и не узнаем ничего о происхождении революции. Фразы, которые обычно повторяют в введении, об отчаянном положении народа накануне восстания, не говорят еще нам, как среди этого отчаянья появилась надежда на возможное улучшение и мысль о новых временах и откуда взялся и как распространился революционный дух.

Поэтому, перечитав эти истории, мы обращаемся к первоисточникам, чтобы найти там некоторые сведения о ходе пробуждения в народе, а также и о роли народа в революциях.

Таким образом, мы понимаем, например, Великую Французскую революцию иначе,

чем понимал ее Луи Блан, который представил ее прежде всего как большое политическое движение, руководимое Клубом якобинцев. Мы же видим в ней прежде всего великое народное движение и особенно указываем на роль крестьянского движения в деревнях («Каждое селение имело своего Робеспьера», — как заметил историку Шлоссеру аббат Грегуар, докладчик Комитета по делу о крестьянских восстаниях), движения, которое имело главной целью уничтожение пережитков феодального крепостного права и захват крестьянами земель, отнятых различными кровопийцами у сельских общин, в чем, между прочим, крестьяне добились-таки своего, особенно на востоке Франции.

Благодаря революционному положению, создавшемуся в результате крестьянских восстаний, которые продолжались в течение четырех лет, развилось в то же время в городах стремление к коммунистическому равенству; с другой стороны, выросла сила буржуазии, умно работавшей для установления своей власти вместо королевской и дворянской власти, которую она уничтожала систематично.

Для этой цели буржуазия работала упорно и ожесточенно, стремясь создать сильное, централизованное государство, которое поглотило бы все и обеспечило бы буржуазии право собственности (в том числе на имущество, награбленное во время революции), а также дало бы ей полную свободу эксплуатировать бедных и спекулировать народными богатствами без всяких законных ограничений.

Эту власть, это право эксплуатации, это одностороннее «laissezfaire» буржуазия действительно получила, и для того чтобы удержать его, она создала свою политическую форму — представительное правление в централизованном государстве.

И в этой государственной централизации, созданной якобинцами, Наполеон I нашел уже подготовленную почву для империи.

Точно так же пятьдесят лет спустя Наполеон III нашел, в свою очередь, в идеале демократической, централизованной республики, который развился во Франции около 1848 г., совершенно готовые элементы для второй империи. И от этой централизованной силы, убивавшей в течение семидесяти лет всю

местную жизнь, всякую инициативу как местную, в городах и деревнях, так и вне рамок государства (профессиональное движение, союзы, частные компании, общины и т.д.), Франция страдает до сих пор. Первая попытка разбить это ярмо государства — попытка, открывшая поэтому новую историческую эру, — была сделана только в 1871 г. парижским пролетариатом.

Мы идем даже дальше. Мы утверждаем, что пока социалисты-государственники не оставят своего идеала социализации орудий труда в руках централизованного государства, неизбежным результатом их попыток в направлении государственного капитализма и социалистического государства будет провал их мечтаний и военная диктатура.

Не входя здесь в анализ различных революционных движений, подтверждающих нашу точку зрения, достаточно будет сказать, что мы понимаем будущую социальную революцию не как якобинскую диктатуру, не как изменение общественных учреждений, сделанное Конвентом, парламентом или диктатором. Никогда революция не делалась таким

образом, и если рабочее восстание действительно примет этот оборот, оно будет осуждено на гибель, не дав никаких положительных результатов.

Мы, наоборот, понимаем революцию как народное движение, которое примет широкие размеры и во время которого в каждом городе и в каждой деревне той местности, где идет восстание, народные массы сами примутся за работу перестройки общества. Народ — крестьяне и городские рабочие — должен будет начать сам строительную и воспитательную работу на более или менее широких коммунистических началах, не ожидая приказов и распоряжений сверху. Он должен будет прежде всего устроить так, чтобы прокормить и разместить все население и затем производить именно то, что будет необходимо для питания, размещения и доставления одежды всем.

Что же касается правительства, образовавшегося силой или избранного, то, будь то «диктатура пролетариата», как говорили в 40-х годах во Франции и говорят еще теперь в Германии, или будь то «временное прави-

тельство», одобренное или выбранное, или «Конвент», — мы не возлагаем на него никакой надежды. Мы говорим, что оно не сможет сделать ничего [25].

Не потому, что таковы наши симпатии, а потому, что вся история нам говорит, что никогда еще люди, выброшенные революционной волной в правительство, не были на высоте положения. Да они и не могут быть на высоте положения; потому что в деле перестройки общества на новых началах отдельные люди, как бы умны и преданны они ни были, должны во всяком случае быть бессильны. Для этого требуется коллективный ум народных масс, работающий над конкретными вещами: над возделываемым полем, обитаемым домом, фабрикой на ходу, железной дорогой, вагонами такой-то линии, пароходами и т.д. [26].

Отдельные люди могут найти законное выражение или формулу для разрушения старых форм общежития, когда это разрушение уже начало совершаться. Они могут, самое большее, немного расширить эту разрушительную работу и распространить на всю тер-

риторию то, что происходит только в одной части страны. Но навязать эту ломку законом — совершенно невозможно, как это доказала, между прочим, вся история революции 1789-1794 гг.

Что же касается до новых форм жизни, которая начнет зарождаться после революции на развалинах предыдущих форм, то никакое правительство никогда не сможет найти их выражения, пока эти формы не определятся сами по себе в построительной работе народных масс, в творческом процессе, в тысяче пунктов зараз. Кто догадался, кто мог бы действительно догадаться до 1794 г. о роли, какую будут играть муниципалитеты, Парижская Коммуна и ее секции в революционных событиях 1789-1793 гг.? Будущее не поддается законодательству. Все, что возможно, — это догадываться о его главных течениях и очищать для них дорогу. Именно это мы и стараемся делать.

Очевидно, что при таком понимании задач социальной революции анархизм не может чувствовать симпатии к программе, которая ставит себе цель «завоевание власти в

современном государстве».

Мы знаем, что мирным путем это завоевание невозможно. Буржуазия не уступит своей власти без борьбы. Она не позволит свалить себя без сопротивления. Но, по мере того как социалисты станут частью правительства и разделят власть с буржуазией, их социализм должен будет неизбежно побледнеть; он уже побледнел. Без этого буржуазия, которая гораздо сильнее численно и интеллектуально, чем это говорится в социалистической прессе, не признает их права разделить с нею ее власть.

С другой стороны, мы также знаем, что если бы восстание сумело дать Франции, Англии или Германии временное социалистическое правительство, то оно, без построительной деятельности самого народа, было бы совершенно бессильно и скоро бы сделалось препятствием, тормозом революции. Оно стало бы ступенькой для диктатора, представителя реакции.

Изучая подготовительные периоды революций, мы приходим к заключению, что ни одна революция не вытекла из сопротивления

ния или из нападения парламента, или какого-либо другого представительного собрания. Все революции начинались в народе. И никогда ни одна революция не появлялась вооруженною с головы до ног, как Минерва, выходящая из головы Юпитера. Все они имели, кроме подготовительного периода, свой период эволюции, в течение которого народные массы, формулировав свои, вначале очень скромные требования, проникались мало-помалу, очень медленно, все более и более революционным духом. Они становились смелей, дерзновенней, чувствовали более доверия к своим силам и, выйдя из летаргии отчаянья, постепенно расширяли свою программу. Требовалось время, пока их вначале «смирненные представления» становились потом революционными требованиями.

Действительно, во Франции потребовалось не менее четырех годов, с 1789 по 1793 год, чтобы создалось республиканское меньшинство, достаточно сильное, чтобы захватить в руки власть.

Что же касается до подготовительного периода, мы его понимаем следующим образом.

Сначала отдельные личности, глубоко возмущенные тем, что они видели вокруг себя, восставали поодиночке. Многие из них погибали без всяких видимых результатов, но равнодушные общества было уже поколеблено благодаря этим отдельным героям.

Даже самые довольные и ограниченные люди были вынуждены спросить себя, ради чего эти молодые, честные, полные сил люди отдавали свою жизнь? Равнодушным более нельзя было оставаться — нужно было высказаться «за» или «против». Мысль работала.

Мало-помалу небольшие группы людей также проникались революционным духом. Они восставали — иногда с надеждой на частичный успех, чтобы выиграть, например, стачку и получить хлеба для своих детей или чтобы отделаться от какого-нибудь ненавистного чиновника, — но также часто и без всякой надежды на успех, просто возмущенные, потому что невозможно было дольше терпеть. Не одно, не два и не десять таких восстаний, но сотни бунтов предшествуют каждой революции. Есть пределы всякому терпению. Это мы хорошо видим в Соединенных Штатах

в настоящий момент.

Часто указывают на мирное уничтожение крепостного права в России. Но при этом забывают или не знают, что освобождению крестьян предшествовал длинный ряд крестьянских бунтов, которые и привели к уничтожению крепостного права. Волнения начались еще в 50-х годах — может быть, как отклик революции 1848 г. или крестьянских восстаний в Галиции в 1846 г., и каждый год они распространялись все шире и шире в России, становясь все серьезнее и принимая ожесточенный, неслыханный дотоле характер. Это продолжалось до 1857 г., когда Александр II выпустил наконец свое письмо к литовскому дворянству, содержащее обещание освободить крестьян. Слова Герцена «Лучше дать освобождение сверху, чем ждать, когда оно придет снизу», — слова, повторенные Александром II перед крепостническим дворянством Москвы, не были пустой угрозой: они отвечали действительности.

То же самое происходило, еще в большей степени, при приближении каждой революции. Можно сказать как общее правило, что

характер каждой революции определялся характером и целью предшествовавших ей восстаний. Даже больше. Можно установить как исторический факт, что никогда ни одна серьезная политическая революция не могла совершиться, если — после начала революции она не продолжалась в ряде местных восстаний и если брожение не принимало характера именно восстаний, вместо характера индивидуальной мести, как это произошло в России в 1906 и 1907 гг.

Ждать поэтому, чтобы социальная революция наступила без того, чтобы ей предшествовали восстания, определяющие характер грядущей революции, лелеять эту надежду — детски нелепо. Стремиться помешать этим восстаниям, говоря, что подготавливается всеобщее восстание, уже преступно. Но стараться убедить рабочих, что они получают все блага социальной революции, ограничиваясь избирательной агитацией, и изливать всю свою злобу на акты частичных восстаний, когда они происходят у народов исторически революционных, это значит самим становиться препятствием для революции и всякого про-

пресса, препятствием столь же отвратительным, каким всегда была христианская церковь.

XVI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не входя в дальнейшее обсуждение принципов анархизма и анархической программы действий, сказанного, вероятно, уже достаточно для того, чтобы определить место, занимаемое анархией в ряду современных человеческих знаний.

Анархия представляет собой попытку приложить обобщения, полученные индуктивно-дедуктивным методом естественных наук, к оценке человеческих учреждений. Она является также попыткой угадать на основании этой оценки, по каким путям пойдет человечество к свободе, равенству и братству, чтобы получить наибольшую возможную сумму счастья для каждой из единиц в человеческих обществах.

Анархизм есть неизбежный результат того умственного движения в естественных науках, которое началось к концу XVIII века, было замедлено торжествующей реакцией в Европе после краха французской революции и

началось вновь в полном расцвете своих сил в конце пятидесятих годов. Корня анархизма — в естественнонаучной философии XVIII в. Но он мог получить свое полное обоснование лишь после возрождения наук, имевшего место в начале второй половины XIX в. и давшего новый толчок к изучению человеческих учреждений и обществ на естественнонаучной основе.

Так называемые «научные законы», которыми довольствовались германские метафизики 1820 и 1830 гг., не находят себе места в анархическом мировоззрении, которое не признает никакого другого метода, кроме естественнонаучного. И анархизм прилагает этот метод ко всем наукам, известным вообще под именем гуманитарных наук.

Пользуясь этим методом и всеми исследованиями, сделанными за последнее время под его влиянием, анархизм старается построить совокупность всех наук, касающихся человека, и пересмотреть все ходячие представления о праве, справедливости и т.д. на основании данных, уже полученных последними этнологическими исследованиями, рас-

пространяя их далее. Опираясь на труды своих предшественников XVIII в., анархизм стоит за личность против государства, за общество против власти, которая в силу исторических условий господствует над ним. Пользуясь историческими документами, собранными современной наукой, анархизм показал, что власть государства, притеснения которой растут в наше время все больше и больше, в действительности есть не что иное, как вредная и бесполезная надстройка, которая для нас, европейцев, начинается только с XV и XVI столетия, — надстройка, сделанная в интересах капитализма и бывшая уже в древности причиной падения Рима и Греции, а также всех других центров цивилизации на Востоке и в Египте.

Власть, которая образовалась в течение истории для объединения в одном общем интересе помещика, судьи, солдата и попа и которая в течение истории была препятствием для попыток человека создать себе жизнь хоть немного обеспеченную и свободную, — эта власть не может сделаться орудием освобождения так же, как цезаризм, империа-

лизм или церковь не могут стать орудием социальной революции.

В политической экономии анархизм пришел к заключению, что действительное зло не в том, что капиталист присваивает себе «прибавочную стоимость» или чистый барыш, но в самом факте, что этот чистый барыш или «прибавочная стоимость» возможны. «Прибавочная стоимость» существует только потому, что миллионы людей не имеют чем кормиться, если они не продадут свою силу и свой ум за цену, которая делает чистый барыш или прибавочную стоимость возможными. Вот почему мы думаем, что в политической экономии следует, прежде всего, изучать главу о потреблении и что в революции первым долгом ее будет перестройка потребления таким образом, чтобы жилище, пища и одежда были обеспечены для всех. Наши предки в 1793-1794 гг. это хорошо поняли.

Что же касается «производства», то оно должно быть организовано так, чтобы, прежде всего, первые потребности всего общества были как можно скорее удовлетворены. Поэтому анархия не может видеть в гря-

дущей революции простую замену денежных знаков «трудовыми марками» или замену теперешних капиталистов капиталистическим государством. Она видит в революции первый шаг к свободному коммунизму, без государства.

Прав ли анархизм в своих заключениях? Это нам покажет, с одной стороны, научная критика его основ, а с другой — практическая жизнь. Но есть один пункт, в отношении которого анархизм вне всякого сомнения совершенно прав. Это тот, что он рассматривает изучение общественных учреждений как один из отделов естественных наук; что он распрощался навсегда с метафизикой и взял себе в качестве метода мышления тот метод, который послужил к созданию современной науки и материалистической философии нашей эпохи. Вследствие чего, если анархисты впадут в своих умозаклучениях в какие-либо ошибки, — им гораздо легче будет признать их. Но те, кто желает проверить наши заключения, должны помнить, что это возможно только при помощи научного, индуктивно-дедуктивного метода, на котором основаны

вается каждая наука и развивается все научное мировоззрение.

В последующих главах, посвященных анархическому коммунизму, государству в его историческом развитии и в его теперешней форме, читатель найдет, на чем мы основываемся в нашем отрицательном отношении к государству и (что) побуждает нас допускать возможность общества, которое, принимая коммунизм за основу своей экономической организации, откажется в то же время от организации иерархической централизации, которая называется государством [28].

2. КОММУНИЗМ И АНАРХИЯ

I. АНАРХИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ

Когда на двух Конгрессах Интернационала, созванных — один во Флоренции в 1876 г. Итальянской федерацией, а другой в(Ла-)Шоде-Фоне в 1880 г. Юрской федерацией, итальянские и юрские анархисты решили объявить себя «анархистами-коммунистами», то это решение произвело некоторую сенсацию в социалистическом мире. Одни видели в этой декларации серьезный шаг вперед. Другие считали это нелепым, говоря, что такое название включает в себе явное противоречие.

В действительности, как мне заметил мой друг Джемс Гильом, выражение «анархический или негосударственный коммунизм» встречается уже в 1870 г. в локльской газете «Прогресс», в одном письме Варлена, цитированном и одобренном Гильомом. Действительно, уже к концу 1869 г. несколько анархистов условились пропагандировать эту идею, и в 1876 г. распределение продуктов труда, основанное на идее антигосударственного ком-

мунизма, было признано возможным и рекомендовалось в брошюре Джемса Гильома «Мысли о социальной организации» (см. выше, с. 314). Но по причинам, изложенным уже выше, идея эта не получила желательного распространения, и среди реформаторов и революционеров, остававшихся под влиянием якобинских идей, господствующее представление о коммунизме было государственное, как его изложил Кабе в своем «Путешествии в Икарию». Предполагалось, что государство, представленное одним или несколькими парламентами, берет на себя задачу организовать производство. Затем оно передает, через посредство своих административных органов, промышленным объединениям или коммунаам то, что приходится на их долю для жизни, производства и удовольствия.

В отношении производства предполагалось нечто подобное тому, что сейчас существует на сетях железных дорог, принадлежащих государству, и на почте. То, что делается сейчас для транспорта товаров и пассажиров, говорили нам, будет сделано для производства всех богатств и в отношении всех обще-

полезных предприятий. Начнется это с социализации железных дорог, рудников и копей, больших заводов, а затем эта система будет мало-помалу распространена на всю обширную сеть мануфактур, фабрик, мельниц, булочных, съестных магазинов и так далее. Затем будут «отряды» работников для обработки земли за счет государства, рудокопов для работы в рудниках, ткачей для работы на фабриках, булочников для печки хлеба и т.д., — совершенно так же, как теперь существуют толпы чиновников на почте и железных дорогах. В литературе 40-х годов даже любили употреблять это слово «отряды» (*escouades*), которое немцы превратили в «армии», чтобы подчеркнуть дисциплинированный характер работников, употребляемых в промышленности и находящихся под командованием иерархии «начальников работ».

Что же касается потребления, то его рисовали себе почти в том виде, как оно сейчас существует в казармах. Отдельные хозяйства уничтожаются; вводятся для экономии расходов на кухне общие обеды и для экономии расходов по постройке — фаланстеры или

что-то вроде гостиниц-отелей. Правда, в настоящее время солдат плохо кормится и подвергается грубому обращению начальства; но ничто не мешает, как говорили, хорошо кормить граждан, запертых в казармы «домов-коммун» или «коммунистических городов». А так как граждане свободно выбирали бы себе начальников, экономов, чиновников, то ничто не мешало бы им считать этих начальников — начальников сегодня и солдат завтра — как слуг республики. «Государство-слуга» было действительно любимой формулой для Луи Блана и ненавистной для Прудона, который неоднократно забавлял читателей «Голоса народа» («La Voix du Peuple») своими насмешками над этой новой демократической кличкой государства.

Коммунизм 40-х годов был проникнут государственными идеями, против которых Прудон яростно сражался до и после 1848 г.; и критика, которой он подвергал его в 1846 г. в «Экономических противоречиях» (2-й том «Община»), и позднее в «Голосе народа», и при всяком случае в своих последующих писаниях, должна была, без сомнения, сильно

содействовать тому, что такой коммунизм имел мало последователей во Франции. Действительно, в начале Интернационала большинство французов, принявших участие в его основании, были «мютюэлисты», которые абсолютно отрицали коммунизм. Но государственный коммунизм был воспринят немецкими социалистами, которые еще подчеркнули сторону дисциплины. Он проповедовался ими как «научное» открытие, сделанное ими, а на самом деле, когда говорилось о коммунизме, то подразумевался под этим почти всегда государственный коммунизм в том виде, в каком он проповедовался немецкими продолжателями французских коммунистов 1848 г.

А потому, когда две анархические федерации Интернационала объявили себя «анархистами-коммунистами», то это заявление произвело — особенно будучи сделано Юрскою федерациею, более известною во Франции, — некоторое впечатление и рассматривалось многими из наших друзей как серьезный шаг вперед. «Анархический коммунизм», или «вольный коммунизм», как его называли

вначале во Франции, приобрел многих сторонников и в силу некоторых благоприятных обстоятельств именно с этой поры начинался успех анархических идей среди французских рабочих.

Действительно, эти два слова — коммунизм и анархизм, — взятые вместе, представляли собой целую программу. Они провозглашали новое представление о коммунизме, совершенно отличное от того, которое было распространено до сих пор. Они в то же время указывали на возможное решение широкой задачи задачи, можно сказать, человечества, которую человек всегда старался разрешить, вырабатывая свои учреждения от родового быта вплоть до наших дней.

В самом деле, что нужно сделать, чтобы, объединив усилия всех, обеспечить всем наибольшую сумму благосостояния и удержать в то же время приобретенные доселе завоевания личной свободы и даже расширить их сколько возможно больше?

Как организовать общий труд и в то же время предоставить всем полную свободу проявления личного почина?

Такова была всегдашняя задача человечества с самого начала. Проблема огромная, которая взывает ныне ко всем умам, ко всем волям и ко всем характерам, чтобы быть разрешенной не только на бумаге, но и в жизни, жизнью самих обществ. Уже один факт произнесения этих слов — «анархический коммунизм» — подразумевает не только новую цель, но и новый способ решения социальной задачи, посредством усилий снизу, посредством самопроизвольного действия всего народа.

Это налагает на нас обязанность совершить большую работу мысли и исследований, чтобы узнать, насколько эта цель и этот анархический способ решения социального вопроса, — новый для современных революционеров, хотя он стар для человечества, — насколько они осуществимы и практичны? Этим и занялись с тех пор некоторые анархисты.

С другой стороны, декларация анархистов-коммунистов вызвала также сильнейшие возражения. Прежде всего, немецкие продолжатели Луи Блана, которые вслед за

ним уцепились за его формулу «Государство-слуга» и «Государство — инициатор прогресса», удвоили свои нападки на тех, кто отрицал государство во всех возможных формах. Они начали с того, что отвергали коммунизм как нечто старое и проповедовали под именем «коллективизма» и «научного социализма» «трудовые марки» Роберта Оуэна и Прудона и личное вознаграждение производителям, которые становились «все чиновниками». А нам они делали такое возражение, что коммунизм и анархизм, запряженные вместе, «воят от этого» (*hurlent de se trouve ensemble*). Так как под коммунизмом они понимали государственный коммунизм Кабе — единственный, который они могли понять, — то очевидно, что их коммунизм, подразумевающий власть, правительство (архе), и анархия, то есть отсутствие власти и правительства, диаметрально противоположны друг другу. Один есть отрицание другого, и никто не думал запрягать их в одну телегу. Что же касается вопроса, является ли государственный коммунизм единственной формой возможного коммунизма, то он даже не был за-

тронут критиками этой школы. Это считалось у них аксиомой.

Гораздо более серьезны были возражения, сделанные в самом лагере анархистов. Здесь повторяли сначала, не сомневаясь в том, возражения, выставленные Прудонем против коммунизма во имя свободы личности. И эти возражения, хотя им уже больше пятидесяти лет, не потеряли ничего из своей ценности.

Прудон действительно говорил во имя личности, ревностно оберегающей всю свою свободу, желающей сохранить независимость своего угла, своей работы, своего почина, своих исследований тех удовольствий, которые эта личность может позволить себе, не эксплуатируя никого другого, борьбы, которую она захочет предпринять, — вообще всей своей жизни. И этот вопрос прав личности ставится теперь с тою же силой, как и во времена «Экономических противоречий» Прудона.

Может быть, даже с большей силой, потому что государство расширило с тех пор в громадной степени свои посягательства на свободу личности, при посредстве обязательной

воинской повинности и своих армий, которые исчисляются миллионами людей и миллиардами налогов, при помощи школы, «покровительства» наукам и искусствам, усиленного полицейским и иезуитским надзором, и, наконец, при помощи колоссального развития чиновничества.

Анархист наших дней ставит все эти упреки государству. Он говорит во имя личности, восстававшей на протяжении веков против учреждений коммунизма, более или менее частичного, но всегда государственного, на которых человечество останавливалось несколько раз в течение своей долгой и тяжелой истории. Легко относиться к этим возражениям нельзя. Это уже не адвокатские ухищрения. Кроме того, они сами должны были явиться в той или иной форме у самого анархиста-коммуниста, так же как и у индивидуалиста. Тем более что вопрос, поднятый этими возражениями, входит в полном виде в другой более широкий вопрос о том, является ли жизнь в обществе средством освобождения личности или средством порабощения? Ведет ли она к расширению личной свободы

и к увеличению личности или же к ее умалению? Это основной вопрос всей социологии, и, как таковой, он заслуживает самого глубокого обсуждения.

Затем — это не только вопрос отвлеченной науки. Завтра мы можем быть призваны к тому, чтобы приложить свою руку к социальной революции. Сказать, что нам нужно только произвести разрушение, оставив другим — кому? постройтельную работу, было бы нелепо.

Кто же будет каменщиками-постройщиками, если не мы сами? Потому что если можно разрушить дом, не строя на его месте другой, то этого нельзя делать с учреждениями. Когда разрушают одно учреждение, то в то же время закладывают основания того, что разовьется позднее на его месте. Действительно, если народ начнет прогонять собственников дома, земли, фабрики, то это не для того, чтобы оставить дома, земли и фабрики пустыми, а для того, чтобы так или иначе занять их немедленно. А это значит — строить тем самым новое общество.

Попробуем же указать некоторые суще-

ственные черты этого громадного вопроса.

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНИЗМ. — КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ

Важность вопроса, который мы подняли, слишком очевидна, чтобы ее можно было оспаривать. Многие анархисты, включая сюда и коммунистов, и многие мыслители вообще, вполне признавая все выгоды, которые коммунистический строй может дать обществу, видят, однако, в этой форме социальной организации серьезную опасность для общественной свободы и для свободного развития личности. Что такая опасность действительно существует, в этом нет никакого сомнения. Притом, коснувшись этого предмета, придется разобрать другой вопрос, еще более важный, поставленный во всю свою широту нашим веком, — вопрос о взаимных отношениях личности и общества вообще.

К несчастью, вопрос о коммунизме осложнился разными ошибочными воззрениями на эту форму общественной жизни, получившими довольно широкое распространение. В большинстве случаев, когда говорили о ком-

мунизме, то подразумевали коммунизм более или менее христианский и монастырский — и во всяком случае государственный, подначальный, то есть подчиненный строгой центральной власти. В таком виде он проповедовался в коммунистических утопиях XVII в., в заговоре Бабефа в 1775 г., а затем, в первой половине девятнадцатого века, особенно Кабе и тайными коммунистическими обществами, и в таком виде его осуществляли на практике в некоторых общинах в Америке. Принимая за образец семью, эти общины стремились создать «великую коммунистическую семью» и ради этого хотели прежде всего «переродить человека». В этих целях, помимо труда сообща, они налажали на своих членов тесное, семейное сожительство, удаление от современной цивилизации, обособление коммуны, вмешательство «братьев и сестер» во все малейшие проявления внутренней жизни каждого из членов общины, и, наконец, полное подчинение начальству коммуны или (в заговоре Бабефа и у немецких коммунистов) государственной власти.

Затем, в рассуждениях о коммунизме недо-

статочно различают и часто смешивают мелкие единичные общины, многократно создававшиеся за последние триста или четыреста лет, и те коммуны, имеющие возникнуть в большом числе и вступающие между собою в союзные договоры, которые могут создаться в обществе, выступившем на путь социальной революции, — коммуны, основанные группами интеллигентов и городских рабочих, не способные бороться против всех сложных трудностей жизни земледельческого пионера на девственных землях Америки, и — коммуны того же характера, основанные также в Америке, но земледельцами: немецкими крестьянами, как, например, в Анаме, или славянскими крестьянами, как, например, духоборами.

Таким образом, для успешного обсуждения вопроса о коммунизме и о возможности обеспечить личную независимость в коммунистическом обществе необходимо рассмотреть порознь следующие вопросы:

- 1) Производство и потребление общества, его выгоды и его неудобства, то есть каким образом можно устроить работу общества и как

пользоваться сообща всем, что нужно Для жизни?

2) Совместную жизнь, то есть необходимо ли устраивать ее непременно по образцу большой семьи?

3) Единичные и разбросанные общины, общины, возникающие в настоящее время; и

4) общины будущего строя, вступающие между собою в союзный договор (федерацию); и, наконец,

5) влечет ли коммунизм общинной жизни за собою неизменно подавление личности? Другими словами — каково положение личности в коммунистическом обществе при общинном строе?

Под именем социализма вообще в течение XIX в. совершилось громаднейшее умственное движение. Началось оно с заговора Бабефа, с Фурье, Сен-Симона, Роберта Оуэна и Прудона, которые формулировали главнейшие течения социализма, и продолжалось оно их многочисленными последователями: французскими (Консидеран, Пьер Леру, Луи Блан), немецкими (Маркс, Энгельс, Шефле), русскими (Бакунин, Чернышевский) и так далее, ко-

торые работали над распространением в понятной форме воззрений основателей современного социализма либо над утверждением их на научном основании.

Мысли основателей социализма, по мере того как они вырабатывались в более определенных формах, дали начало двум главным социалистическим течениям: коммунизму начальническому и коммунизму анархическому (безначальному), а равно и нескольким промежуточным формам, выискивающим компромиссы или сделки между теперешним обществом и коммунистическим строем. Таковы школы: государственного капитализма (государство владеет всем необходимым для производства и жизни вообще), коллективизма (всем выплачивается задельная плата, по рабочим часам, бумажными деньгами, в которых место рублей заняли рабочие часы), кооперации (производительные и потребительные артели), городского социализма (полусоциалистические учреждения, вводимые городской управою или муниципалитетом) и многие другие.

В то же время в чисто рабочей среде те же

мысли основателей социализма (особенно Роберта Оуэна) помогли образованию громадного рабочего движения. Оно стремится соединить всех рабочих в союзы по ремеслам ради прямой, непосредственной борьбы против капитала. Это движение породило в 1864-1879 гг. Интернационал, или Международный союз рабочих, который стремился установить всенародную связь между объединенными ремеслами, а затем его продолжения, но с ограниченной программой: политической, социал-демократической партии.

Три существенных пункта было установлено этим громадным движением, умственным и революционным, и эти три пункта глубоко проникли за последние тридцать лет в общественное сознание. Вот они:

1) уничтожение задельной платы, выдаваемой капиталистом рабочему, так как представляет она собою не что иное, как современную форму древнего рабства и крепостного ига;

2) уничтожение личной собственности на то, что необходимо обществу для производства и для общественной организации обме-

на продуктов; и, наконец,

3) освобождение личности и общества от той формы политического порабощения — государства, — которая служит для поддержания и сохранения экономического рабства.

По этим трем пунктам, можно сказать, уже устанавливается некоторое соглашение между мыслящими социалистами.

Действительно, даже коллективисты, которые настаивают на необходимости «рабочих чеков», или платы по часам работы, а равно и те, которые говорят, как выразился поппулист («возможник») Брусе: «Все должны быть чиновниками!» (Tous — fonctionnaires), то есть что все рабочие должны быть на жалованье либо у государства, либо у города, либо у сельской общины, даже они соглашаются, в сущности, с вышеупомянутыми тремя пунктами. Они предлагают ту или другую временную сделку только потому, что не предвидят возможности сразу перейти от теперешнего строя к безгосударственному коммунизму. Они идут на сделки, потому что считают их неизбежными, но их конечная цель все-таки остается коммунизм.

Что же касается до государства, то даже те из них, которые остаются ярыми защитниками государства и сильной правительственной власти и даже диктатуры, признают (как выразился однажды Энгельс), что когда классы, существующие теперь, будут уничтожены, то с ними исчезнет и надобность в государстве. Таково было, по крайней мере, мнение некоторых вождей марксистской школы.

Таким образом, нисколько не стремясь преувеличивать значение анархической партии в социалистическом движении из-за того только, что она «наша» партия, мы должны признать следующее.

Каковы бы ни были разногласия между различными партиями общесоциалистического движения — причем эти разногласия обуславливаются в особенности различием в способах действия, более или менее революционных, принятых тою или другою партией, — все мыслители социалистического движения, к какой бы партии они ни принадлежали, признают, что конечной целью социалистического развития должно быть развитие вольного коммунизма. Все остальное —

сами же они сознаются — есть не что иное, как ряд переходов на пути к этой цели.

Но нужно помнить, что всякое рассуждение о переходах, которые придется сделать на пути к цели, будет совершенно бесполезно, если оно не будет основано на изучении тех направлений, тех зачаточных переходных форм, которые теперь уже намечаются в современном обществе; причем среди этих различных направлений два особенно заслуживают нашего внимания.

Одно из них состоит в следующем. По мере того как сложнее становится жизнь общества, все труднее и труднее бывает определить, какая доля в производстве пищи, одежды, машин, жилья и тому подобного по справедливости должна приходиться на долю каждого отдельного работника. Земледелие и промышленность теперь до того осложняются и взаимно переплетаются, все отрасли промышленности до того начинают зависеть друг от друга, что система оплаты труда рабочего-производителя, смотря по количеству добытых или выработанных им продуктов, становится все более и более невозможной, если

стремиться к справедливости. Работая одинаково усердно, два человека на разного сорта земле, в разные годы или в двух разных угольных коях, или же на двух разных ткацких фабриках при разных машинах, или даже на той же машине, но при разном хлопке, произведут различные количества хлеба, угля, тканей.

В прежнее время, когда существовал только один способ делать башмаки, шить белье, ковать гвозди, косить луг и так далее, можно было считать, что если такой-то работник произведет более башмаков, белья, гвоздей или если он выкосит более сена, чем другой, то ему заплачено будет за его усердие или за умение, ловкость, если дать ему повышенную плату соответственно результатам, которые он получил.

Но теперь, когда продуктивность труда зависит особенно от машин и от организации труда в каждом предприятии, становится все менее и менее возможным определять плату соответственно результатам, полученным каждым рабочим.

Поэтому мы видим, что чем развитее ста-

новится данная промышленность, тем более исчезает в ней поштучная заработная плата, тем охотнее заменяется она поденного платою, по столько-то в день. С другой стороны, сама поденная плата имеет некоторое стремление к уравнению.

Теперешнее общество, конечно, продолжает делиться на классы, и есть целый громаднейший класс «господ» или буржуа, у которых жалованье тем выше, чем менее они работают в день. Затем, среди самих рабочих есть также четыре крупных разряда, в которых рабочий день оплачивается очень различно, а именно: женщины, сельские рабочие, чернорабочие, делающие простую работу, и рабочие, знающие какое-нибудь более или менее специальное ремесло. Но эти четыре разряда различно оплачиваемых рабочих представляют только четыре разряда эксплуатации рабочего его хозяином и каждого разряда самих рабочих другими, высшими разрядами: женщин — мужчинами, сельских рабочих фабричными. Таковы результаты буржуазной организации производства.

Теперь оно так; но в обществе, в котором

установится равенство между людьми и все смогут научиться какому-нибудь ремеслу и в котором хозяин не сможет пользоваться подчиненным положением рабочего, мужчина — подчиненным положением женщины, а городской рабочий — подчиненным положением крестьянина, — в таком обществе деление на классы исчезнет. Даже теперь уже в каждом из этих классов заработная плата имеет стремление к уравниванию. И поэтому совершенно справедливо было замечено, что для правильно устроенного общества рабочий день землекопа стоит столько же, то есть имеет одинаковую ценность, что и день ювелира или учителя. В силу этого еще Роберт Оуэн, а за ним Прудон предложили, и даже оба попробовали ввести рабочие чеки; то есть каждый человек, проработавший, скажем, пять часов в каком бы то ни было производстве, признанном полезным и нужным, получает квитанцию с означением «пять часов»; и с этою квитанциею он может купить в общественном магазине любую вещь — еду, одежду, предмет роскоши — или же заплатить за квартиру, за проезд по железной дороге и так

далее, представляющие то же количество часов работы других людей. Эти самые рабочие чеки коллективисты и предлагают ввести в будущем социалистическом обществе для оплаты всякого рода труда. В Парижской Коммуне 1871 г. мы видели также, что администраторам и правительству коммуны платилось одинаковое жалованье в пятнадцать франков в день.

Если вдуматься, однако, во все то, что до сих пор было сделано, чтобы установить общественное, социалистическое пользование чем бы то ни было, мы не видим — за исключением нескольких тысяч фермеров в Америке, которые ввели между собою рабочие чеки, — мы не видим, чтобы где-нибудь мысль Роберта Оуэна и Прудона, проповедуемая теперь коллективистами, принялась в сколько-нибудь значительных размерах. Со времени попытки Оуэна, сделанной три четверти века тому назад, рабочий чек не привился нигде. И я указал в другом месте («Хлеб и Воля», глава о задельной плате), какое внутреннее противоречие мешает широкому приложению этого проекта.

Зато мы замечаем, наоборот, множество всевозможных попыток, сделанных именно в направлении коммунизма, либо частного, ограниченного, неполного, либо даже полного. Многие сотни коммунистических общин были основаны в течение XIX века в Европе и в Америке, и даже в настоящую минуту нам известно несколько десятков общин, живущих более или менее на началах коммунизма и более или менее процветающих, так что если бы кто-нибудь занялся описанием всевозможных, больших и малых, коммунистических и полуккоммунистических общин, рассеянных по белу свету (как это сделал лет тридцать тому назад Нордхоф для Америки), то картина получилась бы весьма поучительная.

Оставляя в стороне религиозный вопрос и его роль в организации коммунистических обществ, достаточно будет указать на пример духоборов в Канаде, чтобы показать экономическое превосходство коммунистического труда по сравнению с трудом личным. Прибыв в Канаду без копейки, они были принуждены устроиться там в еще необитаемой, хо-

лодной части провинции Альберты; за отсутствием лошадей их женщины запрягались по 20 или 30 человек в соху, в то время как мужчины среднего возраста работали на железной дороге и отдавали свои жалованья на общие нужды в коммуну; и, однако, через семь или восемь лет все 6000 или 7000 духоборов сумели достигнуть благосостояния, организовав свое земледелие и свою жизнь при помощи всяких современных машин — американских косилок и вязалок, молотилок и паровых мельниц на коммунальных началах [29].

Таким образом, мы имеем здесь союз около двадцати коммунистических поселков, причем каждая семья живет в своем доме, но полевые работы производятся сообща, и каждая семья берет из общественных магазинов, что ей нужно для жизни. Эта организация, которая в течение нескольких лет поддерживалась религиозною идеею общины, не является, конечно, нашим идеалом; но мы должны признать, что, с точки зрения экономической жизни, громадное превосходство коммунистического труда над индивидуальным трудом и полная возможность приспособить

этот труд к современным потребностям земледелия с помощью машин были превосходно доказаны.

Но, кроме этих попыток удачного коммунизма в сельском хозяйстве, мы можем также указать на множество примеров коммунизма частичного, имеющего целью одно потребление, который проводится в многочисленных попытках социализации, делающихся в буржуазном обществе, — либо среди частных лиц, либо целыми городами (так называемый муниципальный, или городской, социализм).

Что такое гостиница, пароход, швейцарский «пансион», если не попытки, делающиеся в этом направлении среди буржуазного общества? В обмен на определенную плату — столько-то рублей в день — вам представляется выбирать что вам вздумается из десяти блюд или более блюд, которые вам предлагаются на океанском пароходе или в отеле; и никому в голову не приходит учитывать, сколько вы чего съели. Такая организация теперь установилась даже международная. Уезжая из Лондона или Парижа, вы можете запасть билетами (по столько-то рублей в день),

и по этим билетам вы получаете комнату, кровать и стол в сотнях гостиниц, рассеянных во Франции, Германии, Швейцарии, Италии и принадлежащих к международному союзу гостиниц.

Буржуа прекрасно поняли, какую громадную выгоду представляет им этот вид ограниченного коммунизма для потребления, соединенного с полною независимостью личности; вследствие этого они устроились так, что за определенную плату, по столько-то в день или в месяц, все их потребности жилища и еды бывают вполне удовлетворены без всяких дальнейших хлопот. Предметы роскоши, конечно, не входят в этот договор: за тонкие вина и за особенно роскошные комнаты приходится платить особо; но за плату, одинаковую для всех, основные потребности удовлетворены, не считая того, сколько каждый отдельный путешественник съест или не доест за общим столом.

Страхование от пожаров, особенно в селах, где существует до некоторой степени приблизительное равенство в достатках всех жителей и где поэтому страховая премия взимает-

ся равная со всех; застрахование от случайных увечий в экипаже или во время путешествий по железным дорогам; застрахование от воровства, причем вы платите в Англии немного более рубля в год (полкроны), и компания выплачивает вам, по вашей собственной оценке, за все, что бы у вас ни украли, ценою до тысячи рублей — и делает это без всяких разбирательств и без всякого обращения к полиции («С какой стати? говорил нам агент. — Обращаться к полиции! Все равно она ничего не разыщет, а ваш рубль покрывает наши платежи и другие расходы, еще с барышом») — все это формы частного коммунизма или, вернее, артельной жизни, возникающие чрезвычайно быстро за последние двадцать пять лет. Прибавьте к этому еще ученые общества, которые за такую-то плату в год дают вам библиотеку, комнаты для ваших работ, музей или зоологический сад, которые ни один миллионер не может купить на свои миллионы. Прибавьте клубы, дающие вам комнату, библиотеку, общество и всякие другие удобства, и общества для оплаты доктора, столь распространенные среди

английских рабочих; возьмите общества застрахования на случай болезни; возьмите артельные путешествия, устраиваемые не только частными агентами, но и образовательными учреждениями (Polytechnic Tours в Англии); или возьмите обычай, распространяющийся теперь в Англии, что за рубль или даже за полтинник в неделю вам доставляют на дом, прямо от рыболовов, столько рыбы, сколько вы можете съесть в неделю в вашей семье; возьмите клуб велосипедистов с его тысячами мелких удобств и услуг, оказываемых членами я так далее и так далее.

Словом, мы имеем перед собою сотни учреждений, возникших очень недавно и распространяющихся с необыкновенною быстротою, основанных на началах приближения к коммунистическому пользованию целыми обширными отраслями потребления.

И, наконец, мы имеем еще тоже быстро разрастающиеся городские учреждения коммунистического рода. Город берется доставлять всем воду за столько-то в год, не считая в точности, сколько вы израсходуете воды; точно так же — газ и электричество для освеще-

ния и как рабочую силу, — во всех этих городских предприятиях те же попытки социализации потребления прилагаются в масштабе, который расширяется с каждым днем. И особенно важно то, что это потребление неизбежно приводит города к муниципальной организации производства (газа, электричества, городских молочных и т. п.).

Затем, города имеют теперь свои гавани и доки, свои сады, свои конки и трамваи, с одинаково платою за большое или малое расстояние (начиная от нескольких сот шагов до 30-ти верст вы платите в Америке все ту же плату), свои общественные бани и прачечные, и, наконец, города начинают строить свои общественные дома; или же город держит своих овец, или, наконец, заводит свою молочную ферму (Торки в Англии). Более того. Мы увидим через несколько лет в Англии город, имеющий сам свои угольные копи, чтобы получить электричество для освещения и двигательной силы, без того чтобы приходилось за это платить дань владельцам копей. В Манчестере это было уже решено в принципе, когда трест главных угольных компаний

поднял на большую цифру цену угля в течение бурской войны. И с каждым годом эти попытки расширения городского хозяйства в коммунистическом направлении растут, расширяя также область их приложений.

Конечно, все это еще не коммунизм. Далеко не коммунизм. Но основная мысль большинства этих учреждений содержит в себе частицу коммунистического начала. А именно: за известную плату, по столько-то в год или в день, вы имеете право удовлетворить такой-то разряд ваших потребностей — за исключением, конечно, роскоши в этих потребностях. Теперь вы еще платите за это деньгами; но близок день, когда платить можно будет и трудом: начало уже положено.

Многого, конечно, еще недостает этим зачаткам коммунизма, чтобы стать действительным коммунизмом: во-первых, плата производится деньгами, а не трудом; а во-вторых, потребители, по крайней мере в частных предприятиях, не имеют голоса в заведовании делом.

Но нужно также заметить следующее. Если бы основная мысль этих учреждений была

правильно понята, то нетрудно было бы уже теперь завести, даже по частной или общественной инициативе, такую общину, в которой первый пункт, то есть уплата трудом, был бы уже введен. Возьмите, например, участок земли, скажем, в 500 десятин. На этой земле строится двести домов, каждый с садом или огородом в четверть десятины. Остальная земля обращается в поля, огороды и общественные сады. Предприниматель берется либо представлять каждой семье, занимающей эти дома, на выбор любые из пятидесяти блюд, приготавливаемых им каждый день (как в американской гостинице), или же он доставляет желающим готовый хлеб, сырое мясо, овощи и т.д., — сколько они потребуют, — чтобы готовить у себя на дому (шаг в этом направлении уже делают рыбаки, доставляя рыбу по абонементу). Отопление производится, конечно, по-американски, из общей печи по трубам с горячей водой. И за все это хозяин учреждения берет с вас — либо плату деньгами, по столько-то в день, либо плату работою, по столько-то часов в день по вашему выбору в любой из отраслей, нужных для его села-го-

стиницы. Работайте по вашему выбору, в полях или в огороде, на скотном дворе или на кухне, или по уборке комнат, столько-то часов в день, и ваша работа зачтется в уплату за вашу жизнь. Такое учреждение можно было бы завести хоть завтра, и приходится удивляться одному — что этого давно уже не было сделано каким-нибудь предприимчивым содержанием гостиницы [30].

III. МАЛЕНЬКИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ. — ПРИЧИНЫ ИХ НЕУСПЕХА

По всей вероятности, некоторые читатели заметят, что именно на этом пункте, то есть на работе сообща, коммунисты, наверно, провалятся, так как на нем уже провалились многие общины. Так, по крайней мере, написано во многих книгах. А между тем это будет совершенно неверно. Когда коммунистические общины проваливались, то причины неудачи обыкновенно бывали совсем не в общем труде.

Во-первых, заметим, что почти все такие общины основывались в силу полурелигиозного увлечения. Основатели решали стать «глашатаями человечества, пионерами вели-

ких идей» и, следовательно, подчиняться строжайшим правилам мелочно требовательной «высокой» нравственности, «переродиться» благодаря общинной жизни и, наконец, отдавать все свое время, во время и вне работы, своей общине — жить исключительно для нее.

Выставлять такие требования значило, однако, поступать так, как делали в старину монахи и отшельники; то есть требовать от людей — безо всякой нужды, — чтобы они стали чем-то другим, чем они есть на самом деле. И только недавно, совсем недавно, стали основываться общины, преимущественно рабочими-анархистами, безо всяких таких высоких стремлений, просто с чисто экономической целью избавиться от обирания хозяином-капиталистом.

Другая ошибка коммунистов состояла в том, что они непременно желали устроиться по образцу семьи и основать «великую семью братьев и сестер». Ради этого они селились под одним кровом, где им приходилось всю жизнь оставаться в обществе все тех же «братьев и сестер». Но тесное сожителство под

одним кровом — вообще вещь нелегкая. Два родных брата, сыновья одних и тех же родителей, и то не всегда уживаются в одной избе или в одной квартире. Кроме того, семейная жизнь не всем подходит. А потому было ко­ренною ошибкою налагать на всех членов жизнь «большою семьею» вместо того, чтобы, напротив, обеспечить каждому наибольшую свободу и наибольшее охранение внутренней жизни каждой семьи. Уже то, что русские духоборы, например, живут в отдельных избах, — гораздо лучше обеспечивает сохранение их полукоммунистических общин, чем жизнь в одном монастыре.

Первое условие успеха коммуны было бы — оставить мысль о фаланстере и жить в отдельных домиках, как это делают в Англии.

Затем, маленькая община не может долго просуществовать. Известно, что люди, вынужденные жить очень тесно, на пароходе или в тюрьме, и обреченные на то, чтобы получать очень небольшое количество внешних впечатлений, начинают просто не выносить друг друга (вспомните собственный опыт или хоть Нансена с его товарищами). А

В маленькой общине довольно двум человекам стать соперниками или во враждебные отношения, чтобы, при бедности внешних впечатлений, общине пришлось распасться. Удивительно еще, что иногда такие общины могли существовать довольно долго; тем более что все такие братства еще уединяются от других.

Поэтому, основывая общину в десять, двадцать или сто человек, так и следовало бы знать заранее, что больше трех или четырех лет она не проживет. Если бы она прожила долее, то пришлось бы даже пожалеть об этом, потому что это только доказывало бы, что ее члены или дали себя поработить одним из них, или совершенно обезличились.

Но так как можно заранее быть уверенным, что через три, четыре или пять лет часть членов общины пожелает отделиться, то следовало бы, по крайней мере, иметь десяток или два таких общин, объединенных союзным договором. В таком случае тот, кто по той или другой причине захочет оставить свою общину, сможет, по крайней мере, перейти в другую, а его место может занять кто-

нибудь со стороны. Иначе коммуна расходится или же (как это бывает в большинстве случаев) попадает в руки одного из членов — наиболее хитрого и ловкого «брата». Эту мысль о необходимости союзного договора между коммунарами я настоятельно рекомендую тем, которые продолжают основывать коммунистические общины. Она родилась не из теории, а из опыта последних лет, особенно в Англии, где несколько общин попало в руки отдельных «братьев» именно из-за отсутствия более широкой организации.

Маленькие общины, основывавшиеся за последние тридцать — сорок лет, гибнут еще по одной весьма важной причине. Они уединялись «от мира сего». Но борьба и жизнь, одушевленная борьбою, для человека деятельного гораздо нужнее, необходимее, чем сытный обед. Потребность жить с людьми, окунуться в бурный поток общественной жизни, принять участие в борьбе, жить жизнью других и страдать их страданиями особенно сильна в молодом поколении. Поэтому, как это отлично заметил мне Николай Чайковский, вынесший это из личного опыта, мо-

лодежь, как только она подходит к восемнадцати или двадцати годам, неизбежно покидает свою общину, не составляющую часть всего общества; и молодежь неизбежно будет покидать свои общины, если они не слились с остальным миром и не живут его жизнью. Между тем большинство коммун (за исключением двух, основанных нашими друзьями в Англии возле больших городов) до сих пор прежде всего считало нужным удалиться в пустыню. В самом деле, вообразите себя в возрасте от 16 до 20 лет, в заключении в небольшой коммунистической общине где-нибудь в Техасе, Канаде или Бразилии. Книжки, газеты, журналы, гравюры говорят вам о больших красивых городах, где интенсивная жизнь бьет ключом на улицах, в театрах, на митингах, как бурный поток. «Вот это — жизнь, — говорите вы, — а здесь смерть, хуже, чем смерть медленное оупение! — Несчастье? Голод? Ну что ж, я хочу испытать и несчастье, и голод; пусть только это будет борьба, а не нравственное и умственное оупение, которое хуже, чем смерть!» И с этими словами вы уходите из коммуны.

И вы — правы.

Поэтому понятно, какую ошибку делали икарийцы и другие коммунисты, основывая свои коммуны в прериях Северной Америки. Беря даром или покупая за более дешевую цену землю в местах еще мало заселенных, они тем самым прибавляли ко всем трудностям новой для них жизни еще все те трудности, с которыми приходится бороться всякому поселенцу на новых местах, вдали от городов и больших дорог. А трудности эти, как известно по опыту, очень велики. Правда, что они получали землю за дешевую плату; но опыт коммуны около Ньюкастля доказал нам, что в материальном отношении община гораздо лучше и скорее обеспечивает свою жизнь, занимаясь огородничеством и садоводством (в значительной мере в парниках и оранжереях), а не полеводством; причем вблизи большого города ей обеспечены сбыт плодов и овощей, которыми оплачивается даже высокая арендная плата за землю. Самый труд огородника и садовника несравненно доступнее городскому жителю, чем полевое хозяйство, а тем более — расчистка нивы в незаселенных

пустынях.

Гораздо лучше платить арендную плату за землю в Европе, чем удаляться в пустыню, а тем более — мечтать, как это делали коммунисты Анамы и другие, об основании новой религиозной империи. Общественным реформаторам нужна борьба, близость умственных центров, постоянное общение с обществом, которое они хотят реформировать, вдохновение наукой, искусством, прогрессом, которых нельзя получить из одних книг.

Бесполезно прибавлять, что правительство коммуны было всегда самым серьезным препятствием для всех практических коммунистов. В самом деле, достаточно прочесть «Путешествие в Икарию» Кабе, чтобы понять, как невозможно было удержаться коммунам, основанным икарийцами. Они требовали полного уничтожения человеческой личности перед великим жрецом-основателем. Мы понимаем неприязнь, которую Прудон питал ко всей этой секте!

Рядом с этим мы видим, что те из коммунистов, которые низводили свое правительство до наименьшей степени или вовсе не

имели никакого, как, например, Молодая Икаррия в Америке, еще преуспевали лучше и держались дольше других (тридцать пять лет). Оно и понятно. Самое большое ожесточение между людьми возникает всегда на политической почве, из-за преобладания, из-за власти; а в маленькой общине споры из-за власти неизбежно ведут ее к распадению. В большом городе мы еще можем жить бок о бок с нашими политическими противниками, так как там мы не вынуждены сталкиваться с ними беспрестанно. Но как жить с ними в маленькой общине, где приходится сталкиваться каждый день, каждую минуту? Политические споры и интриги из-за власти переносятся здесь в мастерскую, в рабочую комнату, в комнату, где люди собираются для отдыха, — и жизнь становится невозможной.

Вот главные причины распада основных до сего времени коммун.

Что же касается до коммунистического труда сообща, до общинного производства, то доказано вполне, что именно оно всегда прекрасно удавалось. Ни в одном коммерческом предприятии возрастание ценности земли,

приданной ей трудом человека, не было так велико, как оно было в любой, в каждой из общин, основанных за последние сто лет в Европе или в Америке. Редкая отрасль промышленности давала такую прибыль, как промышленные производства, основанные на коммунистических началах, — будь то мёнонитская мельница, или фабрикация сукон, или рубка леса, или выращивание плодовых деревьев. Можно назвать сотни общин, в которых несколько лет земля, не имевшая сначала никакой ценности, получала ценность в десять или даже во сто раз большую.

Мы уже видели, что в больших коммунах, как у 7000 духоборов в Канаде, экономический успех был полный и быстрый. Но такой же экономический успех имел место в маленькой коммуне из семи или восьми рабочих-анархистов около Ньюкастля. Они начали дело также без копейки, наняв ферму в три десятины, нам пришлось в Лондоне собирать деньги по подписке на покупку для них коровы, чтобы давать молоко детям этой крошечной коммуны. Тем не менее в три или четыре года они смогли придать своему клочку

земли очень большую ценность благодаря интенсивной обработке земли, соединенной с садоводством и парниковым огородничеством. К ним приезжали из Ньюкастля смотреть на их работу и удивлялись их замечательным успехам. Их великолепные сборы томатов, полученных в парниках, заранее покупались целиком Сэндерландским Кооперативом.

Если эта маленькая община должна была все-таки разойтись через три или четыре года, то такова уже была неизбежная судьба всякого маленького товарищества, поддерживаемого энтузиазмом нескольких личностей. Во всяком случае, не экономический провал заставил этих коммунистов распустить общину. Это были личные истории, неизбежные в такой маленькой компании, вынужденной к постоянному совместному сожительству.

Заметьте также, что если бы мы имели три или четыре анархических общины, объединенных союзным договором, то уход основателя не повел бы к распадению коммуны, — произошла бы только перемена в личном составе.

Ошибки в хозяйстве, конечно, случались в коммунистических общинах так же, как и в капиталистических предприятиях. Но известно, что в промышленном мире число банкротств бывает, из года в год, от 60-ти до 80-ти на каждые сто новых предприятий. Из каждых пяти вновь основанных предприятий три или четыре банкротятся в первые же пять лет после их основания. Но мы должны признать, что ничего подобного не было с коммунистическими общинами. Поэтому, когда буржуазные газеты, желая быть остроумными, советуют дать анархистам особый остров и предоставить им там основывать свою коммуну, то, пользуясь опытом прошлого, мы ничего не имеем против такого предложения. Мы только предложим, чтобы этот остров был Остров Франции (провинция Ne-de-France, в которой лежит Париж) и чтобы нам отделили нашу долю общественного богатства, сколько его придется на человека. А так как нам не дадут ни Иль-де-Франс, ни нашу долю общественного капитала, то мы будем работать для того, чтобы народ когда-нибудь сам взял и то и другое путем социальной революции. И то ска-

зять, Париж и Барселона были не так-то уже далеко от этого в 1871 г., а с тех пор коммунистические взгляды успели-таки распространиться среди рабочих.

Притом всего важнее то, что нынче рабочие начинают понимать, что один какой-нибудь город, если бы он ввел у себя коммунистический строй, не распространивши его на соседние деревни, встретил бы на своем пути большие трудности. Ввести коммунистическую жизнь следовало бы сразу в известной области, — например, в целом американском штате, Огайо или Айдахо, как говорят наши американские друзья, социалисты. И они правы. Сделать первые шаги к осуществлению коммунизма надо будет в довольно большой промышленной и земледельческой области, захватывающей и город, и деревню, а отнюдь не в одном только городе. Город без деревни не может жить.

Нам так часто приходилось уже доказывать, что государственный коммунизм невозможен, что мы не станем вновь перечислять наши доводы. Самое лучшее доказательство то, что сами государственники, то есть защит-

ники социалистического государства, не верят в возможность коммунизма, устроенного под палкой государства. Никто из них не думает более о программе якобинского коммунизма, как она изложена Кабе в его «Путешествии в Икарию». «Коммунистический Манифест» Маркса с Энгельсом — уже анахронизм для самих марксистов.

Большинство социалистов-государственников ныне так занято «завоеванием части власти» (*conquete des pouvoirs*) в теперешнем, буржуазном государстве, что они вовсе даже не стараются выяснить, что такое подразумевают они под именем социалистического государства, которое не было бы вместе с тем осуществлением государственного капитализма; то есть такого строя, при котором все граждане становятся работниками, получающими задельную оплату от государства. Когда мы им говорим, что они стремятся именно к этому, они сердятся; но, несмотря на это, они вовсе не стараются выяснить, какую другую форму общественных отношений они желали бы осуществить. Причина этого понятна. Так как они не верят в возможность близ-

кой социальной революции, они стремятся просто к тому, чтобы стать частью правительства в теперешнем буржуазном государстве, предоставляя будущему, чтобы оно само определило свое направление.

Что касается до тех, которые пробовали набросать картину будущего общества, то, когда мы им указывали, что, придавая широкое развитие государственному началу и сосредоточивая все производство в руках государственных чиновников, они тем самым убивают ту небольшую личную свободу, которую человечеству удалось уже отвоевать, они обыкновенно отвечали, что вовсе не хотят над собою власти, а только хотят завести статистические комитеты. Но это простая игра словами. Теперь достаточно уже известно, что единственная путная статистика исходит от самой личности. Только сама личность, каждая в отдельности, может дать точные статистические сведения насчет своего возраста, занятий и общественного положения и подвести итоги тому, что каждый из нас произвел и потребил. Так и собирается теперь статистика, когда составители действительно

хотят, чтобы их цифры заслуживали доверия. Так делались, между прочим, и наши «подворные описи» честными земскими статистиками из молодежи.

Вопросы, которые надо поставить каждому обывателю при серьезных статистических обследованиях, в последнее время вырабатываются обыкновенно добровольцами или учеными, статистическими обществами, и роль статистических комитетов сводится теперь на то, что они раздают печатные листы с вопросами, а потом сортируют карточки и подводят итоги при помощи вычислительных машин. Поэтому утверждать, что социалист так именно и понимает государство и что никакой другой власти он ему и не хочет вручить, значит (если сказано искренно) попросту «отступить с честью». Под словом «государство» во все века, да и самими государственниками-социалистами, понимался во все не рассыльный, разносящий листы переписи, и не счетчик, подводящий итоги переписи, а действительные распорядители народной жизни. Но и то сказать, что бывшие якобинцы порядком посбавили за последнее

время со своих восторгов перед диктатурой и социалистической централизацией, которые они так горячо проповедовали лет тридцать тому назад. Нынче никто из них не решится утверждать, что потребление и производство картофеля должно устанавливаться из Берлина парламентом немецкого фольк-штата (народного государства), как это говорилось в немецких социалистических газетах лет тридцать тому назад.

IV. ВЕДЕТ ЛИ КОММУНИЗМ К УМАЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ?

Так как коммунистическое государство есть утопия, от которой начинают отказываться те самые, которые прежде стояли за нее, то нам нечего над этим останавливаться — и давно пора заняться другим, более серьезным вопросом. А именно: анархический, то есть свободный и безгосударственный коммунизм не представляет ли также опасности для свободного развития личности? Не повлечет ли он за собою то же уменьшение свободы личности и подавление личного почина?

Дело в том, что во всех рассуждениях о свободе наши мысли затемняются пережитками

старого, и нам приходится считаться с целою кучею ложных представлений, завещанных нам веками рабства и религиозного гнета.

Экономисты уверяют нас, что договор, заключаемый рабочим, под угрозой голода, с его хозяином, именно и есть сама свобода. Политиканы всяких партий стараются, со своей стороны, убедить нас, что теперешнее положение гражданина, попавшего в крепость ко всемогущему государству, ставшего его рабом и плательщиком, есть именно то, что следует называть свободою. Но ложность этих утверждений очевидна. В самом деле — как можно изображать положение гражданина в современном государстве свободным, когда завтра же он может быть призван и отправлен в Африку, чтобы там расстреливать в упор безобидных кабиллов с единственною целью — открыть новое поле для спекуляций банкиров и дать на разграбление земли кабиллов европейским авантюристам? Как считать себя свободным, когда каждый из нас принужден отдавать во всяком случае более чем месяц труда каждый год, чтобы поддерживать целую тучу всяких правительств и чиновников,

единственная цель которых — мешать тому, чтобы идеи социального прогресса осуществлялись, чтобы эксплуатируемые начали освобождаться от своих эксплуататоров, чтобы массы, удерживаемые церковью и государством в невежестве, начали понимать кое-что и разбираться в причинах их порабощения?

Представлять это порабощение как свободу становится все более и более трудным. Но и даже самые крайние моралисты, Милль и его многочисленные последователи, определяя понятие о свободе как право делать все, лишь бы не нарушать такое же право всех остальных, не дали правильного определения слова «свобода». Не говоря уже о том, что слово «право», унаследованное нами из смутных стародавних времен, ничего не говорит или говорит слишком много; но определение Милля позволило философу Спенсеру, очень многим писателям и даже некоторым индивидуалистам-анархистам, как, например, Тэкеру, оправдать и восстановить все права государства, включая суд, наказание и даже смертную казнь. Таким образом, они, в сущ-

ности, волей-неволей воссоздали то самое государство, против которого выступили сначала с такою силою. Притом, мысль о «свободной воле» скрывается под всеми этими рассуждениями.

Посмотрим же, что такое свобода?

Оставляя в стороне полубессознательные поступки человека и беря только сознательные (на них только и стараются оказать влияние закон, религии и системы наказания), — беря только сознательные поступки человека, мы видим, что каждому из них предшествует некоторое рассуждение в нашем мозгу. «Выйду-ка я погулять», — проносится у нас мысль... «Нет, я назначил свидание приятелю», — проносится другая мысль. Или же: «Я обещал кончить мою работу», или — «Жене и детям скучно будет одним», или же наконец: «Я потеряю свое место, если я не пойду на работу».

В этом последнем рассуждении сказался страх наказания, между тем как в первых трех человек имел дело только с самим собою, со своими привычками честности или со своими личными привязанностями. И в этом

состоит вся разница между свободным и несвободным состоянием. Человек, которому пришлось сказать себе: «Я отказываюсь от такого-то удовольствия, чтобы избежать наказания», — человек несвободный.

И вот мы утверждаем, что человечество может и должно освободиться от страха наказания, уничтожив само наказание; и что оно может устроиться на анархических началах, при которых исчезнет страх наказания и даже страх порицания. К этому идеалу мы и стремимся.

Мы прекрасно знаем, что человек не может и не должен освободиться ни от привычек известной честности (например, от привычки быть верным своему слову), ни от своих привязанностей (нежелание причинить боль, ни даже огорчение тем, кого мы любим или кого мы не хотим обмануть в их ожиданиях). В этом смысле человек никогда не может быть свободен. И «абсолютный» индивидуализм, о котором нам столько говорили в последнее время, особенно после Ницше, есть нелепость и невозможность.

Даже Робинзон не был абсолютно свобо-

ден, в этом смысле, на своем острове. Раз он начал долбить свою лодку, обрабатывать огород или запасать провизию на зиму, он уже был захвачен своим трудом. Если он вставал ленивый и хотел поваляться в своей пещере, он колебался минуту, а затем шел к своей начатой работе. С той же минуты, как у него завелся товарищ-собака или несколько коз, а в особенности с тех пор, как он встретился с Пятницею, он уже не был вполне свободен, в том смысле, в каком это слово нередко употребляется в жару спора и иногда на публичных собраниях.

У него уже были обязанности, он уже вынужден был заботиться об интересах другого, он уже не был тем «полным индивидуалистом», которого нам иногда расписывают в спорах об анархии.

С той минуты, как человек любит жену и имеет детей — кто бы их ни воспитывал: сами он, или «общество», — у него возникают новые обязательства; но даже с той минуты как у него завелось хоть одно домашнее животное или огород, требующий поливки только в известные часы дня, — он уже не может

быть более тем «знать ничего не хочу», «эгоистом», «индивидуалистом» и тому подобное, которых нам иногда выставляют как типы свободного человека. Ни на Робинзоновом острове, ни, еще менее, в обществе, как бы оно ни было устроено, такой тип не может быть преобладающим.

Он может появиться как исключение, и действительно он появляется в качестве мятежника против разлагающегося и лицемерного общества, как наше; но никогда он не станет общим типом и ни даже желательным типом.

Человек всегда принимал и всегда будет принимать в расчет интересы хоть нескольких других людей, — и будет принимать их все более и более, по мере того как между людьми будут устанавливаться более и более тесные взаимные отношения, а также и по мере того, как эти другие сами будут определеннее заявлять свои желания и свои чувства, свои права на равенство и настаивать на их удовлетворении.

Вследствие этого мы не можем дать свободе никакого другого определения, кроме сле-

дующего:

Свобода есть возможность действовать, не вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного, или страх голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга).

Понимая свободу в этом смысле — а я сомневаюсь, чтобы можно было дать ей другое, более широкое и вместе с тем более вещественное определение, — мы должны признать, что коммунизм действительно может уменьшить и даже убить личную свободу. Таким его и проповедовали под предлогом, что это принесет счастье человечеству, и во многих коммунистических общинах это пробовали на деле. Но коммунизм, также может расширить эту свободу до ее последних пределов, которых невозможно достигнуть при индивидуалистском труде и еще менее при том строе, когда людей эксплуатируют и рассматривают как низшие существа.

Все будет зависеть от того, с какими основными воззрениями мы приступим к коммунизму. Сама коммунистическая форма общезжития отнюдь не обуславливает подчинения

личности. Большой же или меньший простор, предоставленный личности в данной форме общежития — если только жизнь не устроена заранее в подначальной, пирамидальной форме, — определяется теми воззрениями на необходимость личной свободы, которые вносятся людьми в то или другое общественное учреждение.

Сказанное справедливо по отношению ко всякой форме общественной или совместной жизни. Когда два человека селятся вместе в одной квартире, их совместная жизнь может привести одинаково — либо к подчинению одного из них другому, либо к установлению между ними отношений равенства и свободы для обоих. То же самое происходит в семье. То же самое будет, если мы возьмемся вдвоем копать огород или издавать газету; и то же самое относится ко всякому другому союзу, большому или маленькому, к артели и ко всякой форме общественной жизни.

Таким образом в X, XI и XII веке в городах того времени создавались общины вольных и равных и равно свободных людей, причем эти общины ревностно охраняли свою свобо-

ду и равенство; но в тех же самых общинах четыреста лет спустя народ, под влиянием учений церкви и римского права, требовал диктатуры какого-нибудь монаха или короля. Учреждения городского суда, цеховое устройство и прочее остались те же; но тем временем в городах развились понятия римского права, верховной церкви и государственного права, тогда как первоначальные понятия о равенстве, третейском суде, о свободном договоре и о личном почине притупились, исчезли; и из этого родилась рабская приниженность XVII и начала XVIII в. во всей средней Европе.

В современном обществе, где никому не позволяется обрабатывать поле, работать на фабрике или пользоваться орудием труда, без того чтобы не признать себя существом, подчиненным какому-нибудь господину, рабство, подчинение и привычка к кнуту навязываются самой формой общества. Наоборот, в коммунистическом обществе, которое признает право каждого на равных условиях на все орудия труда и на все средства существования, которые имеет общество, уже нет лю-

дей на коленях перед другими, кроме разве тех, кто по своему характеру являются добровольными рабами. Каждый считается равным другому в том, что касается его права на благополучное существование, лишь бы он не преклонялся перед волей и высокомерием других и поддерживал равенство во всех своих личных сношениях с товарищами по коммуне.

В самом деле, если присмотреться внимательнее, то нет никакого сомнения, что из всех учреждений, из всех испробованных до сих пор форм общественной организации коммунизм еще больше всех других может обеспечить свободу личности, если только основною идеею общины будет полная свобода, отсутствие власти — анархия.

Коммунизм, как учреждение экономическое, может принять все формы, начиная с полной свободы личности и кончая полным порабощением всех, — между тем как другие формы общественной жизни не могут проявляться безразлично в том или другом виде: те из них, например, которые не признают гражданского и имущественного равенства,

неизбежно влекут за собою порабощение одних людей другими. Коммунизм же может проявиться, например, в форме монастыря, в котором все монахи, безусловно, подчиняются воле настоятеля; но он может также выразиться и в форме вполне свободного товарищества, в котором каждый член сохраняет полнейшую независимость; причем само товарищество существует только до тех пор, куда его члены желают оставаться вместе и, нисколько не стремясь накладывать принуждение, стараются, наоборот, защищать свободу каждого и увеличивать и расширять ее во всех направлениях.

Коммунизм, конечно, может быть начальническим, принудительным — и в этом случае, как показывает опыт, община скоро гибнет, — или же он может быть анархическим. Тогда как государство, будь оно основано на крепостном праве или же на коллективизме и коммунизме, роковым образом должно быть принудительным. Иначе оно перестает быть государством!

Оно не может присвоить себе по желанию ту или иную форму. Те, кто думает, что это

возможно, придают слову «государство» произвольный смысл, противоречащий происхождению и многовековой истории этого учреждения. Государство есть ярко выраженный тип иерархического учреждения, выработанного веками для того, чтобы подчинять всех людей и все их возможные группировки централизованной воле.

Государство по необходимости основано на принципе иерархии, начальства, иначе оно перестает быть государством [31].

Есть еще один весьма важный пункт, который должен обратить на себя внимание каждого, кто дорожит свободой. Теперь уже начинают понимать, что без коммунизма человек никогда не достигнет полного развития личности, которое составляет, может быть, самое пламенное желание каждого мыслящего существа. Очень вероятно, что этот существенный пункт был бы давно признан, если бы люди не смешивали индивидуализации, то есть полного развития личности, с индивидуализмом. А последний — это давно пора признать — есть не что иное, как буржуазный лозунг «каждый для себя и Бог для всех», при-

чем буржуазия думала найти в этом средство освободиться от общества, налагая на рабочих экономическое рабство под покровительством государства. Впрочем, теперь она уже замечает, что сама также стала рабом государства.

Что коммунизм лучше всякой другой формы общежития может обеспечить экономическую свободу — ясно из того, что он лучше, чем всякая другая форма производства, может обеспечить каждому члену общества благосостояние и даже удовлетворение потребностей роскоши, требуя взамен не более четырех или пяти часов работы в день, вместо того чтобы требовать от него десять или девять или хотя бы даже восемь часов в день. Дать каждому досуг в течение десяти или одиннадцати часов из тех шестнадцати часов в сутки, которые представляют нашу сознательную жизнь (около восьми часов надо положить на сон), — уже значит расширить свободу личности настолько, что такого расширения человечество добивается как идеала, вот уже сколько тысяч лет. Раньше это было невозможно, так что всякое стремление к

комфорту, богатству и прогрессу должно было быть исключено из коммунистического общества. Но в настоящее время, при наших могучих способах машинного производства, это вполне возможно. В коммунистическом обществе человек легко сможет иметь каждый день полных десять часов досуга и вместе с тем пользоваться благосостоянием. А такой досуг уже представляет освобождение от одной из самых тяжелых форм рабства, существующих теперь в буржуазном строе. Досуг сам по себе составляет громадное расширение личной свободы.

Затем, признать всех людей равными и отречься от управления человека человеком опять-таки представляет расширение свободы личности; причем мы не знаем никакой другой формы общежития, при которой это увеличение личной свободы могло бы быть достигнуто в той же мере даже в мечтах. Но достичь этого возможно будет лишь тогда, когда первый шаг будет сделан: когда каждому члену общества будет обеспечено существование и когда никто не будет вынужден продавать свою силу и свой ум тому, кто соблаго-

волит воспользоваться этой силой ради собственной наживы.

Наконец, признать, как это делают коммунисты, что первое основание всякого дальнейшего развития и прогресса общества есть разнообразие занятий, опять-таки представляет расширение свободы личности. Если мы так организуем общество, что каждый его член будет совершенно свободен и сможет отдаваться в часы досуга всему, чему ему вздумается в области науки, искусства, творчества, общественной деятельности и изобретения; если в самые часы работы будет возможно работать в разнообразных отраслях производства, воспитание будет вестись сообразно этой цели — в коммунистическом обществе это вполне возможно, — то этим достигнется еще большее увеличение свободы, так как перед каждым из нас широко раскроется возможность расширить свои личные способности во всех направлениях. Области, прежде недоступные, как наука, художество, творчество, изобретения и так далее, откроются для каждого.

В какой мере личная свобода осуществится

в каждой общине или в каждом союзе общин, будет зависеть исключительно от основных воззрений, которые возьмут верх при основании общин. Так, например, мы знаем одну религиозную общину, в которой человеку возбранялось даже выражать свое внутреннее состояние. Если он чувствовал себя несчастным и горе выражалось на его лице, к нему немедленно подходил один из «братьев» и говорил: «Тебе грустно, брат? А ты все-таки сострой веселое лицо: иначе огорчительно подействуешь на других братьев и сестер». И мы знаем также одну английскую общину, состоявшую из семи человек, в которой один из членов — Кочкаревы водятся между социалистами — требовал назначения председателя («с правом бранить») и четырех комитетов: садоводства, продовольствия, домашнего хозяйства и вывоза, с абсолютными правами для председателя каждого из комитетов.

Есть, конечно, общины, которые были основаны или были переполнены впоследствии такими «преступными фанатиками власти» (особый тип, рекомендуемый ученикам доктора Ломброзо); и немало общин было основа-

но фанатиками «поглощения личности обществом». Но такие коммуны произвел не коммунизм. Их породило церковное христианство (глубоко начальническое в своих основных началах) и римское право, то есть государство и его учения. Таково государственное воспитание людей, привыкших думать, что никакое общество не может существовать без судьи и ликторов, вооруженных розгами и секирою, и эта идея останется постоянной угрозой и помехою коммунизму, пока люди не отделаются от нее. Но основное начало коммунизма — вовсе не начальство, а то простое утверждение, что для общества выгоднее и лучше овладеть всем, что нужно для производства и жизни сообща, не высчитывая, что каждый из нас произвел и потребил. Это основное понятие ведет к освобождению, к свободе, а не к порабощению.

Мы можем, таким образом, высказать следующие заключения: до сих пор попытки коммунизма кончались неудачею, потому что

они имели исходною точкою религиозный восторг, тогда как в общине следовало просто

видеть способ экономического производства и потребления;

они отчуждались от общества, его жизни и его борьбы;

они были пропитаны духом начальствования;

они оставались одиночными, вместо того чтобы соединиться в союзы: общины были слишком малы;

они требовали от своих членов такого количества труда, которое не оставляло им никакого досуга, и стремились всецело поглотить их;

они были основаны как сколки с патриархальной и подчиненной семьи, тогда как им следовало, наоборот, поставить себе целью наивозможно полное освобождение личности.

Коммунизм — учреждение хозяйственное; и, как таковое, он отнюдь не предрешает, какая доля свободы будет предоставлена в общине личности, почину личности и отпору, который встретит в отдельных личностях стремление к утверждению навеки однажды установленных обычаев. Коммунизм может

стать подначальным, и в таком случае община неизбежно гибнет; и он может быть вольным и привести в таком случае, как это случилось даже при неполном коммунизме в городах XII в., к зарождению новой цивилизации, полной сил и обновившей тогда Европу.

Из этих двух форм коммунизма — вольного и подначального — только тот и будет устойчивым и будет иметь задатки прогресса в жизни, который, принимая во внимание стесненность теперешней жизни, сделает все что возможно, чтобы расширить свободу личности во всех возможных направлениях.

В этом последнем случае свобода личности, увеличенная приобретенным ею досугом, а также возможностью обеспечить себе благосостояние и вольным трудом при меньшем числе рабочих часов, так же мало пострадает от коммунизма, как и от проводимого теперь в городах газа и воды, от продуктов, посылаемых на дом большими магазинами, от современной гостиницы или от того, что мы теперь в часы работы вынуждены вести ее сообщая с тысячами других людей.

Имея анархию как цель и как средство,

коммунизм станет возможен, тогда как без этой цели и средства он должен обратиться в закрепощение личности и, следовательно, привести к неудаче.

3. ГОСУДАРСТВО, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ

Исбирая предметом этого очерка государство и ту роль, которую сыграло в истории, я имел в виду живо ощущаемую теперь потребность в серьезном исследовании самой идеи государства, его сущности, его роли в прошлом и того значения, которое оно может иметь в будущем.

Социалисты разных оттенков расходятся, главным образом, по вопросу о государстве. Среди многочисленных фракций, существующих между нами и отвечающих разнице в темпераментах, в привычках мышления и, особенно, в степени доверия к надвигающейся революции, можно проследить два главных направления.

На одной стороне стоят все те, кто надеется осуществить социальную революцию посредством государства, сохраняя большую часть

его отправлений и даже расширяя их и пользуясь ими для революции. А на другой стоят те, кто, подобно нам, видит в государстве — и не только в современной или какой-нибудь другой его форме, которую оно может принять, но в самой сущности его — препятствие для социальной революции, самое серьезное препятствие для развития общества на началах равенства и свободы, так как государство представляет историческую форму, выработавшуюся и сложившуюся с целью помешать этому развитию. Люди, стоящие на такой точке зрения, стремятся поэтому не преобразовать, а совершенно уничтожить государство.

Различие, очевидно, очень глубокое. Ему соответствуют два течения, которые борются теперь повсюду и сталкиваются как в философии, так и в литературе и в общественной деятельности нашего времени. И если ходячие понятия о государстве останутся такими же сбивчивыми, каковы они теперь, то именно вокруг них и произойдет, без всякого сомнения, самая ожесточенная борьба, едва только настанет то, надеюсь, близкое время, когда коммунистические идеи попытаются осуще-

ствить на практике, в жизни общества.

Поэтому мне кажется, что для нас, так часто нападавших на современное государство, особенно важно выяснить теперь причину его зарождения, исследовать, какую роль оно играло в прошлом, и сравнить его с предшествовавшими ему учреждениями.

Условимся, прежде всего, в том, что мы разумеем под словом «государство».

Известно, что в Германии существует целая школа писателей, которые постоянно смешивают государство с обществом. Такое смешение встречается даже у серьезных немецких мыслителей, а также и у многих французских писателей, которые не могут представить себе общества без государственного подавления личной и местной свободы. Отсюда и возникает обычно обвинение анархистов в том, что они хотят «разрушить общество» и проповедуют «возвращение к вечной войне каждого со всеми».

А между тем такое смешение двух совершенно разных понятий, «государство» и «общество», идет вразрез со всеми приобретениями, сделанными в области истории в тече-

ние последних пятидесяти лет; это значит забывать, что люди жили обществами многие тысячи лет, прежде чем создались государства, и что среди современных европейских народностей государство есть явление недавнего происхождения, развившееся лишь с XVI столетия, причем самыми блестящими эпохами в жизни человечества были именно те, когда местные вольности и местная жизнь еще не были задавлены государством и когда массы людей жили в общинах и вольных городах.

Государство есть лишь одна из тех форм, которые общество принимало в течение своей истории. Каким же образом можно смешивать постоянное с случайным — понятие об обществе с понятием о государстве?

С другой стороны, государство нередко смешивают с правительством, и так как государство немислимо без правительства, то иногда говорят, что следует стремиться к уничтожению правительства, а не к уничтожению государства.

Мне кажется, однако, что в государстве и правительстве мы имеем понятия совершен-

но различного характера. Понятие о государстве подразумевает нечто совершенно другое, чем понятие о правительстве, — оно обнимает собою не только существование власти над обществом, но и сосредоточение управления местною жизнью в одном центре, т.е. территориальную концентрацию, а также сосредоточение многих отправлений общественной жизни в руках немногих. Оно предполагает возникновение совершенно новых отношений между различными членами общества. Весь механизм законодательства и полиции выработан для того, чтобы подчинить одни классы общества господству других классов.

Это характерное различие, ускользающее, может быть, на первый взгляд, ясно выступает при изучении происхождения государства.

Из чего следует, что для того, чтобы понять государство, есть один только способ: это определить его историческое развитие; и это именно я попробую сделать теперь.

Древняя Римская империя была государством в точном смысле слова. До сих пор она остается идеалом всех законников.

Ее органы как сеть покрывали ее обшир-

ные владения. Все сосредоточивалось в Риме: экономическая жизнь, военное управление, юридические отношения, богатства, образованность и даже религия. Из Рима шли законы, судьи, легионы для защиты территории, губернаторы для управления провинциями, боги. Вся жизнь империи восходила к Сенату, а позднее — к кесарю, всемогущему, все-ведущему богу империи. В каждой провинции, в каждом округе был свой Капитолий в миниатюре, своя частица римского самодержавия, от которой вся местная жизнь получала свое направление. Единый закон, закон, установленный Римом, управлял империей, и эта империя была не союзом граждан, а сборищем подданных.

Юристы и государственники даже и в наше время восхищаются единством этой империи, единым духом ее законов, красотой — говорят они — и гармонией ее организации.

И несмотря на это, внутреннее разложение, с одной стороны, и вторжение варваров извне — с другой, смерть местной жизни, потерявшей способность противостоять нападению извне, а также испорченность в самом

народе, распространявшаяся от центра, господство богатых, завладевших землями, и бедность тех, кто обрабатывал землю своими руками, привели к распадению империи, на развалинах которой зародилась и развилась новая цивилизация наша цивилизация.

И если, оставляя в стороне древнюю историю Востока, мы обратимся к изучению происхождения и роста этой молодой, «варварской» цивилизации, вплоть до периода, когда она породила в свою очередь наши современные государства, то сущность государства станет нам совершенно ясной. Мы не смогли бы яснее понять ее, даже если бы мы погрузились в изучение Римской империи, Македонского царства или деспотических монархий Востока.

Беря за отправной пункт этих могучих варваров, уничтоживших Римскую империю, мы сможем проследить развитие всей нашей цивилизации, начиная с самого ее зарождения вплоть до той ступени, когда началось государство.

II

Большинство философов прошлого столе-

тия объясняло происхождение человеческих обществ очень просто.

Вначале — говорили они — люди жили маленькими отдельными семьями, и постоянная вражда между этими семьями была обычным, нормальным состоянием. Но в один прекрасный день люди, убедившись в неудобствах этой бесконечной борьбы, решили образовать между собою общество. Разъединенные семьи согласились между собою, заключили общественный договор и добровольно подчинились власти, которая — со школьной скамьи нас так учили — сделалась отныне источником и началом всяческого прогресса в человечестве. Нужно ли прибавлять, что наши теперешние правительства и до сего дня олицетворяют эту благороднейшую роль соли земли, роль умиротворителей и цивилизаторов рода человеческого? Так значит, по крайней мере, во всех учебниках и даже во многих философских трактатах.

Возникнувши в эпоху, когда о происхождении человека было известно еще очень мало, эта теория господствовала в продолжение всего XVIII в. И мы должны признать, что в

руках энциклопедистов и Руссо идея «общественного договора» была могучим орудием в борьбе с божественным правом королей. Но тем не менее какие бы услуги эта теория ни оказала в прошедшем, в настоящее время она должна быть признана ошибочной и отвергнута.

На самом деле все животные, за исключением лишь некоторых хищников, хищных птиц и некоторых вымирающих видов, живут обществами. В борьбе за существование именно виды животных, живущих обществами, имеют всегда преимущество перед необщественными видами. В каждом классе животных они занимают вершину лестницы, и теперь не может быть никакого сомнения в том, что первые человекоподобные существа уже жили обществами.

Общество не было выдуманно человеком, оно существовало раньше появления человекоподобных существ [32].

Мы также знаем теперь — антропология вполне доказала это, — что исходным пунктом для человечества послужила не обособленная семья, а род или племя. Патриархаль-

ная семья в том виде, как она существует у нас или как мы находим ее в древнееврейских преданиях, явилась уже гораздо позднее. Раньше этого десятки тысяч лет люди жили родами или племенами, и в течение этого первоначального периода — будем, если угодно, называть его периодом диких или первобытных племен — в человечестве выработался уже целый ряд учреждений, обычаев или общественных привычек, задолго предшествовавших учреждениям патриархальной семьи.

В таком первобытном племени обособленной семьи не существовало, точно так же как ее не существует среди многих других млекопитающих, живущих обществами. Деление внутри племени производилось, скорее, по поколениям и с самых дальних времен, теряющихся в темной глубине до-истории человеческого рода, возникали ограничения, не допускавшие брачных союзов между мужчинами и женщинами разных поколений и позволявшие их внутри одного и того же поколения. Следы этого периода можно еще и теперь встретить среди некоторых современ-

ных племен, а также их находят в языках, правах и суевериях народов, стоящих даже на гораздо более высоком уровне развития.

Племя сообща охотилось и собирало служившие в пищу растения, а затем, утолив свой голод, дикари со страстью предавались своим драматическим танцам. До сих пор мы находим на окраинах наших материков и в наименее доступных на земном шаре горных областях племена, недалеко ушедшие от этой первобытной ступени.

Накопление частной собственности в этот период было невозможно, потому что все, принадлежавшее лично отдельному члену племени, после его смерти сжигалось или уничтожалось там, где хоронили его труп. Это до сих пор практикуется, даже в Англии, среди цыган; следы же этого обычая мы находим в похоронных церемониях у всех так называемых цивилизованных народов: китайцы сжигают сделанные из бумаги изображения тех вещей, которыми владел умерший, а у нас за умершим военным ведут его коня и несут его шпагу и ордена. Смысл этих обычаев утрачен; сохранилась одна форма.

Первобытные люди не только не проповедали презрения к человеческой жизни, а, напротив того, испытывали отвращение к убийству и кровопролитию. Пролить кровь — и не только кровь человека, но даже некоторых животных, например медведя, — считалось таким большим преступлением, что за каждую каплю пролитой крови виновный в этом должен был поплатиться соответственным количеством своей крови.

Убийство члена своего племени было, таким образом, делом совершенно неизвестным; так, мы знаем, наверное, что, например, у инуитов или эскимосов, которые представляют собою остатки людей каменного века, еще до сих пор уцелевшие в полярных областях, также у алеутов и т.д. не было ни одного убийства внутри племени в течение 50-ти, 60-ти и более лет.

Но когда племенам, различным по происхождению, по цвету и по языку, случалось во время своих переселений сталкиваться между собою, то между ними действительно нередко происходили войны. Правда, что уже в те времена люди старались по возможности

смягчить эти столкновения, как показали исследования Мэна, Поста, Э. Ниса и др.; уже и тогда обычай начинал вырабатывать зародыши того, из чего впоследствии должно было возникнуть международное право. Так, например, нельзя было нападать на деревню, не предупредивши об этом ее жителей; также никто никогда не смел убивать на тропинках, по которым женщины ходили за водой. А при заключении мира у некоторых племен излишек убитых на одной из сторон вознаграждался соответственной платой с другой.

Однако все эти предосторожности и многие другие были недостаточны. Солидарность не распространялась далее одного рода или племени. В результате происходили ссоры, и эти ссоры доходили до ранений и убийств между членами различных родов и племен.

С тех пор одно общее правило начало распространяться между родами и племенами: «Ваши убили или ранили одного из наших, поэтому мы вправе убить одного из ваших или нанести ему совершенно такую же рану» — все равно кому, потому что за всякий поступок каждого из своих членов отвечало

все племя. Известное библейское изречение — «кровь за кровь, око за око, зуб за зуб, рану за рану и жизнь за жизнь» («но отнюдь не более», как совершенно верно заметил Кеннигсвартер), произошло от этого же обычая. Таково было понятие этих людей о справедливости, и нам нечего особенно гордиться перед ними, потому что принцип «жизнь за жизнь», до сих пор еще царящий в наших уголовных законах, есть не что иное, как одно из многочисленных переживаний.

Таким образом, уже в этот первобытный период выработался целый ряд общественных учреждений (многие из них я оставляю в стороне) и сложилось целое уложение (конечно, устное) племенной нравственности. И для поддержания этого ядра общественных привычек в силе достаточно было влияния обычая, привычки и предания. Никакой другой власти не существовало.

У первобытных людей были, конечно, свои временные вожди. Колдуны и призыватели дождя — иначе, ученые того времени — старались воспользоваться своим действительным или кажущимся знанием природы для

того, чтобы управлять своими соплеменниками. Точно так же приобретали влияние и силу те, кто лучше других умел запоминать поговорки, притчи и песни, в которых воплощалось предание. Они рассказывали на народных праздниках эти притчи и песни, в которых передавались решения, принятые когда-либо народным собранием в том или ином споре. У многих племен так делается еще и теперь. Уже тогда «знающие» старались удержать за собой право на управление людьми, не передавая своих знаний никому, кроме избранных, посвященных. Все религии и даже все искусства и все ремесла были, как мы знаем, вначале окружены различными «тайнствами»; и современные исследования показывают нам, какую важную роль играют секретные общества посвященных в первобытных племенах, чтобы поддержать в них известные предписанные преданием обычаи. В этом уже заключаются зародыши власти.

Таким же образом во время столкновений между племенами и во время переселений наиболее храбрый, смелый, а в особенности наиболее хитрый, естественно, становился

временным вождем. Но союза между хранителем «закона» (т.е. тем, кто умел хранить предания и древние решения), военным вождем и колдуном тогда еще не было, а потому о существовании среди этих первобытных племен государства так же не может быть речи, как о существовании его в обществах пчел и муравьев или у современных нам па-тагонцев и эскимосов.

А между тем в этом состоянии люди жили многие тысячи лет, его пережили и варвары, разорившие Римскую империю; в то время они только что выходили из этого быта.

В первые века нашего летоисчисления среди племен и союзов племен, населявших среднюю и северную Азию, произошло громадное передвижение. Целые потоки народов, теснимые более или менее образованными соседями, шли с азиатских плоскогорий — откуда их гнало, вероятно, быстрое высыхание рек и озер, — устремляясь в равнины, на запад, на Европу, тесня друг друга, смешиваясь и переплетаясь друг с другом в их распространении к западу.

Во время этих передвижений, когда столь-

ко племен, различных по происхождению и по языку, смешивались между собою, то первобытный племенной быт, который существовал тогда у большинства диких туземцев Европы, неизбежно должен был распасться. Первобытный племенной союз был основан на общности происхождения, на поклонении общим предкам. Но какая же могла быть общность происхождения между группами, образовавшимися в хаосе переселений, в войнах между различными племенами, причем среди некоторых племен кое-где зарождалась уже патриархальная семья, образовавшаяся благодаря захвату несколькими лицами женщин, отнятых или похищенных у соседних племен?

Старые связи были порваны, и, чтобы избежать совершенной гибели (участь, которая в действительности и постигла многие племена, с того времени совершенно исчезнувшие для истории), приходилось создавать новые связи. И они возникли. Их нашли в общинном владении землей, т.е. тою областью, на которой каждое племя наконец осело.

Владение сообща известной областью, той

или другой долиной, теми или другими холмами сделалось основанием нового соглашения. Боги-предки потеряли всякое значение; их место заняли новые, местные боги долин, рек и лесов, которые и дали религиозное освящение новым союзам, заменив собой богов первобытного родового быта. Позднее христианство, всегда готовое приноравливаться к остаткам язычества, создало из них местных святых.

С этих пор сельская община, состоящая вполне или отчасти из обособленных семей, соединенных однако же общим владением земель, сделалась на все последующие века необходимым связующим основанием народного союза.

На громадных пространствах Восточной Европы, Азии и Африки сельская община существует и до сих пор. Под таким же строем жили и варвары, разрушившие Римскую империю, — германцы, скандинавы, славяне и т.д. И благодаря изучению варварских законов [33], а также обычаев и законов, господствующих среди современных нам союзов сельских общин у кабиллов, монголов, инду-

сов, африканцев и других народов, стало возможным восстановить во всей ее полноте ту форму общества, которая послужила исходной точкой нашей современной цивилизации. Всмотримся же поближе в эти учреждения.

III

Сельская община состояла в прежние времена — как состоит и теперь — из отдельных семей, которые однако же в каждой деревне владели землею сообща. Они смотрели на нее как на общее наследие и распределяли ее между собою, смотря по величине семей, по их нуждам и силам. Сотни миллионов людей и до сих пор еще живут при таком порядке в Восточной Европе, в Индии, на Яве и в других местах. Таким же образом устроились и в наше время добровольно русские крестьяне в Сибири, когда государство предоставило им свободу населять, как они хотели, огромные сибирские пространства.

Теперь обработка земли в сельской общине производится в каждом хозяйстве отдельно. Вся пахотная земля делится между семьями (и переделяется, когда нужно), и каждая

обрабатывает новое поле как может. Но вначале обработка земли также происходила сообща — и во многих местах этот обычай сохранился еще до сих пор — по крайней мере при обработке некоторых участков общинной земли. Точно так же свозка леса и расчистка чащоб, постройка мостов, возведение укреплений или «городков», или башен, которые служили убежищем в случае нашествия, — все это делалось сообща, как и до сих пор еще делается сотнями миллионов крестьян там, где сельской общине удалось устоять против вторжения государства. Но, выражаясь современным языком, «потребление» происходило посемейно, каждая семья имела свой скот, свой огород и свои запасы, так что могла уже накапливать и передавать накопленное по наследству.

Во всех делах мир имел верховную власть. Местный обычай был законом; а общее собрание всех глав семейств — мужчин и женщин — было судьей, и притом единственным судьей и по гражданским и по уголовным делам. Когда один из жителей, принося жалобу против другого, втыкал свой нож в землю на

том месте, где мир по обыкновению собирался, то мир был обязан «постановить приговор» на основании местного обычая, после того как свидетели обеих сторон установят под присягой факт и обстоятельства обиды.

Мне не хватило бы времени изложить вам все то, что представляет интересного эта ступень развития общественности, так что я должен отослать желающих к моей книге «Взаимная помощь». Здесь же мне достаточно сказать, что все учреждения, которыми различные государства впоследствии завладели в интересах меньшинства, все понятия о праве, которые мы находим в наших законах (искаженные к выгоде опять-таки меньшинства), и все формы судебной процедуры, насколько они охраняют личность, получили свое начало в общинном быте. Так что, когда мы воображаем, что сделали большой шаг вперед, вводя у себя, например, суд присяжных, — мы в действительности только возвращаемся к учреждению так называемых «варваров», претерпевшему ряд изменений в пользу правящих классов. Римское право было не чем иным, как надстройкою над правом

обычным.

Одновременно с этим, благодаря обширным добровольным союзам сельских общин, развивалось и сознание их национального единства.

Основанная на общем владении землею, а нередко и на общей ее обработке, обладающая верховной властью, и судебною, и законодательною — на основании обычного права, — сельская община удовлетворяла большей части общественных потребностей своих членов.

Однако не все нужды были удовлетворены; оставались такие, которым нужно было искать удовлетворения. Но дух того времени был таков, что человек не обращался к правительству, как только возникала какая-нибудь новая потребность, а наоборот, сам брал пощину и создавал, по соглашению с другими, союз, лигу, федерацию, общество, больших или малых размеров, многочисленное или малочисленное, чтобы удовлетворить эту вновь народившуюся потребность. И действительно, общество того времени было буквально покрыто сетью клятвенных братств, союзов

для взаимопомощи, задруг как внутри сельской общины, так и вне ее, в союзе общин.

Мы можем наблюдать эту ступень развития и проявление этого духа даже теперь, среди тех варваров, союзы которых не были поглощены государствами, сложившимися по римскому или, вернее, по византийскому типу.

Так, у кабиллов, например, довольно хорошо сохранилась сельская община со всеми только что упомянутыми ее отправлениями: общинная земля, общинный суд и т.д. Но у человека существует потребность действия, потребность распространить свою деятельность и за тесные пределы своей деревни. Одни отправляются странствовать по свету, в поисках за приключениями в качестве купцов; другие берутся за то или другое ремесло, за то или другое искусство. Так вот, те и другие, купцы и ремесленники соединяются между собою в «братства», даже если они принадлежат к различным деревням, племенам или союзам общин. Союз необходим им для взаимной защиты в далеких странствованиях, для передачи друг другу секретов ремесла —

и они соединяются. Они приносят клятву в братстве и действительно практикуют его на удивление европейцам — на деле, а не только на словах.

Помимо этого, с каждым может случиться несчастье. Обыкновенно тихий и спокойный человек, быть может, завтра в какой-нибудь ссоре переступит границы, положенные правилами приличия и общежития, нанесет кому-нибудь оскорбление действием, раны или увечье. А в таком случае придется уплатить раненому или обиженному очень тяжелое вознаграждение: обидчик должен будет защищаться перед деревенским судом и восстановить истину при помощи свидетельствующих под присягой шести, десяти или двенадцати «соприсягателей». Это — еще одна причина, почему ему важно вступить в какое-нибудь братство.

Мало того, у людей является потребность потолковать о политике, может быть, даже поинтриговать, потребность распространять то или иное нравственное убеждение, тот или другой обычай. Наконец, внешний мир также требует охраны, приходится заключать

союзы с соседними племенами, устраивать обширные федерации, распространять понятия междуплеменного права. И вот, для удовлетворения всех этих эмоциональных и умственных потребностей кабилы, монголы, малайцы и проч(ие) не обращаются ни к какому правительству, да у них его и нет; они — люди обычного права и личного почина, не испорченные на все готовыми правительством и церковью. Они поэтому соединяются прямо; они образуют братства, политические и религиозные общества, союзы ремесел гильдии, как их называли в средние века в Европе, или софы, как их называют теперь кабилы. И эти софы выходят далеко за пределы своей деревни; они распространяются в далеких пустынях и чужеземных городах; и в этих союзах действительно практикуется братство. Отказаться в помощи члену своего софа, даже если бы для этого пришлось рискнуть всем своим имуществом и самую жизнью, — значит стать изменником «братству», с таким человеком обращаются как с убийцей «брата».

То, что мы находим теперь среди кабилов, монголов, малайцев и т.д., было существен-

ной чертой общественной жизни так называемых варваров в Европе, от V до XII и даже до XV века. Под именем гильдий, задруг, братств, университетов (universitas) и т. п. повсюду существовало великое множество союзов для самых разнообразных целей: для взаимной защиты; для отмщения оскорблений, нанесенных какому-нибудь члену союза, и для совместного наказания обидчика; для замены мести «око за око» вознаграждением за обиду, после чего обидчик обыкновенно принимался в братство; для совместной работы в своем ремесле; для взаимной помощи во время болезни; для защиты территории; для сопротивления нарождавшейся внешней власти; для торговли; для поддержания «доброго соседства» и для распространения тех или других идей — одним словом, для всего того, за чем современный европеец, воспитавшийся на заветах кесарского и папского Рима, обыкновенно обращается к государству. Очень сомнительно даже, можно ли было в те времена найти хоть одного человека — свободного или крепостного, — за исключением, конечно, поставленных самими братствами

вне закона, изгнанных из братств — изгоев, который не принадлежал бы к каким-нибудь союзам или гильдиям помимо своей общины.

В скандинавских сагах воспеваются дела этих братств: «беспредельная верность “побратимов”», поклявшихся друг другу в дружбе, составляет предмет лучших из этих эпических песен; между тем как церковь и нарождающаяся королевская власть, представительницы вновь всплывшего византийского или римского закона, обрушиваются на них своими проклятиями, анафемой и указами, которые, к счастью, остаются мертвой буквой.

Вся история того времени теряет свой смысл и делается совершенно непонятной, если не принимать в расчет этих братств, этих союзов братьев и сестер, которые возникали повсюду для удовлетворения самых разнообразных нужд как экономической, так и духовной жизни человека.

Чтобы понять громадный шаг вперед, сделанный во время существования этих двух учреждений — сельской общины и свободных клятвенных братств — вне всякого влияния со стороны Рима, христианства или госу-

дарства, достаточно сравнить Европу, какою она была во время нашествия варваров, с тем, чем она стала в X или XI веке. За эти пятьсот или шестьсот лет человек успел покорить девственные леса и заселить их: страна покрылась деревнями, окруженными полями и изгородями и находящимися под защитой укрепленных городков; между ними, через леса и болота, были проложены тропы.

В этих деревнях мы находим уже зачатки различных ремесел и целую сеть учреждений для поддержания внутреннего и внешнего мира. За убийство или нанесение ран сельчане уже не стремятся мстить убийством обидчика или кого-нибудь из его родных и земляков или нанести им соответственные раны, как это делалось в былые времена в родовом быте. Бывшие дружинники — бояре и дворяне — еще держатся этого устарелого правила (и в этом причина их бесконечных войн), но у крестьян уже вошло в обычай платить установленное судьями вознаграждение за обиду, после чего мир восстанавливается; и обидчик, если не всегда, то в большинстве случаев, принимается в семью, которую он обидел

своим нападением.

Во всех спорах и тяжбах мы находим здесь третейский суд, как глубоко укоренившееся учреждение, вполне вошедшее в ежедневный обиход наперекор епископам и нарождающимся князьям, которые требуют, чтобы каждая тяжба разбиралась ими или их ставленниками, чтобы иметь, таким образом, возможность взимать в свою пользу пеню, которую раньше мир налагал на нарушителей общественного спокойствия и которой теперь завладевают князья и епископы.

Наконец, сотни сел объединяются уже в могучие союзы — зачатки будущих европейских наций, — которые клятвою обязуются поддерживать внутренний мир, считают занимаемую ими землю общим наследием и заключают между собою договоры для взаимной защиты. Такие союзы мы встречаем еще и до сих пор у монгольских, тюрко-финских и малайских племен.

Тем не менее черные тучи мало-помалу начинают собираться на горизонте. Рядом с этими союзами возникают другие союзы — союзы правящего меньшинства, которые пы-

таются превратить свободных людей в крепостных или подданных. Рим погиб, но его предания оживают. С другой стороны, и христианская «церковь», мечтающая о восточных всемогущих церковных государствах, охотно оказывает свою могучую поддержку нарождающейся гражданской и военной власти.

Человек далеко не такой кровожадный зверь, каким его обыкновенно представляют, чтобы доказать необходимость господства над ним; он, наоборот, всегда любил спокойствие и мир. Иногда он, может быть, и не прочь подраться, но он не кровожаден по природе и во все времена предпочитал скотоводство и обработку земли военным похождениям. Вот почему, как только крупные передвижения варваров начали ослабевать, как только толпы пришельцев осели более или менее на занятых ими землях, мы видим, что забота о защите страны от новых пришельцев и воителей поручается одному человеку, который набирает себе небольшую дружину из искателей приключений, привыкших к войнам, или прямо разбойников, тогда как

остальная масса народа занимается разведением скота или обработкой земли. Затем мало-помалу «защитник» начинает уже накапливать богатства: бедному дружиннику он дает лошадь и оружие (стоившее тогда очень дорого) и таким образом порабощает его; он начинает приобретать первые зачатки военной власти.

С другой стороны, большинство начинает мало-помалу забывать предания, служившие ему законом; изредка лишь найдется в каждом селе какой-нибудь старик, удержавший в памяти рассказы о прежних случаях решения, из которых складывается обычное право, он поет о них песни или рассказывает былины народу во время больших общинных праздников. Тогда мало-помалу обособляются семьи, которые делают как бы своим ремеслом, переходящим от отца к сыну, запоминание этих стихов и песен, т.е. сохранение «закона» во всей его чистоте. К ним обращаются сельчане за разрешением запутанных споров и тяжб, особенно когда две деревни или два союза деревень отказываются признать решение третейских судей, выбранных

из их среды.

В этих семьях гнездятся уже зачатки княжеской или королевской власти, и чем больше изучаешь учреждения того времени, тем более убеждаешься в том, что знание обычного права способствовало больше приобретению этой власти, чем сила оружия. Люди дали себя покорить гораздо больше из-за желания «наказать» обидчика «по закону», чем вследствие прямого покорения оружием.

Таким образом создается первое «объединение властей», первое общество для взаимного обеспечения совместного господства, то есть союз между судьей и военачальником как сила, враждебная сельской общине. Обе эти должности соединяются в одном лице, которое окружает себя вооруженными людьми, чтобы приводить в исполнение судебные приговоры; укрепляется в своей крепости; начинает накапливать и сохранять за своей семьей богатства того времени, т.е. хлеб, скот, оружие, и мало-помалу утверждает свое господство над соседними крестьянами.

Ученые люди этого времени, т.е. знахари, волхвы и попы, оказывают ему поддержку и

получают свою долю власти; или же, присоединяя силу меча и значение обычного права к грозному могуществу колдуна, попы завладевают властью в своих интересах. Отсюда вытекает светская власть епископов в IX, X и XI вв.

Не одну главу, а целый ряд книг нужно было бы написать, чтобы изложить подробно этот в высшей степени важный предмет и рассказать обстоятельно, как свободные люди превратились постепенно в крепостных рабов, обязанных работать на своих светских или духовных господ, живших в замках; как понемногу и как бы оцупью создавалась власть над деревнями и городами; как соединялись и восставали крестьяне, пытаясь бороться против этого растущего господства, и как они были побеждаемы в борьбе против крепких стен замков и против охраняющих их с головы до ног вооруженных людей.

Довольно будет сказать, что около X и XI века Европа, видимо, шла полным ходом по пути к образованию варварских монархий, подобных тем, какие мы находим теперь в средней Африке, или к образованию церков-

ных государств (теократии) вроде тех, которые встречаются в истории Востока. Это не могло, конечно, произойти сразу, в один день; но во всяком случае, зачатки таких мелких деспотических королевств и теократии уже были налицо, и им оставалось только развиваться все больше и больше.

К счастью, однако, тот «варварский» дух скандинавов, саксов, кельтов, германцев и славян, который в течение семи или восьми веков заставлял их искать удовлетворения своих нужд в личном почине и путем свободного соглашения братств и гильдий, — этот дух еще жил в деревнях и городах. Варвары, правда, позволили поработить себя и уже работали на господ; но дух свободного почина и свободного соглашения еще не был в них убит окончательно. Их союзы оказались в высшей степени живучими, а крестовые походы только способствовали их пробуждению и развитию в Западной Европе.

И вот, в XI и XII столетиях по всей Европе вспыхивает с замечательным единодушием восстание городских общин, задолго до того подготовленное этим федеративным духом

эпохи и выросшее на почве соединения ремесленных гильдий с сельскими общинами и клятвенных братств ремесленников и купцов. В итальянских общинах восстание началось еще в X в.

Это восстание, которое большая часть официальных историков предпочитают замалчивать или преуменьшать, спасло Европу от грозившей ей опасности. Оно остановило развитие теократических монархий, в которых наша цивилизация, вероятно, погибла бы после нескольких веков пышного показного могущества, как погибли цивилизации Месопотамии, Ассирии и Вавилона. Этой революцией началась новая полоса жизни — полоса свободных городских общин.

IV

Неудивительно, что современные историки, воспитанные в духе римского права и привыкшие смотреть на Рим как на источник всех учреждений, не могут понять духа общинного движения в XI и XII в. Это смелое признание прав личности и образование общества путем свободного соединения людей в деревни, города и союзы — были решитель-

ным отрицанием того духа единства и централизации, которым отличался древний Рим и которым проникнуты все исторические представления современной официальной науки.

Восстания XII столетия нельзя приписать ни какой-нибудь выдающейся личности, ни какому-нибудь центральному учреждению. Они представляют собою естественное явление роста человечества, подобное родовому строю и деревенской общине; они принадлежат не какому-нибудь одному народу или какой-нибудь области, а известной ступени человеческого развития.

Вот почему официальная наука не может понять смысла этого движения и почему историки Огюстен Тьерри и Сисмонди, оба писавшие в начале XIX столетия и действительно понимавшие этот период, до настоящего времени не имели последователей во Франции. Только теперь Люшер попытался — и то очень несмело — следовать по пути, указанному великим историком меровингского и коммуналистического периода (Ог. Тьерри). По той же причине и в Германии исследова-

ния этого периода и смутное понимание его духа только теперь выдвигаются вперед. В Англии верную оценку этих веков можно найти только у поэта Уильяма Морриса, а не у историков, за исключением разве Грина, который, однако, только под конец жизни начал понимать его. В России же, где, как известно, влияние римского права менее глубоко, Беляев, Костомаров, Сергеевич и некоторые другие превосходно поняли дух вечаевого периода.

Средневековые вольные города-общины составились, с одной стороны, из сельских общин, а с другой — из множества союзов и гильдий, существовавших в эту эпоху вне территориальных границ. Они образовались из федераций этих двух родов союзов, под защитой городских стен и башен.

Во многих местах средневековая община явилась как результат мирного, медленного роста. В других же — как во всей Западной Европе — она была результатом революции. Когда жители того или другого местечка чувствовали себя в достаточной безопасности за своими стенами, они составляли «соприсяга-

тельство» (*conjuratin*). Члены его клялись взаимно забыть все прежние дела об обидах, драках или увечиях, а в будущем — не прибегать в случае ссоры ни к какому другому судье, кроме выбранных ими самими гильдейских или городских синдигов. Во всяком ремесленном союзе, во всякой добрососедской гильдии, во всякой задруге этот обычай существовал издавна. То же было и в сельской общине, пока епископу или князю не удалось ввести в нее, а впоследствии навязать силою своих судей.

Теперь все слободы и приходы, вошедшие в состав города, вместе с братствами и гильдиями, создавшимися в нем, составляли *amitas* («дружбу»), выбирали своих судей и клялись быть верными возникшему постоянному союзу между всеми этими группами.

Наскоро составлялась и принималась хартия. Иногда посылали для образца за хартией в какой-нибудь соседний город (мы знаем теперь сотни таких хартий) — и новая община была готова. Епископу или князю, которые до сих пор вершили суд среди общинников и часто делались их господами, теперь оставалось

только признать совершившийся факт или же бороться против молодого союза оружием. Нередко король, т.е. такой князь, который старался добиться главенства над другими князьями и казна которого была всегда пуста, «жаловал» хартию за деньги. Он отказывался этим от назначения общине своего судьи, но вместе с тем возвышался, приобретал больше значения перед другими феодальными баронами, как покровитель таких-то городов. Но это далеко не было общим правилом; сотни вольных городов жили без всякого другого права, кроме собственной воли, под защитой своих стен и копий.

В течение одного столетия это движение распространилось (нужно заметить, путем подражания) с замечательным единодушием по всей Европе. Оно охватило Шотландию, Францию, Нидерланды, Скандинавию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Россию. И когда мы сравниваем теперь хартии и внутреннее устройство вольных городов французских, английских, шотландских, нидерландских, скандинавских, германских, богемских, русских, швейцарских, итальянских или ис-

панских, — нас поражает почти буквальное сходство этих хартий и республик, выросших под сенью такого рода общественных договоров. Какой знаменательный урок всем поклонникам Рима и гегельянцам, которые не могут себе представить другого способа достигнуть однообразия учреждений, кроме рабства перед законом!

От Атлантического океана до среднего течения Волги и от Норвегии до Сицилии вся Европа была покрыта подобными же вольными городами, из которых одни, как Флоренция, Венеция, Нюрнберг или Новгород, сделались многолюдными центрами, другие же оставались небольшими городами, состоявшими всего из сотни, иногда даже двадцати семейств; причем они все-таки считались равными в глазах других, более цветущих городов.

Развитие этих, полных жизни и силы организмов шло, конечно, не везде одним и тем же путем. Географическое положение и характер внешних торговых сношений, препятствия, которые приходилось преодолевать, — все это создавало для каждой из этих общин

свою историю. Но в основе всех их лежало одно и то же начало. Как Псков в России, так и Брюгге в Нидерландах, как какое-нибудь шотландское местечко с тремястами жителей, так и цветущая богатая Венеция со своими людными островами, как любой городок в северной Франции или Польше, так и красавица Флоренция, — все они составляли те же *amitas*, те же союзы сельских общин и соединенных гильдий, защищенных городскими стенами. В общих чертах их внутреннее устройство было везде одно и то же.

По мере роста городского населения стены города раздвигались, становились толще, и к ним прибавлялись новые и все более высокие башни; каждая из этих башен воздвигалась тем или другим кварталом города, той или другой гильдией и носила свой особый характер. Город делился обыкновенно на несколько кварталов или концов — четыре, пять или шесть, ограниченных улицами, которые расходились по радиусам от центрального кремля или собора к стенам города. Эти концы были обыкновенно заселены, каждый, особым ремеслом или мастерством; новые ремесла —

молодые цехи — занимали слободы, которые со временем также вносились в черту города и городских стен.

Каждая улица и приход представляли особую земельную единицу, соответствующую старинной сельской общине; они имели своего уличанского или приходского старосту, свое уличанское вече, свое народное судилище, своего избранного священника, свою милицию, свое знамя и часто свою печать — символ государственной независимости. Эту независимость они сохраняли и при вступлении в союз с другими улицами и приходами.

Профессиональной единицей, часто совпадавшей, или почти совпадавшей, с улицей или приходом, являлась гильдия — ремесленный союз. Этот союз точно так же сохранял своих святых, свои уставы, свое вече, своих судей. У него была своя касса, своя земля, свое ополчение, свое знамя. Оно точно так же имело свою печать в качестве эмблемы полной независимости. В случае войны, если гильдия считала нужным, ее милиция шла рядом с милициями других гильдий и ее знамя водружалось рядом с большим знаменем, или

carosse, всего города.

Наконец, город представлял собою союз этих концов, улиц, приходов и гильдий; он имел свое общенародное собрание всех жителей в главном вече, свою главную ратушу, выборных судей и свое знамя, вокруг которого собирались знамена всех гильдий и улиц. Он вступал в переговоры с другими городами как вполне равноправная единица, соединялся с кем угодно и заключал с кем хотел национальные и международные союзы. Так, английские «Cinque Ports», т.е. Пять Портов, расположенные около Дувра, образовали союз с французскими и нидерландскими портовыми городами по другую сторону пролива; и точно так же русский Новгород соединялся с скандинаво-германской Ганзой и т.д. Во внешних сношениях каждый город имел все права современного государства. Именно в это время и создавалась, благодаря добровольному соглашению, та сеть договоров, которая потом стала известна под именем международного права; эти договоры находились под охраной общественного мнения всех городов и соблюдались лучше, чем теперь соблюдает-

ся международное право государствами.

Часто, в случае неумения решить какой-нибудь запутанный спор, город «посылал искать решение» к соседнему городу. Дух того времени — стремление обращаться, скорее, к третейскому суду, чем к власти, — беспрестанно проявлялся в таком обращении двух спорящих общин к третьей как посреднице!

То же представляли и ремесленные союзы. Они вели свои торговые сношения и союзные дела совершенно независимо от городов и вступали в договоры помимо всяких национальных делений. И когда мы теперь гордимся международными конгрессами рабочих, мы в своем невежестве совершенно забываем, что международные съезды ремесленников и даже подмастерьев собирались уже в XV столетии.

В случае нападения средневековый город или защищался сам и вел ожесточенные войны с окрестными феодальными баронами, ежегодно назначая одного или двух человек для команды над своими милициями; или же он принимал к себе особого «военного защитника» — какого-нибудь князя или герцога, из-

бираемого городом на один год и с правом дать ему отставку, когда город найдет нужным. На содержание дружины ему обыкновенно давали деньги, собираемые в виде судебных взысканий и штрафов, но вмешиваться во внутренние дела города ему запрещалось [34].

Иногда, когда город был слишком слаб, чтобы вполне освободиться от окружающих феодальных хищников, он обращался как к более или менее постоянному «военному защитнику» к епископу или князю той или другой фамилии — гвельфов или гибеллинов в Италии, Рюриковичей в России или Ольгердовичей — в Литве; но при этом город зорко следил, чтобы власть епископа или князя никоим образом не распространялась дальше дружинников, живущих в замке. Ему даже запрещалось въезжать в город без особого разрешения. Известно, что английская королева и до сих пор не может въехать в Лондон без разрешения лорда-мэра, т.е. городского головы.

Мне очень хотелось бы подробно остановиться на экономической стороне жизни средневековых городов, но она была так раз-

нообразна, что о ней нужно было бы говорить довольно долго, чтобы дать о ней верное понятие. — принужден поэтому отослать читателя к тому, что говорил по этому поводу в книге «Взаимная помощь», основываясь на массе новейших исторических исследований. Достаточно будет заметить, что внутренняя торговля всегда делалась гильдиями, а не отдельными ремесленниками, и что цены назначались по взаимному соглашению. Кроме того, внешняя торговля велась вначале исключительно самими городами: ее вел «Господин Великий Новгород», Генуя и т.д.; и только впоследствии она сделалась монополией купеческих гильдий, а еще позднее — отдельных личностей. По воскресеньям и по субботам после обеда (это считалось временем для бани) никто не работал. Закупкой главных предметов необходимых потребностей, как хлеб, уголь, и т. п., заведовал город, который потом и доставлял их своим жителям по своей цене. В Швейцарии закупка зерна целым городом сохранялась в некоторых городах до середины XIX столетия.

Вообще, мы можем сказать, на основании

множества всевозможных исторических документов, что никогда человечество, ни прежде, ни после этого периода, не знало такого сравнительного благосостояния, обеспеченного для всех, каким пользовались средневековые города. Теперешняя нищета, неуверенность в будущем и чрезмерный труд в средневековом городе были совершенно неизвестны.

Благодаря всем этим элементам — свободе, организации от простого к сложному, тому, что производство и внутренний обмен велись ремесленными союзами (гильдиями), а внешняя торговля велась всем городом как таковым, а закупка главных предметов потребления также производилась самим городом, который распределял их между гражданами по себестоимости, — благодаря также духу предприимчивости, развитому такими учреждениями, средневековые города в течение первых двух столетий своего свободного существования сделались центрами благосостояния для всего своего населения, центрами богатства, высокого развития и образованности, невиданных до тех пор.

Когда рассматриваешь документы, дающие возможность установить размер заработной платы в вольных городах сравнительно со стоимостью предметов потребления (Т. Роджерс сделал это для Англии, а многие немецкие писатели для Германии), то ясно видно, что труд ремесленника и даже простого поденщика того времени оплачивался лучше, чем оплачивается в наше время труд наиболее искусного рабочего. Счетные книги Оксфордского университета, которые имеются за семь столетий, начиная с XII века, и некоторых имений в Англии, а также некоторых немецких и швейцарских городов ясно доказывают это.

С другой стороны, обратите внимание на художественную отделку, на количество орнаментов, которыми работник того времени украшал не только настоящие произведения искусства, как, например, городскую ратушу или собор, но даже самую простую домашнюю утварь, какую-нибудь решетку, какой-нибудь подсвечник, чашку или горшок — и вы сейчас же поймете, что он не знал ни торопливости, ни спешности, ни переутомле-

ния нашего времени; он мог ковать, лепить, ткать, вышивать не спеша, — что теперь могут делать лишь очень немногие работники-артисты.

Если же мы взглянем на работы, делавшиеся рабочими бесплатно для украшения церквей и общественных зданий, принадлежавших приходам, гильдиям или всему городу, а также на их приношения этим зданиям — будь то произведения искусства, как художественные панели, скульптурные произведения, изделия из кованого железа, чугуна или даже серебра или же простая работа столяра или каменщика, то мы сразу увидим, какого благосостояния сумели достигнуть тогдашние города. Мы увидим также на всем, что бы ни делалось в то время, отпечаток духа изобретательности и искания нового; дух свободы, вдохновлявший весь их труд, и чувство братской взаимности. Она не могла не развиться в гильдиях, где люди одного и того же ремесла объединялись не только ради практических нужд или технической стороны своего ремесла, но и связаны были узами братства и общности. Гильдейскими прави-

лами предписывалось, например, чтобы два «брата» всегда присутствовали у постели каждого «брата» в случае болезни, что в те времена чумы и повальных зараз требовало немало самоотвержения. В случае же смерти гильдия брала на себя все хлопоты и расходы по похоронам умершего, брата или сестры, и считала своим долгом проводить до могилы его тело и позаботиться об его вдове и детях.

Ни отчаянной нищеты, ни подавленности, ни неуверенности в завтрашнем дне, ни оторванности в бедности, которые висят над большинством населения современных городов, в этих «оазисах, возникших в XII веке среди феодальных лесов», — совершенно не было известно.

Под защитой своих вольностей, выросших на почве свободного соглашения и свободного почина, в этих городах возникла и развилась новая цивилизация, с такой быстротой, что ничего подобного этой быстроте не встречается в истории ни раньше, ни позже.

Вся современная промышленность ведет свое начало от этих городов. В течение трех столетий ремесла и искусства достигли в них

такого совершенства, что наш век превзошел их разве только в быстроте производства, редко — в качестве и почти никогда в художественности изделий. Несмотря на все наши усилия оживить искусство, разве мы можем сравняться в живописи по красоте с Рафаэлем? По силе и смелости — с Микеланджело? В науке и искусстве — с Леонардо да Винчи? В поэзии и красоте языка — с Данте? Или в архитектуре — с творцами соборов в Лионе, Реймсе, Кельне, Пизе, Флоренции, которых «строителями», по прекрасному выражению Виктора Гюго, «был сам народ»? И где же найти такие сокровища красоты, как во Флоренции и Венеции, как ратуши в Бремене и Праге, как башни Нюрнберга и Пизы и т.д. до бесконечности? Все эти памятники искусства — творения того периода вольных городов.

Если вы захотите одним взглядом измерить все, что было внесено нового этою цивилизацией, сравните купола собора Св. Марка в Венеции — с неумелыми норманскими сводами; или картины Рафаэля — с наивными вышивками и коврами Байё; нюрнбергские математические и физические инструменты

и часы — с песочными часами предыдущих столетий; звучный язык Данте — с варварской латынью X века... Между этими двумя эпохами вырос целый новый мир!

За исключением еще одной славной эпохи — опять-таки эпохи вольных городов в древней Греции, — человечество никогда еще не шло так быстро вперед, как в этот период. Никогда еще человек в течение двух или трех веков не переживал такого глубокого изменения, никогда еще ему не удавалось развить до такой степени свое могущество над силами природы.

Вы, может быть, подумаете о нашей современной цивилизации, успехами которой мы так гордимся. Но она, во всех своих проявлениях, есть лишь дитя той цивилизации, которая выросла среди вольных средневековых городов. Все великие открытия, создавшие современную науку, как компас, часы, печатный станок, открытие новых частей света, порох, закон тяготения, закон атмосферного давления, развитием которого явилась паровая машина, основания химии, научный метод, указанный Роджерсом Бэконом и прила-

гавшийся в итальянских университетах, — что все это, как не наследие вольных городов и той цивилизации, которая развилась в них под охраной общинных вольностей?

Мне, может быть, скажут, что я забываю внутреннюю борьбу партий, которой полна история этих общин, забываю уличные схватки, отчаянную борьбу с феодальными владельцами, восстания «молодых ремесел» против «старых ремесел», кровопролития и репрессалии этой борьбы...

Нет, я вовсе не забываю этого. Но, вместе с Лео и Ботта, двумя историками средневековой Италии, с Сисмонди, с Феррари, Джино Капони и многими другими, я вижу в этих столкновениях партий залог вольной жизни этих городов. — вижу, как после каждого из таких столкновений жизнь города делала новый и новый шаг вперед. Лео и Ботта заканчивают свой подробный обзор этой борьбы, этих кровавых уличных столкновений, происходивших в средневековых итальянских городах, и совершавшегося одновременно с ними громадного движения вперед (обеспечение благосостояния для всех жителей, воз-

рождение новой цивилизации) следующей очень верной мыслью, которая часто мне приходит в голову; я желал бы, чтобы каждый революционер нашего времени запомнил ее. «Коммуна только тогда и представляет, — говорят они, — картину нравственного целого, только тогда и носит общественный характер, когда она, подобно самому человеческому уму, допускает в своей среде противоречия и столкновения».

Да, столкновения, но разрешающиеся свободно, без вмешательства какой-то внешней силы, без вмешательства государства, давящего своею громадною тяжестью на одну из чашек весов, в пользу той или другой из борющихся сил.

Подобно этим двум писателям, я также думаю, что «навязывание» мира часто причиняет гораздо больше вреда, чем пользы, потому что таким образом противоположные вещи насильно связываются ради установления однообразного порядка; отдельные личности и мелкие организмы приносятся в жертву одному огромному, поглощающему их телу — бесцветному и безжизненному.

Вот почему вольные города до тех пор, пока они не стремились сделаться государствами и распространять свое господство над деревнями и пригородами, т.е. создать «огромное тело, бесцветное и безжизненное», — росли и выходили из этих внутренних столкновений с каждым разом моложе и сильнее. Они процветали, хотя на их улицах гремело оружие, тогда как двести лет спустя та же самая цивилизация рушилась под шум войн, которые стали вести между собою государства.

Дело в том, что в вольных городах борьба шла для завоевания и сохранения свободы личности, за принцип федерации, за право свободного союза и совместного действия; тогда как государства воевали из-за уничтожения всех этих свобод, из-за подавления личности, за отмену свободного соглашения, за объединение всех своих подданных в одном общем рабстве перед королем, судьей и попом, т.е. перед государством.

В этом вся разница. Есть борьба, есть столкновения, которые убивают, и есть такие, которые двигают человечество вперед.

VI

В течение XV в. явились новые, современные варвары и разрушили всю эту цивилизацию средневековых вольных городов. Им, конечно, не удалось уничтожить ее совершенно; но, во всяком случае, они задержали ее рост по крайней мере на два или на три столетия и дали ей другое направление, заведя человечество в тупик, в котором оно бьется теперь, не зная, как из него выйти на свободу.

Они сковали по рукам и по ногам личность, отняли у нее все вольности; они потребовали, чтобы люди забыли свои союзы, строившиеся на свободном почине и свободном соглашении. Они требовали, чтобы все общество подчинилось решительно во всем единому повелителю. Все непосредственные связи между людьми были разрушены на том основании, что отныне только государству и церкви должно принадлежать право объединять людей; что только они призваны ведать промышленные, торговые, правовые, художественные, общественные и личные интересы, ради которых люди XII в. обыкновенно соединялись между собой непосредственно.

И кто же были эти варвары? — Не кто иной, как государство — вновь возникший тройственный союз между военным вождем, судьей (наследником римских традиций) и священником, тремя силами, соединившимися ради взаимного обеспечения своего господства и образовавшими единую власть, которая стала повелевать обществом во имя интересов общества и в конце концов раздавила его.

Естественно является вопрос — каким образом новые варвары могли одолеть такие могущественные организмы, как средневековые вольные города? Откуда почерпнули они силу для этого?

Эту силу прежде всего дала им деревня. Как древнегреческие города не сумели освободить рабов и погибли от этого, так и средневековые города, освобождая горожан, не сумели в то же время освободить от крепостного рабства крестьян.

Правда, почти везде во время освобождения городов горожане, сами соединявшие ремесло с земледелием, пытались привлечь деревенское население к делу своего освобожде-

ния. В течение двух столетий горожане Италии, Испании и Германии вели упорную войну с феодальными баронами и проявили в этой борьбе чудеса героизма и настойчивости. Они отдавали последние силы на то, чтобы победить господские замки и разрушить окружавший их феодальный строй.

Но успех, которого они достигли, был неполный, и, утомившись борьбой, они заключили с баронами мир, в котором пожертвовали интересами крестьянина. Вне пределов той территории, которую города отбили для себя, они предали крестьянина в руки барона — только чтобы, прекратить войну и обеспечить, мир. В Италии и Германии города даже признали барона гражданином с условием, чтобы он жил в самом городе. В других местах они разделили с ним господство над крестьянами, и горожане сами стали владеть крепостными.

И зато же бароны отомстили горожанам, которых они и презирали и ненавидели, как «черный народ». Они начали заливать кровью улицы городов из-за вражды и мести между своими дворянскими родами, которые

не отдавали, конечно, своих раздоров на суд презируемых ими общинных судей и городских синдиков, а предпочитали разрешать их на улицах, с оружием в руках, натравливая одну часть горожан на другую.

Кроме того, дворяне стали развращать горожан своею расточительностью, своими интригами, своею роскошной жизнью, своим образованием, полученным при королевских или епископских дворах. Они втягивали граждан в свои бесконечные ссоры. И граждане, в конце концов, начали подражать дворянам; они сделались в свою очередь господами и стали обогащаться внешней торговлей и на счет труда крепостных, живших в деревнях, вне городских стен.

При таких условиях короли, императоры, цари и паны нашли поддержку в крестьянстве, когда они начали собирать свои царства и подчинять себе города. Там, где крестьяне не шли прямо за ними, они во всяком случае предоставляли им делать что хотят. Они не защищали городов.

Королевская власть постепенно складывалась именно в деревне, в укрепленном замке,

окруженном сельским населением. В XII в. она существовала лишь по имени; мы знаем теперь, что такое были те предводители мелких разбойничьих шаек, которые присваивали себе титул короля, не имевший тогда как доказал Огюстен Тьерри — почти никакого значения. Скандинавские рыбаки имели своих «королей над неводом», даже у нищих были свои «короли»: король, князь, конунг, был просто временный предводитель.

Медленно и постепенно, то тут, то там, какому-нибудь более сильному или более хитрому князю или тому, у кого был лучше расположен в данной местности замок, удавалось возвыситься над остальными. Церковь, конечно, была всегда готова поддержать его. Путем насилия, интриг, подкупа, а где нужно и кинжала и яда он достигал господства над другими феодалами. Так складывалось, между прочим, Московское царство [35]. Но местом возникновения королевской власти никогда не были вольные города с их шумным вечем, с их Тарпейской скалой или рекой для тиранов; эта власть всегда зарождалась в провинции, в деревнях.

Во Франции, после нескольких неудачных попыток основаться в Реймсе или Лионе, будущие короли избрали для этого Париж, который был собранием деревень и маленьких городков, окруженных богатыми деревнями, но где не было вольного вечевого города. В Англии королевская власть основалась в Вестминстере — у ворот многолюдного Лондона; в России — в Кремле, построенном среди богатых деревень на берегу Москвы-реки, после неудачных попыток в Суздале и Владимире; но она никогда не могла укрепиться в Новгороде или во Пскове, в Нюрнберге или во Флоренции.

Соседние крестьяне снабжали королей зерном, лошадьми и людьми; кроме того, нарождающиеся тираны обогащались и торговлей — уже не общинной, а королевской. Церковь окружала их своими заботами, защищала их, поддерживала их своей казной; наконец, изобретала для королевского города особого святого и особые чудеса. Она окружала благоговением Парижскую Богоматерь и Московскую Иверскую. В то время как вольные города, освободившись из-под власти еписко-

пов, с юношеским пылом стремились вперед, церковь упорно работала над восстановлением своей власти через посредство нарождающихся королей; она окружала в особенности нежными заботами, фимиамом и золотом фамильную колыбель того, кого она в конце концов избирала, чтобы в союзе с ним восстановить свою силу и влияние. Повсюду — в Париже, в Москве, в Мадриде, в Вестминстере, мы видим, как церковь заботливо охраняет колыбель королевской или царской власти с горящим факелом для костров в руках, и рядом с ней всегда находится палач.

Упорная в работе, сильная своим образованием в государственном духе, опираясь в своей деятельности на людей с твердой волей и хитрым умом, которых она умело отыскивала во всех классах общества; искусенная опытом в интригах и сведущая в римском и византийском праве, церковь неустанно работала над достижением своего идеала — утверждением сильного короля в библейском духе, т.е. неограниченного в своей власти, но послушного первосвященнику: короля, который был бы простым гражданским орудием в ру-

ках церкви.

В XVI в. совместная работа этих двух заговорщиков — короля и церкви была в полном ходу. Король уже господствовал над своими соперниками баронами, и его рука уже была занесена над вольными городами, чтобы раздавить в свою очередь и их.

Впрочем, и города XVI столетия были уже не тем, чем мы их видели в XII, XIII и XIV вв.

Родились они из освободительной революции XII в.; но у них не достало смелости распространить свои идеи равенства ни на окружающее деревенское население, ни даже на тех горожан, которые позднее поселились в черте городских стен как в убежище свободы и которые создавали там новые ремесла.

Во всех городах явилось различие между старыми родами, сделавшими революцию XII в., — иначе, просто «родами» — и молодыми, которые поселились в городах позднее. Старая «торговая гильдия» не выказывала желания принимать в свою среду новых пришельцев и отказывалась допустить к участию в своей торговле «молодые ремесла». Из простого торгового агента города, который прежде

продавал товары за счет города, она превратилась в маклера и посредника, который сам богател на счет внешней торговли и вносил в городскую жизнь восточную пышность. Позднее «торговая гильдия» стала ростовщиком, дававшим деньги городу, и соединилась с землевладельцами и духовенством против «простого народа»; или же она искала опоры для своей монополии, для своего права на обогащение в ближайшем короле, давая ему денежные пособия для борьбы с его соперниками или даже с городами. Переставши быть общинной и сделавшись личной, торговля наконец убивала вольный город.

Кроме того, старые ремесленные гильдии, которые вначале составляли город и его вече, сперва не хотели признавать за юными гильдиями более молодых ремесел те же права, какими пользовались сами. Молодым ремеслам приходилось добиваться равноправия путем революции; и о каждом из городов, которого история нам известна, мы узнаем, что в нем происходила такая революция. Но если в большинстве случаев она вела к обновлению жизни, ремесел и искусств — что очень ясно

заметно во Флоренции, — то в других городах она иногда кончалась победой богатых (popolo grasso) над бедными (popolo basso), подавлением движения, бесчисленными ссылками и казнями, особенно в тех случаях, где в борьбу вмешивались бароны и духовенство.

Нечего и говорить, что впоследствии, когда короли, прошедшие через школу макиавеллизма, стали вмешиваться во внутреннюю жизнь вольных городов, они избрали предлогом для вмешательства «защиту бедных от притеснения богатых», — чтобы покорить себе и тех и других, когда король станет господином города. То, что происходило в России, когда московские великие князья, а впоследствии цари, шли покорять Новгород и Псков под предлогом защиты «черных сотен» и «мелких людишек» от богатых, случилось также повсеместно: в Германии, во Франции, в Италии, в Испании и т.д.

Кроме того, города должны были погибнуть еще потому, что самые понятия людей изменились. Учения канонического и римского права совершенно извратили их умы.

Европеец XII столетия был по существу фе-

дералистом. Он стоял за свободный почин, за свободное соглашение, за добровольный союз и видел в собственной личности исходный пункт общества. Он не искал спасения в повиновении, не ждал пришествия спасителя общества. Понятие христианской или римской дисциплины было ему совершенно чуждо.

Но под влиянием, с одной стороны, христианской церкви, всегда стремившейся к господству, всегда старавшейся наложить свою власть на души, и в особенности на труд верующих; а с другой, под влиянием римского права, которое уже начиная с XII в. проникало ко дворам сильных баронов, королей и пап и скоро сделалось любимым предметом изучения в университетах — под влиянием этих двух так хорошо отвечающих друг другу, хотя и яро враждовавших вначале учений умы людей постепенно развращались, по мере того как поп и юрист приобретали больше и больше влияния.

Человек начинал любить власть. Если в городе происходило восстание низших ремесел, он звал к себе на помощь какого-нибудь спасителя: выбирал диктатора или городского

царька и наделял его неограниченной властью для уничтожения противной партии. И диктатор пользовался ею со всей утонченной жестокостью, заимствованной от церкви и от восточных деспотий.

Церковь оказывала ему поддержку: ведь ее мечта была — библейский король, преклоняющий колена перед первосвященником и становящийся его послушным орудием! Кроме того, она ненавидела всем сердцем и тот дух светской науки, который царствовал в вольных городах в эпоху первого возрождения — т.е. возрождения XII в. [36]; она проклинала «языческие идеи», которые, под влиянием вновь открытой древнегреческой цивилизации, звали человека назад к природе; и в конце концов церковь подавила впоследствии движение, выливавшееся в восстание против папы, духовенства и церкви вообще. Костер, пытки и виселица — излюбленное оружие церкви — были пущены в ход против еретиков. Для церкви в этом случае было безразлично, кто бы ни был ее орудием — папа, король или диктатор, лишь бы костер, дыбы и виселица делали свое дело против ерети-

КОВ.

Под давлением этих двух влияний — римского юриста и духовенства старый федералистский дух, создавший свободную общину, дух свободного почина и свободного соглашения, вымирал и уступил место духу дисциплины, духу правительственной и пирамидальной организации. И богатые классы, и народ одинаково требовали спасителя себе извне.

И когда этот спаситель явился, когда король, разбогатевший вдали от шумного городского веча, в им самим созданных городах, поддерживаемый церковью со всеми ее богатствами и окруженный подчиненными ему дворянами и крестьянами, постучался в городские ворота с обещанием «бедным» своей мощной защиты от богатых, а «богатым» — защиты от мятежных бедных, города, уже носившие в себе самих яд власти, не были в силах ему сопротивляться. Они отперли королю свои ворота.

Кроме того, уже с XIII в. монголы покоряли и опустошали Восточную Европу, и теперь в Москве возникало под покровительством та-

тарских ханов и православной церкви новое царство. Затем турки вторглись в Европу и основали свое государство, опустошая все на своем пути и дойдя в 1453 г. до самой Вены. И, чтобы дать им отпор, в Польше, в Богемии, в Венгрии — в центре Европы — возникали сильные государства. В то же время на другом конце Европы, в Испании, жестокая война против мавров и их изгнание дали возможность основаться в Кастилии и Арагоне новой могущественной державе испанской монархии, опиравшейся на римскую церковь и инквизицию, на меч и застенки.

Эти набеги и войны вели неизбежно к вступлению Европы в новый период жизни — в период военных государств, которые стремились «объединить», т.е. подчинить все другие города одному королевскому или великокняжескому городу.

А раз сами города превращались уже в мелкие государства, то последние были неизбежно обречены на поглощение крупными...

VII

Победа государства над вольными общинами и федералистически ми учреждениями

средних веков не совершилась, однако, беспрепятственно. Было даже время, когда можно было сомневаться в его окончательной победе.

В городах и обширных сельских областях в средней Европе возникло громадное народное движение, религиозное по своей форме и внешним проявлениям, но чисто коммунистическое и проникнутое стремлением к равенству по своему содержанию.

Еще в XIV в. мы видим два таких крестьянских движения: во Франции (около 1358 г.) и в Англии (около 1380 г.); первое известно в истории под названием Жакерии, а второе носит имя одного из своих крестьянских вождей Уата Тэйлора. Оба они потрясли тогдашнее общество до основания. Оба были направлены, впрочем, главным образом, против феодальных помещиков. И хотя оба были разбиты, они разбили феодальное могущество. В Англии народное восстание решительно положило конец крепостному праву; а во Франции Жакерия настолько остановила его развитие, что дальнейшее его существование было, скорее, прозябанием, и оно никогда не

могло достигнуть такого развития, какого достигло впоследствии в Германии и Восточной Европе.

И вот, в XVI в. подобное же движение вспыхнуло и в Центральной Европе под именем движения «гуситов» в Богемии и «анабаптистов» в Германии, Швейцарии и Нидерландах. В Западной Европе это было восстание не только против феодальных баронов и помещиков, но полное восстание против церкви и государства, против канонического и римского права, во имя первобытного христианства.

В течение многих и многих лет смысл этого движения совершенно искажался казенными и церковными историками, и только теперь его до некоторой степени начинают понимать.

Лозунгами этого движения были, с одной стороны, полная свобода личности, не обязанной повиноваться ничему, кроме предписаний своей совести, а с другой — коммунизм. И только уже гораздо позднее, когда государству и церкви удалось истребить самых горячих защитников движения, а самое движе-

ние ловко повернуть в свою пользу, восстание лишилось своего революционного характера и выродилось в реформацию Лютера.

С Лютером оно было принято и князьями, но началось оно с проповеди безгосударственного анархизма, а в некоторых местах и с практического его применения, — к сожалению, однако, с примесью религиозных форм. Но если откинуть религиозные формулы, составлявшие неизбежную дань тому времени, то мы увидим, что это движение по существу подходило к тому направлению, представителями которого являемся теперь мы. В основе его было: отрицание всяких законов, как государственных, так и якобы божественных, на том основании, что собственная совесть человека должна быть единственным его законом; а затем — признание общины единственною распорядительницею своей судьбы; причем она должна отобрать свои земли от феодалных владельцев, и, вступая в вольные союзы с другими общинами, она переставала нести какую бы то ни было денежную или личную службу государству.

Одним словом, выражалось стремление

осуществить на практике коммунизм и равенство. Так, когда Денка, одного из философов анабаптистского движения, спросили, признает ли он авторитет Библии, он ответил, что единственными обязательными для поведения человека он признает только два правила, которые он сам находит для себя в Библии. Но эти самые неопределенные выражения, заимствованные из церковного языка, этот самый авторитет «книги», в которой легко найти доводы «за» и «против» коммунизма, «за» и «против» власти, эта особая неясность, когда речь заходит о решительном провозглашении свободы, эта самая религиозная окраска движения уже заключала в себе зародыши его поражения.

Возникши в городах, движение скоро распространилось и на деревни. Крестьяне отказывались повиноваться кому бы то ни было и, надевши старый сапог или лапоть на копьё вместо знамени, отбирали у помещиков захваченные ими общинные земли, разрывали цепи крепостного рабства, прогоняли попов и судей и организовывались в вольные общины. И только при помощи костра, пытки и

виселицы, только вырезавши в течение нескольких лет больше 100 000 крестьян королевской или императорской власти, при поддержке папства и реформированной церкви — Лютер толкал на убийства даже больше, чем сам папа, — удалось положить конец этим восстаниям, которые одно время угрожали самому существованию зарождавшихся государств.

Лютеранская реформация, сама родившаяся из анабаптизма, но потом поддержанная государством, помогала истреблению народа и подавлению того самого движения, которому она была обязана в начале своего существования всей своей силой. Остатки этого громадного умственного течения укрылись в общинах «моравских братьев», которые в свою очередь были раздавлены сто лет спустя церковью и государством. И только небольшие уцелевшие группы их спаслись, переселившись, кто в юго-восточную Россию (менонитские общины, позднее переселившиеся в Канаду), кто в Гренландию, где они и до сих пор еще живут общинами и отказываются нести какую бы то ни было службу государ-

ству.

С тех пор существование государства было обеспечено. Законовед, поп, помещик и солдат, сомкнувшись в дружный союз вокруг трона, могли теперь снова продолжать свою гибельную работу.

И сколько лжи было нагромождено историкам и государственнымникам, находившимися на службе у государства, об этом периоде! Всех нас учили в школе, что государство сослужило человечеству огромную службу, создавши национальные союзы на развалинах феодального общества; что такие союзы оказывались прежде неосуществимыми, вследствие соперничества городов, и только государства сумели объединить народы! Все мы учились этому в школьные годы и почти все верили этому и в зрелом возрасте.

И вот теперь мы узнаем, что, несмотря на все свое соперничество, средневековые города в течение четырехсот лет работали над сплочением этих союзов путем федерации, основанной на добровольном соглашении, и что они вполне успели в этом.

Ломбардский союз, например, охватывал

все города северной Италии и имел свою федеральную казну в Милане. Другие федерации, как Тосканский союз, Рейнский союз (включавший 60 городов), федерация вестфальских, богемских, сербских, польских и русских городов, покрывали собою всю Европу, Торговый Ганзейский союз одно время обнимал города Скандинавии, северной Германии, Польши и России вокруг Балтийского моря. Все элементы, нужные для образования добровольных союзов, и даже само практическое осуществление их здесь налицо.

До сих пор можно еще видеть живые примеры таких союзов. Посмотрите на Швейцарию. Там союз возник прежде всего между сельскими общинами (так называемые) «старые кантоны»), и такой же союз возник в то же время во Франции, в области Лана (Laon). Затем, так как в Швейцарии города никогда не отделялись вполне от деревень (как это было в других странах, где города вели обширную внешнюю торговлю), то швейцарские города помогли деревням во время восстания крестьян в XVI веке; а потому швейцарскому союзу удалось объединить и те и

другие в одну федерацию и уцелеть до сих пор.

Но государство, по самой сущности своей, не может терпеть вольного союза; для государственного законника он составляет пугало: «государство в государстве»! Государство не хочет терпеть внутри себя добровольного союза людей, существующего самого по себе. Оно признает только подданных. Только государство и его сестра церковь присвоили себе исключительное право быть соединительным звеном между отдельными личностями.

Понятно поэтому, что государство непременно должно было стремиться уничтожить города, основанные на прямой связи между гражданами. Оно обязано было уничтожить всякую внутреннюю связь в таком городе, уничтожить самый город, уничтожить всякую прямую связь между городами. На место федеративного принципа оно должно поставить подчинение и дисциплину. В этом — самое основное его начало. Без него оно перестанет быть государством и превращается в федерацию.

И вот весь XVI век — век резни и войн —

вполне поглощается этой борьбой на жизнь и смерть, которую нарождающееся государство объявило по городам и их союзам. Города осаждаются, берутся приступом и разграбляются; их население избивается и ссылается, и в конце концов государство одерживает победу по всей линии! И вот каковы последствия этой победы.

В XV в — вся Европа была покрыта богатыми городами; их ремесленники, каменщики, ткачи и резчики производили чудеса искусства; их университеты клали основания современной опытной науке; их караваны пересекали материки, а корабли бороздили моря и реки.

И что же осталось от всего этого через двести лет? — Города с 50 000 и 100 000 жителей, как Флоренция, где было больше школ и больше постелей в госпиталях на каждого жителя, чем теперь в наилучше обставленных в этом отношении столицах, превратились в захудалые местечки. Их жители были либо перебиты, либо сосланы, либо разбежались. Их богатства присвоены государством или церковью. Промышленность увядала под

мелочной опекой чиновников; торговля умерла. Самые дороги, которые соединяли между собой города, в XVII в. сделались непроходимыми.

Государство и война — нераздельны; и войны опустошали Европу и доканчивали разорение тех городов, которых государство не успело разорить непосредственно.

Если города были раздавлены, то, может быть, хоть деревни выиграли от государственной централизации? Нисколько! Посмотрите, что говорят историки о жизни в деревнях Шотландии, Тосканы и Германии в XIV в., и сравните это с описанием деревенской нищеты в Англии в 1648 г., во Франции при «короле-солнце» Людовике XIV, в Германии, в Италии — одним словом, повсюду после столетнего господства государства.

В России это было нарождающееся государство Романовых, которые ввели крепостное право и придали ему скоро формы рабства.

Везде нищета, которую единогласно признают и отмечают все. Там, где крепостное право было уже уничтожено, оно под самыми

разнообразными формами было восстановлено, а где еще не было уничтожено, оно оформилось, под покровом государства, в свирепое учреждение, обладавшее всеми характерными особенностями древнего рабства, и даже хуже того.

Но разве можно было ожидать чего-нибудь другого от государства, раз главной его заботой было уничтожить, вслед за вольными городами, сельскую общину, разрушить все связи, существовавшие между крестьянами, отдать их земли на разграбление богатым и подчинить их, каждого в отдельности, власти чиновника, попа и помещика?

VIII

Уничтожить независимость городов: разграбить богатые торговые и ремесленные гильдии; сосредоточить в своих руках всю внешнюю торговлю городов и убить ее; забрать в свои руки внутреннее управление гильдий и подчинить внутреннюю торговлю и все производство, все ремесла, во всех мельчайших подробностях, стаду чиновников и тем самым убить и промышленность, и искусства; задушить местное управление; уни-

чтожить местное ополчение; задавить слабых налогами в пользу сильных и разорить страну войной — такова была роль нарождающегося государства в XVI и XVII столетиях по отношению к городским союзам.

То же самое, конечно, происходило и в деревнях, среди крестьян. Как только государство почувствовало себя достаточно сильным, оно поспешило уничтожить сельскую общину, разорить крестьян, вполне предоставленных его произволу, и разграбить общинные земли.

Правда, историки и политико-экономы, состоящие на жалованье у государства, учили нас всегда, что сельская община представляет собою устарелую форму землевладения, мешающую развитию земледелия, и что потому она осуждена была на исчезновение под «влиянием естественных экономических сил». Политики и буржуазные экономисты продолжают говорить это и до сих пор, и, к сожалению, есть даже революционеры и социалисты (претендующие на название «научных» социалистов), которые повторяют эту заученную ими в школе басню.

А между тем это самая возмутительная ложь, которую только можно встретить в науке. История кишит документами, несомненно доказывающими всякому, кто только желает знать истину (относительно Франции для этого достаточно хотя бы одного сборника законов Даллоза), что государство сперва лишило сельскую общину независимости, всяких судебных, законодательных и административных прав, а затем ее земли были или просто разграблены богатыми, под покровительством государства, или же конфискованы непосредственно самим государством.

Во Франции грабеж этот начался еще в XVI столетии и продолжался еще более деятельно в XVII. Еще в 1659 г. государство взяло общины под свое особое покровительство, и достаточно прочесть указ Людовика XIV (1667 г.), чтобы понять, что грабеж общинных земель начался с этого времени. «Люди присваивали себе земли, когда им вздумается... земли делились... чтобы оправдать грабеж, выдумывались долги, якобы числившиеся за общинами», говорит король в этом указе... а два года спустя он конфискует в свою собственную

пользу все доходы общин. Вот что называется «естественной смертью» на якобы научном языке.

В течение следующего столетия половина, по крайней мере, всех общинных земель была просто-напросто присвоена аристократией и духовенством под покровительством государства. И несмотря на это, общины все-таки продолжали существовать до 1787 г. Общинники все еще собирались где-нибудь под вязом, распределяли земли, назначали налоги; сведения об этом вы можете найти у Бабо — «Община при старом режиме» (Babeau. Le village sous l'ancien regime). Тюрго нашел, однако, что общинные советы «слишком шумны», и уничтожил их в той провинции, которой он управлял; на место их он поставил собрания выборных из состоятельной части населения. В 1787 г., т.е. накануне революции, государство распространило эту меру на всю Францию. Мир был уничтожен, и управление делами общин перешло в руки немногих синдиков, избранных наиболее зажиточными буржуа и крестьянами.

Учредительное собрание поспешило под-

твердить этот закон в декабре 1789 г.; после чего буржуазия, занявшая место дворян, стала грабить остатки общинных земель. И потребовался целый ряд крестьянских бунтов, чтобы заставить Конвент в 1793 г. утвердить то, что было уже сделано восставшими крестьянами в восточной Франции, т.е. он издал распоряжение о возвращении крестьянам общинных земель. Но это случилось только тогда, когда крестьяне своим восстанием и так уже отбили землю, и проведено это было только там, где они сами совершили это на деле.

Такова, пора бы это знать, судьба всех революционных законов: они осуществляются на практике только тогда, когда уже являются совершившимся фактом.

Тем не менее, признавая право общин на землю, которая была у них отнята после 1669 г., Законодательное собрание не упустило случая подпустить в этот закон буржуазного яда. В нем сказано, что земли, отнятые у дворян, должны быть разделены поровну только между «гражданами» — то есть между деревенской буржуазией. Одним росчерком пера

Конвент лишил, таким образом, права на землю «присельщиков», т.е. массу обедневших крестьян, которые больше всего и нуждались в общинных угодьях. К счастью, в ответ на это крестьяне опять стали бунтоваться в 1793 г., и тогда только Конвент издал новый закон, предписывавший разделение земель между всеми крестьянами. Но это распоряжение никогда не было приведено в исполнение и послужило лишь предлогом для новых захватов общинных земель.

Всех этих мер, казалось, было бы достаточно, чтобы заставить общины «умереть естественной смертью», как выражаются эти господа. И, однако, общины продолжали существовать. 24 августа 1794 г. господствовавшая тогда реакционная власть нанесла им новый удар. Государство конфисковало все общинные земли, сделало из них запасный фонд, обеспечивающий национальный долг, и начало продавать их с аукциона крестьянам, а больше всего сторонникам буржуазного переворота, кончившегося казнью якобинцев, т.е. «термидорцам».

К счастью, 2-го прериала пятого года этот

закон был отменен, после трехлетнего существования. Но в то же время были уничтожены и общины, на место которых были учреждены «кантональные советы», чтобы государство легко могло наполнять их своими чиновниками. Так продолжалось до 1801 г., когда сельские общины опять были восстановлены; но зато правительство присвоило себе право назначать мэров и синдиков во всех 36 000 общинах Франции! Эта нелепость продолжала существовать до революции 1830 г., после которой был возобновлен закон 1784 г. В промежутках между этими мерами общинные земли подверглись опять конфискации государством в 1813 г.; затем в течение трех лет предавались разграблению. Остатки земель были возвращены только в 1816 г.

Но и это еще был не конец. Каждое новое правительство видело в общинных землях источник, из которого можно было черпать награды для людей, которые служили правительству поддержкой. После 1830 г. три раза — (в) первый в 1837 г. и в последний уже при Наполеоне III издавались законы, предписывавшие крестьянам разделить общин-

ные леса и пастбища подворно; и все три раза правительства были вынуждены отменять эти законы ввиду сопротивления крестьян. Тем не менее Наполеон III умел все-таки воспользоваться этим и утянуть для своих любимцев несколько крупных имений.

Таковы факты, и таковы на «научном» языке «экономические законы», под ведением которых общинное землевладение во Франции умерло «естественною смертью». После этого, может быть, и смерть на поле сражения тысяч солдат есть также «естественная смерть»?

То, что произошло во Франции, случилось также в Бельгии, в Англии, в Германии, в Австрии; короче говоря, во всей Европе, за исключением славянских стран [37].

Страннее всего то, что и периоды разграбления общин во всех странах Западной Европы также совпадают. Разница была только в приемах. Так, в Англии не решались проводить общих мер, а предпочли издать несколько тысяч отдельных актов об отгораживании, которыми дворянско-буржуазный парламент в каждом отдельном случае утверждал кон-

фискацию земли, облакая помещика правом удерживать за собой обгороженную им землю. И парламент делает это до сих пор. Несмотря на то, что в Англии до сих пор еще видны следы тех борозд, которые служили для временных переделов общинных земель на участки, по столько-то на семью, и что мы находим в сочинениях Маршала ясное описание этого рода землевладения, существовавшего еще в начале XIX в., и что общинное хозяйство сохранилось еще в некоторых коммунах, до сих пор еще находятся ученые люди (вроде Сибома, достойного ученика Фюстель де Куланжа), которые утверждают, что в Англии сельских общин никогда не существовало, помимо крепостного права!

Те же приемы мы видим и в Бельгии, и в Германии, и в Италии, и в Испании. Присвоение в личную собственность прежних общинных земель было таким образом почти завершено к 50-м годам XIX столетия. Крестьяне удержали за собой лишь жалкие клочки своих общинных земель.

Вот к чему привел союз взаимного страхования между помещиком, попом, солдатом и

судьей — т.е. государство — в отношении к крестьянам, которых он лишил последнего средства обеспечения от нищеты и экономического рабства.

Теперь спрашивается — организуя и покрывая таким образом грабеж общинных земель, могло ли государство допустить существование общины как органов местной жизни?

Очевидно, нет.

Допустить, чтобы граждане образовали в своей среде союз, которому были бы присвоены обязанности государства, было бы противоречием государственному принципу. Государство требует прямого и личного подчинения себе подданных, без посредствующих групп: оно требует равенства в рабстве; оно не может терпеть «государства в государстве».

Поэтому в XVI столетии, как только государство начало складываться, оно приступило к разрушению связей, существовавших между гражданами в городах и в деревнях. Если оно иногда и мирилось с некоторой тенью самоуправления в городских учреждениях —

но никогда с независимостью, — то это делалось исключительно ради формальных целей, ради возможно большего облегчения общего государственного бюджета; или же для того, чтобы дать возможность состоятельным людям в городах обогащаться на счет народа; это происходило, например, в Англии до самого последнего времени и отражается до сих пор в ее учреждениях и обычаях: все городское хозяйство, вплоть до самого последнего времени, было в руках нескольких богатых лавочников.

И это вполне понятно. Местная жизнь развивается из обычного права, тогда как римский закон ведет к сосредоточению власти в немногих руках. Одновременное существование того и другого невозможно; одно из двух должно исчезнуть.

Вот почему, например, в Алжире, при французском управлении, когда кабилльская джемма, или сельская община, ведет какой-нибудь процесс о своих землях, каждый член общины должен обратиться к суду с отдельной просьбой, так как суд, скорее, выслушает пятьдесят или двести просителей, чем

одно коллективное ходатайство целой джеммы. Якобинский устав Конвента (известный под именем Кодекса Наполеона) не признал обычного права: для него существует только римское или, скорее, византийское право.

Вот почему если где-нибудь во Франции буря сломает дерево на большой дороге или если какой-нибудь крестьянин пожелает заплатить камнелому два или три франка вместо того, чтобы самому набить щебня для починки его участка общинной дороги, то для этого должны засесть и царапать перьями целых пятнадцать чиновников министерства внутренних дел и государственного казначейства; эти великие дельцы должны обменяться более чем пятьюдесятью бумагами и отношениями, раньше чем дерево будет продано и крестьянин получит разрешение внести свои два-три франка в общинную кассу.

Вам это, может быть, покажется невероятным? Посмотрите в «Journal des Economistes» (апрель 1893 г.) статью Трикоша, который составил подробный список всех этих пятидесяти бумаг.

И это, не забудьте, происходит при третьей

республике! — говорю здесь не о «варварских» приемах старого порядка, который ограничивался всего пятью или шестью бумагами. Понятно, почему ученые говорят, что в то варварское время контроль государства был только номинальный.

Но если бы дело было только в этом! Что значили бы, в конце концов, лишних 20 000 чиновников и несколько сот лишних миллионов рублей в бюджете! Ведь это сущие пустяки для любителей «порядка» и единообразия!

Но важно то, что в основании всего этого лежит нечто гораздо худшее: самый принцип, убивающий все живое.

У крестьян одной и той же деревни всегда есть тысячи общих интересов: интересы хозяйственные, отношения между соседями, постоянное взаимное общение; им по необходимости приходится соединяться между собою ради всевозможнейших целей. Но такого соединения государство не любит — оно не желает и не может позволить, чтобы они соединялись. Оно дает им школу, попа, полицейского и судью; чего же им больше? И если у них явятся еще какие-нибудь нужды, они

должны в установленном порядке обращаться к церкви и к государству.

Так, вплоть до 1883 г. во Франции строго запрещалось крестьянам составлять между собою какие бы то ни было союзы, хотя бы для того, например, чтобы покупать вместе химическое удобрение или осушать свои поля. Республика решилась, наконец, даровать крестьянам эти права только в 1883-1886 гг., когда был издан закон о синдикатах, хотя и урезанный всевозможными ограничениями и мерами предосторожности. Раньше этого во Франции всякое общество, имевшее более 19-ти членов, считалось противозаконным.

И наш ум так извращен полученным нами государственным образованием, что мы способны радоваться, например, даже тому, что земледельческие синдикаты начали с тех пор быстро распространяться во Франции; мы даже не подозреваем того, что право союзов, которого крестьяне были лишены целые столетия, составляло их естественное достояние в средние века, что это было бесспорное достояние всякого и каждого, свободного или крепостного. А мы настолько пропитались раб-

ским духом, что воображаем, будто это право составляет одно из «завоеваний демократии».

Вот до какого невежества довели нас наше исковерканное и извращенное государством образование и наши государственные пред-
рассудки!

IX

«Если у вас есть какие-нибудь общие нужды в городе или в деревне, обращайтесь с ними к церкви и к государству. Но вам строго воспрещается соединяться вместе непосредственно и заботиться о них самим». Эти слова раздаются по всей Европе, начиная с XVI столетия.

Уже в указе английского короля Эдуарда III, обнародованном в конце XIV столетия, сказано, что «все союзы, товарищества, собрания, организованные общества, статуты и присяги, уже установленные или имеющие быть установленными среди плотников и каменщиков, отныне будут считаться недействительными и упраздненными». Но когда восстания городов и другие народные движения, о которых говорилось выше, были подавлены и государство почувствовало себя пол-

ным хозяином, оно решилось наложить руку на все, без исключения, народные учреждения (гильдии, братства и т.д.), которые соединяли до тех пор и ремесленников, и крестьян. Оно прямо уничтожило их и конфисковало их имущество.

Особенно ясно это видно в Англии, где существует масса документов, отмечающих каждый шаг этого уничтожения. Мало-помалу государство накладывает руку на гильдии и братства, оно давит их все сильнее и сильнее. Оно постепенно отменяет сначала их союзы, потом их празднества, их суды, их старшин, которых оно заменило своими собственными чиновниками и судьями. Затем, в начале XVI в., при Генрихе VIII, государство уже прямо и без всяких церемоний конфискует имущества гильдий. Наследник «великого» протестантского короля Эдуард VI dokonчил работу своего отца.

Это был настоящий дневной грабеж, «без всякого оправдания», как совершенно верно говорит Торольд Роджерс. И этот самый грабеж так называемые «научные» экономисты выдают нам теперь за «естественную» смерть

гильдий в силу «экономических законов».

И в самом деле, могло ли государство терпеть ремесленные гильдии или корпорации, с их торговлей, с их собственным судом, собственной милицией, казной и организацией, скрепленной присягой? Для государственных людей они были «государством в государстве»! Настоящее государство было обязано раздавить их; и оно, действительно, раздавило их повсюду — в Англии, во Франции, в Германии, в Богемии, в России, сохранивши от них лишь внешнюю форму, удобную для его фискальных целей и составляющую просто часть огромной административной машины.

Удивительно ли после этого, что гильдии и ремесленные союзы, лишенные всего того, что прежде составляло их жизнь, и подчиненные королевским чиновникам, ставши при этом частью администрации, превратились в XVIII столетии лишь в бремя, в препятствие для промышленного развития — вместо того, чтобы быть самой сущностью его, какой они были за четыреста лет до того? Государство убило их.

В самом деле, оно не только уничтожило

ту независимость и самобытность, которые были необходимы для жизни гильдий и для защиты их от вторжения государства; оно не только конфисковало все богатства и имущества гильдий: оно вместе с тем присвоило себе и всю их экономическую жизнь.

Когда внутри средневекового города случилось столкновение промышленных интересов или когда две гильдии не могли прийти к обоюдному соглашению, — за разрешением спора не к кому было больше обращаться, как ко всему городу. Спорящие стороны бывали принуждены сойтись на чем-нибудь, найти какой-нибудь компромисс, потому что все гильдии города были заинтересованы в этом. И такую сделку находили; иногда, в случае нужды, в качестве третейского судьи приглашался соседний город.

Отныне единственным судьей являлось государство. По поводу каждого мельчайшего спора в каком-нибудь ничтожном городке в несколько сот жителей в королевских и парламентских канцеляриях скоплялись вороха бесполезных бумаг и кляуз. Английский парламент, например, был буквально завален

тысячами таких мелких местных дрязг. Пришлось держать в столице тысячи чиновников (большею частью продажных), чтобы сортировать, читать, разбирать все эти бумаги и постановлять по ним решения; чтобы регулировать и упорядочивать ковку лошадей, белевание полотна, соление селедок, деланье бочек и т.д. до бесконечности... А кучи дел все росли и росли!

Но и это было еще не все. Скоро государство наложило свою руку и на внешнюю торговлю. Оно увидело в ней средство к обогащению и поспешило захватить ее. Прежде, когда между двумя городами возникало какое-нибудь разногласие по поводу стоимости вывозимого сукна, чистоты шерсти или вместимости бочонков для селедок, города сносились по этому поводу между собою. Если спор затягивался, они обращались к третьему городу и призывали его в третейские судьи (это случалось сплошь да рядом); или же созывался особый съезд гильдий ткачей или бочаров, чтобы прийти к международному соглашению насчет качества и стоимости сукна или вместимости бочек.

Теперь явилось государство, которое взялось решать все эти споры из одного центра, из Парижа или из Лондона. Оно начало предписывать через своих чиновников объем бочек, качество сукна; оно учитывало число ниток и их толщину в основе и утке; оно начало вмешиваться своими распоряжениями в подробности каждого ремесла.

Результаты вам известны. Задавленная этим контролем промышленность в XVIII столетии вымирала. Куда, в самом деле, девалось искусство Бенвенуто Челлини под опекой государства? — Оно умерло! — А что случилось с архитектурой тех гильдий каменщиков и плотников, произведениям которых мы удивляемся до сих пор? — Стоит лишь взглянуть на уродливые памятники государственного периода, чтобы сразу ответить, что архитектура замерла, замерла настолько, что и до сих пор еще не может оправиться от удара, нанесенного ей государством.

Что стало с брюжскими полотнами, с голландскими сукнами? Куда девались те кузнецы, которые умели так искусно обращаться с железом, что чуть ли не во всяком европей-

ском городке из-под их рук выходили изящнейшие украшения из этого неблагородного металла? Куда девались токари, часовщики, те мастера, которые создали в средние века славу Нюрнберга своими точными инструментами? Вспомните хотя бы Джемса Уатта, который в конце XVIII в. напрасно искал в продолжение тридцати лет работника, умеющего выточить точные цилиндры для его паровой машины; его мировое изобретение в течение тридцати лет оставалось грубой моделью за неимением мастеров, которые могли бы сделать по ней машину.

Таковы были результаты вмешательства государства в промышленность. Все, что оно умело сделать, — это придавить, принизить работника, обезлюдить страну, посеять нищету в городах, довести миллионы людей в деревнях до голодания — выработать систему промышленного рабства!

И вот эти-то жалкие остатки старых гильдий, эти-то организмы, раздавленные и задушенные государством, эти-то бесполезные части государственной администрации «научные» экономисты смешивают в своем неве-

жестве со средневековыми гильдиями! То, что было уничтожено Великой Революцией, как помеха промышленности, были уже не гильдии и даже не рабочие союзы; это были бесполезные и даже вредные части государственной машины.

Французская революция смела много мусора. Но что якобинцы, вынесенные революцией ко власти, тщательно сохранили — это власть государства над промышленностью, над промышленным рабом — рабочим.

Вспомните, что говорилось в Конвенте — в страшном террористическом Конвенте — по поводу одной стачки. На требование стачечников Конвент ответил:

«Одно государство имеет право блюсти интересы граждан. Вступая в стачку, вы составляете коалицию, вы создаете государство в государстве. А потому — смертная казнь за стачку!»

Обыкновенно в этом ответе видят только буржуазный характер Французской революции. Но нет ли в нем еще другого, более глубокого смысла? Не указывает ли он на отношение государства ко всему обществу вооб-

ще, — отношение, нашедшее себе самое яркое выражение в якобинстве 1793 г.?

«Если вы чем-нибудь недовольны, обращайтесь к государству! Оно одно имеет право удовлетворять жалобы своих подданных. Но соединяться вместе для самозащиты — этого нельзя!» Вот в каком смысле республика называла себя «единой и нераздельной».

И разве не так же думает и современный социалист-якобинец? Разве Конвент, с присущей ему свирепой логикой, не выразил сущности его мыслей?

В этом ответе Конвента выразилось отношение всякого государства ко всем сообществам, ко всем частным организациям, каковы бы ни были их цели.

Что касается стачки в России, она и теперь еще считается преступлением против государства. В значительной степени то же можно сказать и о Германии, где император Вильгельм еще недавно говорил углекопам: «Обращайтесь ко мне; но если вы когда-нибудь посмеете действовать в своих интересах сами, вы скоро познакомитесь со штыками моих солдат!»

То же самое почти всегда происходит и во Франции. И даже в Англии только после столетней борьбы путем тайных обществ, путем кинжала, пускаемого в ход против предателя и хозяина, путем подкладывания пороха под машины (не дальше как в 1860 г.), наждака в подшипники и т. п. английским рабочим почти удалось добиться права стачек. Они скоро добьются его окончательно, если только не попадутся в ловушку, уже расставленную им государством, которое хочет навязать им обязательное посредничество в столкновениях с хозяевами в обмен на закон о восьмичасовом рабочем дне.

Больше ста лет ужасной борьбы! И сколько страданий, сколько рабочих умерло в тюрьмах, сколько сослано в Австралию, убито, повешено! И все это для того, чтобы вернуть себе то право соединяться в союзы, которое повторяю опять — составляло достоинство каждого человека, свободного или крепостного, в те времена, когда государство еще не успело наложить свою тяжелую руку на общество [38].

Но разве только одни рабочие подверглись

этой участи? Вспомните о той борьбе, которую пришлось выдержать с государством буржуазии, чтобы добиться права образовывать торговые общества, — права, которое государство предоставило ей только тогда, когда увидело в таких обществах способ создавать монополии в пользу своих служителей и пополнять свою казну. А борьба за то, чтобы сметь говорить, писать или даже думать не так, как велит государство посредством своих академий, университетов и церкви! А борьба, которую пришлось выдержать за то, чтобы иметь право учить детей хотя бы только грамоте, — право, которое государство оставляет за собой и которым оно не пользуется! А право даже веселиться сообща? — уже не говорю о выборных судьях или о том, что в средние века человеку очень часто предоставлялось самому выбирать, у какого судьи он желает судиться и по какому закону.

И я не говорю также о той борьбе, которая еще предстоит нам, прежде чем наступит день, когда будет сожжена книга возмутительных наказаний, порожденных духом инквизиции и восточных деспотий, — книга, из-

вестная под названием Уголовного Закона!

Или посмотрите на систему налогов — учреждение чисто государственного происхождения, являющееся могучим орудием в руках государства, которое пользуется им как во всей Европе, так и в молодых республиках Соединенных Штатов Америки, для того чтобы держать под своей пятою массы населения, доставлять выгоды своим сторонникам, разорять большинство в угоду правящему меньшинству и поддерживать старые общественные деления, старые касты.

Подумайте затем о войнах, без которых государство не может ни образоваться, ни существовать, — войны, которые делаются фатальными, неизбежными, как только мы допустим, что известная местность (только потому, что она составляет одно государство) может иметь интересы, противоположные интересам соседних местностей, составляющих часть другого государства. Подумайте только о прошлых войнах и будущих, которые грозят нам и которые покоренные народы принуждены будут вести, чтобы завоевать себе право дышать свободно; о войнах за торговые рын-

ки, о войнах для создания колониальных империй. А мы все знаем слишком хорошо во Франции, какое рабство несет с собой война, все равно, кончается ли она победой или поражением.

Но из всех перечисленных мною зол едва ли не самое худшее — это воспитание, которое нам дает государство как в школе, так и в последующей жизни. Государственное воспитание так извращает наш мозг, что само понятие о свободе в нас исчезает и заменяется понятиями рабскими.

Грустно видеть, как глубоко многие из тех, которые считают себя революционерами, глубоко ненавидят анархистов только потому, что анархическое понятие о свободе не укладывается в то узкое и мелкое представление о ней, которое они почерпнули из своего проникнутого государственным духом воспитания. А между тем нам приходится встречаться с этим на каждом шагу.

Зависит это от того, что в молодых умах всегда искусно развивали, и до сих пор развивают, дух добровольного рабства, с целью упрочить навеки подчинение подданного го-

сударству. Философию, проникнутую любовью к свободе, всячески стараются задушить ложною религиозно-государственною философией. Историю извращают, начиная уже с самой первой страницы, где рассказывают басни о меровингских, каролингских и рюриковских династиях, и до самой последней, где воспевается якобинство, а народ и его роль в создании общественных учреждений обходятся молчанием. Даже естествознание ухитряются извратить в пользу двуголового идола, церкви и государства; а психологию личности, и еще больше общества, искажают на каждом шагу, чтобы оправдать тройственный союз — из солдата, попа и палача. Даже теория нравственности, которая в течение целых столетий проповедовала повиновение церкви или той или другой якобы священной книге, освобождается теперь от этих пут только затем, чтобы проповедовать повиновение государству. «У вас нет никаких прямых обязанностей по отношению к вашему ближнему, в вас нет даже чувства взаимности; все ваши обязанности — обязанности по отношению к государству; без государства вы пере-

грызли бы друг другу горло, — учит нас эта новая религия, называющая себя »научною«, в то время как она молится все тому же престарому римскому и кесарскому божеству. — Сосед, друг, общинник, согражданин, ты должен забыть все это! Ты должен сноситься с другими не иначе как через посредство одного из органов твоего государства. И все вы должны упражняться в одной добродетели: учиться быть рабами государства. Государство — твой бог!»

И это прославление государства и дисциплины, над которыми трудятся и церковь, и университет, и печать, и политические партии, производится с таким успехом, что даже революционеры не смеют смотреть этому новому идолу прямо в глаза.

Современный радикал — централист, государственник и якобинец до мозга костей. По его же стопам идут и социалисты. Подобно флорентийцам конца XV столетия, которые отдались в руки диктатуры государства, чтобы спастись от деспотизма патрициев, современные социалисты не находят ничего лучшего, как призвать тех же богов — ту же дик-

татуру, то же государство, чтобы спастись от гнусностей экономической системы, созданной тем же государством!

Если вы вникнете глубже во все разнообразные факты, которых мы могли лишь поверхностно коснуться в этом кратком очерке; если вы посмотрите на государство, каким оно явилось в истории и каким, по существу своему, оно продолжает быть и теперь; если вы убедитесь, как убедились мы, что общественное учреждение не может служить безразлично всем желаемым целям, потому что, как всякий орган, оно развивается посредством того, что оно выполняет ради одной известной цели, а не ради всех возможных целей — вы поймете, почему мы неизбежно приходим к заключению о необходимости уничтожения государства.

Мы видим в нем учреждение, которое, развиваясь в течение всей истории человеческих обществ, служило для того, чтобы мешать всякому прямому союзу людей между собою, чтобы препятствовать развитию местного почину и личной предприимчивости, душить уже существующие вольности и ме-

шать возникновению новых, и все это — чтобы подчинить народные массы ничтожному меньшинству. И мы знаем, что учреждение, которое прожило уже несколько столетий и прочно сложилось в известную форму ради того, чтобы выполнить такую роль в истории, уже не может быть приноровлено к роли противоположной.

Что же нам говорят в ответ на этот довод, неопровержимый для всякого, кто только задумывался над историей?

Нам противопоставляют возражение почти детское: «Государство уже есть; оно существует и представляет готовую и сильную организацию. Зачем же разрушать ее, если можно ею воспользоваться? Правда, теперь она вредна, но это потому, что она находится в руках эксплуататоров. А раз она попадет в руки народа, почему же не послужить для благой цели, для народного блага?»

Это — все та же мечта маркиза Позы в драме Шиллера, пытавшегося превратить самодержавие в орудие освобождения, или мечта аббата Фромана в романе Золя «Рим», пытающегося сделать из католической церкви ры-

чаг социализма!..

Не грустно ли, что приходится отвечать на такие доводы? Ведь те, кто рассуждает таким образом, или не имеют ни малейшего понятия об истинной исторической роли государства, или же представляют себе социальную революцию в таком жалком и ничтожном виде, что она не имеет ничего общего с социалистическими стремлениями.

Возьмем как живой пример Францию.

Всем нам, мыслящим людям, известен тот поразительный факт, что третья республика во Франции, несмотря на свою республиканскую форму, остается по существу монархической. Все мы упрекаем ее за то, что она оказалась неспособной сделать Францию республиканской; я уже не говорю о том, что она ничего не сделала для социальной революции: я хочу только сказать, что она даже не внесла республиканских нравов и республиканского духа. В самом деле, ведь все то немногое, что действительно было сделано в течение последних двадцати пяти лет для демократизации нравов или для распространения просвещения, делалось повсюду, даже и в европей-

ских монархиях, под давлением духа того времени, которое мы переживаем.

Откуда же явился во Франции этот странный государственный строй республиканская монархия?

Происходит он оттого, что Франция была и осталась государством в той же мере, в какой она была сорок лет тому назад. Держатели власти переменили свое имя, но все это огромное чиновничье здание, созданное во Франции по образцу императорского Рима, осталось.

Вся эта ужасная централизованная организация, созданная для того, чтобы обеспечить и увеличить эксплуатацию народных масс в пользу нескольких привилегированных масс, и составляющая самую сущность государства, осталась; колеса этого громадного механизма продолжают по-прежнему обмениваться пятьюдесятью бумагами каждый раз, когда ветром снесет дерево на большой дороге, и миллионы, собранные с народа, продолжают сыпаться в карманы привилегированных. Штемпель на бумагах изменился; но государство, его дух, его органы, его территориальная

централизация и централизация действий, его фаворитизм, т.е. покровительство «своим», его роль создателя монополий — остались без перемены. Мало того: как всякие паразиты, они день ото дня все больше и больше расползаются по всей стране.

Республиканцы — по крайней мере искренние — долго льстили себя надеждой, что им «удастся» воспользоваться государственной организацией для того, чтобы произвести перемену в республиканском смысле; мы видим теперь, как они ошиблись в расчетах.

Вместо того чтобы уничтожить старую организацию, уничтожить государство и создать новые формы объединения, исходя из самых основных единиц каждого общества — из сельской общины, свободного союза рабочих и т.д., — они захотели «воспользоваться старой, уже существующей организацией». И за это непонимание той истины, что историческое учреждение нельзя заставить по произволу работать то в том, то в другом направлении, что оно имеет свой собственный путь развития, которым оно шло в течение веков, — они поплатились тем, что были сами

поглощены этим учреждением.

А между тем здесь дело еще не шло об изменении всех экономических отношений общества, как это ставим мы: их вопрос был лишь в изменении некоторых политических отношений между людьми! И это даже оказалось невозможно!

И несмотря на эту полную неудачу, несмотря на такой жалкий результат, нам все еще с упорством продолжают повторять, что завоевание государственной власти народом будет достаточно для совершения социальной революции! Нас хотят уверить, несмотря на все неудачи, что старая машина, старый организм, медленно выработавшийся в течение хода истории с целью убивать свободу, поработать личность, подыскивать для притеснения законное основание, создавать монополии, отуманивать человеческие умы, постепенно приучая их к рабству мысли, — вдруг окажется пригодным для новой роли, вдруг явится и орудием, и рамками, в которых каким-то чудом создастся новая жизнь... водворится свобода и равенство на экономическом основании, исчезнут монополии, на-

ступит пробуждение общества и завоевание им лучшего будущего! Какая печальная, трагическая ошибка!..

Какая нелепость! Какое непонимание истории! Чтобы дать простор широкому росту социализма, нужно вполне перестроить все современное общество, основанное на узком лавочническом индивидуализме. Вопрос не только в том, чтобы, как иногда любили выражаться на метафизическом языке, «возвратить рабочему целиком весь продукт его труда», но в том, чтобы изменить самый характер всех отношений между людьми, начиная с отношений отдельного обывателя к какому-нибудь церковному старосте или начальнику станции и кончая отношениями между различными ремеслами, деревнями, городами и областями. На каждой улице, во всякой деревушке, в каждой группе людей, сгруппировавшихся около фабрики или железной дороги, должен проснуться творческий, созидательный и организационный дух, — для того чтобы и на фабрике, и на железной дороге, и в деревне, и в лавке, и в складе продуктов, и в потреблении, и в производстве, и в распреде-

лении все перестроилось по-новому. Все отношения между личностями и человеческими группами должны будут подвергнуться перестройке с того самого часа, когда мы решимся дотронуться впервые до современной общественной организации, до ее коммерческих или административных учреждений.

И вот эту-то гигантскую работу, требующую свободной деятельности народного творчества, хотят втиснуть в рамки государства, хотят ограничить пределами пирамидальной организации, составляющей сущность государства! Из государства, самый смысл существования которого заключается, как мы видели, в подавлении личности, в уничтожении всякой свободной группировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому личному почину и в торжестве одной идеи, которая по необходимости должна быть идеей посредственности, из этого-то механизма хотят сделать орудие для выполнения гигантского превращения!.. Целым общественным обновлением хотят управлять путем указов и избирательного большинства!.. Какое ребячество!

Через всю историю нашей цивилизации проходят два течения, две враждебные традиции: римская и народная, императорская и федералистская, традиция власти и традиция свободы.

И теперь, накануне великой социальной революции, эти две традиции опять стоят лицом к лицу.

Которое нам выбрать из этих двух всегда борющихся в человечестве течений — течение народное или течение правительственного меньшинства, стремящегося к политическому и религиозному господству, — сомнения быть не может. Наш выбор сделан.

Мы присоединяемся к тому течению, которое еще в XII веке приводило людей к организации, построенной на свободном соглашении, на свободном почине личности, на вольной федерации тех, кто нуждается в ней. Пусть другие стараются, если хотят, цепляться за традиции канонического и императорского Рима!

История не представляет одной непрерывной линии развития. По временам развитие останавливалось в одной части света, а затем

возобновлялось в другой. Египет, Азия, берега Средиземного моря, Центральная Европа поочередно пребывали очагами исторического развития. И каждый раз развитие начиналось с первобытного племени; затем оно переходило к сельской общине; затем наступал период вольных городов и, наконец, период государства, во время которого развитие продолжалось некоторое время, но затем вскоре замирало.

В Египте цивилизация началась в среде первобытного племени, достигла ступени сельской общины; потом пережила период вольных городов и позднее приняла форму государства, которое, после временного процветания, привело к смерти страны.

Развитие снова началось в Ассирии, в Персии, в Палестине. Снова оно прошло через те же ступени — первобытного племени, сельской общины, вольного города, всесильного государства, и затем опять наступила — смерть!

Новая цивилизация возникла в Греции. Опять начавшись с первобытного племени, медленно пережив сельскую общину, она

вступила в период республиканских городов. В этой форме греческая цивилизация достигла своего полного расцвета. Но вот с Востока на нее повеяло ядовитым дыханием восточных деспотических традиций.

Войны и победы создали Македонскую империю Александра. Водворилось государство и начало сосать жизненные соки из цивилизации, пока не настал тот же конец — смерть!

Образованность перенеслась тогда в Рим. Здесь мы опять видим зарождение ее из первобытного племени; потом сельскую общину и затем вольный город. Опять в этой форме Римская цивилизация достигла своей высшей точки. Но затем явилось государство, империя и с нею конец — смерть!

На развалинах Римской империи цивилизация возродилась среди кельтских, германских, славянских и скандинавских племен. Медленно вырабатывало первобытное племя свои учреждения, пока они не приняли формы сельской общины. На этой ступени они дожили до XII столетия. Тогда возникли республиканские вольные города, породившие тот славный расцвет человеческого ума, о ко-

тором свидетельствуют нам памятники архитектуры, широкое развитие искусств и открытия, положившие основания нашему естествознанию. Но затем, в XVI веке, явилось на сцену государство и... неужели опять смерть?

Да, смерть — или возрождение! Смерть, если мы не сумеем перестроить общество на свободном, противогосударственном фундаменте.

Одно из двух. Или государство раздавит личность и местную жизнь; завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет с собою войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов, и как неизбежный конец — смерть!

Или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче и тысяче центров, на почве энергической, личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения.

Выбирайте сами!

4. СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

I. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Для нас особенно важно разобраться в отличительных чертах современного общества и государства, чтобы определить, куда мы идем, что нами уже приобретено теперь и что мы надеемся завоевать в будущем.

Общество, в настоящем его виде, конечно, не является результатом какого-нибудь основного начала, логически развитого и приложенного ко всем потребностям жизни. Как всякий живой организм, общество представляет собой, наоборот, очень сложный результат тысячи столкновений и тысячи соглашений, вольных и невольных, множества пережитков старого и молодых стремлений к лучшему будущему.

Подчиненный язычеству и духовенству дух древности, рабство, империализм, крепостничество, средневековая община, старые предрассудки и современный дух — все это представлено в теперешнем обществе, более или менее, со всеми оттенками, под всеми

формами всевозможных оттенков. Тени прошлого и облики будущего, обычаи и понятия, сохранившиеся еще от каменного века, и стремления к будущему, еле обрисовывающемуся на горизонте, — все это существует в нем в состоянии постоянной борьбы в каждом человеке, в каждом общественном слое и в каждом поколении, как и во всем обществе, взятом в целом.

Однако если мы посмотрим на крупные столкновения и великие народные революции, совершившиеся в Европе начиная с XII столетия, мы увидим, что в них выражается одно стремление. Все эти восстания были направлены на разрушение того, что осталось в виде пережитка от древнего рабства в более мягкой форме — против крепостного права. Все они имели целью освобождение или крестьян, или горожан, или тех и других от принудительного труда, который был навязан им силой закона в пользу тех или других господ. Признать за человеком право располагать своею личностью и работать над тем, что он хочет и сколько он хочет, без того чтобы кто-либо имел право принуждать его к этому, —

иначе говоря, освободить личность крестьянина и ремесленника, такова была цель всех народных революций: великого восстания коммун XII в., крестьянских войн в XV-XVI вв., в Богемии, Германии и Голландии, революций 1381 г. и 1648 г. в Англии и, наконец, Великой Революции во Франции.

Правда, что эта цель была достигнута только отчасти. По мере того как человек освобождался и завоевывал себе личную свободу, новые экономические условия навязывались ему, чтобы урезать его свободу, выковать для него новые цепи и угрозой голода подвести его под ярмо. Мы видели недавно пример в наши дни, когда русские крепостные, освобожденные в 1861 г., очутились в положении, при котором им пришлось дорогой ценой выкупать земли, которые они обрабатывали руками в течение многих веков, что привело их к упадку и нищете, и таким образом их порабощение было восстановлено. То, что происходило в России в наше время, было также и прежде в том или ином виде везде в Западной Европе. Когда физическое принуждение исчезало вследствие восстания или револю-

ции, то устанавливались новые формы того же принуждения. Личное рабство было уничтожено, но порабощение возникало в новой форме экономической форме.

И, однако, несмотря на все господствующее начало современного общества, есть начало личной свободы, провозглашенное — по крайней мере в теории — для каждого члена общества. Согласно букве закона, труд не является более принудительным ни для кого. Нет более класса рабов, принужденных работать для своих господ; и в Европе, по крайней мере, нет более крепостных, обязанных отдавать своему господину три дня работы в неделю в обмен на кусок земли, к которому они оставались прикованными всю их жизнь. Каждый волен работать, если он хочет, сколько хочет и что он хочет, — таков — по крайней мере в теории — основной принцип современного общества.

Мы знаем, однако, — и социалисты всех оттенков не перестают доказывать это каждый день, — насколько эта свобода кажущаяся. Миллионы и миллионы людей, женщин и детей постоянно принуждаются под угрозой го-

лода продать свою свободу, отдать свой труд хозяину на тех условиях, на которых он пожелает заставить их работать. Мы знаем — и мы стараемся ясно показать это народным массам, — что под формой аренды, найма и процента, платимых капиталисту, рабочий и крестьянин продолжают отдавать нескольким господам вместо одного господина те же три дня работы в неделю; очень часто даже больше, чем три дня в неделю, только бы получить право обрабатывать землю или даже жить хоть где-нибудь под защитой крова.

Мы знаем также, что если господа экономисты дадут себе труд заняться, однажды, случайно, политической экономией и вычислят все, что различные господа (хозяин, капиталист, посредники, землевладелец и так далее, не говоря о государстве) берут прямо или косвенно из заработной платы рабочего, то мы будем поражены скудной долей, которая остается рабочему для оплаты труда тех других работников, чьи продукты труда он потребляет: для уплаты крестьянину, выращивающему хлеб, который он ест; каменщику, строящему дом, в котором он живет; тем,

кто сделал его мебель, платье и так далее. Мы были бы поражены, видя, как мало возвращается всем этим работникам, которые производят все, что потребляет рабочий, по сравнению с громадной долей, которая идет баронам современного феодализма.

Заметьте, что это ограбление рабочего не делается более одним господином, сидящим законно на шее у каждого работника. Для этого существует механизм, чрезвычайно сложный, безличный и неответственный. Как и в прежнее время, рабочий отдает значительную часть своего труда привилегированным; но он более не делает этого под кнутом господина. Принуждение перестало быть телесным. Его выбросят на мостовую, его заставят жить в конуре, умирать с голоду, видеть, как его дети гибнут от истощения, побираться милостыней в старости; но его не разложат в полицейском участке на скамье, чтобы высечь за скверно сшитое платье или плохо обработанное поле, как это делалось еще при нашей жизни в Восточной Европе, а раньше практиковалось везде в Европе.

При теперешнем режиме, часто более же-

стоком и более неумолимом, чем старый режим, человек сохраняет, однако, чувство личной свободы. Мы знаем, что это чувство — почти иллюзия, самообман для пролетария. Но мы должны признать, что весь современный прогресс и все наши надежды на будущее еще основываются на этом чувстве свободы, как бы ограничена она ни была в действительности.

Самый несчастный из босоногих нищих в самый черный момент его несчастий не согласится поменять своей постели из камней под сводом моста на тарелку супа, которая давалась бы ему каждый день, но с цепью рабства на шее. Более того. Это чувство, это требование личной свободы так дороги современному человеку, что мы постоянно видим, как целые массы рабочих терпят голод месяцами и идут с голыми руками на штыки государства, чтобы только удержать известные завоеванные права.

В самом деле, самые упорные стачки и самые отчаянные восстания происходили из-за вопросов о свободе, о завоеванных правах, — более чем из-за вопросов о заработной плате.

Таким образом, право работать над тем, чего хочет человек и сколько хочет, остается принципом современного общества. И самое сильное обвинение, которое мы выдвигаем против современного общества, состоит в том, что эта свобода, столь дорогая сердцу рабочего, остается все время воображаемой и призрачной благодаря тому, что он вынужден продавать свою силу капиталисту; так что современное государство есть могучее орудие для удержания рабочего в таком вынужденном положении; и достигает оно этого при помощи привилегий и монополий, которые оно постоянно дает одному классу граждан, к невыгоде и в ущерб рабочему. В самом деле, теперь начинают понимать, что принцип личной свободы, который так дорог всем завоевавшим ее и на котором все пришли к соглашению, ловко обходится благодаря целому ряду монополий; что те, кто ничем не владеет, делаются рабами тех, кто владеет, раз они вынуждены принимать условия владельца земли или фабрики, чтобы иметь возможность работать; что таким образом они платят богачам — всем богачам — громадную

дань, благодаря монополиям, созданным в пользу богатых. Народ нападает на монополии не затем, чтобы помешать праздности, какую они дают привилегированным классам, но вследствие того господства над рабочим классом, которое они обеспечивают.

Серьезный упрек, который мы ставим современному обществу, состоит не в том, что оно пошло по ложной дороге, провозглашая, что отныне каждый будет работать над тем, что он хочет и сколько хочет. Мы его упрекаем в том, что оно создало такие условия собственности, которые не позволяют рабочему работать над тем, что он хочет и сколько хочет. Мы считаем это общество ненормальным и несправедливым, потому что, провозгласив начало личной свободы, оно поместило работника полей и фабрик в такие условия, которые уничтожают это начало; потому что оно низводит рабочего до состояния замаскированного рабства, до состояния человека, которого нищета заставляет работать для обогащения хозяев и для увековечения самому своего рабского состояния, — заставляет самого ковать себе свои цепи.

Но если так — если право «работать над тем, что хочешь и сколько хочешь» действительно дорого современному человеку; если всякая форма принудительного и рабского труда ему противна; если личная свобода для него важнее всего, — то ясно, что должен делать революционер.

Он отбросит всякие формы скрытого и замаскированного рабства. Он будет стремиться к тому, чтобы эта свобода не была пустым словом. Он постарается узнать, что мешает рабочему быть действительно единственным господином своих способностей и своих рук; и он будет работать над тем, чтобы разбить эти препятствия, — если нужно, силой. Но он будет остерегаться в то же время ввести новые препятствия, которые, увеличивая, может быть, его благосостояние, снова доведут человека до того, что он потеряет свою свободу.

Посмотрим же, что это за препятствия, которые в современном обществе обрезали свободу рабочего и сделали его рабом.

II. РАБЫ ГОСУДАРСТВА

Никто не может быть принужден по закону работать на другого. Такова, сказали мы, основа современного общества, завоеванная рядом революций. И те среди нас, кто знал крепостное право в первой половине последнего века или только видели его следы [39], те из нас, кто знал отпечаток, оставленный этим учреждением на физиономии всего общества, — те поймут с одного слова важность перемены, произведенной окончательной отменой легального крепостного права. Но если законной обязанности работать для другого более не существует среди частных лиц, то государство сохраняет за собой до сего времени право налагать на своих подданных обязательный труд. Более того. По мере того как отношения господина и раба исчезают в обществе, государство расширяет все более и более свое право на принудительный труд граждан; так что права современного государства заставили бы покраснеть от зависти законников XV и XVI вв., которые старались тогда обосновать королевскую власть.

Теперь государство налагает, например, на всех граждан обязательное обучение. Вещь в

сущности прекрасная, если смотреть на нее с точки зрения права ребенка идти в школу, когда родители хотят удержать его дома для работы, посылают работать на фабрику или даже учиться у невежественной монахини. Но в действительности — во что превратилось теперь обучение, даваемое в первоначальной школе? Ребенку набивают голову целой кучей учений, сочиненных именно для того, чтобы обеспечить право государства над гражданином; чтобы оправдать монополии, даваемые государством над целыми классами граждан; чтобы провозгласить как святую святых права богатого эксплуатировать бедного и делаться богатым благодаря этой бедности; чтобы внушить детям, что судебное преследование, производимое обществом, есть высшая справедливость и что завоеватели были величайшие люди человечества. Но что говорить! Государственное обучение, достойное наследие иезуитского воспитания, есть усовершенствованный способ убить всякий дух личного почина и независимости и научить ребенка рабству мысли и действия.

А когда ребенок вырастет, государство

явится за тем, чтобы принудить его к обязательной воинской повинности, и предпишет ему, кроме того, различные работы для коммуны и для государства, в случае нужды. Наконец, при помощи налогов оно заставит каждого гражданина произвести громадную массу работы для государства, а также для фаворитов государства, все время заставляя его думать, что это он сам добровольно подчиняется государству, что это он сам распоряжается через своих представителей деньгами, поступающими в государственную казну.

Таким образом, здесь провозглашен новый принцип. Личного рабства более не существует. Нет более рабов государства, как было раньше в течение прошедших веков, даже во Франции и Англии. Король не может более приказывать десяти или двадцати тысячам своих подданных являться к нему для постройки крепостей или для разбивки садов и возведения дворцов в Версале, несмотря на «чудовищную смертность среди рабочих, которых каждую ночь увозят, навалив полные телеги трупов», как писала мадам де Севинье. Дворцы в Виндзоре, Версале и Петергофе не

строятся более путем принудительных работ. Теперь государство требует всех этих услуг от подданных путем налогов под предлогом производства полезных работ, охраны свободы граждан и увеличения их богатств.

Мы готовы первые радоваться уничтожению бывшего рабства и засвидетельствовать, насколько это важно для общего прогресса освободительных идей. Быть притащенным из Нанси или Лиона в Версаль, чтобы строить там дворцы, предназначенные для увеселения фаворитов короля, было гораздо тяжелее, чем платить такую-то сумму налогов, представляющую столько-то дней работы, хотя бы даже эти налоги были потрачены на бесполезные или даже вредные для народа работы. Мы более чем признательны деятелям 1793 г. за то, что они освободили Европу от принудительного труда.

Но тем не менее верно, что по мере того как освобождение от личных обязательств человека по отношению к человеку завершилось в течение XIX в., обязательства по отношению к государству все продолжали расти. Каждые десять лет они увеличивались в чис-

ле, разнообразии и количестве труда, требуемого государством от каждого гражданина. К концу XIX в. мы видим даже, что государство вновь берет себе право на принудительный труд. Оно налагает, например, на железнодорожных рабочих (недавний закон в Италии) обязательный труд в случае стачки; и это — не что иное, как прежний принудительный труд в пользу больших акционерных компаний, владеющих железными дорогами. А от железной дороги до рудника и от рудника до фабрики — не более чем один шаг. И раз будет признан предлог общественного блага или даже только общественной необходимости или общественной полезности, то нет более границ для власти государства.

Если с углекопами или со служащими железных дорог еще не обращаются, как с увеличенными в государственной измене, каждый раз, как они начинают забастовку, и если их не вешают направо и налево, то это единственно потому, что необходимость в этом еще не чувствуется. Считают более удобным воспользоваться угрожающими жестами нескольких стачечников, чтобы расстрелять

толпу в упор и послать вожakov на каторгу. Это делается теперь постоянно и в республиках, и в монархиях.

До сих пор довольствовались «добровольным подчинением». Но в тот день, когда почувствовали в Италии необходимость в этом или, вернее, страх такой необходимости, парламент не поколебался ни одной минуты голосовать карательный закон, хотя железные дороги в Италии остаются еще в руках частных компаний. Для «себя», во имя «общественного блага» государство, конечно, не поколеблется сделать даже с большей суровостью то, что оно уже сделало для своих любимцев, для акционерных компаний. Оно уже сделало это в России. А в Испании оно доходит даже до пыток, чтобы охранять монополистов. Действительно, после ужасных пыток, применявшихся в 1907 г. в Монтжуйской тюрьме, пытка стала снова в Испании учреждением на пользу нынешних любимцев государства — владельцев финансовых фирм.

Мы идем так быстро в этом направлении, и вторая половина XIX века, воодушевленная тем, что подсказывали привилегированные

фавориты правительства, так далеко зашла в направлении централизации, что если мы не примем мер предосторожности, то в скором времени мы увидим, что стачечников и забастовщиков и всех недовольных не только будут расстреливать как мятежников и грабителей, но будут гильотинировать или ссылать в болотистые, вредные для здоровья места в какой-нибудь колонии только за то, что они не выполнили общественной службы.

Так делают в армии и так будут делать в рудниках. Консерваторы уже громко требовали этого в Англии.

Вообще, не надо обманываться. Два великих движения, два больших течения мысли и действия характеризовали XIX век. С одной стороны, мы видели борьбу против всех следов древнего рабства. Мало того что армии первой французской республики прошли через всю Европу, уничтожая крепостное право, но когда эти армии были изгнаны из стран, которые они освободили, и когда там было восстановлено крепостное право, то оно не могло продержаться долго. Веянье революции 1848 г. унесло его окончательно из Запад-

ной Европы; а в 1861 г. оно, как мы знаем, было уничтожено в России и 17 лет спустя на Балканах.

Более того. В каждой нации человек работал для утверждения своих прав на личную свободу. Он освободился от предрассудков относительно дворянства, королевской власти и высших классов: и путем тысячи и тысячи маленьких восстаний, произведенных в каждом углу Европы, человек утвердил, посредством созданных им же обычаев, свое право считаться свободным.

С другой стороны, все умственное движение века: поэзия, роман, драма, как только они перестали быть простой забавой для праздных, носили тот же характер. Беря Францию, вспомним о Викторе Гюго, о Евгении Сю в его «Тайнах народа» («Mysteres du peuple»), Александре Дюма (отце, конечно) в его истории Франции, написанной в романах, о Жорж Занде и т.д.; далее, о великих конспираторах Барбесе и Бланки, об историках, как Огюстен Тьерри, Сисмонди, Мишле, о публицистах, как П. Л. Куррье; наконец, о реформаторах-социалистах: Сен-Симоне, Фурье, Кон-

сидеране, Луи Блане и Прудоне и, наконец, об основателе позитивной философии Опосте Конте. Все они выразили в литературе движение мысли, которое происходило в каждом углу Франции, в каждой семье, в каждом мыслящем человеке, чтобы освободить человека от нравов и обычаев, оставшихся от эпохи личной власти человека над человеком. И что происходило во Франции, происходило везде, более или менее, чтобы освободить человека, женщину, ребенка от обычаев и идей, установленных веками рабства.

Но рядом с этим великим освободительным движением развивалось в то же время и другое, которое, к несчастью, также вело свое происхождение от Великой Революции. Оно имело свою цель — развить всемогущество государства во имя неопределенного, двусмысленного выражения, которое открывало дверь не только всем лучшим намерениям, но также и тщеславию и вероломству — во имя общественного блага.

Происходя от эпохи, когда церковь стремилась завоевать души человеческие, чтобы вести их к спасению, и перейдя в наследие на-

шей цивилизации от Римской империи и римского права, идея всемогущества государства молча усиливалась и прошла громадный путь в течение последней половины XIX в.

Сравните только обязанность военной службы в той форме, как она существует сейчас, в наши дни, с тем, что она была в прошедшие века, — и вы будете поражены тем, насколько выросла эта обязанность по отношению к государству, под предлогом равенства.

Никогда крепостной в средние века не позволял лишать себя человеческих прав до такой степени, как современный человек, который отказывается от них добровольно, просто по духу добровольного рабства. В двадцать лет, то есть в возрасте, когда человек жаждет свободы и склонен даже «злоупотреблять» этой свободой, молодой человек смиренно позволяет запереть себя на два или три года в казарму, где он разрушает свое физическое, умственное и моральное здоровье. Почему? Зачем?.. Затем, чтобы изучить ремесло, которое швейцарцы изучают в шесть недель, а буры изучили лучше, чем европейские армии, в

процессе работы по расчистке девственной земли, объезжая свои прерии верхом.

Он не только рискует своею жизнью, но в своем добровольном рабстве он идет дальше, чем раб. Он позволяет своим начальникам контролировать его любовные дела, он бросает свою любимую женщину, дает обет целомудрия и гордится тем, что повинуется, как автомат, своим начальникам, хотя он не может ни судить, ни знать их военные таланты, ни даже их честность. Какой крепостной в средние века, кроме разве прислуги, следовавшей за военными сзади с обозом, согласился бы идти на войну на таких условиях, которым современный крепостной, одурелый от идеи дисциплины, подчиняется по своей доброй воле? Да что говорить! Крепостные рабы XX в. подчиняются даже ужасам и безобразиям исправительного батальона в Африке (Бириби) без всякого протеста с своей стороны!

Когда же крепостные — крестьяне и ремесленники — отказывались от права противопоставлять свои тайные общества таким же обществам своих господ и защищать силой

оружия свое право соединяться в союзы и общества? Было ли в средние века такое черное время, когда народ городов отказался бы от своего права судить своих судей и бросить их в реку, когда он не одобрял бы их приговоров? И когда, даже в самые темные времена притеснений в древности, видно было, чтобы государство имело полную возможность возвращать своей школьной системой все народное образование, от первоначального обучения и до университета? Макиавелли страстно желал этого, но вплоть до XIX в. его мечтания не были осуществлены!

Одним словом, в первой половине XIX в. имелось громадное прогрессивное движение, стремившееся к освобождению личности и мысли; и такое же громадное регрессивное движение взяло верх над предыдущим во второй половине века и теперь стремится восстановить старую зависимость, но уже по отношению к государству: увеличить ее, расширить и сделать ее добровольной! Такова характерная черта нашего времени.

Но это относится только к прямым обязанностям. Что же касается обязанностей непрямых

МЫХ, ВВОДИМЫХ ПОСРЕДСТВОМ НАЛОГОВ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ МОНОПОЛИЙ, ТО ХОТЯ ОНИ НЕ СРАЗУ БРОСАЮТСЯ В ГЛАЗА, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ВСЕ ВРЕМЯ РАСТУТ И СТАНОВЯТСЯ СТОЛЬ УГРОЖАЮЩИМИ, ЧТО НАСТАЛО УЖЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ИХ ИЗУЧЕНИЕМ.

III. НАЛОГ — СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ МОГУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВА

Если государство при помощи воинской повинности, народного образования, которым оно управляет в интересах богатых классов, при помощи церкви и тысячи своих чиновников обладает уже колоссальной властью над своими подданными, то эта власть еще усиливается при помощи налогов.

Безвредный вначале, даже может быть благословляемый самими плательщиками, когда он заменил принудительные работы, налог становится ныне все более и более тяжелым бременем. Теперь налог — могучее орудие, обладающее тем большей силой, что он скрывается под тысячью форм и что правители сознают его силу и способность управлять всю экономическую и политическую жизнь общества в интересах правящих и

богатых классов. Ибо те, кто стоят у власти, пользуются теперь налогами не только затем, чтобы получать свои жалованья, но в особенности затем, чтобы создавать и разрушать состояния, накапливать громадные богатства в руках немногих привилегированных, чтобы создавать монополии, разорять народ и поработать его богатым; и все это происходит так, что плательщики и не догадываются даже о той власти, которую они дали в руки своему правительству.

— Но что же может быть более справедливо, чем налог, — скажут нам, конечно, защитники государства.

— Вот, например, — скажут нам, — мост, построенный жителями такой-то общины. Река, вздущаяся от дождей, готова унести этот мост, если его сейчас же не перестроят. Разве не естественно и не справедливо призвать всех жителей общины к работам по перестройке моста? А так как у большинства жителей есть свои дела, то разве не разумно заменить личную работу каждого, то есть неопытный, вынужденный труд, налогом, который позволит призвать рабочих и инжене-

ров-специалистов?

Или вот ручей, который в половодье становится непроходимым. Почему жители соседних общин не возьмутся за постройку моста через него? Почему им не заплатить по столько-то с головы, вместо того чтобы приходиться самим и работать лопатами для исправления канавы или для мощения дороги? Или — зачем строить самим хлебный магазин, куда каждый житель должен будет сложить по столько-то хлеба в год на случай недорода, когда вместо этого можно предоставить государству заботиться о прокормлении во время голода, платя ему за то небольшой налог?

Все это кажется столь естественным, справедливым и разумным, что самый упрямый индивидуалист не имеет ничего возразить против этого — при том условии, конечно, что известное равенство условий существует в общине.

И, приводя все больше и больше подобных примеров, экономисты и защитники государства вообще спешат сделать заключение, что налог справедлив, желателен со всех точек зрения и... «Да здравствует налог!»

И все-таки все эти рассуждения ложны и неверны. Ибо если некоторые общинные налоги действительно ведут свое происхождение из общинного труда, произведенного сообща, то вообще налог или, скорее, многочисленные и громадные налоги, которые мы платим государству, имеют своим источником совсем другое происхождение, а именно завоевание.

Восточные монархии и позднее императорский Рим налагали принудительные работы именно на завоеванные народы. Римский гражданин был освобожден от этой обязанности и перелagal ее на народы, подчиненные его владычеству. И вплоть до Великой Революции (а отчасти и до наших дней) предполагаемые потомки расы завоевателей (римской, германской, нормандской), то есть «так называемые благородные дворяне», были избавлены от налогов. Мужики, черная кость, завоеванные белою костью, фигурировали одни на месте тех, кто подлежит принудительному труду и обложению налогами. Во Франции земли благородных или «тех, кто был возведен в благородное состояние», не платили ни-

чего до 1789 г. И до сих пор самые богатые землевладельцы в Англии не платят почти ничего за свои громадные владения и оставляют их необработанными в ожидании того, когда их стоимость удвоится вследствие недостатка земли.

Не из общинного труда, произведенного с свободного общего согласия, а именно из завоевания, из крепостного права происходят налоги, которые мы платим теперь государству. Действительно, когда государство заставляло подданных производить принудительные работы в XVI — XVIII вв., то дело шло вовсе не о тех работах, которые села и деревни предпринимали на основании свободного соглашения своих жителей. Общинные работы продолжали производиться жителями общин. Но рядом с этими работами, кроме них, сотни тысяч крестьян приводились под военным конвоем из отдаленных сел для постройки национальной дороги или крепости, для перевозки провизии, необходимой для питания армии, для следования на своих голодных лошадях за богатыми, отправлявшимися для завоевания новых замков. Другие работа-

ли в рудниках и на фабриках государства; третьи, подгоняемые хлыстами управляющих, должны были повиноваться преступным фантазиям своих господ, занимаясь рытвем прудов у дворянских замков или строя дворцы для королей, для господ и их содержанок, тогда как жены и дети этих крепостных должны были питаться лебедой или просить милостыню по дорогам, а их отцы бросались голодные под пули солдат, чтобы отнять у конвоиров увозимый ими награбленный хлеб.

Принудительный труд, налагаемый сначала силой на покоренные народы (как это теперь еще делают и французы, и англичане, и германцы с неграми в Африке), а потом на всех «неблагородных», на «черную кость», — таково было истинное происхождение налога, который мы платим теперь государству. Нужно ли удивляться, что налог сохранил до наших дней отпечаток своего происхождения?

Для деревень было большим облегчением, когда с приближением Великой Революции начали заменять принудительные работы на

государство своего рода выкупом — налогом, платимым в виде денег. Когда Революция принесла, наконец, с собой луч света в крестьянские хижины и уничтожила часть акцизных сборов и налогов, ложившихся тяжелым бременем на беднейшие классы, и когда идея более справедливого (и также более выгодного для государства) налога начала осуществляться, это вызвало, говорят нам, всеобщую радость в деревнях особенно среди тех крестьян, кто наживался торговлей и ростовщичеством.

Но по сию пору налог остался верен своему первоначальному происхождению. В руках буржуазии, завладевшей властью, он не переставал расти, и его рост шел особенно на пользу буржуазии. Посредством налога, которого тягость не сразу чувствуется, клика правящих, то есть государство, которое представляет четверной союз короля, церкви, судьи и военачальника, не переставало расширять свои дела и обращалось с народом, как с завоеванной расой. Налог поражает так хорошо, что ныне благодаря этому драгоценному оружию мы почти так же поработочены государ-

ством, как наши отцы когда-то были порабощены своими господами и барами.

Какое количество труда каждый из нас дает государству? Ни один экономист не попытался оценить число трудовых дней, которые рабочий на полях и на заводах отдает каждый год этому вавилонскому идолу, так что мы напрасно стали бы искать в трактатах политической экономии хотя бы приблизительной оценки того, что человек, производящий богатства, отдает государству из своего труда. Простая оценка, основанная на бюджетах государства, губерний, волостей и общин (которые также участвуют в расходах государства), ничего бы не сказала нам, потому что необходимо оценить не то, что входит в кассы казначейства, но то, что уплата каждого рубля, внесенного в казначейство, представляет собой из фактических расходов, произведенных плательщиком. Все, что мы можем сказать, это то, что количество труда, отдаваемого каждый год производителем государству, огромно. Это количество должно достигнуть — и для некоторых классов намного превзойти — три дня работы в неделю, которые

крепостной раб отдавал некогда своему господину.

И заметьте, что как бы мы ни старались перестроить систему налогов, главная их тяжесть в конечном счете всегда падает на рабочего. Каждая копейка, уплаченная в казну, платится в конце концов работником, производителем.

Государство может накладывать руку, более или менее, на доходы богачей. Но для этого еще требуется, чтобы богатые имели доходы, чтобы эти доходы были сделаны, произведены кем-нибудь; а они могут быть произведены только тем, кто производит что-нибудь своим трудом. Государство требует у богатого своей части его добычи, но откуда происходит эта добыча, представляющая собой в конечном счете определенное количество хлеба, железа, фарфора или проданных тканей — вообще всех результатов труда рабочего-производителя? Оставляя в стороне богатства, привозимые из-за границы и представляющие собой результат эксплуатации других работников, живущих в России, на Востоке, в Аргентине, в Африке, работники самой стра-

ны должны отдать государству такое-то количество дней своего труда, не только чтобы уплатить свой налог, а также чтобы обогатить богатых.

Если налог, взимаемый государством, кажется в сравнении с его громадными расходами не столь тяжелым в Англии, как у других народов Европы, то это происходит по двум причинам. Прежде всего парламент, состоящий наполовину из лордов землевладельцев, покровительствует им и позволяет брать громадные деньги с жителей городов и деревень, в то время как сами землевладельцы платят всего лишь ничтожный налог. Во-вторых — и это самое главное, — Англия больше всех европейских стран облагает налогами труд рабочих других народов [40].

Нам говорят иногда о прогрессивном налоге на доходы, который, по словам наших правителей, ударяет по карману богачей к выгоде бедняков. Такова была, действительно, идея Великой Революции, когда она ввела эту форму налога. Но теперь все, что мы получаем от налога, который только слегка прогрессивен, это то, что он слегка задевает доходы

богачей, т.е. у них берется немного больше, чем ранее, из того, что они выжали из рабочих. Но это все. И все-таки всегда платит рабочий — и платит он обыкновенно больше, чем государство берет у богатого.

Таким образом мы сами видели в городе Бромлей, что когда налог на жилые дома был увеличен нашей ратушей приблизительно на два рубля в год на каждую квартиру рабочего (полудомик, как говорят в Англии), сейчас же плата за эти квартиры повысилась на двенадцать рублей в год. Таким образом домовладелец немедленно перекладывал на своих квартирантов увеличение налога и одновременно пользовался этим для увеличения своего дохода и эксплуатации.

Что же касается до косвенных налогов, мы знаем не только, что особенно задеваются этим налогом предметы, потребляемые всеми (другие — меньше), но также что всякое увеличение на несколько копеек налога на напитки, на кофе или хлеб отражается гораздо большим увеличением на ценах, платимых потребителем.

Кроме того, вполне очевидно, что един-

ственно тот, кто производит, кто создает богатства своим трудом, может платить налог. Остальное есть не что иное, как дележка добычи, полученной предпринимателем того, кто производит, — дележка, которая всегда сказывается для работника лишь увеличением эксплуатации.

Таким образом, мы можем сказать, что, оставляя в стороне налоги, взимаемые с богатств, производимых за границей, миллиарды, вносимые каждый год в казну (в любой стране), ложатся почти всецело на труд миллионов работников, имеющих в стране. Тут рабочий платит как потребитель напитков, сахара, спичек, керосина; там, платя за свою квартиру, он выплачивает налог, накладываемый государством на владельца дома. Здесь, покупая свой хлеб, он платит земельные налоги, земельную ренту, квартирную плату и налоги булочника, оплачивает инспекцию, министерство финансов и т.д. Там, наконец, покупая себе платье, он оплачивает свои права на ввезенный из-за границы хлопок и монополию, созданную протекционизмом. Покупая уголь, путешествуя в вагоне железной

дороги, он оплачивает монополию на угольные рудники и железные дороги, созданную государством к выгоде для капиталистов, владельцев этих рудников и железных дорог. Коротко говоря, всегда он платит всю кучу налогов, налагаемых государством, округом, общиной на землю и ее продукты, на сырье, на мануфактуру, на доход хозяина, на привилегии образования — на все, что стекается в кассы коммуны, округа и государства.

Сколько же дней труда в год представляют собой все эти налоги? Разве не вполне вероятно, что, подсчитав итог, мы увидим, что современный рабочий работает более для государства, чем даже крепостной раб некогда работал на своего господина?

Но если бы только было это!

В действительности же налог дает правительству не только средство сделать эксплуатацию более усиленной, но также средство удерживать народ в бедности и создавать легально, не говоря о воровстве и о панамских мошенничествах, такие состояния, которых капитал один никогда не смог бы создать.

IV. НАЛОГ — СРЕДСТВО ОБОГАЩАТЬ

БОГАТЫХ

Налог так удобен! Наивные люди — «дорогие граждане», как их именуют во время выборов, — привыкли видеть в налоге средство для совершения великих дел цивилизации, полезных для народа. Но правительства великолепно знают, что налог представляет им самый удобный способ создавать большие состояния за счет малых, делать народ бедным и обогащать некоторых, отдавать с большими удобствами крестьянина и рабочего во власть фабриканта и спекулянта, поощрять одну промышленность за счет другой и все вообще промышленности — за счет земледелия и в особенности за счет крестьянина или же всего народа.

Если бы завтра в палате депутатов решили ассигновать 20 млн руб. в пользу крупных землевладельцев (как лорд Сольсбюри сделал в Англии в 1900 г., чтобы вознаградить своих избирателей-консерваторов), то вся страна завопила бы как один человек; министерство было бы немедленно низвергнуто. А при помощи налога правительство перекачивает те же миллионы из карманов бедняков в карма-

ны богачей, так что бедные даже не замечают этой проделки. Никто не кричит, и та же цель достигается удивительным образом — настолько ловко, что это назначение налогов проходит незамеченным даже теми, кто делает своей специальностью изучение налогов.

Это так просто! Достаточно, например, увеличить на несколько копеек налоги, платимые крестьянином за каждую лошадь, телегу, корову и т.д., чтобы сразу разорить десятки тысяч земледельческих хозяйств. Те, кто уже с большим трудом едва-едва сводят концы с концами и кого малейший удар может окончательно разорить и отправить в ряды пролетариата, гибнут на этот раз от самого ничтожного увеличения налогов. Они продают свои участки земли и уходят в города, предлагая свой труд владельцам фабрик и заводов. Другие продают лошадь и с удвоенным усердием начинают работать лопатой, надеясь еще поправить свое положение. Но новое увеличение налогов, неизбежно вводимое через несколько лет, добивает их до конца, и они становятся также пролетариями.

Эта пролетаризация слабых государством,

правительством производится постоянно из года в год, и никто не кричит об этом, кроме самих разоренных, голос которых не доходит до широких кругов публики. Мы видели, как это производилось в грандиозном масштабе в течение последних сорока лет в России, особенно в центральной России, где мечты крупных промышленников о создании пролетариата осуществлялись потихоньку при помощи налогов, между тем как если бы был издан закон, который стремился бы одним почерком пера разорить несколько миллионов крестьян, то это вызвало бы протесты всего мира, даже в России при самодержавном правительстве. Налог, таким образом, мягко достигает того, что правительство не смеет делать открыто.

И экономисты, присваивающие себе название «научных», говорят нам об «установленных» законах экономического развития, о «капиталистическом фатализме» и о «самоотрицании», между тем как простое изучение налогов легко объяснило бы добрую половину того, что они приписывают предполагаемой фатальности экономических законов. Та-

ким образом, разорение и экспроприация крестьянина, которое происходило в XVII в. и которое Маркс назвал «первоначальным накоплением капитала», продолжается до наших дней из года в год при помощи такого удобного орудия — налога.

Вместо того чтобы увеличиваться согласно неизбежным законам, сила капитала была бы значительно парализована в своем распространении, если бы она не имела к своим услугам государства, которое, с одной стороны, создает все время новые монополии (рудники, железные дороги, вода для жилых помещений, телефоны, меры против рабочих союзов, судебное преследование забастовщиков и т.д.), а с другой стороны, создает состояния и разоряет массы рабочих посредством налога.

Если капитализм помог создать современное государство, то так же — не будем забывать этого — современное государство создает и питает капитализм.

Адам Смит в прошедшем столетии уже подчеркнул эту силу налога и наметил главные линии, по которым должно было идти

изучение налога; но после Смита такое изучение не продолжалось, и чтобы показать теперь эту мощь налога, нам приходится собирать там и сям соответствующие случаи и примеры.

Так, возьмем земельный налог, являющийся одним из самых могучих орудий в руках государства. Восьмой отчет Бюро труда штата Иллинойса дает массу примеров, доказывающих, как — даже в демократическом государстве — создаются состояния миллионеров, просто при помощи того, как государство облагает земельную собственность в городе Чикаго.

Этот громадный город рос очень быстро, достигнув в течение пятидесяти лет 1 500 000 жителей. Облагая налогами застроенные земли, в то время как незастроенные земли, даже на самых центральных улицах, облагались лишь слегка, государство создало состояния миллионеров. Участки земли на одной такой большой улице, которые стоили пятьдесят лет тому назад 2400 рублей за одну десятую часть десятины, ныне стоят от двух до двух с половиною миллионов.

Притом вполне очевидно, что если бы налог был по стольку-то за каждую квадратную сажень застроенной или незастроенной земли или если бы земля была муниципализована, то никогда подобные состояния не могли бы накапливаться. Город воспользовался бы ростом своего населения, чтобы понизить налоги на дома, населенные рабочими. Теперь же наоборот; так как именно дома в шесть или десять этажей, населенные рабочими, выносят главную тяжесть налога, то, следовательно, рабочий должен работать, чтобы позволять богатым сделаться еще более богатыми. В вознаграждение за это он должен жить в нездоровых, плохих помещениях, что, как известно, останавливает духовный и умственный рост того класса, который живет в этих помещениях, и вместе с тем отдает всецело во власть фабриканта. Восьмой двугодичный отчет Бюро рабочей статистики Иллинойса 1894 г. полон поразительных сведений на эту тему.

Или возьмем английский арсенал в Вуличе. Некогда земли, на которых вырос Вулич, представляли из себя дикие луга, обитаемые

только кроликами. Но с тех пор как государство построило там свой большой арсенал, Вулич и соседние деревни сделались большим городом с значительным населением, где 20 000 человек работают на фабриках государства, изготовляя орудия разрушения.

Однажды в июне 1890 г. один депутат потребовал от правительства увеличения заработной платы рабочим. «Зачем? — ответил министр-экономист Гошен. — Это все равно будет отобрано у них домовладельцами!.. В течение последних лет заработная плата увеличилась на 20%, но плата за квартиры рабочих увеличилась за это время на 50%. Увеличение заработной платы (цитирую дословно) вело, таким образом, только к тому, что в карманы домовладельцев (уже миллионеров) поступала гораздо большая сумма денег». Рассуждение министра, очевидно, верно, и факт, что миллионеры отбирают большую часть увеличения заработной платы, заслуживает того, чтобы его хорошенько запомнили. Он совершенно точен.

С другой стороны, все время жители Вулича, как жители всякого другого большого го-

рода, были принуждены платить двойные и тройные налоги для устройства канализации, дренажирования, мощения улиц, и город, таким образом, из полного всяких болезней превратился теперь в здоровый город. Благодаря же существующей системе земельного налога и земельной собственности, вся эта масса денег пошла на то, чтобы обогатить уже богатых земледельцев и домовладельцев. «Они перепродают плательщикам налогов по частям те выгоды, которые они получили благодаря санитарным улучшениям и которые были уже оплачены этими самыми плательщиками», — замечает совершенно верно газета вулических кооператоров «Comradeship» («Товарищество»).

Или еще: в Вуличе завели паровой паром для переезда через Темзу и сообщения с Лондоном. Сначала это была монополия, которую парламент создал в пользу одного капиталиста, поручив ему установить сообщение с паровым паромом. Затем, по прошествии некоторого времени, так как монополист ввел слишком высокие цены за переезд, муниципалитет выкупил у него право держания па-

рома. Все это стоило плательщикам более 2 000 000 руб. налогов в течение восьми лет! И вот маленький кусок земли, расположенный у паррома, поднялся в цене на 30 000 руб., которые, конечно, были положены в карман землевладельцем. И так как этот кусок земли будет продолжать всегда возрастать в цене, то вот вам новый монополист, новый капиталист в добавление к легионам других, уже созданных английским государством.

Но этого мало! Рабочие государственных заводов Вулича кончили тем, что основали профессиональный союз и в результате долгой борьбы удерживали свою заработную плату на более высоком уровне, чем на других заводах подобного рода. Они основали также кооператив и уменьшили этим на одну четверть свои расходы на существование. Но «лучшая часть жатвы» все-таки идет в карманы господ! Когда кто-нибудь из этих господ решает продать кусочек своих земель, то его агент помещает в местных газетах следующее объявление (цитирую дословно):

«Высокая заработная плата, платимая арсеналом рабочим, благодаря их профессио-

нальному союзу, и существование в Вуличе прекрасного кооператива делают эту местность в высшей степени подходящей для постройки домов с рабочими квартирами». Иными словами, это значит: «Вы можете дорого заплатить за этот кусок, господа строители домов с рабочими квартирами. Вы получите все это назад очень легко с рабочих квартирантов». И строители платят, строят и затем с излишком собирают затраченные деньги с рабочего.

Но это еще не все. Вот несколько энтузиастов сумели после ужасных затруднений и колоссального труда основать в самом Вуличе род кооперативного городка с домиками для рабочих. Земля была куплена кооперативом, дренирована, канализована; были проведены улицы; затем участки земли продавались рабочим, которые благодаря кооперативу могли на хороших условиях выстроить себе свои домики. Основатели радовались и торжествовали. Успех был полный, и они захотели узнать, на каких условиях им можно будет купить соседний кусок земли, чтобы увеличить кооперативный городок. Они пла-

тили раньше за свой участок 15 000 руб. за десятину, теперь же с них спросили 30 000... Почему?..

— Но, господа, ваш городок идет очень хорошо, и поэтому стоимость нашей земли удвоилась, — говорили им.

— Великолепно! Значит, так как государство создало и поддерживало земельную монополию в пользу какого-нибудь капиталиста, то кооператоры работали только затем, чтобы еще обогатить этого капиталиста и чтобы сделать дальнейшее распространение их рабочего города невозможным!

— Да здравствует государство!

— Работай для нас, бедное животное, раз ты веришь, что можешь улучшить свою судьбу кооперативами, не осмеливаясь затрагивать в то же время собственность, налог и государство!

Но оставим Чикаго и Вулич, — разве мы не видим в каждом большом городе, как государство, воздвигая дом в шесть этажей, гораздо больший, чем частный особняк богача, создает этим самым новую привилегию в пользу богача? Оно позволяет ему забирать себе в

карман излишек стоимости, приданной его земле увеличением и украшением города, особенно домом в шесть этажей, в котором гнездится беднота, работающая за нищенскую плату над украшением города.

Удивляются тому, что города растут так быстро за счет деревни, и не желают видеть, что вся финансовая политика XIX столетия направлена к тому, чтобы обложить как можно больше налогами земледельца — истинного производителя, так как он умеет добыть из земли в три, четыре, в десять раз больше продуктов, чем раньше, в пользу городов, то есть в пользу банкиров, адвокатов, торговцев и всей банды прожигателей жизни и правителей.

И пусть нам не говорят, что создание монополий в пользу богатых не есть самая главная суть современного государства и симпатий, которые оно встречает среди богатых и образованных людей, прошедших через школы государства. Вот последний великолепный пример того, как употребляли налоги в Африке.

Всем известно, что главной целью войны Англии против буров было уничтожение бур-

ского закона, не позволявшего принуждать негров работать в золотых копиях.

Английские компании, основанные для эксплуатации этих мин, не давали тех доходов, на которые они рассчитывали. Вот что недавно заявил по этому поводу в парламенте лорд Грей: «Вы должны оставить навсегда идею о возможности разрабатывать ваши копи при помощи труда белых. Нужно найти средства, как притянуть к этому негров... Это можно было бы сделать, например, при помощи налога в один фунт на каждую хижину негров, как мы это уже делаем в Басутоланде, а также при помощи небольшого налога (12 шиллингов), который будет взиматься с тех негров, которые не смогут предъявить удостоверения о том, что они четыре месяца в году работали у белых» (Гобсон Дж. А. Война в Южной Африке. — Hobson. The War in South-Africa. P. 234).

Вот вам крепостное право, которое не осмеливались вводить открыто, но которое ввели при помощи налога. Представьте себе каждую жалкую хижину, обложенную налогом в десять рублей, и вы имеете перед собой

крепостное рабство! И Рэдд, агент известного Родса, пояснил это предложение, написав следующее:

«Если, под предлогом цивилизации, мы истребили от 10 000 до 20 000 дервишей нашими пушками Максима, то, конечно, не будет насилием заставить туземцев Южной Африки отдавать три месяца в году честному труду». Всегда те же два, три дня в неделю! Больше этого не нужно. Что же касается оплаты «честного труда», то Рэдд высказался по этому поводу очень определенно: от 24 до 30 руб. в месяц — это «болезненный сентиментализм». Четверти этого хватит за глаза (там же, с. 235). При таких условиях негр не разбогатеет и останется рабом. Нужно отобрать у него назад при помощи налога то, что он заработает как жалованье; нужно помешать ему давать себе отдых!

Действительно, с тех пор, как англичане сделались господами Трансвааля и «черных», добыча золота поднялась с 125 млн руб. до 350 млн руб. Около 200 000 «черных» принуждены теперь работать в золотых копиях, чтобы обогащать компании, которые были главной

причиной возникновения войны.

Но то, что англичане сделали в Африке, чтобы довести черных до нищеты и навязать им силой работу в рудниках, государство делало в течение трех веков в Европе по отношению к крестьянам; и оно еще делает это теперь, чтобы навязать тот же принудительный труд рабочим городов.

А универсанты нам еще толкуют о «незыблемых законах» политической экономии!

Оставаясь все время в области новейшей истории, мы могли бы привести другой пример ловкой операции, проведенной при помощи налога. Это можно было бы назвать — «Как британское правительство взяло с народа 2 000 000 руб., чтобы отдать их крупным чаеоторговцам — водевиль в одном акте». В субботу 3 марта 1900 г. в Лондоне разнеслось известие, что правительство собирается увеличить ввозные пошлины на чай на два пенса (8 копеек) на фунт. Немедленно после этого в субботу и понедельник 22 000 000 фунтов чаю, который лежал на лондонской таможне, ожидая уплаты пошлин, были взяты коммерсантами, уплатившими пока пошлину по ста-

рой ставке; а во вторник цена чая в лондонских магазинах была повсюду увеличена на два пенса. Если будем считать только 22 000 000 фунтов, взятых в субботу и понедельник, это составляет уже чистую прибыль в 44 000 000 пенса (около 4 600 000 франков или почти 2 000 000 руб.), взятых из карманов плательщиков и переложенных в карманы чаоторговцев. Но то же самое было проделано и в других таможнях — в Ливерпуле, в Шотландии и т.д., не считая чая, вышедшего из таможен раньше, чем узнали о предстоящем увеличении пошлины. Это, без сомнения, выразится в сумме около 5 000 000 руб., подаренных государством купцам.

То же самое с табаком, пивом, водкой, винами, — и вот вам, богатые обогатились приблизительно на десяток миллионов, взятых из карманов бедных. А посему: «Да здравствует налог! И да здравствует государство!»

И вас, детей бедных, учат в первоначальной школе (дети богатых узнают совсем другое в университетах), что налог был создан для того, чтобы дать возможность бедным жителям деревень не отбывать более прину-

дительных работ, заменив их небольшим ежегодным взносом в кассу государства. И скажите вашей матери, согнувшейся под бременем многих лет труда и домашней экономии, что вас учат там великой и прекрасной науке — политической экономии!..

Возьмемте на самом деле образование. Мы прошли длинный путь с тех пор, когда коммуна находила сама дом для своей школы и для учителя, где мудрец, физик и философ окружали себя добровольными учениками, чтобы передать им секреты своей науки или своей философии. Теперь мы имеем так называемое бесплатное обучение, доставляемое государством за наш же счет; мы имеем гимназии, университеты, академии, научные общества, существующие на субсидии от государства, научные миссии и так далее.

Так как государство всегда чрезвычайно радо расширять сферу своих отправлений, а граждане не желают ничего лучшего, как избавляться от обязанности думать о делах общего интереса и — «освободиться» от своих сограждан, предоставляя общие дела кому-нибудь третьему, все устраивается удивитель-

тельным образом. «Образование? — говорит государство. — Прекрасно, милостивые государины и милостивые государи, мы очень рады дать его вашим детям! Чтобы облегчить вам заботы, мы даже запретим вам вмешиваться в образование. Мы составим программы, — и, пожалуйста, чтобы не было никакой критики! Сначала мы забьем головы вашим детям изучением мертвых языков и прелестей римского права. Это сделает их податливыми и покорными. Затем, чтобы отнять у них всякую склонность к непокорности, мы расскажем им о добродетелях государств и правительств и научим презирать управляемых. Мы внушим им, что они, выучив латынь, сделались солью земли, дрожжами прогресса, что без них человечество погибло бы. Это вам будет льстить, а что же касается до них, то они проглотят это с величайшим удовольствием и станут донельзя тщеславными. Это именно то, что нам нужно. Мы научим их, что нищета народных масс есть “закон природы”, — и они будут рады узнать это и повторять. Видоизменяя, однако, народное обучение сообразно изменяющемуся вкусу

времени, мы также скажем им, что такова воля Божия, что таков “незыблемый закон”, согласно которому рабочий должен впасть в нищету, как только он начнет немного богатеть, потому что в своем благосостоянии он забывается до того, что хочет иметь детей. Все обучение будет иметь целью заставить ваших детей поверить, что вне государства, ниспосланного провидением, нет спасения! А вы будете нас хвалить за это, не правда ли?»

После того, заставив народ заплатить расходы на народное образование всех ступеней — первоначальное, второй ступени, университеты, академии, мы устроим дела таким образом, чтобы сохранить наиболее жирные, лучшие части бюджетного пирога для сыновей буржуазии. А этот большой добродушный богатырь, народ, гордясь своими университетами и своими учеными, даже не заметит, как из правительства мы устроим монополию для тех, кто сможет платить за роскошь гимназий и университетов для своих детей. Если бы мы сказали всем прямо и открыто о нашей цели, «что, мол, вами будут управлять, вас будут судить, защищать, учить и дура-

чить богатые в интересах богатых», то они, конечно, возмутились бы и восстали. Это ясно. Но с помощью налога и нескольких хороших и очень «либеральных» законов — например, заявив народу, что для того, чтобы занять высокий пост судьи или министра, нужно пройти и выдержать по крайней мере двадцать различных экзаменов, — добродушный богатырь найдет, что все очень хорошо!

Вот каким образом, потихоньку и постепенно, управление народа аристократиею и богатыми буржуа — против которых народ некогда бунтовал, когда он встречался с ними лицом к лицу, — теперь устраивается с согласия и даже одобрения народа — под маской налога!

О налоге военном мы не станем говорить, так как все должны бы уже знать, что думать о нем. Когда же постоянная армия не была средством держать народ в рабстве? И когда регулярная армия могла завоевать страну, если ее встречал вооруженный народ?

Но возьмите какой угодно налог, прямой или косвенный: на землю, на доходы или на потребление, чтобы заключать государствен-

ные долги или под предлогом уплаты их (потому что они ведь никогда не выплачиваются, а все растут да растут); возьмите налог для войны или для народного образования рассмотрите его, разберите, к чему он нас ведет в конечном счете, и вас поразит громадная сила, могущество, которое мы передали нашим правителям.

Налог — самая удобная для богатых форма, чтобы держать народ в нищете. Он дает средство для разорения целых классов землевладельцев и промышленных рабочих, когда они, после ряда неслыханных усилий, добиваются небольшого улучшения своего благосостояния. В то же время он есть самый удобный способ для того, чтобы сделать правительство вечною монополией богатых. Наконец, он позволяет под благовидными предложениями готовить оружие, которое в один прекрасный день послужит для подавления народа, если он восстанет.

Как морское чудовище старинных сказок, он даст возможность опутывать все общество и направлять все усилия отдельных личностей к обогащению привилегированных клас-

сов и правительственной монополии.

И пока государство, вооруженное налогом, будет существовать, освобождение пролетариата не сможет совершиться никаким образом — ни путем реформ, ни путем революции. Потому что если революция не раздавит это чудище, то она сама будет им задушена; и в таком случае она сама очутится на службе у монополии, как это случилось с революцией 1793 г.

V. МОНОПОЛИИ

Рассмотрим теперь, как современное государство, установившееся в Европе после XVI в., а впоследствии и в молодых республиках Америки, работало над тем, чтобы поработить личность. Признав освобождение нескольких слоев общества, которые разбили в свободных городах крепостное рабство, государство, как мы видели, постаралось удержать рабство как можно дольше для крестьян и восстановило экономическое рабство для всех в новой форме, поставив всех своих подданных под иго чиновников и целого класса привилегированных: бюрократии, церкви, земельных собственников, купцов и капитали-

стов. И мы только что видели, как государство воспользовалось для этой цели налогом.

Теперь мы бросим взгляд на другое орудие, которым государство умело так хорошо пользоваться, — создание привилегий и монополий в пользу некоторых из своих подданных и к невыгоде остальных. Здесь мы видим государство в его настоящей работе: оно выполняет свое настоящее назначение. Оно начало это делать с самого своего возникновения — именно это и дало ему возможность сорганизоваться и сгруппировать под своей защитой барина, солдата, священника и судью. За эту защиту и был признан король. Этому назначению он остается верен до наших дней; и если иногда он не выполнял этого, если он переставал охранять права привилегированных сословий, то смерть грозила этому историческому учреждению, которое приняло определенную форму для определенной цели и которое мы зовем государством.

Поразительно, в самом деле, до какой степени созидание различных преимуществ в пользу тех, кто уже имел их по рождению или в силу церковной или военной власти яв-

ляется самой существенной чертой организации, которая начала развиваться в Европе в XVI в. и заменять собой вольные города средних веков.

Мы можем взять какую угодно нацию: Францию, Англию, германские государства, итальянские или славянские — везде мы встречаем у зарождающегося государства тот же характер. Поэтому нам будет достаточно бросить взгляд на развитие монополий у одного народа — Англии, например, где это развитие лучше изучено, — чтобы понять существенную роль государства у современных народов. Ни один из них не представляет в этом отношении исключения.

Мы видим совершенно ясно, как образование современного государства, зародившегося в Англии после конца XVI столетия, и образование монополий в пользу привилегированных шло рука об руку.

Уже перед царствованием Елизаветы, когда английское государство только что началось, короли Тюдорской династии создавали все время монополии для своих фаворитов. При Елизавете, когда морская торговля

начала развиваться и ряд новых отраслей промышленности выросал в Англии, это стремление еще более усилилось. Каждая новая промышленность обращалась в монополию — или в пользу иностранцев, плативших королеве, или в пользу царедворцев, которых желали вознаградить.

Эксплуатация залежей квасцов в Йоркшире, соли, свинцовых и угольных копей в Ньюкастле, стеклянная промышленность, усовершенствованная выделка мыла, булавок и так далее — все это было превращено в монополии, которые мешали развитию промышленности и убивали мелкие промыслы. Чтобы защитить интересы царедворцев, которым была пожалована мыльная монополия, доходили, например, до того, что частным лицам было запрещено выделывать мыло на дому при их собственном щелоке.

При короле Джеймсе I создание концессий и распределение патентов шло, все увеличиваясь, до 1624 г., когда наконец, при приближении революции, был издан закон против монополий. Но этот закон был двуличный: с одной стороны, он осуждал монополии, а в то

же время не только поддерживал существующие уже монополии, но и утверждал новые и очень важные. Кроме того, едва лишь он был издан, как его сейчас же стали нарушать. Для этого воспользовались одним из его параграфов, который был в пользу старых городских корпораций, и стали сначала устанавливать монополии в отдельных городах, а потом распространяли их на целые области. С 1630 по 1650 г. правительство воспользовалось также «патентами», чтобы учредить новые монополии.

Потребовалась революция 1688 г., чтобы наложить узду на эту оргию монополий.

И только в 1689 г., когда новый парламент (представлявший собой союз между торговой буржуазией и промышленностью и земельной аристократией, против королевского самодержавия и придворных) начал действовать, были приняты новые меры против создания монополий королем. Историки-экономисты говорят даже, что в течение почти целого века после 1689 г. английский парламент ревностно охранял свое право не позволять создания промышленных монополий, кото-

рые могли покровительствовать некоторым промышленникам во вред другим.

Нужно действительно признать, что революция и усиление власти буржуазии дали этот результат и что крупные отрасли промышленности, как хлопок, шерсть, железо, уголь и т. п., могли развиваться без помех со стороны монополий. Они могли даже развиться настолько, что стали национальными отраслями, в которых участвовала масса мелких предпринимателей. А это позволило тысячам рабочих вносить в небольшие мастерские много всяких улучшений, без которых производство никогда не могло бы совершенствоваться.

Но тем временем сорганизовывалась и укреплялась государственная буржуазия. Правительственная централизация, которая есть суть всякого государства, шла вперед, и скоро снова началось образование новых монополий, но уже в новых областях и на этот раз в совсем другом масштабе, чем при Тюдорах. Тогда это был только детский период искусства. Теперь же государство достигло зрелого периода.

Если парламент сдерживался до некоторой степени представителями местной буржуазии и не мог вмешиваться в самой Англии в нарождавшиеся отрасли и покровительствовать одним за счет других, то он перенес свою монополистскую деятельность на колонии. Там он действовал на широкую ногу. Индийская компания, Канадская компания Гудзонова залива сделались своего рода богатейшими государствами, отданными несколькими группам частных лиц. Позднее концессии на земли в Америке, на золотосыпные россыпи в Австралии, привилегии на судоходство и захват новых отраслей промышленности сделались в руках государства средствами для жалованья своих любимцев баснословными доходами. Колоссальные состояния были накоплены таким путем.

Верный своей природе английский парламент, состоявший из двух частей: буржуазии в палате общин и земельной аристократии в палате лордов, занялся в течение всего XVIII в. обращением крестьян в пролетариев крестьянства и передачей их, со связанными руками и ногами, во власть земельных соб-

ственников. При помощи законов об «огораживании» (Inclosure Acts), посредством которых парламент объявил общинные земли личной собственностью господина-лорда, если последний огородил их какой-нибудь изгородью, около 3 000 000 десятин общинных земель перешли из рук общин в руки господ между 1709 и 1869 годами. Вообще результат монополистского законодательства английского парламента был тот, что одна треть земли, годной для обработки в Англии, принадлежит теперь только 523 семьям.

Огораживанье было актом открытого грабежа; но в XVIII в. государство, обновленное революцией, уже чувствовало себя достаточно сильным, чтобы не обращать внимания на недовольство и случайные восстания крестьян. Притом его в этом поддерживала буржуазия.

Действительно, одаривая таким образом лордов земельной собственностью, парламент покровительствовал также промышленной буржуазии. Изгоняя крестьян из деревень в города, он давал промышленникам дешевые «рабочие руки» голодных людей. А

вследствие толкования, данного парламентом закону о бедных, агенты хлопчатобумажных фабрикантов объезжали Работные дома (workhouses), то есть собственно тюрьмы, куда запирали безработных пролетариев с их семьями; и из этих тюрем агенты увозили фургоны, полные детей, которые под именем «учеников Работных домов», должны были работать четырнадцать и шестнадцать часов в день на хлопчатобумажных фабриках. Города Ланкаширской провинции носят до сих пор на своем народонаселении отпечаток своего происхождения. Худосочная кровь голодных детей, которые были привезены из Рабочих домов южных провинций для обогащения буржуазии и которых заставляли работать из-под кнута надсмотрщиков, очень часто с семи лет, видна еще теперь в хилом малокровном населении этих городов. Это продолжалось вплоть до XIX в.

Наконец, чтобы помочь новым рождающимся промышленностям, парламент уничтожал своим законодательством местную промышленность в колониях. Так было убито ткацкое производство, которое достигло было

высокой степени артистического совершенства в Индии. Таким образом этот богатейший рынок был отдан в распоряжение английских коммерсантов. Выделка холста в Ирландии была таким же образом убита, к выгоде хлопчатобумажников Манчестера.

Мы видим, следовательно, что если буржуазный парламент, заботившийся об обогащении своих избирателей путем развития национальной промышленности, противился в течение XVIII в. тому, чтобы отдельные промышленники или отрасли английской промышленности обогащались в ущерб другим, то он все свое внимание отдал пролетаризации масс земледельческого населения Англии и колоний, которых он отдал на самую низкую эксплуатацию могущественных монополистов. В то же время, по мере сил, он поддерживал и покровительствовал в Англии даже горнопромышленные монополии, установленные еще в предыдущем веке, как монополия угольных промышленников Ньюкастля, которая продержалась до 1844 г., и медная монополия, продолжавшаяся до 1820 г.

VI. МОНОПОЛИИ В XIX в.

С первой половины XIX в. начали возникать, под покровительством закона, новые монополии, перед которыми старые были детской игрой.

Сначала внимание дельцов устремилось на железные дороги и на океанские пароходные линии, субсидируемые государством. Колоссальные состояния были созданы в течение немногих десятков лет в Англии и во Франции с помощью «концессий», полученных частными лицами и компаниями на постройку железных дорог, обыкновенно с гарантией известного дохода.

К этому прибавились большие металлургические и горнопромышленные общества для поставки железным дорогам железа на рельсы, железных или стальных мостов, подвижного состава и топлива — все эти общества умели получать баснословные доходы и страшно спекулировали приобретенными землями. За ними следовали крупные общества для постройки железных морских судов и для выделки железа, стали, меди для военного снаряжения и самого снаряжения: бро-

ни, пушек, ружей, холодного оружия и т.д.; затем предприятия для постройки каналов (Суэц, Панама и т.д.); и, наконец, то, что называют «развитием» запоздалых в индустрии стран, т.е. попросту грабежом их, при помощи субсидий от своего государства. Миллионеры фабриковались тогда быстро, как грибы, наполовину — голодными рабочими, которых расстреливали без всякой пощады или ссылали на принудительные работы, как только они делали малейшую попытку мятежа.

Постройка широкой сети железных дорог в России (начатая в 60-х гг.) на полуостровах Европы, в Соединенных Штатах, в Мексике, в республиках Южной Америки — все это было источником неслыханных богатств, собранных посредством настоящего грабежа, под покровительством государства. Какое жалкое зрелище представлял, бывало, феодальный барон, когда он грабил купеческий караван, проходивший близ его замка! Теперь биржевые дельцы фабили сразу миллионы человеческих существ при открытом содействии государства и его правительств, самодержавных, парламентарных и республиканских.

Но это было не все. Скоро к этому присоединились еще: постройка судов для торгового флота, субсидируемая различными государствами; пароходные линии, также субсидируемые; затем подводные кабели и телеграфы; постройка туннелей и пересечение перевалов; украшение городов, начатое в грандиозном масштабе при Наполеоне III; и, наконец, возвышаясь над всем этим, как Эйфелева башня над соседними домами, царили государственные займы и субсидированные банки!

Весь этот танец миллиардов совершался при помощи «концессий». Финансы, торговля, война, вооружение, образование — все было использовано для создания монополий, для фабрикации уже не миллионеров, а миллиардеров владельцев миллиардов.

И пусть не стараются оправдать эти монополии и концессии, говоря, что таким путем люди все-таки выполнили и завершили многие полезные предприятия. Потому что на каждый полезно затраченный миллион капитала для этих предприятий учредители компаний обременяли государственные долги

тремя, четырьмя, пятью, иногда десятью миллионами. Стоит вспомнить только Панаму, где миллионы были выброшены, чтобы «пустить вход» компании, и только десятая часть денег, внесенных акционерами, пошла на действительные работы по пересечению перешейка. Но что происходило с Панамой, происходит со всеми компаниями без исключения в Америке, в Республике Соединенных Штатов так же, как и в европейских монархиях. «Почти все наши компании, железнодорожные и другие, сказал Генри Джордж в своей работе »Прогресс и бедность«, — перегружены таким образом. Там, где действительно пущен в дело доллар, выпускают облигации на два, три, четыре, пять и даже десять долларов; проценты же и дивиденды уплачиваются именно на эти фиктивные суммы».

И если бы только было это! Когда сформированы большие компании, то их власть над человеческими обществами такова, что ее можно сравнить только с властью разбойников, захватывавших некогда дороги и бравших дань с каждого путешественника, будь он пешеход или начальник торгового карава-

на. И с каждым миллиардером, появляющимся с помощью государства, в министерства сыплются дождем миллионы.

Грабеж народного богатства, который производился и производится с согласия и с помощью государства — особенно там, где еще остались естественные богатства для захвата, — просто ужасен и отвратителен. Нужно видеть, например, великую Трансканадскую железную дорогу, чтобы иметь представление о грабеже, одобренном государством. Все, что есть лучшего в плодоносных землях великих озер Северной Америки или в больших городах на берегу рек, принадлежит компании, получившей привилегию на постройку этой линии. Полоса земли в семь с половиной верст шириной, по обеим сторонам дороги на всем ее протяжении, была отдана капиталистам, взявшим на себя постройку линии; и когда эта линия, подвигаясь к западу, достигла до малопродуктивных равнин, то вместо полосы земли вдоль дороги столько же десятин было отведено в местах плодородных, где земля скоро достигла очень высокой стоимости. Там, где государство еще раздавало землю

бесплатно новым колонистам, земли, отданные

Трансканадской дороге, были разделены на участки в одну квадратную милю, расположенные, как черные квадраты на шахматной доске, среди земель, отданных государством колонистам. В результате теперь квадраты, принадлежащие государству и отданные эмигрантам, все заселены, а земли, отданные капиталистам Трансканадской дороги, получили громадную ценность. Что же касается капитала, который, как предполагалось, компания затратила на постройку линии, то он представляет собой, по общему мнению, сумму, раздутую в три или четыре раза по сравнению с действительно затраченным капиталом.

Куда мы ни посмотрим, везде мы находим одно и то же настолько, что становится трудно указать хоть одно крупное богатство, обязанное своим возникновением только промышленности, без помощи какой-нибудь монополии правительственного происхождения. В Соединенных Штатах, как уже заметил Генри Джордж, найти такое богатство совер-

шенно невозможно.

Точно так же громадное состояние Ротшильдов обязано всецело своим происхождением займам, сделанным королями у банкира-основателя этого рода, чтобы сражаться против других королей или против своих собственных подданных.

Не менее колоссальное состояние герцогов Вестминстерских обязано своим происхождением всецело тому, что их предки получили по простому капризу королей те земли, на которых теперь построена большая часть Лондона; и это состояние поддерживается единственно потому, что английский парламент, вопреки всякой справедливости, не желает поднимать вопроса о вопиющем присвоении лордами земель, принадлежащих английскому народу.

Что касается до богатств крупных американских миллиардеров — Астора, Вандербильта, Гульда; до королей трестов нефти, стали, рудников, железных дорог, даже спичек и т.д., — то все они ведут свое происхождение от монополий, созданных государством.

Одним словом, если бы кто-нибудь составил список богатств, которые были присвоены финансистами и дельцами с помощью привилегий и монополий, созданных государством; если бы кто-нибудь сумел оценить богатства, которые были урезаны из общественного достояния всеми правительствами парламентарными, монархическими или республиканскими, чтобы отдать их частным лицам в обмен за более или менее замаскированную взятку, — то рабочие везде были бы глубоко поражены и возмущены. Получились бы неслыханные цифры, с трудом понимаемые теми, кто живет на свою скудную заработную плату.

Рядом с этими цифрами, которые являются продуктом узаконенного грабежа, те, о которых нам красноречиво говорят трактаты политической экономии, просто пустяки, выеденное яйцо. Когда буржуазные экономисты желают нас уверить, что в происхождении капитала мы находим несчастные копейки, накопленные, с лишениями для себя, хозяевами промышленных предприятий из доходов с этих предприятий, то или эти господа невеж-

ды, или сознательно говорят то, что неправда. Грабеж присвоение и расхищение народных богатств с помощью государства, заинтересовывая в этом «сильных мира сего», — вот истинный источник происхождения колоссальных богатств и состояний, накапливаемых каждый год землевладельцами и буржуазией.

— Но вы нам говорите, — возразят нам, может быть, — о захвате богатств в девственных странах, только недавно завоеванных для промышленной цивилизации XIX в. Дело обстоит совсем иначе в странах более зрелых в политической жизни, как Англия и Франция.

Между тем в странах передовых, с более развитой политической жизнью, происходит совершенно то же самое. Правительства этих государств находят постоянно новые предлоги для ограбления граждан в пользу своих любимцев. Разве «Панама», которая обогатила столько финансовых дельцов, не была чисто французским делом? Разве она не была приложением знаменитой фразы «Обогащайтесь!», произнесенной Гизо; и рядом с «Панамой», которая окончилась скандалом, разве не было сотен подобных ей, которые процве-

тают вплоть до наших дней? Нам стоит только вспомнить о Марокко, о Триполитанской авантюре, об аванюре на реке Ялу в Корее, о разграблении Персии и т.д. Эти акты высокого мошенничества происходят все время, и они прекратятся только после социальной революции.

Капитал и государство — два параллельно растущих организма, которые невозможны один без другого, и против которых поэтому нужно всегда бороться вместе — зараз против того и другого. Никогда государство не смогло бы организовать и приобрести силу и мощь, которую оно теперь имеет, ни даже ту, которую оно имело в Риме императоров, в Египте фараонов, в Ассирии и т.д., если бы оно не покровительствовало росту земельного и промышленного капитала и эксплуатации — сначала племен пастушеских народов, потом земледельческих крестьян и еще позднее промышленных рабочих. Таким образом, эта страшная, колоссальная организация, известная под именем государства, образовалась постепенно, мало-помалу, покровительствуя своим кнутом и мечом тем, кому она да-

вала возможность захватить себе землю и обзавестись (сначала посредством грабежа, позднее при помощи принудительной работы побежденных) некоторыми орудиями для обработки земли или для производства промышленных фабрикатов. Тех, у кого нечем было работать, государство заставляло работать для тех, кто владел землями, железом, рабами.

И если капитализм никогда не достиг бы своей настоящей формы без обдуманной и последовательной поддержки государством, то государство, с своей стороны, никогда не достигло бы своей страшной силы, своей всепоглощающей мощи и возможности держать в своих руках всю жизнь каждого гражданина, какую оно имеет теперь, если бы оно не работало сознательно, терпеливо и последовательно над тем, чтобы образовался капитал. Без помощи капитала королевская власть никогда даже не смогла бы освободиться от церкви; и без помощи капиталиста она никогда не могла бы наложить свою руку на все существование современного человека, с первых дней его школьного возраста до могилы.

Вот почему, когда говорят, что капитализм начинается с XV или XVI в., то это утверждение может рассматриваться как имеющее некоторую полезность постольку, поскольку оно служит к утверждению параллелизма развития государства и капитала. Но факт состоит в том, что эксплуатация капиталиста существовала уже там, где были первые зародыши индивидуальной собственности на землю, там, где было установлено право таких-то людей пускать скот пастись на такой-то земле и, позднее, возможность обрабатывать такую-то землю при помощи принудительного или наемного труда. Даже теперь мы сами можем видеть, как капитал ведет уже свою зловредную работу у пастушеских монгольских народностей (монголы, буряты), которые едва выходят из стадии родового быта. Действительно, достаточно, чтобы торговля вышла из правил родового быта (в силу которых ничто не может быть продано одним членом рода другому того же рода); достаточно, чтобы торговля стала личной, чтобы уже появился капитализм. И когда государство (приходя извне или развиваясь в данном пле-

мени) накладывает свою руку на племя посредством налога и своих чиновников, как это оно уже делает с монгольскими племенами, то пролетариат и капитализм уже появились и неизбежно начинают совершать свое развитие. И именно для того, чтобы отдать кабилы, марокканцев, триполитанских арабов, египетских феллахов, персов и т.д. во власть капиталистов, привезенных из Европы, а также и местных эксплуататоров, — европейские государства делают теперь свои завоевания в Африке и Азии. В странах, недавно завоеванных, можно видеть своими глазами, как государство и капитал тесно связаны между собой, как одно порождает другое, как они определяют взаимно свое параллельное развитие.

VII. МОНОПОЛИИ В КОНСТИТУЦИОННОЙ АНГЛИИ. — В ГЕРМАНИИ. — КОРОЛИ ЭПОХИ

Экономисты, изучавшие в последнее время развитие монополий в различных государствах, отметили, что в Англии — не только в XVIII в., как это мы видели сейчас, но также и в XIX в. — созидание монополий в народной

промышленности, а также созидание договоров между хозяевами для поднятия цен на их продукты, которые называют картелями или трестами, не достигало такой степени, какой оно достигло за последнее время в Германии.

Однако этот факт объясняется не превосходством политической организации английского государства — оно так же создает монополии, как и все другие, но, как указывают эти самые экономисты, островным положением Англии, которое позволяет привозить по дешевым ценам товары (даже малой стоимости сравнительно с их количеством) и держаться свободной торговли.

С другой стороны, завоевав такие богатые колонии, как Индия, и колонизировав (также благодаря морскому положению) территории, как Северная Америка и Австралия, английское государство нашло в этих странах столь многочисленные возможности для монополии колоссального масштаба, что оно направило на это свою главную деятельность...

Без этих двух причин положение в Англии было бы совершенно такое же, как везде.

Действительно, уже Адам Смит отметил,

что никогда трое хозяев не встречаются без того, чтобы не конспирировать против своих рабочих — и, очевидно, против потребителей. Стремление к созиданию картелей и трестов всегда существовало в Англии, и читатель найдет в работе Макрости множество фактов, показывающих, как хозяева устраивают заговоры против потребителей.

Английский парламент, как и все другие правительства, покровительствовал этим конспирациям хозяев; закон карал только соглашения среди рабочих, которые считались конспирацией против безопасности государства.

Но рядом с этим существовали беспощадный ввоз товаров, начиная с 40-х годов, и дешевизна подвозки их по морю, что часто расстраивало конспирации хозяев. Но, так как Англия первая сумела создать у себя крупную промышленность, мало боявшуюся иностранной конкуренции и требовавшую свободного ввоза сырых материалов, и так как Англия в то же время отдала две трети своих земель кучке лордов, которые выгнали крестьян из своих имений, и так как она поэтому была

вынуждена существовать на привозимые извне рожь, пшеницу, овес, мясо, то Англия была принуждена ввести и поддерживать у себя свободную торговлю [41].

Но свободная торговля позволяла также ввозить изделия мануфактурной промышленности. А потому — это очень хорошо рассказано в книге Германа Леви — каждый раз, когда хозяева устраивали между собой заговор для поднятия цен на нитки, или цемент, или стеклянные изделия, эти товары ввозились из-за границы. Хотя низшие по качеству в большинстве случаев, они тем не менее составляли конкуренцию там, где низшее качество продукта уже принималось в расчет. Таким образом планы хозяев, задумывавших устроить картель или своего рода трест, расстраивались. Но — сколько пришлось потратить борьбы на то, чтобы удержать свободную торговлю, которая была совсем не по вкусу крупным лордам-землевладельцам и их фермерам!

Однако, начиная приблизительно с 1886-1895 гг., создание больших картелей или трестов хозяев, монополизировавших некоторые

отрасли, начало происходить в Англии, как и в других странах. И причиной этого — как мы теперь знаем — было то, что синдикаты хозяев начали организовываться интернационально, чтобы включать предпринимателей одних и тех же отраслей, как в Англии, так и в странах, удержавших у себя ввозные пошлины [42].

Таким образом, привилегия, установленная где-нибудь в Германии или России в пользу немецких или русских фабрикантов, распространяется на страны свободной торговли, и влияние этих международных синдикатов начинает чувствоваться уже повсюду. Они поднимают — это нужно хорошенько заметить не только цены на те специальные товары, которыми интересуется синдикат, но и на все товары.

Нужно ли прибавлять, что эти синдикаты или тресты пользуются высоким покровительством государства под тысячью разнообразных видов (банки и т.д.), тогда как международные синдикаты рабочих ставятся теми же правительствами под запрет. Так, французское правительство запрещает Интерна-

ционал, а бельгийское и германское правительства изгоняют немедленно агитатора, приехавшего из Англии, чтобы пропагандировать организацию рабочего международного союза. Но мы никогда не видим, чтобы откуда-нибудь выгнали агента трестов [43].

Возвращаемся к английскому парламенту. Он никогда не упускал из виду миссию всех правительств, древних и современных государств: покровительствовать эксплуатации бедных богатыми. В XIX столетии, как и раньше, он никогда не пропускал создавать монополии, если к тому представлялся удобный случай. Так, профессор Леви, который желает показать, насколько Англия выше в этом отношении Германии, принужден тем не менее признать, что, поскольку условия ввоза этому не препятствовали, английский парламент не пропускал случая воспользоваться этим для покровительства монополиям.

Так, монополия угольных промышленников Ньюжастля в отношении лондонского рынка поддерживалась законом до 1830 г., и картель этих промышленников была распущена только в 1844 г. после сильной чартист-

ской агитации. А в 1870-1880 гг. образовались коалиции судоходных компаний (Shipping Rings), о которых столько говорили в последнее время. Они, конечно, пользуются покровительством государства.

Но если бы только это! Все, что можно было монополизировать, было отдано парламентом монополистам.

С тех пор, как начали освещать города газом, проводить в города чистую воду, устраивать канализацию для отвода нечистот, строить трамваи и, наконец, в самое последнее время проводить телефоны, английский парламент никогда не упускал случая обращать эти общепользные предприятия в монополии, в пользу привилегированных компаний. Так что теперь, например, жители городов в провинции Кент и во многих других графствах должны платить нелепые цены за воду, и им невозможно даже провести самим и распределять необходимую воду, потому что парламент уже отдал эту привилегию компаниям. То же было с газом и трамваями, и везде, до 1 января 1912 г., существовала монополия на телефоны.

Первые телефоны были введены в Англии несколькими частными компаниями. И государство, парламент поспешил уступить им монополию на постройку телефонов в городах и в округах сроком на тридцать один год. Скоро большинство этих компаний объединилось в одну могущественную Национальную компанию, и получилась скандальная монополия. Благодаря своим магистралям и «концессиям», Национальная компания заставила англичан платить за телефон в пять и десять раз больше, чем где-либо в Европе. Атак как компания, пользуясь своей монополией, при ежегодных расходах в 75 млн получала чистого доходу 27 млн (согласно официальным цифрам), то она и не старалась, конечно, увеличивать число своих станций, предпочитая платить жирные дивиденды своим акционерам и увеличивать свой резервный фонд (который уже в течение 15 лет достиг цифры свыше 100 млн). Это повышало «стоимость» компании и, следовательно, сумму, которую государство должно было уплатить ей, чтобы выкупить назад привилегию, если бы оно увидело себя вынужденным сде-

дать это до истечения тридцати одного года.

В результате получилось то, что частный телефон, ставший обычным явлением на континенте, существовал в Англии только у коммерсантов и богатых людей. И только 1 января 1912 г. вся сеть телефонов этой монополярной компании была выкуплена министерством почт и телеграфов, после того как монополисты обогатились от нее на много сотен миллионов.

Вот каким образом создают все растущую и баснословно богатую буржуазию в стране, где половина взрослых мужчин, живущих на заработок, то есть свыше 4 000 000 человек, получают менее 14 руб. в неделю, и свыше 3 000 000 человек менее 10 руб. Но 14 руб. в неделю, в Англии, при существующих ценах на продукты, едва составляют тот необходимый минимум, на который семья, состоящая из двух взрослых и двух детей, может жить и оплачивать комнату, стоящую 2 руб. в неделю! Подробные исследования профессора Боуэя и Раунтри в Йорке, дополненные работами Киоцца-Моней, устанавливают это с полной ясностью.

Если так создавались монополии в стране свободной торговли, то что же сказать о протекционистских странах, где не только невозможна конкуренция иностранных товаров, но большие индустрии железа, выделки рельсов, сахара и т.д. всегда испытывают затруднения в приискании денег и постоянно субсидируются государством? Германия, Франция, Россия, Америка являются настоящими рассадницами монополий и синдикатов хозяев, покровительствуемых государством. И эти организации, очень многочисленные и часто очень могущественные, имеют возможность поднимать цены на свои товары в ужасающей пропорции.

Почти все минералы, металлы, сырой сахар и рафинад, спирт для промышленности и множество производств (гвозди, фаянсовые изделия, табак, очистка нефти и т. п.) — все это обращено в монополии, в картели или тресты, всегда благодаря вмешательству государства и очень часто под его покровительством.

Один из ярких примеров этого рода мы находим в германских синдикатах сахара. Так

как производство сахара здесь подчинено надзору государства и до известной степени его управлению, то 450 сахарных заводов объединились под покровительством государства, чтобы эксплуатировать публику. Эта эксплуатация продолжалась до Брюссельской конференции, которая немного ограничила заинтересованное покровительство сахарной промышленности германским и русским правительствами, чтобы «поддержать» английских сахаропромышленников.

То же самое происходит в Германии по отношению к другим производствам, каковы, например, водочный синдикат, вестфальский угольный синдикат, покровительствуемый синдикат фарфоровых фабрик, союз фабрикантов гвоздей, делаемых из германского железа, и т.д., не говоря уже о судоходных линиях, железных дорогах, заводах военного снаряжения и т.д. и не считая монополистские синдикаты для разработки минералов в Бразилии и множество других.

Мы напрасно стали бы искать другого в Америке: там та же картина. Не только во времена колонизации и в начале современ-

ной промышленности, но даже и теперь еще, каждый день, в каждом американском городе образуются скандальные монополии. Везде то же стремление поддержать и укрепить под покровительством государства эксплуатацию бедных богатыми и бесчестными. Каждый новый шаг прогресса цивилизации вызывает новые монополии и новые акты эксплуатации под покровительством государства, — в Америке точно так же, как и в старых государствах Европы.

Аристократия и демократия, поставленные в рамки государства, действуют совершенно одинаково. И та и другая, достигнув власти, являются одинаковыми врагами самой простой справедливости по отношению к производителю всех богатств — работнику [44].

И если бы это была только бесчестная эксплуатация, какой отдаются государствами целые народы, чтобы дать разбогатеть известному количеству промышленников, компаний или банкиров! Если бы только было это! Но зло бесконечно более глубоко. Дело в том, что большие компании железных дорог, ста-

ли, угля, нефти, меди и т.д., крупные компании банков и больших финансистов становятся колоссальной политической силой во всех современных государствах. Стоит только подумать о том, как банкиры и крупные финансисты господствуют над правительствами в вопросах войны. Известно, например, что личные симпатии не только Александра II, но и королевы Виктории к Германии влияли на русскую и английскую политику в 1870 г. и способствовали разгрому Франции. Известно также, насколько личные симпатии короля Эдуарда III содействовали образованию франко-английского соглашения. Но не будет никакого преувеличения, если мы скажем, что симпатии и предпочтения семьи Ротшильда, интересы высоких банковских кругов в Париже и Католического банка в Риме гораздо более сильны и могущественны, чем предпочтения и интересы королей и королев. Мы знаем, например, что отношения Соединенных Штатов к Кубе и Испании зависели гораздо больше от сенаторов, имевших монополию сахарной промышленности, чем от симпатий государственных деятелей Америки по отно-

шению к повстанцам Кубы.

VIII. ВОЙНА.

Промышленное соперничество

Уже в 1883 г., когда Англия, Германия, Австрия и Румыния, воспользовавшись изолированием Франции, заключили союз против России и когда ужасная европейская война была готова вспыхнуть, мы указывали в газете «Le Revolte», каковы были истинные причины соперничества между государствами и вытекавших отсюда войн.

Причина современных войн всегда одна и та же: это соперничество из-за рынков и из-за права эксплуатировать отсталые в промышленности нации. В Европе уже не сражаются больше из-за чести королей. Теперь бросают армии против других ради неприкосновенности доходов Всемогущих Господ Ротшильда или Шнейдера, Почтенной Анзенской компании или Святейшего Католического банка в Риме. Короли — более не в счет.

В самом деле, все войны, какие происходили в Европе за последние полтора столетия, были войнами ради интересов торговли, ради права эксплуатации.

К концу XVIII столетия крупная промышленность и мировая торговля, опираясь на военный флот и на колонии в Америке (Канада) и в Азии (Индия), начали развиваться во Франции. Тогда Англия, которая уже раздавила своих соперников в Испании и Голландии, желая удержать для себя одной монополию морской торговли, владычества над морями и колониальной империи, воспользовалась революцией во Франции, чтобы начать против нее целый ряд войн. Она уже тогда поняла, что ей может принести монополия на сбыт продуктов ее зарождавшейся промышленности.

Видя себя достаточно богатой, чтобы оплачивать армии Пруссии, Австрии и России, Англия вела против Франции в течение четверти века целый ряд ужасных, разорительных войн. Франция должна была истекать кровью, чтобы выдержать эти войны. И только этой ценою она смогла удержать свое право остаться «великой державой». Иначе говоря, она удержала за собой право не подчиняться всем условиям, которые английские монополисты хотели ей навязать в интересах своей

торговли. Она удержала за собой право иметь флот и военные порты. Потерпев неудачу в своих планах колониального распространения в Северной Америке (она потеряла Канаду) и в Индии (она должна была покинуть здесь свои колонии), она получила вместо этого разрешение создать себе колониальную империю в Африке — под условием не трогать Египта — и обогащать своих монополистов, грабя арабов и кабиллов в Алжире.

Позже, во второй половине XIX в., наступила очередь для Германии. Когда крепостное право было там уничтожено вследствие восстаний 1848 г. и когда уничтожение общинного землевладения вынудило молодых крестьян массами покидать деревни и идти в города, где они за голодную плату предлагали свои «незанятые руки» промышленным предпринимателям, — крупная промышленность быстро развилась в различных немецких государствах. Немецкие промышленники скоро поняли, что если дать народу хорошее, реальное воспитание, то они смогли бы быстро нагнать страны крупной промышленности, как Франция и Англия, при условии, конечно, ес-

ли Германия получит выгодный сбыт за границей. Они знали то, что так хорошо доказал Прудон, а именно что промышленник может серьезно обогатиться лишь в том случае, если большая часть его продуктов вывозится в страны, где они могут быть продаваемы по ценам, каких они никогда не могут достигнуть в стране их производства.

И тогда во всех социальных слоях Германии — в эксплуатируемых так же, как и в эксплуатирующих, — явилось страстное желание объединить Германию: во что бы то ни стало сделать из нее могущественную империю, способную поддерживать колоссальную армию, морской флот и могущую завоевать порты в Северном море, в Адриатике и когда-нибудь — в Африке и на Востоке; словом, империю, которая могла бы диктовать экономические законы в Европе.

Для этого нужно было, очевидно, разбить силу Франции, которая воспротивилась бы этому и которая тогда имела, или казалось, что имела, достаточную силу, чтобы помешать этому.

Отсюда — ужасная война 1870 г., со всеми

ее печальными последствиями для мирового прогресса, которые мы терпим еще до сих пор.

Вследствие этой войны и вследствие победы, одержанной над Францией, германская империя — эта мечта, лелеемая еще с 1848 г. немецкими радикалами и социалистами, а также и консерваторами, — была наконец создана, и скоро она заставила почувствовать и признать свое политическое могущество и свое право диктовать законы Европе.

Затем Германия, вступившая в паразитический период кипучей деятельности, сумела действительно удвоить, утроить, удесятить свое промышленное производство; и теперь немецкий буржуа с жадностью смотрит на новые источники обогащения — всюду понемногу: на равнинах Польши, в степях Венгрии, на плоскогорьях Африки и, особенно, вокруг Багдадской железной дороги, в богатых долинах Малой Азии, где капиталисты найдут для эксплуатации трудолюбивое население под самым прекрасным небом. А там Германии удастся, может быть, захватить когда-нибудь и Египет.

Словом, немецкие дельцы желают завоевать вывозные порты и особенно военные порты в Адриатике Средиземного моря и в Адриатике Индийского океана, т.е. в Персидском заливе, а также на африканском берегу, в Бейре, а затем в Тихом океане. Их верный слуга, германская империя, — к их услугам для этой цели, со всеми своими армиями и крейсерами.

Но повсюду эти новые завоеватели встречают чудовищного соперника, Англию, которая преграждает им дорогу.

Ревниво охраняя свое первенство на морях, особенно ревниво стремясь удержать свои колонии для эксплуатации их своими монополистами, напуганная успехами колониальной политики германской империи и быстрым развитием ее военного флота, Англия удваивает усилия, чтобы обладать флотом, способным сразу раздавить германского соперника. Она ищет также повсюду союзников, чтобы ослабить военное могущество Германии на суше. И когда английская пресса бьет тревогу и пугает английскую нацию, притворяясь, будто она опасается немецкого

нашествия, она прекрасно знает, что опасность совсем не там. То, что ей нужно, — это быть в состоянии бросить регулярную английскую армию туда, где Германия, в согласии с Турцией, атаковала бы какую-либо колонию Британской империи (Египет, например). И для этого ей нужно иметь возможность обладать сильной «территориальной» армией, которая может в случае надобности потопить в крови всякий рабочий бунт. Для этого главным образом и обучают военному искусству буржуазную молодежь, сгруппированную в отряды «разведчиков» (бойскауты).

Английская буржуазия желает теперь проделать с Германией то, что она сделала, в два приема, чтобы остановить на пятьдесят или больше лет развитие морского могущества России: в первый раз — в 1885 г. с помощью Турции, Франции и Пьемонта и во второй раз — в 1904 г., напустив Японию на русский флот и на русский военный порт в Тихом океане.

В результате этого мы живем, вот уже в течение двух лет начеку, в предвидении колоссальной европейской войны, которая может

разразиться со дня на день.

Кроме того, не следует забывать, что промышленная волна, катясь с запада на восток, захватила также Италию, Австрию и Россию. И эти государства в свою очередь утверждают свое «право» — право их монополистов на добычу в Африке и Азии.

Русский разбой в Персии, итальянский разбой против арабов Триполитанской пустыни и французский разбой в Марокко суть последствия того же желания припасти новых рабов — «производителей сырья» — в Азии и в Африке.

«Консорциум» разбойников, состоящий на службе у европейских монополистов, «позволил» Франции овладеть Марокко, как он позволил англичанам захватить Египет. Он «позволил» итальянцам завладеть частью Османской империи, чтобы помешать захватить ее Германии; и он «позволил» России захватить северную Персию, чтобы англичане могли овладеть хорошим куском на берегах Персидского залива раньше, чем немецкая железная дорога достигла его!

И для этого итальянцы подлым образом

избивают безобидных арабов, французы избивают марокканцев и царские опричники вешают персидских патриотов, которые хотели возродить свое отечество, добившись для него некоторой политической свободы. Золя имел полное право сказать: «Какие негодяи эти честные люди!»

Высшие финансы

Все государства, сказали мы, как только крупная промышленность начинает развиваться в стране, приходят к тому, что ищут войны. Их толкают к этому промышленники и, увы, даже рабочие, чтобы завоевать новые рынки — новые источники легкого обогащения.

Но более того. Ныне существует в каждом государстве особый класс или, точнее, — шайка, бесконечно более могущественная, чем промышленные предприниматели, и эта клика также толкает к войне. Это — высшие финансисты, крупные банкиры. Они вмешиваются в международные отношения и готовят войны.

В наше время это делается очень просто.

К концу средних веков большая часть

крупных городов-республик Италии запутались в долгах. Когда эти города вступили в период упадка, особенно вследствие бесконечных войн, которые они вели между собою, так как все стремились овладеть богатыми рынками Востока, тогда города стали заключать колоссальные займы у своих собственных гильдий крупных торговцев.

Такое же точно явление происходит и теперь с государствами, которым синдикаты банкиров очень охотно дают займы деньги, чтобы в один прекрасный день взять все их доходы под залог.

Конечно, это практикуется, главным образом, с маленькими государствами. Банкиры дают займы из 7, 8, 10 процентов, зная, что заем «осуществится» лишь с большою скидкой: т.е. заемщик получит только четыре пятых, а не то и меньше той суммы, за которую он будет платить проценты. В результате этого, за вычетом «комиссионных» банкам и посредникам, государство не получает даже и двух третей суммы, вписанной в его долговую книгу.

На эти суммы, преувеличенные таким пу-

тем, задолжавшее государство должно отныне платить проценты и погашение. И если оно не уплачивает их в назначенный срок, банкиры ничего лучшего не желают, так как присоединяют просроченные проценты и погашение к основному долгу. Чем хуже идут финансовые дела государства-должника, чем более безрассудны издержки его правителей, тем охотнее предлагают ему новые займы. После этого банкиры устраивают в один прекрасный день «консорциум», чтобы наложить руку на такие-то налоги, на такие-то таможенные пошлины, на такие-то железные дороги.

Таким путем крупные финансисты разорили Египет и позже привели его к тому, что он был аннексирован, т.е. присвоен Англией. Чем более безумны были расходы хедива, тем более его к этому поощряли. Это было аннексией, завоеванием по частям.

Таким же путем разорили Турцию, чтобы отнять у ней понемногу ее провинции. И то же самое произошло, говорят нам, с Грецией, которую группа финансистов толкнула на войну против Турции, чтобы потом завладеть

частью доходов побежденной Греции.

Таким же манером крупные финансисты Англии и Соединенных Штатов эксплуатировали Японию, до и во время ее двух войн: с Китаем и с Россией.

Что же касается Китая, то уже в течение многих лет он стрижется синдикатом, представляющим крупные банки Англии, Франции, Германии и Соединенных Штатов. И со времени революции в Китае, Россия и Япония требуют, чтобы их допустили участвовать в этом синдикате. Они хотят воспользоваться этим, чтобы расширить не только сферы своей эксплуатации, но и свои территории. Раздел Китая, подготовленный банкирами, стоит на очереди.

Короче, у государств, дающих займы, существует целая организация, в которой правящие, банкиры, дельцы по организации компаний, финансовые маклера и весь сомнительный люд, который Золя так хорошо описал в романе «Деньги», подают друг другу руку, чтобы эксплуатировать целые государства.

Там, где наивные люди думают открыть

глубокие политические причины или национальную вражду, нет ничего, кроме заговоров, созданных пиратами финансов. Они эксплуатируют все: политические и экономические соперничества, национальную вражду, дипломатические традиции и религиозные столкновения.

Во всех войнах последней четверти века видна рука крупных финансов. Завоевание Египта и Трансвааля, захват Триполи, занятие Марокко, раздел Персии, избиения в Маньчжурии и избиение и международный грабеж в Китае во время восстания боксеров, войны Японии — повсюду мы находим работу крупных банков. Повсюду «высшие финансы» имеют решающий голос. И если до сего дня великая европейская война еще не разразилась, — это потому, что «высшие финансы» колеблются. Они не знают, в какую сторону склонятся весы, на чашки которых будут брошены пущенные в ход миллиарды; они не знают, на какую лошадь поставить свои капиталы.

Что же касается сотен тысяч человеческих жизней, которых будет стоить война, — какое

дело до них финансам? Ум финансиста мыслит столбцами цифр, которые покрывают друг друга. Остальное его не касается: у него нет даже необходимого воображения, чтобы вводить человеческие жизни в свои расчеты.

Какой гнусный мир пришлось бы разоблачить, если бы кто-нибудь взял только на себя труд изучить кулисы «высших финансов»! Об этом можно уже догадываться хотя бы по приподнятому Лизисом маленькому уголку завесы, в его статьях в «Le Revue» (появились в 1908 г. отдельным изданием, под заглавием «Centre l'oligarchic financiere en France» — «Против финансовой олигархии во Франции»).

Из этого сочинения видно, в самом деле, как четыре или пять крупных банков — Лондонский Кредит, Генеральное Общество (Societe Generate), Национальная Контора Учета и Промышленный и Торговый Кредит — владеют во Франции полной монополией на крупные финансовые операции.

Большая часть — почти восемь десятых — французских сбережений, которые ежегодно достигают суммы около двух миллиардов

франков, вложена в эти банки; и когда иностранные государства, крупные или мелкие железнодорожные компании, города, промышленные компании пяти частей света являлись в Париж, чтобы заключить заем, они обращаются к одному из этих четырех или пяти банков, которые обладают монополией иностранных займов и располагают необходимым механизмом, чтобы их провести.

Очевидно, что не талант директоров этих банков создал для них такое выгодное положение. Нет, это государство — прежде всего французское правительство — покровительствовало и содействовало этим банкам и создало для них привилегированное положение, сделавшееся скоро монополией. А затем другие государства, государства, делающие займы, усилили эту монополию. Так, Лионский Кредит, монополизировавший русские займы, обязан своим привилегированным положением финансовым агентам русского правительства и царским министрам финансов.

Аферы, устраиваемые этими четырьмя или пятью обществами, исчисляются миллиардами. Так, в два года — 1906 и 1907 — они

распределили в различных займах семь с половиной миллиардов — 7 500 000 000 фр(анков), из которых 5 500 000 000 в иностранных займах (Lysis, с. 101). И когда мы узнаем, что «комиссионные» этих компаний за организацию иностранных займов равняются пяти процентам для «синдиката приносящих» (тех, кто «приносит», доставляет новые займы), пять процентов для синдиката гарантирующего и от семи до десяти процентов для синдиката или, скорее, для треста четырех или пяти названных банков, то можно себе представить, какие колоссальные суммы достаются этим монополистам.

Так, один «посредник», который «доставил» заем в 1 250 млн, заключенный русским правительством в 1906 г., чтобы раздавить русскую революцию, получил за это — по словам Лизиса — комиссию в 12 млн!

Легко понять, какое закулисное влияние оказывают великие директора этих финансовых обществ на международную политику, со своим таинственным счетоводством, со своими полномочиями, которых некоторые директора требуют и получают от акционеров,

ибо нужна большая конспиративность, когда приходится выплачивать 12 млн франков господину такому-то, 250 000 министру такому-то и столько-то миллионов, не считая орденов, представителям печати! Нет ни одной крупной газеты во Франции, говорит Лизис, которая не была бы подкуплена банками. Это понятно. Легко можно догадаться, сколько нужно было раздать денег газетам, когда готовился в 1906-1907 гг. ряд русских займов (государственный, железнодорожный, земельных банков). Сколько писак жирно покушали благодаря этим займам — видно из книги Лизиса. Какое счастье, в самом деле! Правительство великой державы на краю гибели! Надо раздавить революцию! Не каждый день встречается подобный случай!

И вот, все знают это, более или менее. Нет ни одного политического деятеля, который не знал бы подоплеки этих мошенничеств и не слышал бы в Париже имен женщин и мужчин, «получивших» крупные суммы после каждого займа — крупного или малого, русского или бразильского.

И каждый, если он хоть что-нибудь смыс-

лит в делах, прекрасно знает, в какой мере вся эта организация «высших финансов» есть создание государства, необходимая принадлежность государства.

И именно это государство, которого власть весьма боятся уменьшить, это государство, в умах реформаторов-государственников, должно стать орудием освобождения масс?! Умно, нечего сказать!

Глупость ли, невежество или мошенничество руководит людьми, когда они это проповедуют, — оно одинаково непростительно людям, считающим себя призванными располагать судьбами народов.

IX. ВОЙНА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Спустимся теперь одной ступенью ниже и посмотрим, как государство создало в современной промышленности целый класс людей, непосредственно заинтересованных в том, чтобы превратить народы в военные лагеря, готовые броситься друг на друга.

В самом деле, в данный момент громадные отрасли промышленности, занимающие миллионы людей, существуют исключительно для приготовления военного материала;

вследствие чего владельцы этих заводов и их пайщики вполне заинтересованы в том, чтобы подготовить войны и поддерживать страх перед войнами, могущими вспыхнуть.

Здесь мы говорим не о мелкотравчатых фабрикантах никуда не годного огнестрельного оружия, игрушечных сабель и револьверов, дающих постоянно осечку, какие имеются в Бирмингеме, Льеже и т. п.

Их почти нечего считать, хотя торговля этим оружием, производимая экспортерами, спекулирующими на колониальных войнах, уже имеет некоторое значение. Известно, в самом деле, что английские торговцы снабжали оружием матабелов, в то время как они приготавливались восстать против поработивших их англичан. А несколько позже французские фабриканты и даже весьма известные английские фабриканты составили себе состояния, посылая оружие, пушки и снаряды бурам. В настоящий момент даже говорят о больших количествах оружия, ввезенного английскими торговцами в Аравию, что приведет к восстанию этих племен, к грабежу нескольких купцов и к английскому вмеша-

тельство, чтобы «восстановить порядок» и сделать какую-нибудь новую «аннексию».

Эти мелкие факты уже в счет не идут. Теперь мы хорошо уже знаем «патриотизм» буржуазии, и за последнее время мы видели гораздо более важные факты. Так, со время последней войны между Россией и Японией английское золото помогало японцам, чтобы они разрушили нарождающееся морское могущество России на Тихом океане, которое не нравилось Англии. Но, с другой стороны, английские угольные компании продали России по очень высокой цене 300 000 т угля, чтобы дать ей возможность послать на Восток флот Рожественского. Одним выстрелом убивали двух зайцев: угольные компании Уэльса делали выгодную аферу, а финансисты Lombard Street (центр финансовых операций в Лондоне) помещали свои деньги из девяти или десяти процентов в японский заем и накладывали свою руку на большую часть доходов их «дорогих союзников»!

Но все это лишь несколько мелких фактов из тысячи других в том же роде. Замечу только, что много можно было бы узнать интерес-

ного об этом мире наших правителей, если бы буржуа не умели хорошо хранить свои тайны! Перейдем же к другой категории фактов.

Известно, что все крупные государства покровительствовали созданию, наряду с их казенными арсеналами, колоссальных частных заводов, фабрикующих пушки, брони для броненосцев, военные суда меньших размеров, снаряды, порох, патроны и т.д. Громадные суммы были затрачены всеми государствами, чтобы иметь эти вспомогательные заводы, где в настоящее время собраны опытные рабочие и инженеры.

Вполне очевидно, что в прямых интересах капиталистов, которые поместили свои капиталы в эти предприятия, постоянно поддерживать слухи о войне, непрерывно толкать к вооружению; сеять, если нужно, панику. Так они и делают.

И если возможности европейской войны уменьшаются в известные моменты, если господа правители, хотя сами заинтересованные, как акционеры крупных военных заводов (Анзен, Крупп, Армстронг и т.д.), крупных

железнодорожных и каменноугольных компаний и т.д., иногда с трудом решаются заговорить в воинственном тоне, то их принуждают к этому, фабрикуя при помощи газет шовинистское общественное мнение или даже подготавливая восстания.

Разве не существует, в самом деле, эта протитутка — ежедневная пресса, — чтобы подготавливать умы к новым войнам, ускорять те, которые вероятны, или, по меньшей мере, заставлять правительства удваивать вооружения? Так, разве в Англии мы не видели, как в течение десяти лет, предшествовавших войне с бурами, большая пресса и особенно ее помощники иллюстрированные журналы — искусно подготавливали умы к необходимости войны, чтобы «пробудить патриотизм»? В этих видах не останавливались ни перед чем. Печатали с большим шумом романы о предстоящей войне, в которых рассказывали, как англичане, сначала побитые, делали сверхчеловеческое усилие и кончали тем, что уничтожали немецкий флот и занимали Роттердам. Один лорд затратил безумные деньги, чтобы заставить играть по всей Англии одну

патриотическую пьесу. Она была слишком глупа, чтобы делать хорошие сборы; но она была необходима для этих господ, которые мошенничали с Сесиль Родсом в Африке, чтобы завладеть золотыми россыпями в Трансваале и заставить негров работать на себя.

Забывая все, они дошли даже до того, что возродили культ — да, культ заклятого врага Англии Наполеона Первого. И с тех пор работа в этом направлении не прекращалась никогда. В 1905 г. почти даже совсем удалось втянуть Францию, управлявшуюся тогда Клемансо и Делькассе, в войну с Германией, так как министр иностранных дел консервативного правительства, лорд Ландсдоун, дал обещание поддержать французскую армию корпусом английских войск, посланных на континент!.. Нужно было очень немного в тот момент, чтобы Делькассе, который придавал этому обещанию значение, какого оно, конечно, не имело, не впутал Францию в гибельную войну.

Вообще, чем дальше мы подвигаемся в нашей буржуазной государственнической цивилизации, тем больше пресса, переставая быть

выражением того, что называют общественным мнением, прилагает все усилия к тому, чтобы самой фабриковать общественное мнение самыми бесчестными способами. Крупная пресса во всех крупных государствах есть уже не что иное, как два или три синдиката финансовых дельцов, которые формируют нужное им, в интересах их предприятий, общественное мнение. Большие газеты принадлежат им, а все остальное в счет не идет: их можно купить почти за ничто!

Но это еще не все: язва вросла еще глубже.

Современные войны это уже не только избиение сотен тысяч человек в каждом сражении, — избиение, о котором те, кто не следил за подробностями крупных битв во время Маньчжурской войны с ужасными подробностями осады и защиты Порт-Артура, не имеют абсолютно никакого представления. И, однако, три величайших исторических битвы — Гравелот, Потомак и Бородино, которые длились каждая три дня и в которых было от девяноста до ста тысяч раненых и убитых с обеих сторон, были детскими игрушками по сравнению с современными войнами!

Крупные битвы происходят теперь на фронте в пятьдесят, шестьдесят верст длины; они длятся не по три, а по семи дней (Ляо-Ян), по десяти дней (Мукдэн), и потери доходят до ста, ста пятидесяти тысяч человек с каждой стороны.

Опустошения, сделанные снарядами, пущенными с величайшей точностью батареями, расположенными в пяти, шести, семи верстах и позицию которых нельзя даже открыть, благодаря бездымному пороху, — неслыханны. Уже больше не стреляют наудачу. На чертеже разделяют на квадраты позиции, занятые неприятелем, и последовательно сосредоточивают огонь всех батарей на каждом квадрате, чтобы уничтожить все, что там находится.

Когда огонь многих сотен орудий сосредоточен на квадратной версте, как это делают теперь, не остается пространства в десять квадратных сажень, на которое не упал бы снаряд; ни одного куста, который не был бы вырван с корнем ревущими чудовищами, посланными неизвестно откуда. Безумие овладевает солдатами после семи или восьми

дней этого ужасного огня; и когда колонны нападающих — после восьми, десяти отраженных атак, но подвигаясь каждый раз на несколько метров, достигают наконец неприятельских траншей, начинается рукопашная битва. Забросав друг друга ручными гранатами и кусками пироксилина (два куска пироксилина, связанных между собой веревкой, метались японцами из пращи), русские и японские солдаты катались в траншеях Порт-Артура, как дикие звери, колотя друг друга прикладами, ножами, вырывая куски мяса зубами...

Западноевропейские рабочие и не подозревают даже об этом ужасном возврате к самому чудовищному, дикому состоянию, какое представляет собой современная война, а буржуа, которые знают это, весьма остерегаются говорить им об этом.

Но современные войны не только избиение, безумие избиения, возврат к дикому состоянию. Они также — разрушение в колоссальном масштабе человеческого труда; и результаты этого разрушения мы чувствуем среди нас постоянно, во время мира, в виде

возрастания нищеты среди бедных, которое развивается параллельно обогащению богатых.

Каждая война есть чудовищное разрушение материала, который включает не только собственно военный материал, но также вещи, самые необходимые для повседневной жизни всего общества: хлеб, мясо, овощи, всякого рода продукты, молочный скот, кожа, уголь, металлы, платье. Все это представляет полезную работу миллионов людей в течение десятков лет, и все это будет расхищено, сожжено или брошено в воду в течение нескольких месяцев. Впрочем, оно растрачивается уже теперь, в предвидении войн. И так как этот военный материал, эти металлы, эти припасы должны быть приготовлены заранее, то простая близкая возможность новой войны производит во всех наших промышленности потрясения и кризисы, которые задевают нас всех. Вы, я, все мы испытываем действие их в малейших подробностях жизни. Хлеб, который мы едим, дрова, которыми мы топим, билет железной дороги, который мы покупаем, цена каждой вещи зависит от

слухов о возможности войны в близком будущем, распространяемых спекулянтами.

Промышленные кризисы, вытекающие из предвидения войн

Необходимость заготовить заранее чудовищный военный материал и массу провизии всех родов производит неизбежно во всех промышленности потрясения и кризисы, которые отражаются ужасным образом на всех, и особенно на рабочих. Действительно, совсем недавно это можно было наблюдать в Соединенных Штатах.

Читатели, без сомнения, помнят ужасный промышленный кризис, свирепствовавший в Соединенных Штатах в течение последних трех или четырех лет. Отчасти он продолжается еще и теперь. Происхождение этого кризиса, что бы нам ни говорили «ученые» экономисты, знающие писания своих предшественников, но не знающие действительной жизни, — истинное происхождение этого кризиса было вызвано чрезмерной производительностью в главнейших отраслях, которая была вызвана в течение нескольких лет в предвидении большой войны в Европе и дру-

гой войны, между Соединенными Штатами и Японией. Те, кто толкал на эти войны, знали очень хорошо влияние, какое окажет на американскую промышленность предвидение этих войн. Результатом его, на самом деле, была лихорадочная деятельность в течение двух или трех лет в металлургии, в производстве угля, в производстве материалов для железных дорог, материалов для платья и питательных консервов.

Извлечение железной руды и производство стали в Соединенных Штатах достигли за эти годы совершенно неожиданных размеров. Сталь особенно потребляется во время современных войн, и Соединенные Штаты сделали фантастические запасы ее, равно как и других металлов, как никеля и марганца, требующихся для фабрикации особых сортов стали, необходимых для военных материалов. Шла скачка вперегонку между теми, кто спекулировал на запасах чугуна, стали, меди, свинца и никеля.

Точно так же обстояло дело с запасами ржи, мясных консервов, рыбы, овощей. Почти то же самое было с хлопчатобумажными тка-

нями, сукнами и кожами. А так как всякое крупное предприятие вызывает к жизни рядом с собой целый ряд мелких, то горячка производства, намного превосходившего спрос, распространялась все больше и больше. Те, кто давал деньги (или, скорее, кредит) и поддерживал это производство, наживались, само собой разумеется, благодаря этой горячке еще больше, чем хозяева предприятий.

И вдруг — сразу все остановилось, хотя нельзя было указать ни одной причины из тех, которым приписывали предыдущие кризисы. Дело в том, что как только высшие европейские финансовые круги убедились, что Япония, разоренная войной в Маньчжурии, не посмеет атаковать Соединенные Штаты и что ни одна из европейских наций не чувствует еще себя достаточно уверенной в победе, чтобы обнажить меч, европейские капиталисты отказали в новых кредитах как американским финансистам, дававшим деньги на займы и поддерживавшим перепроизводство, так и японским «националистам».

«В близком будущем не будет войны!» — и

вот сталелитейные заводы, медные рудники, домны, доки, кожевенные заводы и спекулянты продовольственными продуктами — все внезапно замедлили свои операции, заказы и покупки.

И тогда произошло нечто большее, чем кризис, — народное бедствие! Миллионы рабочих и работниц были выброшены на мостовую, в самую ужасную нищету. Большие и маленькие заводы закрывались, зараза распространялась, как во время чумы, сея ужас везде кругом.

Кто опишет когда-либо страдания миллионов мужчин, женщин и детей, разбитые жизни, в течение этого кризиса, в то время, когда составлялись колоссальные состояния в предвидении изорванного человеческого мяса и гор человеческих трупов, которые будут расти после каждой крупной битвы!

Вот что такое война! Вот как государство обогащает богатых, держит бедняков в нищете и из года в год все более поработывает их богатым!

Теперь, по всей вероятности, в Европе, и особенно в Англии, наступит кризис, подоб-

ный американскому и вследствие тех же причин.

Весь мир был удивлен около середины 1911 г. внезапным и совершенно непредвиденным увеличением английского вывоза. Ничто в экономическом мире не давало оснований предвидеть его. Никакого объяснения не было дано, именно потому что единственное возможное объяснение было то, что громадные заказы приходили с континента в предвидении войны между Англией и Германией. Эта война, как известно, едва не вспыхнула в июле 1911 г., и если бы она вспыхнула, Франция и Россия, Австрия и Италия были бы принуждены принять в ней участие.

Очевидно, что крупные финансисты, которые снабжают своим кредитом спекулянтов металлами, пищевыми продуктами, сукном, кожей и т.д., были уведомлены об угрожающем повороте, который принимали отношения между двумя морскими соперниками. Они знали, как оба правительства устраивали свои военные приготовления, и поэтому торопились сделать заказы, которые увеличили сверх всякой меры английский вывоз в

1911 г. [45].

По той же самой причине мы обязаны недавним чрезвычайным поднятием цен на все без исключения пищевые продукты, между тем как ни результаты урожаев минувшего года, ни количества всех сортов товаров, собранных в складах, не оправдывают этого вздорожания. Факт тот, впрочем, что вздорожание не касается одних только пищевых продуктов: все товары были задеты им, а спрос все возрастал, между тем как ничто не объясняло этого преувеличенного спроса, если не предвидение войны.

И теперь достаточно будет, чтобы крупные колониальные спекулянты Англии и Германии пришли к соглашению относительно их долей в разделе восточной Африки и чтобы они стоворились относительно «сфер влияния» в Азии, т.е. относительно ближайших завоеваний, чтобы в Европе произошла такая же внезапная остановка промышленности, какая случилась в Соединенных Штатах.

В сущности, эта остановка началась чувствоваться уже в начале 1912 г. Вот почему в Англии угольные компании и лорды хлопка

держали себя так независимо с рабочими и толкали их к забастовке. Они предвидели уменьшение спроса, они имели уже слишком много товаров на складах, слишком много угля, наваленного около копей.

Когда вдумываешься внимательно в эти факты о деятельности современных государств, то понимаешь, до какой степени вся жизнь наших цивилизованных обществ зависит — не столько от фактов экономического развития народов, сколько от того способа, которым реагируют на эти факты различные привилегированные слои, более или менее покровительствуемые государствами.

Действительно, очевидно, что вступление на экономическую арену такого могущественного производителя, как современная Германия, с ее школами и с техническим образованием, так сильно распространенным в народе, с ее молодым порывом и с организационными способностями ее народа, должно было изменить отношение между нациями. Новое приспособление сил должно было произойти. Но в силу сословной организации в современных государствах согласование эконо-

номических сил задерживается другим явлением, политического происхождения: привилегиями, монополиями, созданными и поддерживаемыми государством.

В сущности, в современных государствах, созданных специально ради установления привилегий в пользу богатых и за счет бедных, — всегда высшие финансовые круги решают дела в силу своих политических соображений. — «Что скажет барон Ротшильд?» — или, скорее: «Что скажет синдикат крупных банкиров Парижа, Вены, Лондона?» — сделалось преобладающею силою в политических вопросах и в отношениях между народами. Одобрение финансистов составляет министерства и проваливает их повсюду в Европе. (В Англии, кроме того, приходится считаться с одобрением официальной церкви и кабатчиков; но церковь и кабатчики действуют всегда в согласии с высшими финансовыми кругами, которые весьма остерегаются затронуть их доходы.) И так как всякий министр, в конце концов, есть человек, держащийся за свой пост, за свою власть и за возможности обогащения, которые она ему представляет,

то из этого следует, что вопросы международных отношений сводятся ныне, в конце концов, к знанию того, как фавориты-монополисты одного государства отнесутся к фаворитам другого государства.

Таким образом, состояние сил, пускаемых в ход, определяется степенью технического развития различных народов в данный исторический момент. Но употребление, которое будет сделано из этих сил, зависит всецело от степени подчиненности народа правительству и от формы государственной организации, до какой население позволило себя довести. Силы, которые могли бы дать гармонию, благосостояние и новый расцвет свободной цивилизации, если бы они развивались свободно в обществе, раз попав в рамки государства, то есть организации, специально развившейся ради обогащения богатых и захвата всякого прогресса в пользу привилегированных классов, эти самые силы делаются орудием угнетения, привилегий и беспрестанных войн. Они ускоряют обогащение привилегированных, они увеличивают нищету и поражение бедных.

Вот почему экономисты, которые продолжают рассматривать экономические силы без анализа государственных рамок, в которых они действуют в настоящее время, и не принимая во внимание ни государственной идеологии, ни тех сил, которые каждое государство неизбежно предоставляет к услугам богатых, чтобы их еще более обогатить в ущерб бедным, — вот почему эти экономисты остаются всецело за пределами действительности экономического строя. (...)

XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Мы видим из всего предыдущего, как ошибочно видеть в государстве что-либо другое, кроме лестничной организации чиновников, избранных или назначенных для управления различными отраслями общественной жизни и для согласования их действий. Мы видели, как ошибочно думать, что достаточно переменить их персонал, чтобы заставить машину идти в каком угодно направлении.

Если бы историческая — политическая и социальная — функция государства была бы ограничена только этим, то оно бы не уничтожило, как оно это сделало на самом деле, всю

свободу местных учреждений; оно не централизовало бы в своих министерствах все: суд, образование, религию, искусства, науки, армию и т.д.; оно не стало бы употреблять налог, как оно это сделало в интересах богатых, чтобы держать бедных постоянно ниже уровня «линии бедноты», как выражаются молодые английские экономисты; оно не употребило бы, как оно это сделало, монополию, чтобы дать возможность богатым присвоить себе весь прирост богатств, являющийся в результате успехов техники и науки.

Дело в том, что государство — нечто гораздо большее, чем организация администрации в целях водворения «гармонии» в обществе, как это говорят в университетах. Это — организация, выработанная и усовершенствованная медленным путем на протяжении трех столетий, чтобы поддерживать права, приобретенные известными классами, и пользоваться трудом рабочих масс; чтобы расширить эти права и создать новые, которые ведут к новому закреплению обездоленных законодательством граждан по отношению к группе лиц, осыпанных милостями прави-

тельственной иерархии. Такова истинная сущность государства. Все остальное — лишь слова, которые государство само велит внушать народу и которые повторяются по привычке, не разбирая их более внимательно, — слова столь же ложные, как и те, которым учит церковь, чтобы прикрыть свою жажду власти, богатства и опять-таки власти!

Однако давно уже пора подвергнуть эти слова серьезной критике и спросить себя, откуда происходит пристрастие радикалов XIX столетия и их продолжателей-социалистов к всемогущему государству? Тогда увидели бы, что пристрастие вытекает, прежде всего, из ложного представления, которое делали себе вообще якобинцы Великой Революции: из легенды, которая родилась или была сочинена вокруг Клуба якобинцев, потому что именно этому Клубу и его отделениям в провинции буржуазные историки Революции (кроме Мишле) приписывали всю славу великих принципов, провозглашенных Революцией, и страшной борьбы, которую она должна была выдержать против королевской власти и ее приверженцев — роялистов.

Давно пора, однако, сбывать эту легенду в архивы, среди других легенд церквей и государств. Люди теперь начинают уже понемногу узнавать правду о Революции и понимать, что Клуб якобинцев был клубом не народа, а буржуазии, пришедшей к власти и богатству, не Революции, а тех, кто сумел ею воспользоваться. Ни в один из великих моментов смуты этот Клуб не был авангардом Революции. Наоборот, он всегда ограничивался тем, что вводил в берега угрожающие волны, заставляя их войти в рамки государства, и сводил их на нет, уничтожая гильотиною тех, кто шел дальше его буржуазных взглядов.

Будучи рассадником чиновников, которых он поставлял в большом количестве после каждого шага вперед, сделанного Революцией (10 августа, 31 мая), Клуб якобинцев был укрепленным лагерем буржуазии, пришедшей ко власти, против уравнилельных стремлений народа. Именно за это — за то, что он сумел помешать народу идти по пути уравниния и коммунизма, его и прославляет большинство историков.

Нужно сказать, что этот Клуб имел очень

неопределенный идеал, а именно всемогущее государство, не терпевшее в своей среде никакой местной власти, как, например, независимых суверенных коммун, никакой профессиональной силы, как, например, рабочих союзов, и ничьей воли, кроме воли якобинцев Конвента, что привело неизбежно, фатально, к диктатуре полицейского Комитета общественной безопасности и, так же неизбежно, к Консульской диктатуре и к Империи. Вот почему якобинцы разбили силу коммун, и в особенности Парижской Коммуны и ее секций (преобразовав их сначала в простые полицейские участки, поставленные под надзор Комитета безопасности). Вот почему они начали войну против церкви, стараясь, однако, поддержать духовенство и церковное служение; и вот почему они не допускали ни тени провинциальной независимости и ни тени профессиональной независимости в организации ремесел, в народном образовании и даже в научных исследованиях, в искусстве.

Фраза Людовика XIV «Государство — это я!» была игрушкой в сравнении со словами якобинцев «Государство — это мы». Это было по-

глощение всей национальной жизни пирамидою чиновников. И все это должно было служить для обогащения известного класса граждан и в то же время для удержания в бедности всех остальных, то есть всего народа, кроме этих привилегированных. Но такой бедности, которая не есть полное лишение всего, нищенство, как это было при старом режиме, потому что голодные нищие не становятся рабочими, в которых нуждается буржуазия; но бедности, которая заставляет человека продавать свою рабочую силу кому бы то ни было, кто желает эксплуатировать его, и продавать ее по цене, которая позволит человеку лишь в виде исключения выйти из состояния пролетария, перебивающегося заработком.

Вот в чем состоял идеал якобинцев. Прочтите всю литературу эпохи, кроме писаний тех, кого называли бешеными, анархистами, и кого поэтому гильотинировали или устранили другим образом, — и вы увидите, что таков именно был идеал якобинцев.

Но тогда напрашивается вопрос: каким образом произошло, что социалисты второй по-

ловины XIX в. признали своим идеалом якобинское государство, тогда как этот идеал был построен с буржуазной точки зрения, в прямую противоположность уравнительным и коммунистическим стремлениям народа, проявившимся во время Революции? — Вот объяснение, к которому меня привело мое изучение этого вопроса и которое, если не ошибаюсь, верно.

Объединяющим звеном между Клубом якобинцев 1793 г. и выдающимися социалистами-государственниками был, по моему мнению, заговор Бабефа. Недаром этот заговор, так сказать, канонизирован социалистами-государственниками.

Бабеф, прямой и чистый потомок якобинского Клуба 1793 г., выступил с мыслью, что внезапный удар революционной руки, подготовленный заговором, может дать Франции коммунистическую диктатуру. Но раз он, как истый якобинец, решил, что коммунистическая революция может быть произведена декретами, то он пришел еще к двум другим заключениям: демократия сначала подготовит коммунизм, — думал он, — и тогда один чело-

век, диктатор, лишь бы только он имел сильную волю и желание спасти мир, может ввести коммунизм!

В этом представлении, которое передавалось как священное предание тайными обществами в течение всего XIX в., кроется то загадочное слово, которое позволяет социалистам, вплоть до наших дней, работать над созданием всемогущего государства. Вера (потому что в конце концов это не что иное, как член мессианской веры), вера в то, что явится наконец человек, который будет иметь «сильную волю и желание спасти мир» коммунизмом и который, достигнув «диктатуры пролетариата», осуществит коммунизм своими декретами, эта вера упорно жила в течение всего XIX века. Мы видим, в самом деле, веру французских рабочих в «цезаризм» Наполеона III в 1848 г. и двадцать пять лет спустя видим, что вождь революционных немецких социалистов Лассаль, после своих разговоров с Бисмарком на тему об объединенной Германии, пишет, что социализм будет введен в Германии королевскою династиею, но, вероятно, не династией Гогенцоллернов.

Всегда все та же вера в Мессию! Вера, создавшая популярность Луи Наполеону после побоищ в июне 1848 г., — это все та же вера во всемогущество диктатуры, соединенная с боязнью великих народных восстаний, в чем заключается объяснение того трагического противоречия, которое являет нам современное развитие государственнического социализма [46].

Если представители этого учения требуют, с одной стороны, освобождения рабочего от буржуазной эксплуатации и если, с другой стороны, они работают над укреплением государства, которое является истинным создателем и защитником буржуазии, то очевидно, что они всегда верят в то, что они найдут своего Наполеона, своего Бисмарка, своего лорда Биконсфильда, который в один прекрасный день использует объединенную силу государства на то, чтобы заставить его идти против своей миссии, против своего механизма, против своих традиций.

Тот, кто спокойно обдумает мои мысли об исторической роли государства и о современном государстве, набросанные в двух преды-

дущих очерках, — тот поймет одно из главнейших положений анархии. Он поймет, почему анархисты отказываются поддерживать каким бы то ни было образом государство и становиться самим частью государственного механизма. Он увидит, почему, пользуясь явным стремлением нашего времени к основанию тысяч групп, стремящихся заменить собой государство во всех отправлениях, которыми оно завладело, анархисты, скорее, работают над тем, чтобы массы работников земли и фабрик старались создать полные жизни организмы в этом направлении, чем над укреплением государства, созданного буржуазией.

Он поймет также, почему и как анархисты стремятся к разрушению государства, подрывая всюду, где они могут, идею централизации земельной и централизации всех проявлений общественной жизни, противопоставляя им независимость каждой местности и каждой группировки, образовавшейся для выполнения какой-нибудь общественной службы; и почему они ищут объединения в действии: не в иерархической пирамиде, не в

приказаний центрального комитета тайной организации, а в свободной, федеративной группировке от простого к сложному.

И он поймет тогда, какие зародыши новой жизни заключаются в свободных объединениях, относящихся с уважением к проявлениям человеческой личности, когда дух добровольного рабства и мессианской веры уступит место духу независимости и добровольной круговой поруки, а также вольного разбора исторических и общественных фактов, — духу, освобожденному наконец от государственных и полурелигиозных предрассудков, которые нам вдолблены школой и государственнической буржуазной литературой.

Он увидит также, в тумане не очень отдаленного будущего, очертания того, чего человек сможет достигнуть тогда, когда, устав от своего рабства, он будет искать своего освобождения в свободном действии свободных людей, которые сплотятся, объединятся в одной общей цели — в обеспечении друг другу своим коллективным трудом, известного необходимого благосостояния, чтобы дать

возможность человеку работать над полным развитием своих способностей, своей индивидуальности и достигнуть, таким образом, своей индивидуации, о которой нам столько говорили в последнее время.

И он поймет наконец, что индивидуация, то есть насколько возможно полное развитие индивидуальности, вовсе не состоит в том (как этому учат представители буржуазии и их посредственности), чтобы урезывать у творческой деятельности человека его общественные наклонности и инстинкты взаимности, оставляя ему только узкий, нелепый индивидуализм буржуазии. Глупые люди могут советовать забвение общества и мечтать об изолированной личности. Но человек мыслящий поймет, наоборот, что именно общественные наклонности и общественное творчество, когда им дан свободный выход, дадут возможность человеку достигнуть своего полного развития и подняться до высот, куда до сих пор только одни великие гении умели возвыситься в некоторых прекраснейших произведениях своего искусства.

АНАРХИЯ. ЕЕ ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ИДЕАЛЫ

Не без некоторого колебания решился я избрать предметом настоящей лекции философию и идеал анархизма. Многие до сих пор еще думают, что анархизм есть не что иное, как ряд мечтаний о будущем или бессознательное стремление к разрушению всей существующей цивилизации. Этот предрассудок привит нам нашим воспитанием, и для его устранения необходимо более подробное обсуждение вопроса, чем то, которое возможно в одной лекции. В самом деле, давно ли — всего несколько лет тому назад — в парижских газетах пресерьезно утверждалось, что единственная философия анархизма — разрушение, а единственный его аргумент — насилие.

Тем не менее об анархистах так много говорилось за последнее время, что некоторая часть публики стала наконец знакомиться с нашими теориями и обсуждать их, иногда даже давая себе труд подумать над ними; и в настоящую минуту мы можем считать, что

одержали победу по крайней мере в одном пункте: теперь уже часто признают, что у анархиста есть некоторый идеал — идеал, который даже находят слишком высоким и прекрасным для общества, не состоящего из одних избранных.

Но не будет ли, с моей стороны, слишком смелым говорить о философии в той области, где, по мнению наших критиков, нет ничего, кроме туманных видений отдаленного будущего? Может ли анархизм претендовать на философию, когда ее не признают за социализм вообще?

Я постараюсь ответить на этот вопрос по возможности ясно и точно, причем заранее извиняюсь пред вами в том, что некоторые из примеров, которыми я воспользуюсь, заимствованы из одной лекции, читанной мною в Лондоне.

Но эти примеры, мне кажется, лучше помогут выяснить, что именно нужно подразумевать под философией анархизма.

Вы, конечно, не посетуете на меня, если я, прежде всего, возьму несколько простых примеров из области естествознания. — нисколь-

ко не имею при этом в виду принять их за основу для наших общественных воззрений далеко нет; я просто думаю, что они помогут мне выяснить некоторые отношения, которые легче понять на явлениях, принадлежащих к области точных наук, чем на примерах, почерпнутых исключительно из сложных фактов жизни человеческих обществ.

Что больше всего поражает нас в настоящее время в этих науках, это — та глубокая перемена, которая происходит в последние годы во всем их способе понимания и истолкования природы.

Вы знаете, что было время, когда человек считал себя центром вселенной. Солнце, луна, планеты и звезды казались ему вращающимися вокруг нашей планеты, а эта планета, на которой жил он сам, — центром творения. Сам же он являлся в своих собственных глазах высшим существом своей планеты, избранником творца. И солнце, и луна, и звезды существовали для него одного; на него было обращено все внимание бога, который наблюдал за малейшими его поступками, останавливал для него движение солнца, парил в об-

лаках и посылал на поля и города дождь или грозу в награду за добродетели или в наказание за преступления жителей. В течение целых тысячелетий человек представлял себе вселенную именно таким образом.

Но в XVI в., когда было доказано, что земля не только не центр вселенной, но не более как песчинка в солнечной системе, не более как шар, гораздо меньший по величине, чем многие другие планеты; что само солнце это громадное светило по сравнению с нашей землей — есть не более как одна из тех бесчисленных звезд, которые мы видим светящимися на небе и составляющими своей массой Млечный Путь — в мироздании людей прошла, как вы знаете, огромная перемена. Каким ничтожным показался тогда человек в сравнении с этой бесконечностью, какими смешными показались его претензии!

Изменение космогонических взглядов отразилось на всей философии, на всех общественных и религиозных взглядах того времени. Лишь с той поры начинается то развитие естественных наук, которым так гордимся мы теперь. В настоящее время, однако, во всех от-

раслях науки происходит еще более глубокая и еще более существенная перемена, и анархизм представляет собою, как вы увидите, не что иное, как одно из многочисленных проявлений этой эволюции, как одну из отраслей этой новой, нарождающейся философии.

Возьмите любое сочинение по астрономии конца прошлого или начала этого века. Само собою разумеется, что вы не встретите там утверждения, что наша маленькая планета занимает центр вселенной; но за то вы найдете на каждом шагу представление о громадном светиле — Солнце, — управляющем посредством силы притяжения всем нашим планетным миром. От этого центрального светила исходит сила, направляющая движение его спутников и поддерживающая гармонию всей системы. Планеты рождаются из некоторой центральной массы, представляя собою, так сказать, не более как продукт ее почкования. И этой центральной массе, место которой заступило теперь наше лучезарное солнце, они обязаны всем: ритмом своих движений, своими искусно распределенными орбитами, жизнью, оживляющей и украшающей

щей их поверхность.

Если какие-нибудь причины стремятся нарушить их течение, заставить их уклониться от своих орбит, центральное светило восстанавливает порядок в системе, охраняя его и обеспечивая таким образом на веки ее существование.

И вот это-то мирозерцание исчезнет в свою очередь, как исчезло старое. Астроном, сосредоточивавший раньше все свое внимание на солнце и крупных планетах, обращается теперь к изучению бесконечно малых, населяющих вселенную. Он видит, что межпланетные и междузвездные пространства заполнены повсюду мелкими скоплениями вещества, — невидимыми и ничтожными, если их рассматривать в отдельности, но всемогущими по своей численности. Из этих скоплений одни довольно велики — как, например, тот болид, который еще не так давно распространил ужас в Испании; другие, наоборот, весят не более нескольких лотов и золотников, а вокруг них носятся еще более мелкие, почти микроскопические пылинки и газы, заполняющие собою все пространство.

И именно в этих пылинках, в этих бесконечно малых несущихся в пространстве по всем направлениям с громадной скоростью, сталкивающихся, сливающихся и распадающихся повсюду и постоянно, именно в них ищет современный астроном объяснения, как происхождения нашей системы — солнца, планет и их спутников, — так и движений, свойственных этим различным телам и гармонии во всей солнечной системе. Еще один шаг — и само всемирное тяготение окажется не более как равнодействующей беспорядочных и бессвязных движений этих бесконечно малых, — колебаний атомов, происходящих по всевозможным направлениям.

Таким образом, центр силы, перенесенный раньше с земли на солнце, оказывается теперь раздробленным, рассеянным повсюду: он везде и, вместе с тем, нигде. Мы видим, вместе с астрономом, что солнечные системы суть не более как продукт сложения бесконечно малых; что сила, которую рассматривали прежде, как управляющую всей системой, есть, может быть, сама не более как равнодействующая столкновений этих бесконечно

малых; что гармония звездных систем — гармония только потому, что она представляет собою известное приспособление, известную равнодействующую этих бесчисленных движений, слагающихся, заполняющих и уравновешивающих друг друга.

Вся вселенная принимает, при этом новом мирозерцании, иной вид. Представление о силе, управляющей миром, о предустановленном законе и предустановленной гармонии, которую отчасти предвидел Фурье и которая есть не что иное, как равнодействующая движений, бесчисленных скоплений вещества,двигающихся независимо один от другого и взаимно поддерживающих друг друга в равновесии.

И не в одной астрономии происходит такая перемена. То же самое мы видим в философии всех наук без исключения, как тех, которые занимаются природой, так и тех, которые имеют дело с человеком.

В физике исчезают отвлеченные представления о теплоте, магнетизме, электричестве. Когда в настоящее время физика говорит о нагретом или наэлектризованном теле, оно

уже не представляется ему в виде безжизненной массы, в которой прилагается неведомая сила. Она старается открыть, как в этом теле, так и в окружающем его пространстве, движения и колебания бесконечно малых атомов, двигающихся по всем направлениям, колеблющихся, живущих и производящих своими колебаниями, своими столкновениями, своей жизнью все явления теплоты, света, магнетизма или электричества.

В науках, изучающих живые существа, постепенно исчезает понятие о виде и его изменениях, и его место занимает понятие об индивидууме, особи. Ботаник и зоолог изучают индивидуума — его жизнь, его приспособление к среде. Перемены, вызываемые в отдельных особях сухостью или сыростью воздуха, теплом или холодом, обильем или недостатком пищи, большей или меньшей чувствительностью к влияниям окружающей среды, ведут к образованию видов. Изменение вида представляет теперь собою для биолога не что иное, как равнодействующую, как сумму изменений, происшедших в каждом индивидууме в отдельности. То, каков вид, зависит

от того, каковы составляющие его индивидуумы, испытывающие на себе бесчисленные влияния окружающей среды и реагирующие на эти влияния каждый по-своему.

Точно так же, когда физиолог говорит о жизни какого-нибудь растения или животного, он имеет в виду, скорее, некоторую агломерацию, состоящую из миллионов отдельных индивидуумов, чем единую и нераздельную особь. Он говорит о федерации пищеварительных органов, органов чувств, нервной системы и т.д., — органов, очень тесно связанных между собою, отражающих на себе хорошее или дурное состояние каждого из них, но тем не менее живущих, каждый, своей особой жизнью. В свою очередь, всякий орган, всякая его часть состоит из независимых клеток, соединяющихся друг с другом для борьбы с неблагоприятными для их существования условиями. Каждый индивидуум представляет собою целый мир федераций, включает в себе целый космос.

В этом мире физиолог находит независимые клетки крови, различных тканей, нервных центров; находит миллиарды белых те-

лец — фагоцитов, направляющихся к тем частям тела, которые задеты микробами, для борьбы с этими врагами. Мало того: в каждой микроскопической клетке он видит теперь целый мир независимых элементов, из которых каждый живет своей жизнью, стремится к своему благу и достигает его, группируясь и соединяясь с другими элементами. Каждый индивидуум, одним словом, представляет собою мир органов, каждый орган — целый мир клеток, каждая клетка — мир бесконечно малых, и в этом сложном мире благосостояние целого зависит вполне от размеров благосостояния, которыми пользуются мельчайшие микроскопические частицы организованного вещества. Целый переворот происходит таким образом в философии жизни.

Но особенно важны последствия этого переворота в области психологии.

Еще совсем недавно психолог говорил о человеке, как о едином и нераздельном целом. Согласно религиозной традиции, он делил людей на добрых и злых, умных и глупых, эгоистов и альтруистов. Представление о душе, как целом, даже существовало еще у ма-

териалистов XVIII века.

Но что сказали бы в наше время ученые, если бы психолог заговорил теперь о чем-нибудь подобном? Человек представляет собою теперь для психолога множество отдельных способностей, множество независимых стремлений, равных между собою, функционирующих независимо друг от друга, постоянно уравнивающих друга друга, постоянно находящихся в противоречии между собою.

Взятый в целом, человек представляется современному психологу, как вечно изменяющаяся равнодействующая всех этих разнообразных способностей, этих независимых стремлений мозговых клеток и нервных центров. Все они связаны между собою и влияют друг на друга, но каждый и каждая из них живет своею независимую жизнью, не подчиняясь никакому центральному органу, никакой душе.

Мне нет надобности входить в дальнейшие подробности: сказанного достаточно, чтобы показать, какое глубокое изменение происходит в настоящее время в области

естественных наук. Изменение это заключается не в том, что они изучают теперь такие подробности, которыми пренебрегали раньше. Далеко нет: факты остаются те же, но изменяется самый способ их понимания. Чтобы охарактеризовать в немногих словах это новое направление, мы можем сказать, что прежде наука занималась изучением крупных результатов и крупных сумм (математик сказал бы: интегралов), тогда как теперь она изучает главным образом бесконечно малые величины — т.е. тех индивидуумов, из которых составляются эти суммы и в которых ученый увидел наконец элементы самостоятельные, индивидуализированные, но в то же время тесно связанные между собою.

Что же касается до гармонии, которую человеческий ум находит в природе и которая есть в сущности не что иное, как проявление известного постоянства явлений, то, несомненно, современный ученый признает ее в настоящее время больше, чем когда бы то ни было; но он уже не стремится объяснить ее действием «законов», созданных по определенному плану, предустановленных какой-то

разумною волею.

То, что называлось прежде «естественным законом», представляется нам не более как улавливаемым нами отношением между известными явлениями; каждый такой «закон» получает теперь условную форму причинности, т.е. «если при таких-то условиях произойдет такое-то явление, то за ним последует другое, такое-то явление». Вне явления нет закона; каждое явление управляется не законом, а тем явлением, которое ему предшествовало.

В том, что мы называем гармонией природы, не проявляется никакая предвзятая мысль; для ее установления достаточно было случайных столкновений и сочетаний. Одно явление, например, будет существовать в продолжение целых веков, потому что для установления той приспособленности к условиям, того равновесия, которое оно выражает, требовались века; другое явление просуществует лишь одно мгновение, потому что эта временная форма равновесия возникла мгновенно. Если планеты нашей солнечной системы не сталкиваются ежедневно и не

разбиваются друг о друга, а существуют в продолжение миллионов веков, то это зависит от того, что они представляют собою такую форму равновесия, на установление которой, как равнодействующей целых миллионов слепых сил, потребовались миллионы веков. Если материки не подвергаются ежегодно разрушению вследствие вулканических сотрясений, то причина этого в том, что тысячи веков понадобились им, чтобы воздвигнуться частица за частицей и принять настоящую свою форму. Напротив того, молния длится одно мгновение, потому что представляет собою минутное нарушение равновесия и внезапное перераспределение еще не уравновешенных сил.

Таким образом, гармония в природе является для нас временным равновесием, устанавливающимся между различными силами, — некоторым временным приспособлением, которое может существовать лишь при условии постоянного видоизменения, представляя собою в каждый данный момент равнодействующую всех противоположных сил. Стоит только одной из этих сил оказаться

стесненной на время в своем действии, и гармония исчезнет. Способность к действию будет тогда постепенно накапливаться в данной силе и рано или поздно должна будет проявиться, должна будет обнаружиться. Если другие силы будут ей противодействовать, она все-таки не исчезнет, а нарушит, в конце концов, равновесие и разрушит гармонию, чтобы найти новое равновесие, новую форму приспособления. Так бывает в вулканических извержениях, когда заключенная внутри сила пробивает наконец застывшую лаву, которая мешает выходу газов, расплавленной лавы и раскаленного пепла. Так бывает и в революциях.

Аналогичное изменение в методах мышления совершается в то же время и в науках, занимающихся человеком.

Мы видим, например, что история, бывшая когда-то историей царств, стремится сделаться историей народов и изучением личностей. Историк стремится узнать, как жили в данную эпоху члены той или другой нации, каковы были их верования, их средства существования, какой общественный идеал рисо-

вался в их воображении и какими средствами они обладали для его достижения. Именно действие всех этих сил, прежде оставлявшихся без внимания, даст ключ к истолкованию великих исторических явлений.

Точно так же ученый, занимающийся правом, уже не довольствуется изучением того или иного свода законов. Подобно этнологу, он стремится отыскать зарождение последовательного ряда учреждений, — стремится проследить их развитие в течение ряда веков, причем занимается не столько писанным законом, сколько местными обычаями, тем «обычным правом», в котором во все эпохи находило себе выражение созидательное творчество неизвестных народных масс. В этом направлении вырабатывается теперь совершенно новая отрасль науки, которая разрушит со временем все существующие понятия, внушаемые нам в школе, и объяснит историю таким же образом, как естественные науки объясняют природу.

Наконец, политическая экономия, бывшая в начале своего существования изучением богатства народов, становится теперь изучени-

ем богатства личностей. Она интересуется не столько тем, ведет ли данная нация крупную внешнюю торговлю, сколько тем, есть ли достаточно хлеба в хижине крестьянина и рабочего? Она стучится во все двери — в дворцы и в трущобы — спрашивая как у богатого, так и у бедного: «В какой степени удовлетворены ваши потребности в необходимом и в предметах роскоши?» И, убедившись, что у девяти десятых человечества не удовлетворены даже самые настоятельные потребности, она ставит себе тот же вопрос, который поставил бы себе физиолог, изучающий какое-нибудь животное или растение, а именно: «Каким путем возможно удовлетворить потребностям всех с наименьшей тратой сил? Каким образом может общество обеспечить каждому, а следовательно, и всем, наибольшую сумму благосостояния и счастья?» В этом именно направлении происходит изменение экономической науки, которая так долго была простым перечислением явлений, истолкованных в интересах меньшинства богатых, а теперь стремится сделаться (или, вернее, вырабатывает нужные для этого элементы) наукой

в настоящем смысле слова, т.е. физиологией человеческих обществ.

По мере того, как в науке вырабатывается, таким образом, новая общая точка зрения, новая философия, мы видим, что и понятие об обществе становится совершенно иным, чем оно было до сих пор. Под именем анархизма возникает новый способ понимания прошедшей и настоящей жизни обществ и новый взгляд на их будущее, причем и то и другое проникнуто тем же духом, о котором мы говорили только что по поводу изучения природы. Анархизм является, таким образом, одной из составных частей нового мирозерцания, и вот почему анархист имеет так много точек соприкосновения с величайшими мыслителями и поэтами нашего времени.

В самом деле: по мере того как человеческий ум освобождается от понятий, внушенных ему меньшинством, стремящимся упрочить свое господство и состоящим из духовенства, войска, судебных властей и ученых, оплачиваемых из старания увековечить это господство, по мере того как он сбрасывает с себя путы, наложенные на него рабским про-

шлым, — вырабатывается новое понятие об обществе, в котором уже нет места такому меньшинству. Перед нами рисуется уже общество, овладевающее всем общественным капиталом, накопленным трудом предыдущих поколений, и организующееся так, чтобы употребить этот капитал на пользу всех, не создавая вновь господствующего меньшинства. В это общество входит бесконечное разнообразие личных способностей, темпераментов и сил, оно никого не исключает из своей среды. Оно даже желает борьбы этих разнообразных сил, так как оно сознает, что эпохи, когда существовавшие разногласия обсуждались свободно и свободно боролись, когда никакая установленная власть не давила на одну из чашек весов, были всегда эпохами величайшего развития человеческого ума.

Признавая за всеми своими членами одинаковое фактическое право на все сокровища, накопленные прошлым, это общество не знает деления на эксплуатируемых и эксплуататоров, управляемых и управляющих, подчиненных и господствующих, а стремится установить в своей среде известное гармонич-

ческое соответствие — не посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь власти, которая считалась бы представительницей всего общества, не попытками установить единообразие, а путем призыва людей к свободному развитию, к свободному почину, к свободной деятельности, к свободному объединению.

Такое общество непременно стремится к наиболее полному развитию личности, вместе с наибольшим развитием добровольных союзов — во всех их формах, во всевозможных степенях, со всевозможными целями — союзов, постоянно видоизменяющихся, носящих в самих себе элементы своей продолжительности и принимающих в каждый данный момент те формы, которые лучше всего соответствуют разнообразным стремлениям всех. Это общество отвергает всякую предустановленную форму, окаменевшую под видом закона; оно ищет гармонии в постоянно изменчивом равновесии между множеством разнообразных сил и влияний, из которых каждое следует своему пути и которые все вместе, именно благодаря этой возможности

свободно проявляться и взаимно уравниваться, и служат лучшим залогом прогресса, давая людям возможность проявлять всю свою энергию в этом направлении.

Такое представление об обществе и такой общественный идеал, несомненно, не новы. Изучая историю народных учреждений — родового строя, деревенской общины, первоначального ремесленного союза, или «гильдий», и даже средневекового городского народоправства в первые времена его существования, мы находим повсюду стремление народа к созданию обществ именно этого характера — стремление, которому, конечно, всегда препятствовало господствовавшее меньшинство. Все народные движения носят на себе более или менее этот отпечаток; так, у анабаптистов и у их предшественников мы находим ясное выражение этих самых идей, несмотря на религиозный способ выражения, свойственный тому времени. К несчастью, до конца прошлого века, к этому идеалу примешивался всегда церковный элемент, и только теперь он освободился из религиозной оболочки и превратился в понятие об анархиче-

ском обществе, основанное на изучении общественных явлений.

Только теперь идеал такого общества, где каждым управляет исключительно его собственная воля (которая есть, несомненно, результат испытываемых каждым индивидуумом общественных влияний), только теперь этот идеал является одновременно в своей экономической, политической и нравственной форме, опираясь на необходимость коммунизма, который в силу чисто общественного характера нашего производства становится неизбежным для современных обществ.

В самом деле, мы очень хорошо знаем теперь, что, пока существует экономическое рабство, нечего толковать о свободе. Слова поэта:

Не говори мне о свободе:

Бедняк останется рабом!

теперь уже проникли в умы рабочих масс, во всю литературу нашего времени; они подчиняют себе даже тех, кто живет чужой бедностью, лишая их той самоуверенности, с которой они заявляли прежде о своем праве на эксплуатацию других.

Что современная форма присвоения общественного капитала не должна более существовать — в этом согласны миллионы социалистов Старого и Нового Света. Даже сами капиталисты чувствуют, что эта форма умирает и уже не решаются защищать ее с прежней смелостью. Вся их аргументация сводится уже, в конце концов, к тому, что мы не придумали еще ничего лучшего. Но ни отрицать губительных последствий существующих форм собственности, ни защищать свое право на нее они уже не решаются. Они пользуются этим правом, пока им это позволяют, но не стремятся уже основать его на каком-нибудь принципе.

И это вполне понятно.

Возьмите, например, Париж — город, представляющий собой творчество столких веков, продукт гения целой нации, результат труда двадцати или тридцати поколений. Можно ли уверить жителей этого города, постоянно работающих для его украшения, для его оздоровления, для его прокормления, для доставления ему лучших произведений человеческого гения, для того, чтобы сделать из

него центр мысли и искусства; можно ли уверить того, кто создает все это, что дворцы, украшающие улицы Парижа, принадлежат по справедливости тем, кто является в настоящее время их законными собственниками, в то время как вся ценность их создается нами всеми и без нас равнялась бы нулю.

Усилиями ловких воспитателей народа этот обман может еще поддерживаться в течение некоторого времени. Над ним могут не задумываться даже сами рабочие массы. Но как только меньшинство мыслящих людей подняло и поставило перед всеми этот вопрос, в ответе на него уже не может быть сомнения, и народный ум отвечает: «Конечно, если отдельные люди присвоили себе лично все эти богатства, то — только ограбивши всех».

Точно так же можно ли убедить крестьянина в том, что та или другая земля, принадлежащая помещику, принадлежит ему по законному праву, когда этот крестьянин может рассказать историю каждого кусочка земли на двадцать верст в окружности? Можно ли, наконец, уверить его в том, что лучше, чтобы

такая-то земля была под парком и усадьбой у такого-то помещика, тогда как кругом есть столько крестьян, которые с радостью взяли бы ее пахать?

Возможно ли, наконец, заставить заводского рабочего или рудокопа поверить тому, что завод и копи принадлежат по истинной справедливости их теперешним хозяевам, тогда как и рабочий и рудокоп уже начинают понимать смысл всех этих громадных грабежей и захватов железных дорог и угольных копей и узнают понемногу, какими путями законного грабежа богатые господа забирают земли и заводы.

Да и верили ли в сущности когда-нибудь народные массы во все эти увертки экономистов, старавшихся не столько убедить рабочих, сколько уверить самих богачей в законности их захватов. Подавленные нуждой и не находя себе никакой поддержки в обеспеченных классах общества, крестьяне и рабочие просто предоставляли вещи их собственному течению, лишь от времени до времени заявляя о своих правах восстаниями. И если городские рабочие могли еще когда-то думать,

что придет время, когда частное владение капиталом послужит, может быть, к общей пользе, накопляя массы богатств и делясь ими со всеми, то теперь и это заблуждение исчезает, как многие другие. Рабочий начинает убеждаться, что он как был, так и остался обездоленным: что для того, чтобы вырвать у своих хозяев хоть бы малейшую частицу накопленных его усилиями богатств, ему приходится прибегать либо к бунту, либо к стачке, т.е. голодать и рисковать тюрьмой, а не то и попасть под пули императорских, королевских или республиканских войск.

Вместе с тем проявляется все яснее и яснее еще и другой, более глубокий, недостаток существующего порядка. Он заключается в том, что при существовании частной собственности, когда все предметы, нужные для жизни и для производства, — земля, жилища, пищевые продукты, орудия труда, находятся в руках немногих, эти немногие постоянно мешают выращивать хлеб, строить дома, ткать и вообще — производить всего столько, сколько нужно, чтобы доставить достаток каждому. Рабочий смутно сознает, что наша техни-

ка, наши машины настолько могущественны, что могли бы доставить всем всего вволю, но что капиталисты и государство мешают этому повсюду. Им не нужно, чтобы крестьяне и рабочие имели всего вдоволь: они боятся этого. С сытыми труднее справляться, чем с голодными.

Мы не только не производим хлеба, всякой пищи, всякого платья и прочего больше, чем нужно, чтобы всем хватало вдоволь; но мы далеко не производим того, что обязательно необходимо.

В современных государствах, когда крестьянин смотрит на помещичьи необработанные поля, на их усадьбы и сады, охраняемые судьями и урядниками, он отлично понимает это; недаром он думает о том, как хорошо было бы распахать эти пустыри и выращивать на них хлеб, которого не хватает по деревням.

Когда углекопу приходится сидеть три дня в неделю сложа руки, — а в Англии это делается постоянно, как только цены на каменный уголь начинают падать, — он думает о том, сколько угля он мог бы добыть и как хорошо было бы, если бы в каждой семье было

бы, чем топить печь.

Точно так же, когда на заводе нет работы, и рабочему приходится слоняться без дела, и он встречает каменщиков, тоже слоняющихся без работы, сапожников, жалующихся на безработицу, и т.д. — он отлично понимает, что в обществе что-то не ладно. Он знает, что столько народа живет в самых отчаянных трущобах, что ребятишки ходят босиком — и что все это нужно рабочему. Да только кто-то мешает людям все это строить и делать, и все для того, чтобы трущобу сдать за дорогую цену, а голодного рабочего загнать на фабрику за самое скудное жалованье.

Когда господа ученые пишут толстые книги о том, что слишком много вырастили хлеба и наткали миткалей, и объясняют именно этой причиной плохие времена на фабриках, они, в сущности, очень затруднились бы ответом, если бы мы их попросили назвать, чего это в Англии, во Франции в Германии или в России так уже много, что его уже и делать нечего. Сколько хлеба везут каждый год из России, а между тем известно, что если бы весь хлеб, выращенный в России, оставался в

самой России — весь как есть, — то и тогда его было бы круглым счетом всего 10 пудов на душу в год, т.е. ровно столько, сколько нужно, чтобы никто не голодал. Леса, что ли, много, когда пол-России живет так тесно в избах, что по десять человек спят в одной комнате? Или домов слишком много в городах? Дворцов, точно многовато, а квартир порядочных для рабочих — живет опять-таки по пяти и десяти человек в одной комнате. Или книг слишком много, когда целые миллионы людей живут, не видя за год ни одной книги... Одного только действительно производится слишком много — в тысячу раз больше, чем сколько их нужно: это — чиновников. Этих, точно, фабрикуют слишком, слишком много; только об этом товаре что-то не пишут в ученых книгах. А между тем — чем не товар! Покупай, кто хочет!

То, что ученые называют «перепроизводством», есть, в сущности, то, что производится всякого товара больше, чем могут купить рабочие, разоряемые хозяевами и государством. Так оно и быть должно при теперешнем устройстве, потому что — как было заме-

чено еще Прудоном — рабочие не могут одновременно покупать на свою заработанную плату то, что они производят, и в то же время доставлять обильную пищу всей армии тунаядцев, которая сидит у них на шее.

По самой сущности современного экономического устройства рабочий никогда не сможет пользоваться теми благами, которые составляют продукт его труда; и число тех, которые живут за его счет, будет все увеличиваться. Чем развитее страна в промышленном отношении, тем больше это число, потому что европеец эксплуатирует также при этом множество азиатов, африканцев и т.д. Вместе с тем промышленность направляется, и неизбежно должна направляться, не на то, в чем чувствуется недостаток для удовлетворения потребностей всех, а на то, что в данную минуту может принести наиболее крупные барыши хозяевам. Избыток у богатых неизбежно строится на бедности рабочих, и это бедственное положение большинства необходимо для того, чтобы всегда были рабочие, готовые продать себя и работать, получая только часть того, что они способны нара-

ботать. Иначе капиталист и не мог бы богаче. А ему только это и нужно.

Эти отличительные черты нашего экономического строя составляют самую сущность его. Без них он не мог бы существовать. Кто, в самом деле, стал бы продавать свою рабочую силу за цену меньшую, чем то, что она может выработать, если бы его не принуждал к тому страх голода?

Но эти-то существенные обязательные черты нашего строя и заключают в себе самое решительное его осуждение.

До тех пор, пока Англия и Франция являлись первыми в промышленности среди других народов, отсталых в смысле технического развития; пока они могли продавать свои бумажные и шерстяные ткани, свои шелка, свое железо, свои машины, а также целый ряд предметов роскоши, по таким ценам, которые давали им возможность обогащаться на счет своих покупателей — до тех пор можно было поддерживать в рабочем классе надежду на то, что и ему достанется когда-нибудь более или менее крупная часть добычи. Но теперь эти условия исчезают. Народы, бывшие отста-

лыми тридцать лет тому назад, стали в свою очередь производить в крупных размерах бумажные и шерстяные ткани, шелк, машины и предметы роскоши. В некоторых отраслях промышленности они обогнали даже англичан и французов и, не говоря уже о торговле в отдаленных странах, где они вступают в соперничество со своими старшими братьями, начинают уже соперничать с ними и на их собственных рынках. За последнее время Германия, Швейцария, Италия, Соединенные Штаты, Австрия, Россия и Япония сделались странами крупной промышленности. За ними идут Мексика, Индия, даже Сербия, что же будет, когда и китайцы начнут подражать японцам и также начнут наводнять всемирный рынок своими ситцами, шелками, железом и машинами?

Оттого промышленные кризисы, т.е. времена застоя, приходят все чаще и чаще и длятся дольше, а в некоторых отраслях производства становятся чуть не постоянными. Оттого также европейцам все более и более приходится воевать из-за рынков на востоке и в Африке, и оттого также европейская война,

т.е. драка европейцев из-за рынков, не переставая, висит угрозой над головами всех европейских народов, разоряя их вооружениями. Если до сих пор эта война еще не разразилась, то это зависит, может быть, только от того, что крупным финансистам (которые торгуют деньгами) выгодно, чтобы государства лезли все дальше и дальше в долги. Но если только эти ростовщики увидят выгоду в войне, то они и натравят толпы людей друг на друга и заставят их убивать друг друга, лишь бы финансовые цари могли тем временем богатеть.

В современном экономическом строе все тесно связано, все тесно переплетается между собою, и все ведет к неизбежному падению окружающей нас промышленной и торговой системы. Ее дальнейшая жизнь исключительно вопрос времени, и это время можно считать уже не веками, а годами. Но если это вопрос времени, то вместе с тем оно и вопрос нашей собственной энергии. Лентяи не создают историю: они пассивно терпят ее!

Вот почему во всех цивилизованных странах образуются такие значительные группы

людей, энергически требующих возвращения обществу всех богатств, накопленных трудами предыдущих поколений. Обобществление земли, угольных копей, заводов и фабрик, жилых домов, средств передвижения и т.д. стало общим боевым кличем этих партий и преследование — излюбленное средство богатых и правящих классов — уже не может предотвратить торжество восставшего ума. И если миллионы рабочих еще не двинулись до сих пор и не отняли силою у хищников землю и заводы, то только потому, что они ждут удобной минуты — в роде той, которая представилась в 1848 году, — чтобы броситься на разрушение существующего строя, встречая повсюду поддержку со стороны международного движения.

Такой момент не замедлит представиться. С 1872 года, т.е. с того времени, как Международный Союз рабочих был разгромлен правительствами — и даже в особенности с того времени — идея международной связи между рабочими сделала громадные успехи — успехи, в которых даже самые сторонники Международного Союза иногда не отдают себе отчет-

та. Связь установилась на деле, в мыслях, в чувствах, в постоянных международных сношениях, в то время как плутократии — английская, французская, немецкая, русская — враждуют между собою и ежеминутно могут довести Европу до вооруженного столкновения. Несомненно одно: в тот день, когда во Франции снова будут провозглашены коммуны и начнется социальная революция, Франция снова встретит у народов всего мира, в том числе и у немецкого, итальянского и английского, ту симпатию, которой она пользовалась у народов Европы в 1848 и в 1793 годах. И если Германия, которая, кстати сказать, ближе к республиканской революции, чем это думают, выкинет знамя этой революции — к сожалению, якобинской — и бросится в движение со всем пылом, свойственным стране молодой и переживающей (как переживает теперь Германия) восходящий период своего развития, она встретит во Франции полное сочувствие и поддержку со стороны народа, который умеет любить смелых революционеров всех наций и ненавидит высокомерную плутократию. Нечего и говорить, что,

если даже эти две враждующие нации сойдутся по-братски в момент революции, то всякое революционное движение в Италии, Испании, Австрии или в России откликнется в сердцах рабочих всего мира.

Многие причины мешают до сих пор этому неизбежному революционному взрыву в Европе. До некоторой степени опасность войны не дает Франции выступать резко и определенно на революционный путь и отвлекает ее внимание, направляя его на ложно-патриотическую дорогу. Но есть еще, мне кажется, другая, более глубокая причина, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Многочисленные признаки указывают нам на то, что во взглядах наших социалистов происходит в настоящую минуту глубокая перемена, схожая с той, которую я наметил вначале, говоря о науке вообще. И неопределенность воззрения самих социалистов насчет общественной организации, к которой следует стремиться, ослабляет до известной степени их энергию. При своем зарождении, в сороковых годах, социализм является в форме подначального коммунизма, в форме единой и

нераздельной республики, диктатуры и правительственного якобинства, перенесенного на экономическую почву. Таков был идеал того времени. И социалист тех годов, был ли он христианин или свободомыслящий, одинаково готов был подчиниться всякому сильному правительству, даже империи, лишь бы только оно взялось за перестройку экономических отношений на пользу рабочих.

Но за последние пятьдесят лет в умах произошло глубокое изменение, особенно среди латинских народов и в Англии. Рабочие стали смотреть враждебно на правительственный и на церковный коммунизм, вследствие чего и появилось в Международном Союзе рабочих новое направление — коллективизм. Коллективизм обозначал вначале коллективную, т.е. общественную собственность орудий труда (не считая, однако, предметов, необходимых для жизни), и право каждой отдельной группы принимать для своих членов какой ей будет угодно способ распределения: коммунистический или индивидуальный. Владеем мы, стало быть, фабрикой, землей, железной дорогой и т.д. сообща и работаем

сообща артелями; но каждая артель вольна по-своему распоряжаться тем, что она заработала: либо устроиться общим хозяйством и жить сообща, либо делить свой заработок, как она сама рассудит лучше. Вот что тогда (в самом начале семидесятых годов) называлось коллективизмом и по сию пору называется в Испании среди анархистов. Книга Гильома «Общий взгляд на социальную организацию» содержит прекрасное изложение этой системы, как она понималась тогда и проповедовалась анархистами, в противность государственному коммунизму, за который стояли марксисты. Мало-помалу французские социал-демократы переделали, однако, коллективизм в нечто вроде сделки между коммунизмом и государственным капитализмом (государство — главный капиталист); так что в настоящее время коллективисты стремятся к общей собственности на все то, что служит для производства, но хотят в то же время, чтобы каждый получал вознаграждение за свой труд — смотря по тому, сколько часов он проработал, — в виде чеков или расписок, где напечатано: «пять, десять, 20 часов труда». На

эти чеки можно будет покупать в общественных магазинах все товары, которые в свою очередь будут тоже расцениваться по количеству часов, сколько потребно, чтобы выработать всякий товар. Так, например, если на то, чтобы вырастить сто четвертей ржи, нужно, скажем, проработать (средним числом) четырехста часов, то четверть ржи будет стоить 4 часа; пуд каменного угля обойдется, примерно, полчаса, а фунт мыла будет стоить, скажем, пять минут.

Если подумать хорошенько, то вы увидите, что коллективизм сводится, в сущности, к следующему:

частный (неполный) коммунизм по отношению к средствам производства и к воспитанию и в то же время конкуренция между личностями и группами из-за хлеба, жилищ и одежды;

индивидуализм по отношению к произведениям человеческого ума и произведениям искусства;

и, наконец, как поправка неудобств этой системы — общественная помощь детям, больным и старикам.

Одним словом, мы видим здесь ту же борьбу за существование, лишь несколько смягченную благотворительностью, т.е. все то же применение церковно-военного правила: «сначала изрань людей, а затем лечи их», и все тот же простор для полицейского сыска с целью узнать, нужно ли предоставить каждому лицу в борьбе за существование самому себе или же ему должна быть оказана государственная помощь.

Идея чеков, как вы знаете, не нова: ее применял еще Роберт Оуэн, а потом Прудон. Теперь она получила новое название — «научного социализма».

Нужно, однако, заметить, что эта теория плохо прививается к народным массам, которые точно предчувствуют все ее неудобства, чтобы не сказать всю ее неосуществимость.

Во-первых, время, употребленное на какой-нибудь труд, еще не дает мерил общественной полезности этого труда, и все теории ценности — от Адама Смита до Маркса, — пытавшиеся основаться только на стоимости производства, высчитанной в затраченном труде, не могли до сих пор разрешить вопро-

са о ценности. Раз только происходит обмен, ценность предмета становится сложной величиной, зависящей, главным образом, от того, в какой степени она удовлетворяет потребностям не индивидуума, как прежде думали некоторые политико-экономы, а всего общества, взятого в целом.

Ценность есть явление общественное. Будучи результатом обмена, она имеет двойственный характер, представляя, с одной стороны, известное лишение, а с другой стороны, известное удовлетворение, причем и та и другая стороны должны рассматриваться не как индивидуальное, а как общественное явление.

Затем, наблюдая недостатки современного экономического строя, мы видим — и рабочие это отлично понимают, — что сущность его заключается в том, что рабочий поставлен в необходимость продавать свою рабочую силу. Не имея возможности прожить двух недель без работы, поставленный государством в невозможность воспользоваться своей силой и приложить ее к какому-нибудь полезному труду, не продавши ее барину,

фабриканту или тому же государству, рабочий вынужден — силою, голодом — отказаться от тех выгод, которые мог бы принести ему его труд. Он отдает хозяину львиную долю того, что он вырастит или сработает; и притом он приносит в жертву свою свободу и даже право высказывать свое мнение о полезности того, что он производит, и о способе производства.

Накопление капитала зависит, таким образом, не от его способности поглощать прибавочную стоимость (само понятие о прибавочной стоимости уже включает недодачу, т.е. эксплуатацию), а от того, что рабочий поставлен в необходимость продавать свою рабочую силу, зная очень хорошо, что он не получит всего того, что она произведет: что его интересы не будут соблюдены, что он станет по отношению к покупателю рабочей силы в положение низшее. Если бы этого не было, если бы миллионы обезземеленных и обездоленных, рабочих не были вынуждены закабалить себя на невыгодных условиях, капиталист никогда и не мог бы купить или нанять рабочую силу. Катковская партия крепостни-

ков и московских фабрикантов только о том и хлопочет, как бы обезземелить крестьян и обратить миллионы населения (вдесятеро больше, чем их нужно на все фабрики) в голодных и обездоленных батраков, которых можно закабалить за грош. Отсюда следует, что для перестройки существующего порядка нужно уничтожить саму его причину, т.е. самый факт продажи и купли рабочей силы, а не одни его последствия, т.е. капитализм.

Рабочие смутно понимают это; все чаще и чаще они говорят теперь, что, если социальная революция не начнет с захвата всех средств жизни, т.е. с «распределения», как говорят экономисты, и не обеспечит каждому все необходимое для жизни, т.е. жилище, пищу и одежду, то это будет все равно, как если бы ничего не было сделано. И мы знаем также, что при наших могущественных средствах производства такое обеспечение вполне возможно. Если же рабочий останется рабочим наемным, то он останется рабом того, кому вынужден будет продавать свою рабочую силу — все равно, будет то частное лицо или государство.

Точно так же народный ум, т.е. сумма всех бесчисленных мнений, возникающих в головах людей, предвидит, что если роль хозяина в покупке рабочей силы и в наблюдении за нею возьмет на себя государство, то результатом этого явится опять-таки самое отвратительное крепостничество. Человек из народа рассуждает не отвлеченностями, а прямо фактами повседневной жизни. Он чувствует поэтому, что то государство, о котором болтают в книгах, явится для него в форме несметных чиновников, взятых из числа его бывших товарищей по работе, а что это будут за люди — он слишком хорошо знает по опыту. Он знает, чем становятся отличные товарищи, раз они сделались начальством, и он стремится к такому общественному строю, в котором настоящее зло не было бы заменено новым, а совершенно уничтожено.

Вот почему коллективизм так-таки никогда и не мог увлечь народных масс, которые в конце концов приходят к коммунизму, но к коммунизму, все более и более освобождающемуся от церковной и якобинской окраски сороковых годов, т.е. к коммунизму свободно-

му, анархическому.

Мало того. Оглядываясь назад на все то, что мы пережили за последнюю четверть века в европейском социалистическом движении, я положительно убежден, что современный социализм вынужден непременно сделать шаг вперед в направлении к свободному коммунизму и что до тех пор, пока он этого не сделает, та неопределенность в умах массы, о которой я только что говорил, будет задерживать дальнейшие успехи социалистической пропаганды.

Мне кажется, что силою вещей социализм вынужден признать, прежде всего, что материальное обеспечение существования всех членов общества должно быть первым актом социальной революции. Но вместе с тем ему приходится сделать и еще один шаг, а именно признать, что такое обеспечение должно быть достигнуто не при помощи государства, а совершенно вне его, помимо его вмешательства.

Что общество, взявши в свои руки все накопленные богатства, может свободно обеспечить всем довольство, под условием четырех

или пяти часов в день физического труда в области производства — в этом согласны все те, кто только думал об этом вопросе. Если бы каждый человек привыкал с детства знать, откуда берется хлеб, который он ест, дом, в котором он живет, книга, по которой он учится, и т.д., и если бы каждый привыкал соединять умственный труд с трудом физическим, в какой бы то ни было отрасли производства, общество могло бы легко достигнуть этого, даже помимо расчета на упрощения в способах производства, которые принесет нам более или менее близкое будущее.

В самом деле, достаточно подумать только о том, какое невообразимое количество сил тратится в настоящую минуту задаром, чтобы представить себе, как много могло бы получить всякое образованное общество, как мало труда потребовалось бы для этого от каждого человека и какие грандиозные дела могло бы такое общество предпринимать — дела, о которых теперь не может быть даже и речи. К сожалению, метафизическая политическая экономия никогда не занималась тем вопросом, который должен был бы составлять всю

ее сущность, т.е. вопросом об экономии сил).

В кругу общественных наук есть, конечно, место для науки политической экономии. Но эта наука, когда ее начнут разрабатывать, будет совсем непохожа на теперешнюю. Она займет место физиологии общества. Физиология растений (физиология питания, размножения) изучает, какими приспособлениями пользуются растения, чтобы достигать наибольших результатов (сохранение особи и вида) при наименьшей затрате энергии; физиология общества то же сделает для общества и, изучив эти приспособления и сравнив их с их результатами, скажет: такие-то приспособления представляют наибольшую экономию энергии при наибольшей жизненности особи и вида, а такие-то безумную трату сил. Такие-то не экономны, но полезны тем-то. Сочинять же метафизические трилогии насчет развития общества и открывать законы, не подозревая даже условности всякого так называемого закона природы, — значит делать то, что делали геология и физиология, когда они еще не были науками. Оно, может быть, и нужно, только науки политической эконо-

мии еще не существует.

Относительно возможности для коммунистического общества быть богатым, при нашей современной, могучей технике, сомнения быть не может. Сомнение является только в вопросе о том, может ли существовать подобное общество без полного подчинения личности контролю государства и не требуется ли, для достижения материального благосостояния, чтобы европейские общества принесли в жертву даже ту незначительную свободу, которую им удалось, ценою стольких жертв, завоевать в продолжение нашего века?

Одна часть социалистов утверждает, что этого результата можно достигнуть не иначе, как принеся свободу в жертву на алтарь государства. Другая же, к которой принадлежим мы, думает, наоборот, что возможно достигнуть коммунизма, т.е. владеть сообща всем нашим общественным наследием и производить сообща все богатства, — только путем уничтожения государства, завоевания полной свободы личности, добровольного соглашения и совершенно свободного соединения

в союзы и в федерации союзов.

Этот вопрос стоит в настоящую минуту на первом плане, и на этот вопрос социализм должен дать тот или другой ответ немедленно, если не хочет, чтобы все его усилия оказались бесплодными.

Рассмотрим же его со всем тем вниманием, которого он заслуживает.

Каждый социалист легко вспомнит, как много предрассудков жило в нем в то время, когда он впервые услышал или подумал сам, что уничтожение частной собственности на землю и капитал становится исторической необходимостью.

То же самое происходит в настоящее время с человеком, которому в первый раз приходится слышать, что уничтожение государства с его законами, со всей его системой управления, со всем его объединением точно так же становится исторической необходимостью, что уничтожение капитализма невозможно без разрушения государства.

Эта мысль, бесспорно, противна всем понятиям, привитым нам нашим воспитанием — воспитанием, которым (не мешает помнить)

руководят в своих выгодах церковь и государство.

Мы так много учились и читали о необходимости власти, так запуганы и боимся самих себя (христианство) и еще более того «неразумной толпы» (история), мы так много слышаны об ужасах бунтов, беспорядков «хаоса», «анархии», что мысль безвластия нас пугает с первого раза.

Но становится ли от этого мысль безвластия менее справедливой? И раз мы принесли уже в жертву своего освобождения столько предрассудков относительно хозяина, собственности, религии, — остановимся ли мы перед предрассудком государства?

Я не стану вдаваться в критику государства; это сделано было уже много раз. Точно так же я не стану рассматривать и его историческую роль и сошлюсь на другую мою работу («Государство и его роль в истории»). — ограничусь несколькими общими замечаниями.

Прежде всего, в то время как человеческие общества существуют с самого начала появления на земле человека, государство представ-

ляет собою, напротив, форму общественной жизни, создавшуюся лишь очень недавно у наших европейских обществ. Человек существовал уже в течение целых тысячелетий, прежде чем образовались первые государства: Греция и Рим процветали уже целые века до появления македонской и римской империй, а для нас, современных европейцев, государства существуют, собственно говоря, только с XVI века. Именно тогда завершилось уничтожение свободных общин и создано то общество взаимного страхования между военной и судебной властью, землевладельцами и капиталистами, которое называется государством.

Лишь в шестнадцатом веке был нанесен решительный удар преобладавшим до того представлениям о городской и сельской независимости свободных союзов и организаций, свободной на всех ступенях федерации независимых групп, отправлявших все те обязанности, которые теперь государство захватило в свои руки. Лишь после поражения крестьянских, гусситского и анабаптистского движений и после покорения вольных горо-

дов союз между церковью и зарождавшеюся королевской властью положил конец федеративной вольной организации. Между тем это устройство просуществовало с девятого по пятнадцатый век и дало тот замечательный период свободных средневековых городов, создавших целую новую и могучую цивилизацию, характер которой так хорошо уловили Огюстен Тьерри и Сисмонди — историки, к сожалению, слишком мало читаемые в наше время.

Известно, каким образом это соглашение между дворянином, священником, купцом, судьей, солдатом и королем упрочило свое господство. Все свободные союзы, существовавшие в средневековой городской и деревенской общине, — все гильдии, все союзы ремесленников, мастеров и подмастерий, братства, подсоседства и т.д., — были уничтожены повсеместно: королями в Англии, Франции, Испании, Италии и Германии, московскими царями в России. Земли, принадлежавшие общинам, были отданы на разграбление; богатства, составлявшие собственность гильдий, были конфискованы; всякое свободное согла-

шение между людьми подвергалось безусловному и жестокому запрещению. Чтобы установить свое господство, чтобы получить возможность управлять потом лишь стадами, не имевшими между собою никакой прямой связи, Церковь и Государство не останавливались ни перед чем: убийство тайное, в одиночку и массовое, колесование, виселица, меч и огонь, пытка, выселение целых городов — все было пущено в ход. Вспомните о сотне слишком тысяч крестьян, перебитых в Голландии, о другой сотне тысяч убитых на войне и в Швейцарии, о зверствах Ивана Грозного в Новгороде...

Только теперь, только в последние двадцать лет мы начинаем отвоевывать путем борьбы и революции некоторые крохи тех прав на вольные артели и всевозможные союзы, которыми пользовались средневековые ремесленники и крестьяне, даже крепостные.

Мы опять начинаем отвоевывать эти права, и если вы взглянете в жизнь современных цивилизованных народов — книги не говорят об этом, но присмотритесь к жизни, — вы увидите, что господствующее стремление

нашего времени есть стремление к образованию тысяч всевозможных союзов и обществ для удовлетворения самых разнообразных потребностей современного человека.

Вся Европа покрывается добровольными союзами с целью изучения, обучения промышленности, торговли, науки, искусства и литературы, с целями эксплуатации и с целью ограждения от эксплуатации, с целью развлечения и серьезной работы, наслаждения и самопожертвования, — одним словом, для всего того, что составляет жизнь деятельного и мыслящего существа. Мы находим эти постоянно возникающие общества во всех уголках политической, экономической, художественной и умственной жизни Америки и Европы. Одни из них быстро исчезают, другие живут уже десятки лет, и все они стремятся, сохраняя независимость каждой группы, кружка, отделения или ветви, соединиться друг с другом, сплотиться, образовать между собою федерации в каждой стране и международные и охватить все существование цивилизованного человека сетью перекрещивающихся и переплетающихся нитей. Эти обще-

ства насчитываются уже десятками тысяч и охватывают миллионы людей, а между тем не прошло еще и пятидесяти лет с тех пор, как Церковь и Государство стали терпеть некоторые — только еще некоторые из них.

Повсюду эти общества захватывают то, что прежде считалось обязанностью государства, и стремятся заменить деятельность его объединенной, чиновничьей власти деятельностью добровольною. В Англии мы находим даже общества страхования от воровства, общества спасения на водах, общества добровольных защитников страны, общества для защиты берегов и т.д. без конца. Государство стремится, конечно, взять всякое такое общество под свою опеку и превратить его в орудие упрочения своей власти, и иногда это ему удается (Красный Крест); но первоначальная цель всех этих обществ — обходиться без государства. Не будь Церкви и Государства, свободные общества давно охватили бы область образования и воспитания, уже, конечно, давали бы лучшее образование, чем то ложное образование, которое дает — далеко не всем государство. Впрочем, вольные общества уже

начинают вторгаться и в эту область и уже оказывают в ней свое влияние, несмотря на все препятствия.

При виде того, как много делается в этом направлении, помимо государства и наперекор ему (так как оно старается сохранить за собою господство, завоеванное им в течение трех последних столетий), при виде того, как добровольные союзы захватывают понемногу все и останавливаются в своем развитии, только уступая силе государства, мы волею-неволею должны признать, что здесь проявляется могучее стремление и пробивается новая сила современного общества. И мы можем тогда с полным правом поставить следующий вопрос: «если через пять, десять, двадцать лет — все равно — восставшим рабочим удастся сломить силу названного общества взаимного страхования между собственниками, банкирами, священниками, судьями и солдатами; если народ станет на несколько месяцев хозяином своей судьбы и завладеет всеми созданными им и принадлежащими ему по праву богатствами, — то займется ли он снова восстановлением хищнического го-

сударства? Не попытается ли он, наоборот, создать организацию, идущую от простого к сложному, основанную на взаимном соглашении, соответственно разнообразным и постоянно меняющимся потребностям каждой отдельной местности, с целью обеспечить за собою пользование завоеванными богатствами и возможность жить и производить все то, что окажется необходимым для жизни? Иными словами, разрушив современную государственную организацию, чтобы совершить социальный переворот, что лучше: создавать ли вновь государство — вековое орудие угнетения народов — в обновленной форме, или же искать средств обойтись без него? Пойдет ли народ за господствующим стремлением века, или, наоборот, он пойдет против него, пытаясь вновь создать уничтоженную им же власть?»

Культурный человек, которого Фурье с презрением называл «цивилизованным» — трепещет при мысли, что общество может остаться в один прекрасный день без судей, без жандармов и без тюремщиков.

Действительно ли, однако, так нужны нам

эти господа, как говорят нам в книгах — книгах, написанных учеными, которые обыкновенно очень хорошо знают, что было написано до них в других таких же книгах, но совершенно не знают по большей части ни народа, ни его ежедневной жизни.

Если мы можем безопасно ходить не только по улицам Парижа, где кишат полицейские, но и по деревенским дорогам, где лишь изредка встречаются прохожие, то чему обязаны мы этим: полиции или, скорее, отсутствию людей, желающих убить или ограбить прохожего? — не говорю, конечно, о людях, носящих при себе миллионы — таких мало, — я имею в виду простого буржуа, который боится не за свой кошелек, наполненный несколькими дурно приобретенными червонцами, а за свою жизнь. Основательны ли его опасения?

Недавний опыт показал нам, что Джэк Потрошитель совершал в Лондоне свои зверства буквально-таки под носом у полицейских, — а лондонская полиция самая деятельная в мире, — и прекратил он их только тогда, когда его начало преследовать само уайтчапель-

ское население.

А наши ежедневные отношения с нашими согражданами? И неужели вы думаете, что противообщественные поступки в самом деле предотвращаются судьями, тюрьмами и жандармами? Неужели вы не видите, что судья, т.е. человек, одержимый законническим помешательством и вследствие этого всегда жестокий, — что доносчик, шпион, тюремщик, палач полицейский (а без них как жить судье?) и все подозрительные личности, ютящиеся вокруг судов, в действительности представляют, каждый из них, центр разврата, распространяемого в обществе? Присмотритесь-ка к этой жизни судейской, прочитайте отчеты о процессах, пробежите объявления, ими полны газеты английских агентств для частного сыска, предлагающие за бесценок выслеживать поведение мужей и жен при помощи опытных сыщиц; постарайтесь, хотя бы по отрывкам, составить картину Скотланд-Ярда (английского Третьего Отделения), Тайной Парижской полиции с ее помощницами на тротуарах и русского Третьего Отделения; загляните за кулисы судов, посмотрите, что де-

лается на задах торжественных каменных фасадов, и вы почувствуете глубочайшее отвращение. Разве тюрьма, убивающая в человеке всякую волю и всякую силу характера и заключающая в своих стенах больше пороков, чем в каком бы то ни было другом пункте земного шара, не играла всегда роль высшей школы преступления, а зала суда — всякого суда — школы самой гнусной жестокости?

Нам возражают, что, когда мы требуем уничтожения государства и всех его органов, мы мечтаем об обществе, состоящем из людей лучших, чем те, которые существуют в действительности. Нет, ответим мы, тысячу раз нет! Мы требуем одного: чтобы эти гнусные государственные учреждения не делали людей худшими, чем они есть!

Известный немецкий юрист Иеринг задумал однажды резюмировать свои научные труды в сочинении, в котором он намеревался разобрать средства, служащие к поддержанию общественной жизни. Сочинение это носит название «Цель в праве» (Der Ziel im Recht) и пользуется вполне заслуженной репутацией.

Он выработал план своего труда и разобрал с большим знанием два существующих принудительных средства: наемную плату и формы принуждения, помеченные в законе. В конце он оставил два параграфа, чтобы упомянуть о двух непринудительных средствах, которым он, как и следовало юристу, не придавал особенного значения, а именно: чувству долга и чувству симпатии.

И что же? По мере того, как он исследовал принудительные средства, он убеждался в их полной недостаточности, полной неспособности поддержать общественный строй. Он посвятил им целый том, и в результате исследования их значение сильно пошатнулось. Когда же он приступил к двум последним параграфам и принялся думать о непринудительных средствах общественной жизни, он увидел, что они имеют такое огромное, преобладающее значение, что вместо двух главок ему пришлось написать целый второй том, вдвое толще первого, об этих двух средствах: о добровольном самоограничении и о взаимной поддержке, причем он исчерпал только ничтожную часть предмета, так как говорил

только о том, что вытекает из чувства личной симпатии, едва затронув вопрос о свободном соглашении для выполнения общественных отправлений.

С каждым из вас случится то же, что с Иерингом, если вы серьезно подумаете об этом предмете, и вместо того, чтобы повторять формулы, законченные вами в школе, сами серьезно займитесь этим вопросом. Подобно Иерингу вы увидите, какое ничтожное значение имеет в обществе принуждение сравнительно с добровольным соглашением.

С другой стороны, если вы последуете уже старому совету, данному Бенхамом, и подумаете о гибельных — прямых, а в особенности косвенных последствиях всякого законного принуждения, вы возненавидите, как Толстой и как мы, это употребление силы и придете к заключению, что в руках общества есть тысяча других, гораздо более действительных средств для предотвращения противообщественных поступков; если же оно теперь не прибегает к этим средствам, то только потому, что и его воспитание, руководимое церковью и государством, и его трусость и леность

мысли мешают ясному пониманию этих вопросов. Если ребенок совершил какой-либо проступок — проще всего его наказать: тогда, по крайней мере, не нужно никаких объяснений. А разве трудно казнить человека, особенно когда есть на то наемные палачи — в Англии, всего по фунту, т.е. по 10 рублей за каждого повешенного? Чего лучше! Заплатить несколько сот рублей в год и не ломать дворянскую голову над причинами преступлений! А в Сибирь сослать или в Крест запереть — и того проще! Но — не омерзительно ли это? Нам часто говорят, что мы, анархисты, живем в мире мечтаний и не видим современной действительности. На деле же выходит, что мы, может быть, слишком хорошо ее видим и знаем, а потому и стараемся прорубить топором просеку в окружающей нас чаще вековых предрассудков по вопросу о всякой власти «от Бога или от мира сего».

Мы далеко не живем в мире видений и не представляем себе людей лучшими, чем они есть на самом деле: наоборот, мы именно видим их такими, какие они есть, а потому и утверждаем, что власть портит даже самых

лучших людей и что все эти теории «равновесия власти» и «контроля над правительством» не что иное, как ходячие формулы, придуманные теми, кто стоит у власти, для того, чтоб уверить верховный народ, будто правит именно он. Наделе же государством народ нигде не правит. Везде богатые и обученные управлению управляют бедными [47]. Именно в силу нашего знания людей мы и говорим правителям, которые думают, что без них люди загрызли бы друг друга: «Вы рассуждаете, как тот французский король, который, будучи принужден уехать за границу, восклицал: “Что станется без меня с моими несчастными подданными!”»

Конечно, если бы люди были такими высшими существами, какими изображают их утописты власти, если бы мы могли, закрыв глаза на действительность, жить, как они, в мире иллюзий насчет нравственной высоты тех, кого они считают призванными к управлению, тогда, может быть, и мы думали бы, как они, и верили бы, как они, в добродетели правителей.

В самом деле, что же было бы худого в раб-

стве, если бы рабовладельцы действительно были теми праведными архангелами, какими их изображали утописты рабства? Вы, может быть, помните, какими розовыми красками нам расписывали американских рабовладельцев и крепостников-помещиков лет тридцать тому назад? Они ли не заботились отечески о своих рабах и крепостных! Без барина эти ленивые, беспечные, непредусмотрительные дети просто пропали бы с голоду! И к чему — говорили нам крепостники — станет барин обременять своих рабов непосильным трудом или истязать их под розгами! Ведь его прямая выгода хорошо кормить своих рабов, хорошо с ними обращаться, заботиться об них, как о своих собственных детях! Уж как сладко нам певали это в нашем детстве всероссийские Скарятинны, американские газетчики и английские попы! А кроме того, ведь существовал «закон», каравший рабовладельца за малейшее уклонение от своих обязанностей! А между тем Дарвин, вернувшись из своего путешествия в Бразилию, так всю жизнь и был преследуем криками изуверчиваемых рабов, которые он слышал в Брази-

лии, и рыданиями женщин, стонавших от боли в закованных в тиски руках. А нам, детям бывших помещиков, по сию пору краска бросается в лицо при одной мысли о том, что делали наши отцы.

Если бы господа, стоящие у власти, действительно были людьми, настолько умными и преданными общественному делу, как нам изображают их хвалители государства, — какую бы можно было создать великолепную утопию, с правительством и хозяевами во главе! Хозяин был бы не тираном, а отцом своих рабочих! Завод был бы привлекательнейшим местопребыванием и никогда бы целые населения рабочих не оказывались осужденными на физическое вырождение. Государство не отравляло бы своих рабочих, заставляя их делать спички с белым фосфором, когда его так легко заменить красным. Таких судей, которые осуждают на целые годы голода и лишений и на смерть от истощения ни в чем неповинных жен и детей приговариваемых ими людей, — таких зверей не существовало бы; прокуроры не стали бы требовать смертной казни для подсудимого ради того

только, чтобы проявить свои ораторские таланты, и не нашлось бы ни тюремщиков, ни палачей для приведения в исполнение приговоров, которых судьи сами и не хотят исполнять! Да что тут говорить! У самого Плутарха не хватило бы слов, чтобы расписать все добродетели депутатов того блаженного времени, депутатов, которым противен самый вид панамских чеков! Дисциплинарные батальоны стали бы рассадниками всяких добродетелей, а постоянные армии — одним удовольствием для граждан, так как ружья служили бы солдатам только для того, чтобы маршировать перед няньками и детьми с букетами цветов, надетыми на штыки.

Какая прекрасная утопия, какая чудная святочная сказка создается в нашем воображении, как только мы предположим, что люди, стоящие у власти, представляют собою высший класс людей, которому чужды или почти чужды слабости простых смертных! Достаточно было заставить чиновников контролировать друг друга, соответственно Табели о рангах, и ограничить всего только двадцатью пятью номерами количество рапортов и от-

ношений, которыми позволено будет канцеляриям обмениваться в случае, если где-нибудь ветер сломает казенное дерево. (Теперь в объединенной Франции, чтобы продать казенное дерево, сломанное бурей, канцелярии обмениваются 53-мя номерами бумаги.) В случае надобности можно, кроме того, предоставить надзор за чиновниками простым смертным, которые в государственных утопиях отличаются в своих взаимных отношениях всевозможными пороками, но становятся олицетворением мудрости, как только им приходится выбирать себе правителей.

Вся наука государственного управления, созданная самими правителями, проникнута этой утопией. Но мы слишком хорошо знаем людей, чтобы предаваться подобным мечтам. Мы не прилагаем двух различных мерок, смотря по тому, идет ли речь об управителях или об управляемых; мы знаем, что мы сами несовершенны и что даже самые лучшие из нас быстро испортились бы, если бы попали во власть. Мы берем людей такими, каковы они есть, и вот почему мы ненавидим всякую власть человека над человеком и стараемся

всеми силами может быть, даже недостаточно — положить ей конец.

Но одного разрушения недостаточно. Нужно также уметь и создать. Народ всегда оказывался обманутым во всех революциях именно потому, что недостаточно думал об этом созидании. Разрушив старое, он представлял всегда заботу о будущем буржуазии, которая имела перед ним то преимущество, что знала более или менее ясно, чего хотела, и таким образом восстанавливала власть снова в свою пользу.

Вот почему, стремясь к уничтожению власти во всех ее проявлениях, к уничтожению законов и механизма, служащего для того, чтобы заставить им подчиняться, отрицая всякую местничную организацию и проповедуя свободное соглашение, анархизм стремится вместе с тем к поддержанию и расширению того драгоценного ядра привычек общности, без которых не может существовать никакое человеческое, никакое животное общество. Только вместо того, чтобы ждать поддержки этих общественных привычек от власти нескольких человек, он ждет

его от постоянной деятельности всех.

Коммунистические учреждения и привычки необходимы для общества не только как способ разрешения экономических затруднений, но также и для поддержания и развития тех привычек общественности, которые сближают людей, создают между ними отношения, обращающие пользу каждого в пользу всех, учреждения, соединяющие людей, вместо того чтобы разъединять их.

Когда мы задаем себе вопрос, какими средствами поддерживается в человеческом или животном обществе известный нравственный уровень, мы находим всего три таких средства: преследование и наказание противообщественных поступков, нравственное воспитание и широкое применение взаимной поддержки в жизни. А так как эти три способа уже были испробованы, то мы можем судить о них на основании их результатов.

Что касается бессилия судебного наказания, то оно достаточно доказывается тем безобразным положением, в котором находится современное общество, и самую необходимость той революции, к которой мы стремим-

ся и неизбежность которой мы все чувствуем. В области хозяйственной система принуждения привела нас к фабричной каторге; в области политической — к государству, т.е. к разрушению всех связей, существовавших прежде между гражданами (якобинцы 1793 года разорвали даже те связи, которым удалось устоять против королевской власти), с целью сделать из них бесформенную массу подданных, подчиненную во всех отношениях одной срединной власти. Государственные законы и наказание не только помогли создать все бедствия современного хозяйственного, политического и общественного строя, но вместе с тем обнаружили свою полную неспособность поднять нравственный уровень общества. Они не сумели даже удержать его на том уровне, на каком оно стояло. В самом деле, если бы какая-нибудь благодетельная фея вдруг развернула перед нашими глазами все те преступления, которые совершаются в цивилизованном обществе под прикрытием неизвестности, протекции высокопоставленных лиц и самого закона, общество содрогнулось бы. За крупные политические

преступления, вроде наполеоновского переворота 2 декабря, или кровавой расправы с коммуной, или царских расправ в каторге и Шлиссельбурге, виновные никогда не несут наказания. Некрасов правду сказал: «Бичуют маленьких воришек для удовольствия больших». Мало того. Когда власть берет на себя задачу улучшать общественную нравственность «наказанием виновных», она лишь порождает ряд новых преступлений — в судах и тюрьмах. К принуждению люди прибегали в течение целого ряда веков и так безуспешно, что мы находимся теперь в положении, из которого не можем выйти иначе, как разрушив и уничтожив принудительные учреждения нашего прошлого.

Мы далеко не отрицаем значения второго из упомянутых средств: нравственного воспитания; особенно такого, которое бессознательно передается в обществе от одного к другому и вытекает из общего свода всех мыслей и мнений, высказываемых каждым из нас относительно событий ежедневной жизни. Но эта сила может влиять на общество только при одном условии: если ей не будет препят-

ствовать другое, безнравственное, воспитание, вытекающее из существующих государственных учреждений.

В этом последнем случае ее влияние сводится к нулю или даже оказывается вредным. Возьмите христианскую нравственность: какая другая нравственность могла бы иметь такое сильное влияние на умы, как христианская, говорившая от имени распятого Бога и действовавшая всею силою своей таинственности, всей поэзией мученичества, всем величием прощения палачам? А между тем влияние государственных учреждений оказалось сильнее христианской религии. Христианство было в сущности восстанием иудеев против императорского Рима, но на деле оно было покорено этим Римом, оно приняло его начала, его обычаи, его язык. Христианская церковь проникнулась началами римского государственного права и, вследствие этого, явилась в истории союзницей государства, — самого отчаянного врага тех полукоммунистических учреждений, к которым взывало христианство в начале своего существования.

Можем ли мы предположить, хотя бы на

минуту, что нравственное воспитание, устанавливаемое под покровительством министерских циркуляров, будет иметь ту творческую силу, которой не оказалось у христианства? И что может сделать воспитание, хотя бы оно и стремилось сделать людей действительно общественными, если против него будет стоять другое воспитание, ежедневное, вытекающее из суммы всех противообщественных привычек и учреждений?

Остается третий элемент — само учреждение, действующее так, чтобы поступки, в которых проявляются чувства общности, вошли в привычку, сделались делом инстинкта. Эта сила, как показывает нам история, никогда не оказывалась беспомощною; никогда она не являлась обоюдоострым оружием. И если случалось, что она не достигала своей цели, то только тогда, когда хороший обычай, становясь понемногу неподвижным, окристаллизованным, обращался в какую-то неприкосновенную религию и поглощал личность, отнимая у нее всякую свободу действия и тем самым вынуждая ее бороться с тем, что становилось препятствием к даль-

нейшему развитию.

В самом деле, все то, что послужило в прошлом как элемент развития, прогресса или как орудие нравственного и умственного воспитания человечества, — все это вытекало из приложений на практике начал взаимной поддержки и проявления таких привычек, которые признавали равенство между людьми, побуждали их самих соединяться друг с другом, спланиваться для производства и потребления или же для общей защиты образовывать союзы и прибегать для решения возникавших между ними споров к посредникам, выбранным из своей собственной среды.

Всякий раз, когда эти учреждения, рождавшиеся как продукт народного творчества в те эпохи, когда народ завоевывал себе свободу, достигали в истории наибольшего развития — всякий раз и нравственный уровень общества, и его материальное благосостояние, и его свобода, и его умственный прогресс, и развитие личности — все поднималось. Всякий же раз, когда, наоборот, в силу ли иностранного завоевания, или в силу развития госу-

дарственных предрассудков, люди все больше и больше делились на управителей и управляемых, как эксплуататоров и эксплуатируемых, — нравственный уровень общества понижался; вместо благосостояния большинства являлась нажива некоторых, и общий дух века быстро мельчал.

Этому учит нас история, и именно из нее мы черпаем нашу веру в учреждения свободного коммунизма как в силу, которая способна поднять нравственный уровень общества, пониженный привычками государственности.

В настоящее время мы живем в городах рядом с другими людьми, даже не зная их. В дни выборов мы встречаемся друг с другом на собраниях, слушаем лживые обещания или нелепые речи кандидатов и возвращаемся к себе домой. Государство заведует всеми делами, имеющими общественный интерес; на нем лежит обязанность следить за тем, чтобы отдельные люди не нарушали интересов своих сограждан, и, в случае надобности, исправлять нанесенный им вред, наказывая виновных. На нем лежит забота о помощи голодаю-

цим, забота образования, защита от врагов и т.д. и т.д.

Ваш сосед может умереть с голоду или заколотить на смерть своих детей, — до вас это не касается: это дело полиции. Вы не знаете своих соседей; вас ничто не связывает с ними, и все разъединяет, и, за неимением лучшего, вы просите у Всемогущего (прежде это был бог, а теперь государство), чтобы он не допускал противообщественные страсти до их крайних пределов.

В коммунистическом обществе дело неизбежно должно пойти иначе. Организацию коммунистического строя нельзя поручить какому-нибудь законодательному собранию, — парламенту, городскому или мирскому совету. Оно должно быть делом всех, оно должно быть создано творческим умом самого народа; коммунизм нельзя навязать свыше. Без постоянной, ежедневной поддержки со стороны всех он не мог бы существовать; он задохнулся бы в атмосфере власти.

Вследствие этого коммунизм и не может существовать иначе, как создавая тысячи точек соприкосновения между людьми по пово-

ду их общих дел. Он не может жить иначе, как создавая независимую местную жизнь для самых мелких единиц: для каждой улицы, для каждой кучки домов, для каждого квартала, для каждой общины и города. Он тогда только и может достичь своей цели, если покроет общество целой сетью артелей и обществ, служащих для удовлетворения всевозможных потребностей: нужды довольства, роскоши, изучения, развлечений и т.д. А эти общества точно так же не могут оставаться чисто местными; они неизбежно будут стремиться к тому, чтобы стать всенародными и международными, как это происходит уже теперь с учеными обществами, с обществами велосипедистов, с обществами для спасения утопающих и пр.

И те общественные привычки, которые неизбежно вызовет к жизни коммунизм — хотя бы вначале даже неполный коммунизм — окажутся несравненно сильнее для поддержания и развития существующего уже ядра общественных привычек, чем все возможные карательные меры.

Вот от какой формы жизни, от какого об-

щественного строя мы ждем развития духа взаимного соглашения. Заметим кстати, что эти соображения служат также ответом тем, кто утверждает, что коммунизм и анархизм несовместимы. На деле они составляют необходимое дополнение друг для друга.

Полное развитие личности и ее личных особенностей может иметь место по справедливому замечанию одного из наших товарищей — только тогда, когда первые, главные потребности человека в пище и жилье удовлетворены, когда его борьба за жизнь, против сил природы, упростилась, когда его время не поглощено тысячами мелких забот о поддержании своего существования. Тогда только ум, художественный вкус, изобретательность и вообще все способности человека могут развиваться свободно.

Коммунизм представляет собою, таким образом, лучшую основу для развития личности — не того индивидуализма, который толкает людей на борьбу друг с другом и который только и был нам до сих пор известен, — а того, который представляет собою полный расцвет всех способностей человека, высшее

развитие всего, что в нем есть оригинального, наибольшую деятельность его ума, чувств и воли.

Таков наш идеал, и что нам за дело до этого, что во всей своей полноте он осуществится лишь в более или менее отдаленном будущем! Его частное осуществление мы можем начать сейчас же, среди нас самих; его идеи мы должны распространять как можно шире, не медля ни минуты, — и тогда мы увидим, как наши отдаленные стремления повлияют на каждый шаг вперед, который сделает общество, как они отразятся на всех воззрениях относительно того, что следует делать сейчас же, как отнестись к каждому частному вопросу.

Наше дело — открыть, прежде всего, путем изучения современного общественного строя, его стремления, его направление, свойственные ему в данный момент развития, и указать эти стремления. Затем — осуществить эти стремления в наших сношениях с нашими единомышленниками; и наконец, заняться уже теперь, и в особенности с наступлением революционного периода, разрушением

учреждений и предрассудков, стесняющих развитие этих стремлений.

Это — все, что мы можем сделать, как мирным, так и революционным путем. Но мы знаем, что, способствуя проявлению этих стремлений, мы содействуем прогрессу, и что все, что идет против них, может только задержать прогресс.

Нам часто говорят о промежуточных ступенях, которые общество должно будет пройти, и нам предлагают бороться за достижение того, на что нам указывают, как на первый этапный пункт; впоследствии, говорят нам, можно выйти на истинную дорогу, после того как мы достигнем первого этапа.

Мне кажется, однако, что рассуждать таким образом — значит совершенно не понимать настоящего характера человеческого прогресса и пользоваться сравнением, взятым из военного дела и, в сущности, довольно неудачным. Человечество не представляет собою ни катящегося шара, ни даже марширующей колонны солдат. Оно есть такое целое, развитие которого состоит в развитии составляющих его миллионов; и если мы уже

непременно хотим делать сравнения, то материал для таких сравнений надо брать, скорее, из законов развития живых существ, чем из законов движения неживых тел. В действительности, каждый шаг в развитии общества представляет собою равнодействующую умственных деятельностей всех составляющих его единиц, и он носит на себе отпечаток воли каждой из них. Каков бы ни был новый вид развития, который готовит нам XX век, он неизбежно будет носить на себе отпечаток тех идей безгосударственной свободы, которые уже начинают пробуждаться теперь. Глубина этого движения будет зависеть от числа умов, порвавших с государственными предубеждениями от энергии, с которой они будут разрушать старые учреждения, от впечатления, которое они произведут на общество, от ясности, с которой общественный строй освободившегося общества будет обрисовываться в умах этой массы. Но мы можем сказать уже теперь, — например, относительно Франции, — что пробуждение идей безгосударственной свободы дало французскому обществу известный толчок и что будущая рево-

люция во Франции ни в каком случае уже не будет той якобинской, сосредоточенной (централизованной) революцией, какой она была бы, если бы произошла двадцать лет тому назад.

Раз анархические идеи не представляют собою измышления какой-нибудь отдельной личности или группы, а вытекают из всего идейного движения нашего времени, мы можем быть уверены, что, каковы бы ни были результаты будущей революции, она уже не приведет нас ни к централизованному и диктаторскому коммунизму 40-х годов, ни к государственному коллективизму.

«Первый этапный пункт», наверное, не будет, следовательно, тем, что понимали под этим первым шагом всего каких-нибудь двадцать лет тому назад.

Я уже заметил, что, поскольку мы можем судить об этом на основании наших наблюдений, перед всей социалистической партией возникла в настоящее время громаднейшая задача: как согласовать ее общественный хозяйственный идеал с движением в сторону свободы личности, начинающимся в умах

массы? Затем, в предыдущих революциях недоставало заботы о пробуждении духа народного почина. Теперь же люди начинают понимать, что без пробуждения именно этого почина, — повсеместно, в каждом городе и деревушке, — нет никакой возможности совершить громаднейший экономический переворот, который требуется совершить.

Отсутствие организаторского творческого почина в народных массах было, в самом деле, тем подводным камнем, о который разбились все прошлые революции. Очень сильный по своей сообразительности в нападениях народ не проявлял почина и творческой мысли в деле построения нового здания. Народ дрался на баррикадах, брал дворцы, выгонял старых правителей, но дело новой постройки он предоставлял образованным классам, т.е. той же буржуазии. У буржуазии же был свой общественный идеал, она знала приблизительно, чего именно она хотела, знала, что можно будет извлечь, в ее собственных интересах, из общественной бури. И, как только революция ломала старые порядки, буржуазия бралась за постройку, в

свою пользу.

В революции разрушение составляет только часть работы революционера. Ему приходится, кроме того, сейчас же строить вновь. И вот эта постройка может произойти либо по старым рецептам, заученным из книг и навязываемым народу всеми защитниками старого, всеми неспособными додуматься до нового. Или же перестройка начнется на новых началах; т.е. в каждой деревне, в каждом городе начнется самостоятельная постройка социалистического общества под влиянием некоторых общих начал, усвоенных массой, которая будет искать их практического осуществления на месте, в сложных отношениях, свойственных каждой местности. Но для этого у народа должен быть свой идеал, для этого в его среде должны быть люди почина, инициативы [48].

А между тем именно эту инициативу рабочего и крестьянина сознательно или бессознательно душили все партии — в том числе и социалисты — ради партийной дисциплины. Все распоряжения исходили из центра, от комитетов, а местным органам оставалось

только подчиняться, чтобы не нарушать единства организации. Целая система воспитания, целая ложная история, целая непонятная наука были выработаны с этой целью.

Вот почему тот, кто будет стремиться уничтожить этот устарелый и вредный прием, кто сумеет разбудить в личностях и в группах дух почина, кому удастся положить эти принципы в основу своих поступков и своих отношений с другими людьми, кто поймет, что в разнообразии и даже в борьбе заключается жизнь и что единообразие есть смерть, тот потрудится не для будущих веков, а для ближайшей революции.

Еще несколько слов.

Мы не боимся «злоупотребления свободой». Только те, кто ничего не делают, не делают промахов. Что же касается людей, умеющих только повиноваться, то и они делают столько же промахов и ошибок, или даже больше, чем люди, которые ищут свой путь сами, стараясь действовать в том направлении, на которое их толкает склад их ума, в связи с воспитанием, которое им дало общество. Нет сомнения, что дурно понятая и в

особенности дурно истолкованная идея свободы личности может повести — в особенности в среде, где понятие солидарности недостаточно вошло в учреждения, — к поступкам, возмущающим общественную совесть. Допустим же заранее, что это будет случаться. Но достаточная ли это причина для того, чтобы отвергнуть вообще начала свободы? Достаточно ли это причина для того, чтобы согласиться с теми, кто восхваляет цензуру для предотвращения «злоупотреблений» освобожденной печати и гильотинирует людей передовых партий ради поддержания единообразия и дисциплины? В конце концов, как нам показал опыт 1793 года, — ведь это лучшее средство, чтобы приготовить торжество реакции.

Единственное, что мы можем сделать при виде противообщественных поступков, это отказаться от правила: «Каждый за себя, а государство за всех» и найти в себе достаточно смелости, чтобы выражать открыто наше мнение. Это, конечно, может повести к борьбе, но борьба и есть жизнь. Притом же такая борьба приведет и нас самих к более справед-

ливой оценке большинства поступков, чем та, которую мы сделали бы под исключительным влиянием наших установленных понятий. Многие ходячие понятия нравственности тоже нуждаются в переоценке.

Когда нравственный уровень общества понизился до такой степени, до какой он понизился у нас, тогда мы должны предвидеть заранее, что протест против такого общества будет принимать иногда такие формы, которые будут нас коробить; но этого еще недостаточно, чтобы заранее осудить всякий протест. Конечно, нас глубоко возмущают отрубленные головы, насаженные на пики в 1789 году, но не представляли ли они собою последствий виселиц старого королевского порядка и железных клеток, о которых нам говорил Виктор Гюго? Будем надеяться, что избиение тридцати пяти тысяч парижан в 1871 г. и осада Парижа Тьером не оставили слишком много жестокости в характере французского народа; будем надеяться, что разврат высших классов, обнаружившийся в недавних процессах, не окончательно разъял еще сердце нации. Да, будем надеяться на это, будем со-

действовать этому! Но если бы эти наши надежды нас обманули, — то неужели вы, молодые социалисты, отвернетесь от восставшего народа только потому, что жестокость теперешних господствующих классов оставила в его уме некоторые следы? Что от грязи, царимой наверху, далеко разлетелись брызги во все стороны?

Нет сомнения, что глубокий переворот, совершающийся в умах, не может оставаться исключительно в области мысли, а должен перейти в область действий. Как справедливо заметил слишком рано похищенный смертью молодой философ Марк Гюйо (в одной из самых лучших книг [«Нравственность без принуждения и без санкции»], написанных за последние тридцать лет), между мыслью и делом нет резкой пропасти — по крайней мере для тех, кто не привык к современной софистике. Мысль есть уже начало дела.

Вот почему анархические идеи вызвали, во всех странах и во всевозможных формах, целый ряд действий протеста; сначала — протеста личного против капитала и государства, затем протеста коллективного, в виде стачек

и рабочих бунтов, причем и тот и другой вид протеста готовят, как в умах, так и в жизни, восстание массовое, т.е. революцию. Социализм и анархизм в этом отношении лишь следовали за тем развитием «идей — сил» (мыслей, ведущих к делам), которое всегда наблюдается при приближении крупных народных восстаний (...).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ АНАРХИЯ И ЭТИКА

ЭТИКА

Постараемся теперь подвести итоги нашему краткому историческому обзору различных учений о нравственности.

Мы видели, что, начиная со времен Древней Греции по настоящее время, в этике господствовали главным образом два направления. Одни моралисты признавали, что этические понятия внушены человеку свыше, и поэтому они связывали нравственность с религией. Другие же мыслители видели источник нравственности в самом человеке и стремились освободить этику от религиозной санкции и создать реалистическую нравственность. Одни из этих мыслителей утверждали, что главным двигателем человека во всех его действиях является то, что одни называют наслаждением, другие — блаженством, счастьем — словом, то, что доставляет человеку наибольшую сумму удовольствия и радости.

Ради этого делается все другое. Человек может искать удовлетворения самых низменных влечений или же самых возвышенных, но он всегда ищет того, что ему дает счастье, удовлетворение или, по крайней мере, надежду на счастье и удовлетворение в будущем.

Конечно, как бы мы ни поступали, ища прежде всего удовольствия и личного удовлетворения или же обдуманно отказываясь от предстоящих нам наслаждений во имя чего-то лучшего, мы всегда поступаем в том направлении, в котором в данную минуту мы находим наибольшее удовлетворение. Мыслитель-гедонист может поэтому сказать, что вся нравственность сводится к исканию каждым того, что ему приятнее, хотя бы даже мы поставили себе целью, как Бентам, наибольшее благо наибольшего числа людей. Но из этого еще не следует, чтобы, поступив известным образом, я через несколько минут, а может быть и всю жизнь, не жалел бы о том, что поступил так, а не иначе.

Из чего, если не ошибаюсь, надо заключить, что те писатели, которые утверждают, что «каждый ищет того, что ему дает наи-

большее удовлетворение», ничего еще не разрешают, так что коренной вопрос о выяснении основ нравственного, что составляет главную задачу всякого исследования о нравственности, остается по-прежнему открытым.

Не решают его и те, кто, подобно современным утилитаристам — Бентаму, Миллю и многим другим, — отвечают: «Удержавшись от нанесения обиды за обиду, вы только избавили себя от лишней неприятности, от упрека самому себе за невоздержанность, за грубость, которой вы не одобрили бы по отношению к себе. Вы пошли путем, который вам дал наибольшее удовлетворение; и теперь вы, может быть, даже думаете: “Как разумно, как хорошо я поступил”. К чему иной “реалист” еще прибавит: “Пожалуйста, не говорите мне о вашем альтруизме и любви к ближнему. Вы поступили, как умный эгоист, — вот и все”». А между тем вопрос о нравственном ничуть не подвинулся после всех таких рассуждений. Мы ничего не узнали о его происхождении и ничего о том, нужно ли благожелательное отношение к людям, и если желательно, то в какой мере. Перед мыслителем

по-прежнему встает вопрос: «Неужели “нравственное” представляет случайное явление в жизни людей и до некоторой степени в жизни общительных животных? Неужели оно не имеет никакого более глубокого основания, чем случайно благодушное мое расположение, а затем заключение моего ума, что в конце концов такое благодушие выгодно для меня, так как оно избавляет меня от других неприятностей». Мало того. Раз люди считают, что не на всякое оскорбление следует отвечать благодушием, что есть оскорбления, которых никто не должен допускать, кому бы они ни были нанесены, то неужели же нет никакого мерил, при помощи которого мы могли бы делать различия между разными оскорблениями, и все это — дело личного расчета, а то и просто минутного расположения, случайности.

Нет никакого сомнения, что «наибольшее счастье общества», выставленное основой нравственности с самых первобытных времен человечества и особенно выдвинутое вперед за последнее время мыслителям и реалистами, действительно, первая основа вся-

кой этики. Но само по себе и оно слишком отвлеченно, слишком отдаленно и не могло бы создать нравственных привычек и нравственного мышления. Вот почему опять-таки с отдаленной древности мыслители искали более прочной опоры для нравственности.

У первобытных народов тайные союзы волхвов, шаманов, прорицателей (т.е. союзы ученых тех времен) прибегали к устрашению, особенно детей и женщин, разными страшными обрядами, и таким образом понемногу создавались религии. И религией закреплялись нравы и обычаи, признанные полезными для жизни целого племени, так как ими обуздывались эгоистические инстинкты и порывы отдельных людей. Позднее в том же направлении действовали в Древней Греции школы мыслителей, а еще позднее — в Азии, Европе и Америке более одухотворенные религии. Но, начиная с XVII века, когда авторитет установленных религий начал падать в Европе, явилась надобность искать другие основы для нравственных понятий. Тогда одни, следуя по стопам Эпикура, стали выдвигать все больше и больше под именем гедонизма

или же эвдемонизма начало личной пользы, наслаждения и счастья; другие же, следуя преимущественно за Платоном и стоиками, продолжали искать более или менее поддержки и в религии или же обращались к сочувствию, симпатии, несомненно существующим у всех общительных животных и тем более развитым у человека как противодействие эгоистическим стремлениям.

К этим двум направлениям в наше время Паульсен присоединил еще «энергизм», основными чертами которого он считает «самосохранение» и проведение своей воли, свободы разумного «Я» в истинном мышлении, гармоническое развитие и проявление всех сил совершенства.

Но и «энергизм» не решает вопроса, почему «поведение и образ мыслей какого-нибудь человека возбуждают в зрителе чувства удовольствия или неудовольствия»? Почему первые чувства могут брать верх над вторыми, и тогда они становятся в нас обычными, регулируя наши будущие поступки? Если здесь играет роль не просто случай, то почему? Где причины, что нравственные побуждения бе-

рут верх над безнравственными? В выгоде, в расчете, в взвешивании различных удовольствий и выборе наиболее прочных и сильных удовольствий, как учил Бентам? Или же на то есть причины в самом строении человека и всех общительных животных, в которых есть что-то, направляющее нас преимущественно в сторону того, что мы называем нравственным, хотя рядом с этим мы способны под влиянием жадности, чванства и жажды власти на такое безобразие, как угнетение одного класса другим, или же на те поступки, которыми так богата была последняя война: ядовитые газы, подводные лодки, цеппелины, налетающие на спящие города, полное разорение завоевателями покидаемых территорий и т.д.?

В самом деле, не учит ли нас жизнь и вся история человечества, что если бы люди (руководствовались) одними соображениями выгоды лично для себя, то никакая общественная жизнь не была бы возможна. Вся история человечества говорит, что человек — ужасный софист и что его ум поразительно хорошо умеет отыскивать всевозможные

оправдания тому, на что его толкают его вождения и страсти.

Даже такому преступлению, как завоевательная война в XX веке, от которой мир должен был содрогнуться, — даже такому преступлению немецкий император и миллионы его подданных, не исключая ни радикалов, ни социалистов, находили оправдание в выгоде ее для немецкого народа; причем другие, еще более ловкие, софисты видели даже выгоду для всего человечества.

К представителям «энергизма» в разнообразных его формах Паульсен причисляет таких мыслителей, как Гоббс, Спиноза, Шефтсбери, Лейбниц, Вольфи, и правда, говорит он, по-видимому, на стороне энергизма. «В последнее время эволюционная философия, — продолжает он, — приходит к такому воззрению: известный жизненный тип и его проявление в деятельности есть фактически цель всякой жизни и всякого стремления».

Рассуждения, которыми Паульсен подтверждает свою мысль, ценны тем, что хорошо освещают некоторые стороны нравственной жизни с точки зрения воли, на развитие кото-

рой писавшие об этике недостаточно обратили внимание. Но из них не видно, чем разнится в вопросах нравственности проявление и деятельность жизненного типа от искания в жизни «наибольшей суммы чувств удовольствия».

Первое неизбежно сводится ко второму и легко может дойти до утверждения «моему нраву не препятствуй», если нет у человека в моменты страсти какого-то развившегося в нем сдерживающего рефлекса, вроде отвращения к обману, отвращения к преобладанию, чувства равенства и т.д.

Утверждать и доказывать, что обман и несправедливость есть гибель человека, как делает Паульсен, несомненно, верно и необходимо. Но этого мало. Этике недостаточно знать этот факт, ей нужно также объяснить, почему жизнь обманом и несправедливостью ведет к гибели человека? Потому ли, что такая была воля творца природы, на которую ссылается христианство, или же потому, что солгать — всегда значит унижить себя, признать себя ниже (слабее того, перед кем ты лжешь) и, следовательно, теряя самоуваже-

ние, делать себя еще слабее, а поступать несправедливо — значит приучать свой мозг мыслить несправедливо, т.е. уродовать то, что в нас есть самого ценного — способность верного мышления.

Вот на какие вопросы требуется ответ от этики, идущей на смену религиозной этике. А потому нельзя на вопрос о совести и ее природе отвечать, как это сделал Паульсен, что совесть в своем происхождении есть не что иное, как «знание о нравах», предписываемое воспитанием, суждением общества о «приличном и неприличном», «правом и наказуемом» и, наконец, «религиозной исповедью». Именно такие объяснения и породили поверхностные отрицания нравственного Мандевилем, Штирнером и т.д. Между тем если нравы создаются историей развития данного общества, то совесть, как я постараюсь доказать, имеет свое происхождение гораздо глубже в сознании равноправия, которое физиологически развивается в человеке, как и во всех общительных животных...

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Лекция «Справедливость и нравственность» была впервые прочитана мною в Анкотском Братстве в Манчестере перед аудиторией, состоявшей большей частью из рабочих, а также из небольшого числа людей, принимавших участие в рабочем движении. В этом братстве каждый год во время зимы читались, по воскресеньям, содержательные лекции; так что, держась общедоступного изложения, перед этими слушателями можно было разбирать самые серьезные вопросы.

Когда именно я читал эту лекцию, я не могу в точности определить. Знаю только, что это было вскоре после того, как известный дарвинист профессор Гексли — главный распространитель мыслей Дарвина в Англии — прочел в начале 1888 года в Оксфордском университете лекцию, удивившую всех его друзей, так как он доказывал в ней, в противоположность Дарвину, что нравственность в

человеке не может иметь естественного происхождения: что природа учит человека только злу.

Лекция Гексли, напечатанная в журнале «Nineteenth Century» в февральском номере 1888 года и вскоре затем появившаяся брошюрой, вызвала всеобщее удивление, и произведенное ею впечатление еще не улеглось, когда я готовил свою лекцию о природном происхождении нравственности.

Года два или три спустя я прочел ту же лекцию в Лондонском Этическом обществе, слегка дополнив ее в той части, где я говорил о справедливости.

Так как у меня сохранились написанные по-английски подробные конспекты, а частями и самый текст Анкотской лекции, а также и дополнения к ней для Этического общества, то я написал ее по-русски и теперь издаю этот текст. За последние тридцать лет я все время, хотя и с перерывами, возвращался к учениям о нравственности, и теперь мог бы сильно развить некоторые из высказанных здесь взглядов, но я решил сохранить лекцию в том виде, как она была приготовлена для Анкот-

ской аудитории, и только дополнил ее тем, что было написано для лекции в Этическом обществе.

П. К.

* * *

Дмитров

Январь 1920 г.

Друзья и товарищи!

Взявши предметом нашей беседы справедливость и нравственность, я, конечно, не имел в виду прочесть вам нравственную проповедь. Моя цель совершенно иная. Мне хотелось бы разобрать перед вами, как начинают понимать теперь происхождение нравственных понятий в человечестве, их истинные основы, их постепенный рост, и указать, что может содействовать их дальнейшему развитию.

Такой разбор особенно нужен теперь. Вы, наверное, сами чувствуете, что мы переживаем время, когда требуется что-то новое в устройстве общественных отношений. Быстрое развитие, умственное и промышленное, совершившееся за последние годы среди передовых народов, делает разрешение важных

социальных вопросов неотложным. Чувствуется потребность в перестройке жизни на новых, более справедливых началах. А если в обществе назревает такая потребность, то можно принять за правило, что неизбежно придется пересмотреть также и основные понятия нравственности.

Иначе быть не может, так как общественный строй, существующий в данное время — его учреждения, его нравы и обычаи, — поддерживает в обществе свой собственный склад нравственности. И всякое существенное изменение в отношениях между различными слоями общества ведет за собой соответствующее изменение в ходячих нравственных понятиях.

Присмотритесь, в самом деле, к жизни народов, стоящих на различных ступенях развития. Возьмите, например, (представителей) теперешних кочевых народов: монголов, тунгусов и тех, кого мы называем дикарями. У них считалось бы постыдным зарезать барана и есть его мясо, не пригласив всех обитателей поселка принять участие в трапезе. — знаю это по личному опыту, вынесенному из

странствований по глухим местам Сибири, в Саянском хребте. Или возьмите самых бедных дикарей Южной Африки, готтентотов. Не так давно у них считалось преступным, если кто-нибудь из них начал бы есть свою пищу в лесу, громко не прокричав трижды: «Нет ли кого, желающего разделить со мною трапезу». Даже среди самых низко стоящих дикарей Патагонии Дарвина поразила та же черта: малейший кусок пищи, который он давал одному из них, сейчас же распределялся поровну между всеми присутствовавшими. Мало того, во всей Северной и Средней Азии среди кочевников в силу их обычаев, почитаемых как закон, если бы кто-нибудь отказал путешественнику в убежище и путник после этого погиб от холода или голода, то род умершего имел бы право преследовать отказавшего в убежище как убийцу и требовать от него или от его рода пенью (виру), установленную обычаем за убийство.

Такие и другие понятия о нравственном сложились при родовом строе жизни. У нас же эти обычаи исчезли, с тех пор как мы стали жить государствами. В наших городах и се-

лах урядник или полицейский обязан позаботиться о бездомном страннике и свести его в участок, в острог или в рабочий дом, если он рискует замерзнуть на улице. Любой из нас может, конечно, приютить прохожего: это не воспрещается, но никто не считает себя обязанным это сделать. И если в глухую зимнюю ночь бездомный прохожий умрет от голода и холода на одной из улиц Анкотса, никому из его родственников не придет в голову преследовать вас за убийство. Мало того, у прохожего может даже не оказаться родственников, чего при родовом быте не может случиться, так как весь род составляет его семью.

Заметьте, что я не делаю здесь сравнения между преимуществами родового быта и государственного. — только хочу показать, как нравственные понятия людей меняются, смотря по общественному строю, среди которого они живут. Общественный строй данного народа в данное время и его нравственность тесно связаны между собой.

Вот почему всякий раз, когда в обществе чувствуется необходимость перестроить существующие отношения между людьми,

неизбежно начинается также оживленное обсуждение нравственных вопросов. И в самом деле, было бы крайне легкомысленно говорить о перестройке общественного строя, не задумываясь вместе с тем над пересмотром ходячих нравственных понятий.

В сущности, в основе всех наших рассуждений о политических и хозяйственных вопросах лежали вопросы нравственные. Возьмите, например, ученого-экономиста, рассуждающего о коммунизме. «В коммунистическом обществе, — говорит он, — никто не будет работать, потому что никто не будет чувствовать над собой угрозы голода». — «Почему же нет? — отвечает коммунист. — Разве люди не поймут, что наступит общий голод, если они перестанут работать. Все будет зависеть от того, какой коммунизм будут вводить». Посмотрите, в самом деле, сколько городского коммунизма уже введено в жизни городов Европы и Соединенных Штатов, в виде мощения и освещения улиц, трамваев, городских училищ и т.д.

Вы видите, стало быть, как вопрос чисто хозяйственный сводится к суждениям о нрав-

ственной природе человека. Спрашивается, способен ли человек жить в коммунистическом строе? Из области хозяйства вопрос переносится в область нравственную.

Или возьмите двух политических деятелей, рассуждающих о каком-нибудь новшестве в общественной жизни, например об учении анархистов или хотя бы даже о переходе к конституционному правлению в самодержавном государстве.

«Помилуйте, — говорит защитник установленной власти, — все начнут разбойничать, если не будет сильной руки, чтобы надеть на них узду». — «Так что и вы, должен я заключить, — отвечает ему другой, — тоже стали бы разбойником, если бы не боязнь тюрьмы?» ...И тут, следовательно, вопрос о политическом устройстве общества свелся на вопрос о влиянии существующих учреждений на нравственный облик человека.

Вот почему теперь пробуждается такой живой интерес к вопросам нравственным и почему я решился потолковать с вами об этике, т.е. об основах и происхождении нравственных понятий в человеке.

За последнее время появилось немало работ по этому чрезвычайно важному вопросу. Но из них я подробно остановлюсь только на одной, а именно на лекции, недавно прочитанной известным профессором-дарвинистом Гексли (Huxley) в Оксфордском университете на тему «Эволюция и нравственность». Познакомившись с ней, можно многому научиться, так как Гексли в своей лекции разобрал достаточно полно вопрос о происхождении нравственного.

Лекция Гексли была принята печатью как своего рода манифест дарвинистов и как сводка того, что современная наука может сказать об основах нравственности и их происхождении, — вопрос, над которым работали почти все мыслители со времен Древней Греции вплоть до нашего поколения.

Особое значение придавало этой лекции не только то, что она выражала мнение известного ученого и одного из главных истолкователей дарвиновской теории развития (эволюции), причем автор придал своей лекции такую прекрасную литературную форму, что о ней отозвались как об одном из лучших

произведений британской прозы. Главное ее значение было в том, что она, к сожалению, выражала мысли, так широко распространенные теперь среди образованных классов, что их можно назвать религией большинства этих классов.

Руководящая мысль Гексли, к которой он постоянно возвращался в своей лекции, была следующая. «В мире, — говорил он, — совершается два разряда явлений, происходит два процесса: космический процесс природы и этический, т.е. нравственный процесс, проявляющийся только в человеке с известного момента его развития».

«Космический процесс» — это вся жизнь природы, неодушевленной и одушевленной, включающей растения, животных и человека. Этот процесс, утверждал Гексли, не что иное, как «кровавая схватка зубами и когтями». Это отчаянная «борьба за существование, отрицающая всякие нравственные начала». — «Страдание есть удел всей семьи одаренных чувствами существ — оно составляет существенную часть космического процесса». Методы борьбы за существование, свойствен-

ные тигру и обезьяне, суть подлинные, характерные черты этого процесса. Даже в человеке «самоутверждение», бессовестный захват всего, что можно захватить, упорное держание всего того, что можно присвоить, составляющее квинтэссенцию борьбы за существование, оказались самыми подходящими способами борьбы.

Урок, получаемый нами от природы, есть, следовательно, «урок органического зла». Природу даже нельзя назвать аморальной, т.е. не знающей нравственности и не дающей никакого ответа на нравственные вопросы. Она определенно безнравственна. «Космическая природа вовсе не школа нравственности, напротив того, она — главная штаб-квартира врага всякой нравственности» (с. 27 первого издания лекции особой брошюрой). А потому из природы ни в каком случае нельзя почерпнуть указания, «отчего то, что мы называем хорошим, следует предпочесть тому, что мы называем злом» (с. 31). «Выполнение того, что с нравственной точки зрения является лучшим, — того, что мы называем добром или добродетельным, — вынуждает нас к линии

поведения, во всех отношениях противной той линии поведения, которая ведет к успеху в космической борьбе за существование» (с. 33). Таков, по мнению Гексли, единственный урок, который человек может почерпнуть из жизни природы.

Но вот вслед за тем совершенно неожиданно, едва только люди соединились в организованные общества, у них появляется неизвестно откуда «этический процесс», безусловно противоположный всему тому, чему их учила природа. Цель этого процесса — не выживание тех, кто может считаться наиболее приспособленным с точки зрения всех существующих условий, но тех, кто является «лучшими с нравственной точки зрения» (с. 33). Этот новый процесс неизвестного происхождения, но явившийся во всяком случае не из природы, «начал затем развиваться путем закона и обычаев» (с. 35). Он поддерживается нашей цивилизацией, из него вырабатывается наша нравственность.

Но откуда же зародился этот нравственный процесс?

Повторять вслед за Гоббсом, что нрав-

ственные начала в человеке внушены законодателями, значило бы не давать никакого ответа, так как Гексли определенно утверждает, что законодатели не могли заимствовать таких мыслей из наблюдения природы. этического процесса не было ни в дочеловеческих животных обществах, ни у первобытных людей. Из чего следует — если только Гексли прав, — что этический процесс, т.е. нравственное начало в человеке никоим образом не могло иметь естественного происхождения. Единственным возможным объяснением его появления остается, следовательно, происхождение сверхъестественное. Если нравственные привычки — доброжелательность, дружба, взаимная поддержка, личная сдержанность в порывах и страстях и самопожертвование — никак не могли развиться из дочеловеческого или из первобытного человеческого, стадного быта, то остается, конечно, одно: объяснить их происхождение сверхприродным, божественным внушением.

Такой вывод дарвиниста, естественника Гексли поразил, конечно, всех знавших его как агностика, т.е. неверующего. Но такой вы-

вод был неизбежен; раз Гексли утверждал, что из жизни природы человек не мог ни в каком случае почерпнуть урока нравственного, то оставалось одно: признать сверхприродное происхождение нравственности. А потому Джордж Миварт, преданный католик и в то же время известный ученый, естествоиспытатель, немедленно после появления лекции Гексли в «Nineteenth Century» поместил в том же журнале статью под заглавием «Эволюция господина Гексли», в которой поздравлял автора лекции с возвращением к учениям церкви.

Миварт был совершенно прав. Действительно, одно из двух: или прав Гексли, утверждавший, что «этического процесса» нет в природе, или же прав был Дарвин, когда во втором своем основном труде, «Происхождение человека», он признал вслед за великим Бэконом и Огюстом Контом, что у стадно-живущих животных вследствие их стадной жизни так сильно развивается общественный инстинкт, что он становится самым постоянно присущим инстинктом, до того сильным, что он берет даже верх над инстинктом самосо-

хранения [49]. А так как Дарвин показал затем, вслед за Шефтсбери [50], что этот инстинкт одинаково силен и в первобытном человеке, у которого он все больше развивался благодаря дару слова, преданию и создававшимся обычаям, то ясно, что если эта точка зрения верна, тогда нравственное начало в человеке есть не что иное, как дальнейшее развитие инстинкта общительности, свойственного почти всем живым существам и наблюдаемого во всей живой природе.

В человеке, с развитием разума, знаний и соответственных обычаев, этот инстинкт все более и более развивался; а затем дар речи и впоследствии искусство и письменность должны были сильно помочь человеку накапливать житейскую опытность и все дальше развивать обычаи взаимопомощи и солидарности, т.е. взаимной зависимости всех членов общества. Таким образом становится понятным, откуда в человеке появилось чувство долга, которому Кант посвятил чудные строки, но, побившись над этим вопросом несколько лет, не мог найти ему естественно-го объяснения.

Так объяснил нравственное чувство Дарвин — человек, близко знакомый с природой. Но, конечно, если, изучая мир животных лишь по образцам их в музеях, мы закроем глаза на истинную жизнь природы и опишем ее согласно нашему мрачному настроению, тогда нам действительно останется одно: искать объяснения нравственного чувства в каких-нибудь таинственных силах.

В такое положение действительно поставил себя Гексли. Но, как это ни странно, уже через несколько недель после прочтения своей лекции, издавая ее брошюрой, он прибавил к ней ряд примечаний, из которых одно совершенно уничтожило всю ее основную мысль о двух «процессах» — природном и нравственном, противоположных друг другу. В этом примечании он признал, что во взаимной помощи, которая практикуется в животных обществах уже можно наблюдать в природе начало того самого «этического процесса», присутствие которого он так страстно отрицал в своей лекции.

Каким путем пришел Гексли к тому, чтобы сделать такое прибавление, безусловно опро-

вергавшее самую сущность того, что он проповедовал за несколько недель перед тем, мы не знаем. Можно предполагать только, что это было сделано под влиянием его личного друга, оксфордского профессора Романэса, который, как известно, приготавливал в это время материал для работы по нравственности животных и под председательством которого Гексли прочел свою «романэсовскую» лекцию в Оксфордском университете. Возможно также, что в том же направлении мог повлиять кто-нибудь другой из его друзей. Но разбираться в причинах такого поразительного перелома я не стану. Когда-нибудь это разберут, может быть, биографы Гексли.

Для нас же важно отметить следующее: всякий, кто возьмет на себя труд серьезно заняться вопросом о зачатках нравственного в природе, увидит, что среди животных, живущих общественной жизнью, — а таковых громаднейшее большинство, — жизнь общества привела их к необходимости, к развитию известных инстинктов, т.е. наследуемых привычек нравственного характера.

Без таких привычек жизнь обществом бы-

ла бы невозможна. Поэтому мы находим в обществах птиц и высших млекопитающих (не говорю уже о муравьях, осях и пчелах, стоящих по своему развитию во главе класса насекомых) первые зачатки нравственных понятий. Мы находим у них привычку жить обществами, ставшую для них необходимостью, и другую привычку: не делать другим того, чего не желаешь, чтобы другие делали тебе. Очень часто мы видим у них также и самопожертвование в интересах своего общества.

В стае попугаев, если молодой попугай утащит сучок из гнезда другого попугая, то другие нападают на него. Если ласточка, по возвращении весной из Африки в наши края, берет себе гнездо, которое не принадлежало ей в течение прежних лет, то другие ласточки той же местности выбрасывают ее из гнезда. Если одна стая пеликанов вторгается в район рыбной ловли другой стаи, ее прогоняют, и так далее. Подобных фактов, удостоверенных еще в прошлом веке великими основателями описательной зоологии, а потом и многими современными наблюдателями, можно представить любое количество. Не знают их толь-

ко те зоологи, которые никогда не работали в вольной природе.

Поэтому можно сказать вполне утвердительно, что нравы общительности и взаимной поддержки вырабатывались еще в животном мире и что первобытный человек уже прекрасно знал эту черту жизни животных, как это видно из преданий и верований самых первобытных народов. Теперь же, изучая уцелевшие еще первобытные человеческие общества, мы находим, что в них продолжают развиваться те же нравы общительности. Мало того, по мере изучения мы открываем у них целый ряд обычаев и нравов, обуздывающих своеволие личности и устанавливающих начало равноправия.

В сущности, равноправие составляет самую основу родового быта. Например, если кто-нибудь в драке пролил кровь другого члена своего рода, то его кровь должна быть пролита в том же самом количестве. Если он ранил кого-нибудь в своем или чужом роде, то любой из родственников раненого имеет право и даже обязан нанести обидчику или любому из его сородичей рану точно такого же

размера. Библейское правило — «Око за око, зуб за зуб, рана за рану и жизнь за жизнь, но не больше» — остается правилом, свято соблюдаемым до сих пор у всех народов, живущих еще в родовом быте. Глаз за зуб или смертельная рана за поверхностную шли бы вразрез с ходячим представлением о равноправии и справедливости. Заметьте также, что это понятие так глубоко внедрено в сознание многих первобытных племен, что если охотник пролил кровь какого-нибудь, по их мнению, человекоподобного существа, как, например, медведя, то по возвращении охотника домой немного его крови проливается его сородичами во имя справедливости к медвежьему роду. Много таких обычаев осталось в виде пережитков от старых времен даже в цивилизованных обществах, рядом с высокими нравственными правилами [51]. Но в том же родовом быту мало-помалу развивается и другое понятие. Человек, нанесший обиду, уже обязан искать примирения, и его сородичи обязаны выступить примирителями.

Если ближе рассмотреть эти первобытные представления о справедливости, т.е. о равно-

правили, мы увидим, что в конце концов они выражают не что иное, как обязанность никогда не обращаться с человеком своего рода так, как не желаешь, чтобы обращались с тобой, т.е. именно то, что составляет первое основное начало всей нравственности и всей науки о нравственности, т. е. этики.

Но этого мало. Среди самих первобытных представителей человечества мы уже находим и более высокое начало. Так, например, мы можем взять нравственные правила алеутов, которые представляют ветвь одного из самых первобытных племен, эскимосов. Они хорошо известны нам благодаря работе замечательного человека, миссионера Вениамина [впоследствии митрополита московского Иннокентия], и мы можем считать эти правила образцом нравственных понятий человека во времена послеледникового периода; тем более что подобные же правила мы находим и у других таких же первобытных дикарей. Между тем в этих правилах уже есть нечто, выходящее за пределы простой справедливости.

Действительно, у алеутов имеются два ро-

да правил: обязательные предписания и простые советы. Первый разряд, как и те правила, о которых я упоминал в начале этой лекции, основан на начале равного со всеми обращения, т.е. справедливости-равноправия. Сюда принадлежат такие требования: ни под каким предлогом не убивать и не ранить члена своего рода; обязанность всячески помогать своему сородичу в нужде и делить с ним последний кусок пищи; защищать его от всяких нападений, относиться с уважением к богам своего рода и т.д. Эти правила даже не считаются нужным напоминать: они составляют основу родовой жизни.

Но рядом с этими строгими законами существуют у алеутов и эскимосов известные нравственные понятия, которые не предписываются, а только советуются. Они не выражаются формулой: «следует делать то-то»; греческая формула «дэн», т.е. это должно быть сделано, также не подходит сюда. В этот раздел входят советы, и алеут говорит: «стыдно не делать то-то и то-то».

Стыдно, например, не быть достаточно сильным и ослабеть во время экспедиции, ко-

гда все члены ее более или менее голодают.

Стыдно бояться выходить в море при сильном ветре или опрокинуться в лодке в гавани; другими словами, стыдно быть трусом, а также не быть ловким и не уметь бороться с бурей.

Стыдно, будучи на охоте с товарищем, не предложить ему лучшую часть добычи; другими словами, выказать жадность.

Стыдно ласкать свою жену в присутствии посторонних; и очень стыдно при обмене товарами самому назначать цену своему товару. Честный продавец соглашается с ценой, которую предлагает покупатель, таково, по крайней мере, было общее правило не только среди алеутов в Аляске и чукчей в Северо-Восточной Сибири, но также и среди большинства туземцев на островах Великого океана.

Что алеуты хотят сказать словами: «стыдно не быть сильным, ловким, щедрым, как другие», совершенно ясно. Они хотят сказать: «стыдно быть слабым, т.е. не быть умственно и физически равным большинству других». Другими словами, они осуждают тех, кто не отвечает принципу желательного равенства

или по крайней мере желательной равноценности всех мужчин данного племени. «Не выказывай слабости, которая потребует для тебя снисхождения».

Те же желания выражаются и в песнях, которые эскимосские женщины каждого маленького поселения поют в долгие северные ночи, высмеивая мужчину, не сумевшего показать себя на должной высоте в вышеописанных случаях или же пришедшего в ярость без достаточного к тому повода и вообще выказавшего себя неуживчивым или смешным с какой-либо стороны.

Таким образом, мы видим, что в прибавку к простым принципам справедливости, которые суть не что иное, как выражение равенства или равноправия, алеуты выставляют еще известные пожелания, известные идеалы. Они выражают желание, чтобы все члены рода стремились быть равными сильнейшему из них, умнейшему, наименее сварливому, наиболее щедрому. И эти линии поведения, которые еще не возводятся в правило, представляют уже нечто, стоящее выше простого равноправия. Они обнаруживают стремление

к нравственному совершенствованию. И эту черту мы встречаем, безусловно, у всех первобытных народов. Они знают, что у общительных животных более сильные самцы бросаются на защиту своих самок и детенышей, нередко жертвуя собой; и они восхваляют в своих сказках и песнях тех из своей среды, кто в борьбе с природой или с врагами также защищал своих, нередко погибая в этом подвиге. Они слагают целые циклы песен про тех, кто проявлял избыток сил в мужестве, в любви, в ловкости, в находчивости, в точности движений, отдавая их для блага других и не спрашивая, что сам он получит взамен.

Таким образом, ясно, что «этический процесс», о котором говорит Гексли, начавшись уже в животном мире, перешел к человеку; и здесь благодаря преданию, поэзии и искусству он все более и более развивался и достиг самых высоких ступеней в отдельных «героях» человечества и у некоторых из его учителей. Готовность отдать свою жизнь на пользу своих собратьев воспевалась в поэзии всех народов, а впоследствии перешла в религии древности. Она же с прибавкой прощенья

врагам вместо обязательной некогда родовой мести стала основой буддизма и христианства, пока оно (христианство) не стало государственной религией и не отказалось от этого основного своего положения, отличавшего его от других религий.

Так развивались нравственные понятия в природе вообще и затем в человечестве.

Я очень хотел бы дать вам теперь краткий очерк их дальнейшего развития в писаниях мыслителей древности вплоть до нашего времени. Но от этого на сегодня я должен отказаться, так как в одной лекции не успел бы этого сделать. Укажу только на то, что вплоть до XIX века естественнонаучное объяснение нравственного в человеке оставалось невозможным, хотя к нему подходил уже Спиноза и совсем определенно говорил уже Бэкон. Зато теперь мы имеем хорошо проверенные данные, чтобы убедиться, что нравственные понятия глубоко связаны с самим существованием живых существ: без них они не выжили бы в борьбе за существование; что развитие таких понятий было так же неизбежно, как и все прогрессивное развитие или эволю-

ция от простейших организмов вплоть до человека, и что это развитие не могло бы совершиться, если бы у большинства животных не было уже зачатков стадности, общежительности и даже, в случае надобности, самоотверженности.

Данных в доказательство этого утверждения мы теперь имеем очень много. Так, например, Дарвин в очерке происхождения нравственности, в книге «Происхождение человека», привел описание известным натуралистом Бремом схватки двух собак его каравана со стадом обезьян павианов в Египте. Обезьяны при приближении каравана поднимались по скалистому скату горы в верхнюю ее часть, но старые самцы, когда увидели собак, хотя они уже были в скалах вне опасности, спустились вниз сомкнутой группой и с такой свирепостью шли на собак, что они, испуганные, вернулись к своим хозяевам. Не сразу удалось снова натравить их на обезьян, и они напали тогда на молоденькую, полугодовалую обезьянку, которая отстала от своих и засела в скале. Тогда старый самец в одиночку, медленным шагом спустился к обе-

зьянке, отпугнул собак, погладил детеныша по спине и не спеша вернулся с ним к своему стаду.

Старые самцы не спрашивали себя в данном случае, во имя какого принципа или веления они должны были так поступить. Они шли спасать своих в силу симпатии, по чувству стадности, общительности, выработанному тысячелетиями у всех стадных животных, и, наконец, в силу сознания своей собственной силы и своего мужества.

Другой случай был описан таким же надежным естествоиспытателем, Сэнтсбери. Он нашел однажды старого слепого пеликана, которого прилетали кормить другие пеликаны, принося ему рыбу, и Дарвин подтвердил этот факт. Но фактов самопожертвования животных на пользу своего рода известно теперь так много — у муравьев, среди альпийских коз, у лошадей в степях, у всех птиц и т.д.; их так много дали наши лучшие естествоиспытатели, что в изучении природы мы находим теперь наконец твердую основу для своих суждений о появлении и развитии нравственных чувств и понятий.

При этом мы легко различаем три основных элемента, три составные части нравственности; сперва — инстинкт общительности, из которого развиваются дальнейшие привычки и нравы; затем понятие о справедливости; и на почве этих двух развивается третий элемент нравственного — чувство, которое мы называем не совсем правильно самоотвержением или же самопожертвовани-ем, альтруизмом, великодушием, чувство, подтверждаемое разумом, которое составляет, в сущности, именно то, что следовало бы называть нравственным чувством. Из этих трех элементов, совершенно естественно развивающихся во всяком человеческом обществе, слагается нравственность.

Когда муравьи помогают друг другу спастись свои личинки из разоряемого человеком гнезда; когда маленькие птицы слетаются, чтобы отогнать появившегося хищника; когда перелетные птицы в продолжение нескольких дней перед отлетом слетаются вечером в определенные места и делают учебные полеты; когда многие тысячи коз или оленей собираются с огромного пространства,

чтобы вместе переселяться, — словом, когда у животных проявляются в их обществах нравы и обычаи, помогающие им выживать в борьбе с природой даже в невыгодных условиях, — во всем этом обнаруживается необходимо, неизбежно развившийся инстинкт, без которого данный вид животных, несомненно, должен был бы вымереть. Общительность была и есть необходимая основная форма борьбы за существование, и именно этот закон природы проглядело большинство дарвинистов, вероятно, потому, что сам Дарвин недостаточно обратил на него внимание в своем первом труде

«Происхождение видов» и заговорил о нем только во втором своем основном труде — «Происхождение человека». Между тем в этом инстинкте мы имеем первое начало нравственности, из которого впоследствии развились у человека все его самые высокие чувства и порывы.

Среди людей, благодаря их жизни обществами, инстинкт общительности продолжал все более и более развиваться. Живя среди природы, самые первобытные дикари виде-

ли, что в борьбе с нею лучше выживают те животные, которые живут дружными обществами; они понимали, насколько общественная жизнь облегчала этим животным борьбу с мачехой-природой. А затем их наблюдения слагались в предания — в виде пословиц, сказок, песен, религий и даже обожанья некоторых общительных животных. И таким образом инстинкт общительности передавался из рода в род и закреплялся в нравах.

Но одного инстинкта общительности все-таки было бы недостаточно, чтобы выработать правила родового быта, о которых я говорил в начале нашей беседы. И действительно, у первобытного человека развивалось мало-помалу новое понятие, более сознательное и более высокое: понятие о справедливости, и для дальнейшей выработки нравственности это понятие стало основным, необходимым.

Когда мы говорим: «не делай другим того, чего не желаешь себе», мы требуем справедливости, сущность которой есть признание равноценности всех членов данного общества, а, следовательно, их равноправия, неравенства в требованиях, которые они могут

предъявлять другим членам общества. Вместе с тем оно содержит и отказ от претензии ставить себя выше или «опричь» других.

Без такого уравнительного понятия не могло бы быть нравственности. Во французском и английском языках Справедливость и Равенство выражаются даже словами одного происхождения: *equite* и *egalite*, *equity* и *equality*. Но откуда и когда явилось это понятие?

В зачатке оно проявляется уже у стадных животных. У некоторых из них заметно, правда, преобладание самца. Но у других этого нет. Наоборот, у большинства из них сильно развиты игры молодежи (как мы знаем теперь из книги Карла Гросса «Игры животных»), и в этих играх всегда требуется строгое соблюдение равноправия, как в этом мы сами можем убедиться, наблюдая игры молодых козлят и других животных. То же самое видно у молодых сосунков, которые не позволяют одному из своего числа пользоваться больше других вниманием матери. Чувство справедливости наблюдается также, как мы видели, у перелетных птиц, когда они возвра-

цаются к своим прошлогодним гнездам. И таких примеров можно привести множество.

Тем более развито понятие о справедливости у людей, даже у самых первобытных дикарей, пока у них еще не завелись местные царьки. Два-три примера я уже привел, а теперь прибавлю только, что с тех пор, как ученые стали изучать родовой быт и более не смешивают его с первобытными монархиями, вроде тех, что мы находим теперь в Средней Африке, можно наполнить целые книги фактами равноправия у первобытных племен.

Мне, может быть, возразят, что у самых первобытных народов уже бывают, однако, военные, вожди, а также колдуны и шаманы, пользующиеся некоторой властью. Действительно, стремление завладеть особыми правами проявляется очень рано в людских обществах; и история, преподающаяся в школах (с целью возвеличения «власть предержащих»), любовно останавливается именно на таких фактах; так что школьную историю можно назвать рассказом о том, как создавалось неравноправие. Но в то же время люди

езде упорно боролись против нарождавшегося неравенства в правах; так что истинная история была бы рассказом о том, как отдельные люди стремились создать сословия, стоящие выше общего уровня, и как массы сопротивлялись этому и отстаивали равноправие. Все учреждения родового быта имели целью установить равноправие. Но, к сожалению, об этой стороне быта историки мало знают, потому что вплоть до второй половины XIX века, когда начали создаваться две новые науки, о человеке и о формах людского быта — Антропология и Этнология, — на первобытные учреждения людей очень мало обращали внимания.

Теперь же, когда собрана масса фактов об этом быте, мы видим, что основное понятие о справедливости встречается уже у самых первобытных людей и становится правилом самого первобытного общественного строя — родового.

Но этого мало. Мы уже можем идти дальше, и я решаюсь поставить в науке такой вопрос: «Не имеет ли Справедливость своего основания в самой природе человека? И если

так, то не представляет ли она основного физиологического свойства нашего мышления?»

Говоря языком метафизики, можно спросить: не представляет ли понятие о справедливости основной «категории», т.е. основной способности нашего ума? Или же, говоря языком естественных наук, склонность нашего ума искать «равноправия» не представляет ли одно из следствий строения нашего мыслительного аппарата — в данном случае, может быть, следствие двустороннего или двухполушарного строения нашего мозга? На этот вопрос, когда им займутся, ответ получится, я думаю, утвердительный.

Тот факт, что наше мышление постоянно совершается в форме, известной в математике как уравнение, и что именно в этой форме выражаются открываемые нами физические законы, уже придает предлагаемому мною объяснению известную долю вероятия. Известно также, что раньше, чем мы приходим к какому-нибудь заключению, в нашем уме происходит род разговора, где приводятся доводы «за» и «против», и некоторые физиологи

видят в этом проявление если не двусимметричности строения нашего мозга, то, во всяком случае, его сложного состава [52].

Во всяком случае, верно ли мое предположение о физиологическом понятии о справедливости или нет — это вопрос побочный. Важно то, что справедливость составляет основное понятие в нравственности, так как не может быть нравственности без равного отношения ко всем, т.е. без справедливости. И если до сих пор царит такое поразительное разногласие в мнениях мыслителей, писавших об этике, то причина его именно в том, что большинство этих мыслителей не хотело признать справедливость первоосновой нравственности. Такое признание было бы признанием политического и общественного равноправия людей и, следовательно, вело бы к отрицанию классовых подразделений. Но именно с этим большинство писавших о нравственности не хотело примириться.

Начиная с Платона, удержавшего рабство в своем очерке желательного общественного строя, продолжая апостолом Павлом и кончая многими писателями XVIII и XIX века, все они

если не защищали неравенство, то, во всяком случае, не отрицали его даже после того, как (Великая) французская революция написала на своем знамени Равенство и Братство наравне со Свободой. Годвин (Godwin) в Англии и Прудон во Франции, признавшие справедливость краеугольным камнем нравственного общественного строя, до сих пор занимают исключительное положение [53].

Однако справедливость еще не представляет всей нравственности, так как она есть не что иное, как равенство в обмене услугами, то в этом отношении она немногим отличается от коммерческого дебета и кредита. Что она имеет решающее значение в построении нравственности, в этом нет сомнения. А потому, когда понятие о Справедливости с его неизбежным выводом равноправия станет основой общественного строя, то этим уже совершится глубочайший переворот во всей жизни человечества. Недаром народное движение, начавшееся в Иудее во времена Юлия (Цезаря) и вылившееся в христианство, а затем народные движения в начале Реформации и наконец, Великая французская револю-

ция — все три стремились к Равноправию и Равенству.

Открытое провозглашение законодательством равноправия всех членов общества произошло, однако, лишь в конце XVIII века, во французской революции. Но даже теперь мы еще очень далеки от воплощения начала равенства в общественной жизни. До сих пор образованные народы разделены на классы, лежащие слоями друг на друге. Вспомните только о рабстве, продержавшемся в России до 1861 года, а в Северной Америке — до 1864 года. Вспомните о крепостном праве, продержавшемся в Англии по отношению к шахтерам вплоть до 1797 года, и о детях бедноты, называвшихся в Англии «учениками из работных домов» («workhouse apprentices»), которых вплоть до конца XVIII века забирали особые агенты, ездившие по всей Англии, и которых свозили в Ланкашир работать за бесценок на хлопчатобумажных фабриках [54]. Вспомните, наконец, о гнусном обращении даже теперь якобы образованных народов с теми, кого они зовут «низшими расами».

Первый шаг, предстоящий человечеству,

чтобы двинуться вперед в его нравственном развитии, был бы, следовательно, признание справедливости, т.е. равенства по отношению ко всем человеческим существам.

Без этого общественная нравственность останется тем, что она представляет теперь, т.е. лицемерием. И это лицемерие будет поддерживать ту двойственность, которой пропитана современная личная нравственность.

Но общительность и справедливость все-таки еще не составляют всей нравственности. В нее входит еще третья составная часть, которую можно назвать, за неимением более подходящего выражения, готовностью к самопожертвованию, великодушием.

Позитивисты называют это чувство альтруизмом, т.е. способностью действовать на пользу другим, в противоположность эгоизму, т.е. себялюбию. Они избегают этим христианского понятия о любви к ближнему, и избегают потому, что слова «любовь к ближнему» неверно выражают чувство,двигающее человеком, когда он жертвует своими непосредственными выгодами на пользу другим. Действительно, в большинстве случаев

человек, поступающий так, не думает о жертве и сплошь да рядом не питает к этим «другим» никакой особой любви. В большинстве случаев он их даже не знает. Но и слово «альтруизм», так же как и слово «самопожертвование», неверно выражает характер такого рода поступков, так как они бывают хороши только тогда, когда они становятся естественными, когда совершаются не в силу принуждения свыше или же обещания награды в этой или будущей жизни, но из соображений общественной полезности таких поступков или об обещаеом ими личном благе, а в силу непреодолимого внутреннего побуждения. Только тогда они действительно принадлежат к области нравственного и, в сущности, они одни заслуживают названия «нравственных».

Все человеческие общества всегда старались с самых ранних времен развивать склонность к такого рода поступкам. Воспитание, народные песни, предания и этическая поэзия, искусства и религия работали в этом направлении. Такие поступки возводились в долг, и «чувство долга» всячески старались

развивать. Но, к сожалению, обещая за такие поступки награды в этой или же в загробной жизни, люди часто развращали себя и своих собратий. И только теперь начинает пробиваться мысль, что в обществе, где справедливость, т.е. равноправие, будет признана основой общественной жизни, никаких приманок для самопожертвования не потребуются. Мало того, само слово «самопожертвование» уже неверно выражает сущность таких поступков, так как в большинстве случаев человек дает свои силы на службу всем, не спрашивая, что дадут ему взамен. Он поступает так, а не иначе, потому что таково требование его природы; потому что иначе он не может поступить, как тот павиан, который пошел спасать юнца от собак, никогда не слышавший ни о религии, ни о кантовском императиве и, конечно, без всяких утилитарных соображений.

«Чувство долга», бесспорно, нравственная сила. Но оно должно бы выступать лишь в трудных случаях, когда два естественных влечения противоречат друг другу, и мы колеблемся, как поступить. В громадном большин-

стве случаев так называемые «самоотверженные» люди обходятся без его напоминаний.

Чрезвычайно симпатичный, слишком рано умерший французский мыслитель Марк Гюйо первый, если не ошибаюсь, вполне понял и объяснил истинный характер того, что я называю третьей составной частью нравственного. Он понял, что ее сущность не что иное, как сознание человеком своей силы: избыток энергии, избыток сил, стремящийся выразиться в действии.

Мы имеем, писал он, больше мыслей, чем нам нужно для нас самих, и мы вынуждены бываем делиться ими с другими, потому что поступать иначе мы не можем.

Мы имеем больше слез или больше веселости, чем нам нужно самим, и мы, не жалея, даем их другим.

И, наконец, многие из нас имеют больше силы воли и больше энергии, чем им нужно для личной жизни. Иногда этот избыток воли, руководимый мелким умом, порождает завоевателя; если же он руководится более широким умом и чувствами, развитыми в смысле общечеловечности, то он дает иногда ос-

нователя новой религии или же нового общественного движения, которым совершается обновление общества.

Но во всех этих случаях нами руководит главным образом сознание своей силы и потребность дать ей приложение.

Притом, если чувство оправдывается разумом, оно уже не требует никакой другой санкции, никакого одобрения свыше и никакого обязательства так поступить, наложенного извне [55]. Оно само уже есть обязательство, потому что в данный момент человек не может действовать иначе. Чувствовать свою силу и возможность сделать что-нибудь другому или людям вообще и знать вместе с тем, что такое действие оправдывается разумом, само по себе есть уже обязательство именно так поступить. Его мы и называем «долгом».

Конечно, раньше, чем поступить так или иначе, продолжает Гюйо, в нас часто происходит борьба. Человек не представляет чего-нибудь цельного, отлитого в одном куске. Наоборот, в каждом из нас имеется сочетание нескольких индивидуальностей, нескольких характеров: и если наши влечения и наклон-

ности находятся в разладе между собой и на каждом шагу противоречат друг другу, тогда жизнь становится невыносимой. Все, даже смерть, лучше постоянной раздвоенности и вечных столкновений, способных довести до безумия. Поэтому человек принимает то или другое решение, в ту или другую сторону.

Иногда бывает, что наша совесть и разум возмущаются против принятого решения, считая его нечестным, мелким, пошлым, и тогда человек нередко придумывает какой-нибудь софизм, т.е. самообман для оправдания. Но в большинстве случаев, особенно у честных и сильных натур, софизм не помог бы. Требования внутреннего существа, хотя и бессознательные, берут верх. Тогда согласие между разумом и тем, что мы называем совестью, восстанавливается и водворяется гармония, которая дает человеку возможность жить полной жизнью жизнью, в громадной степени усиленной: полной, радостной жизнью, перед которой бледнеют возможные страдания...

Те, кто познал такую жизнь, те, кто жили ею, не променяют ее на жалкое прозябание.

Если человек приносит в таком случае то, что называют «жертвами», то в его глазах это вовсе не жертвы. Растение должно цвести, писал Гюйо, хотя бы за цветеньем неизбежно следовала смерть. Точно так же человек, чувствуя в себе избыток сочувствия с людским горем или же потребность умственной производительности или творческой способности, свободно отдает им свои силы, какие бы ни были потом последствия.

Обыкновенно такие поступки называются самопожертвованием, самоотречением, самоотверженностью, альтруизмом. Но все эти названия потому уже неверны, что человек, совершающий такие поступки, хотя они часто навлекают на него страдание физическое или даже нравственное, не променял бы этих страданий на скотское безучастие, а тем более на недостаток воли для выполнения того, что он считает нужным совершить.

Вот пример, один из весьма многих.

Как-то раз, живя на южном берегу Англии в деревушке, где имелась станция общества спасения на водах, я беседовал с матросами береговой стражи (Coast garde). Один из них

рассказывал нам, как прошлой зимой они спасали экипаж маленького испанского судна, нагруженного апельсинами. Его выбросило на мелкое место недалеко от деревушки во время жестокой снеговой бури. Громадные волны перекатывались через суденышко, и его экипаж, состоявший из пяти мужчин и одного мальчика, привязав себя к реям, громко умолял о помощи. Между тем на этом мелком побережье спасательная лодка (мелководного типа) не могла выйти в море: волны выбрасывали ее назад на берег.

«Так стояли мы все на берегу с утра и ничего не могли предпринять, говорил рассказчик, — только вот часов около трех — уже вечерело, дело было в феврале — до нас стали долетать отчаянные крики мальчика, привязавшего себя к мачте. Тут мы больше не могли вытерпеть. Те, кто раньше говорил, что сумасшествие идти, что мы никогда не выберемся в море, первые же стали говорить: »Надо попробовать еще раз«. Мы опять спустили спасательную лодку, долго бились в бурунах и наконец вышли в море. Тут волны два раза опрокидывали лодку. Двое из нас утонули.

Бедный Джо запутался в веревке у борта и тут у нас на глазах захлебывался в волнах... Страшно было смотреть... Наконец, пришел большой вал и всех нас с лодкой выкинул на берег. Меня на другое утро нашли в снегу за две версты отсюда. Испанцев спасла большая спасательная лодка из »Денгеннэса«...»

Или вы помните, конечно, о шахтерах долины Ронды, как они два дня пробивались сквозь обвал подземной галереи, засыпанной взрывом, чтобы добраться до заваленных обвалом товарищей. Каждую минуту они ждали, что будут убиты повторяющимися взрывами или будут завалены новым обвалом. «Взрывы продолжались, но мы слышали сквозь обвал стук товарищей: они давали знать, что еще живы... И мы пробивались к ним».

Такова повесть всех истинно альтруистических поступков, великих и малых. Человек, воспитанный со способностью отождествлять себя с окружающим, человек, чувствующий в себе силы своего сердца, ума, воли, свободно отдает их на помощь другим, не ища никакой уплаты в этой жизни или в неведомой дру-

гой. Он прежде всего способен понимать чувства других: он сам переживает их. И этого довольно. Он разделяет с другими их радости и горе. Он помогает им переживать тяжелые времена их жизни. Он сознает свои силы и широко расходует свою способность любить других, вдохновлять их, вселять в них веру в лучшее будущее и зовет их на работу для будущего. Что бы его ни постигло, он видит в этом не страданье, а выполнение стремлений своей жизни, полноту жизни, которую он не променяет на прозябанье слабых...

Даже теперь, когда крайний индивидуализм проповедуется словом и делом, взаимная помощь продолжает составлять существеннейшую часть в жизни человечества. И от нас самих, а не от внешних сил зависит — давать ей все большее и большее значение в жизни не в виде благотворительности, а в виде естественного исхода развивающимся в нас общечеловеческим чувствам.

Подведем же теперь итоги и посмотрим, как нам представляется то, что называется нравственным чувством с развитой мною точки зрения.

Почти все писавшие о нравственности старались свести ее к какому-нибудь одному началу: к внушению свыше, к прирожденному природному чувству или же к разумно понятой личной или общественной выгоде.

На деле же оказывается, что нравственность есть сложная система чувств и понятий, медленно развившихся и все далее развивающихся в человечестве. В ней надо различать по крайней мере три составных части: 1) инстинкт, т.е. унаследованную привычку общительности; 2) понятие нашего разума справедливость и, наконец, 3) чувство, ободряемое разумом, которое можно было бы назвать самоотвержением или самопожертвованием, если бы оно не достигало наиболее полного своего выражения именно тогда, когда в нем нет ни жертвования, ни самоотверженья, а проявляется высшее удовлетворение продуманных властных требований своей природы. Даже слово «великодушие» не совсем верно выражает это чувство, так как слово «великодушие» предполагает в человеке высокую самооценку своих поступков, тогда как именно такую оценку отвергает нрав-

ственный человек. И в этом истинная сила нравственного.

Люди все любили приписывать свои нравственные побуждения сверхъестественному вдохновению, и перед этим искушением не устояло большинство мыслителей; тогда как другие, утилитаристы, старались объяснить нравственность развитием правильно понятой выгоды. Таким образом, создались две противоречащие друг другу школы. Но те из нас, кто знает человеческую жизнь и освободился от церковных предрассудков, поймут, как важны были и как важны до сих пор практика широко развитой взаимопомощи, здравые суждения о справедливости и, наконец, те бескорыстные порывы людей, наиболее сильных умом и сердцем, о которых так красноречиво писал Гюйо. И они поймут, что в этих трех основных чертах природы человека надо искать объяснения нравственного...

Даже теперь, когда крайний индивидуализм, т.е. правило «заботиться прежде всего о себе самом», проповедуется словом и делом, — даже теперь взаимопомощь и бескорыстная отдача своих сил на служение обще-

ству составляют такую существенную часть жизни общества и его дальнейшего развития, что без них человечество не могло бы прожить даже несколько десятков лет. К сожалению, эти мысли о сущности нравственности и ее развитии еще не нашли себе достаточно-го отзвука в умах современных деятелей науки. Гексли, который считался верным истолкователем Дарвина, пока занимался изложением «борьбы за существование» и ее значения в выработке новых видов, не последовал за своим великим учителем, когда Дарвин объяснил нравственные понятия человека как результат инстинкта (общественности), одинаково существующего среди животных и среди людей. Вместо того чтобы дать естественнонаучное объяснение нравственности, этот некогда ярый естественник предпочел занять межеумочное положение между учениями Церкви и уроками Природы.

Герберт Спенсер, посвятивший свою жизнь выработке рациональной философии, построенной на теории развития, и много лет работавший над вопросом о нравственности, точно так же не вполне пошел вслед за Дар-

вином в объяснении нравственного инстинкта. После запоздалого признания взаимной помощи среди животных (только в июне 1888 года в журнале «Nineteenth Century») и после признания, что у некоторых из них есть зачатки нравственного чувства (в приложении к «Основам Этики»), Спенсер тем не менее остался сторонником Гоббса, отрицавшего существование нравственного чувства у первобытных людей, «пока они не заключили общественного договора» и не подчинились неизвестно откуда взявшимся мудрым законодателям. И если Спенсер в последние годы своей жизни начал делать некоторые уступки, то все-таки для него, как и для Гексли, первобытный человек был драчливым животным, которое только медленно было приведено принуждением, законом и отчасти эгоистическими соображениями к тому, что оно приобрело наконец некоторое понятие о нравственном отношении к своим собратиям.

Но науке давно пора уже выйти из своего фаустовского кабинета, куда свет природы проникает только сквозь тусклые цветные стекла.

Пора ученым ознакомиться с природой не из своих пыльных книжных шкафов, а в вольных равнинах и горах, при полном свете солнечного дня, как это делали в начале XIX века великие основатели научной зоологии в приволье незаселенных степей Америки и основатели истинной антропологии, живя вместе с первобытными племенами не с целью обращения их в свою веру, а с целью ознакомления с их нравами и обычаями и с их нравственным обликом.

Тогда они увидят, что нравственное вовсе не чуждо природе. Увидав, как во всем животном мире мать рискует жизнью, чтобы защитить своих детей, увидав, как сами стадные животные дружно отбиваются от хищников, как они собираются в громадные стада для перекочевков и как первобытные дикари воспринимают от животных уроки нравственного, наши ученые поняли бы, откуда происходит то, чем так кичатся наши духовные учителя, считающие себя ставленниками божества. И вместо того чтобы повторять, что «природа безнравственна», они поняли бы, что, каковы бы ни были их понятия о добре и

зле, эти понятия не что иное, как выражение того, что им дала сперва природа, а затем медленный процесс развития человечества.

Высочайший нравственный идеал, до которого поднимались наши лучшие люди, есть не что иное, как то, что мы иногда наблюдаем уже в животном мире, в первобытном дикаре и в цивилизованном обществе наших дней, когда они отдают свою жизнь для защиты своих и для счастья грядущих поколений. Выше этого никто не поднимался и не может подняться.

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА АНАРХИЗМА [56]

История человеческой мысли напоминает собой качания маятника. Только каждое из этих качаний продолжается целые века. Мысль то дремлет и застывает, то снова пробуждается после долгого сна. Тогда она сбрасывает с себя цепи, которыми опутывали ее все заинтересованные в этом — правители, законники, духовенство. Она рвет свои путы. Она подвергает строгой критике все, чему ее учили, и разоблачает предрассудки, религиозные, юридические и общественные, среди которых прозябала до тех пор. Она открывает

исследованию новые пути, обогащает наше знание непредвиденными открытиями, создает новые науки.

Но исконные враги свободной человеческой мысли — правитель, законник, жрец — скоро оправляются от поражения. Мало-помалу они начинают собирать свои рассеянные было силы; они подновляют свои религии и свои своды законов, приспособляя их к некоторым современным потребностям. И, пользуясь тем рабством характеров и мысли, которое они сами же воспитали, пользуясь временной дезорганизацией общества, потребностью отдыха у одних, жаждой обогащения у других и обманутыми надеждами третьих — особенно обманутыми надеждами, — они потихоньку снова берутся за свою старую работу, прежде всего, овладевая воспитанием детей и юношества.

Детский ум слаб, его так легко покорить при помощи страха: так они и поступают. Они запугивают ребенка и тогда говорят ему об аде: рисуют перед ним все муки грешника в загробной жизни, всю месть божества, не знающего пощады. А тут же они кстати рас-

скажут об ужасах революции, воспользуются каким-нибудь случившимся зверством,

чтобы вселить в ребенка ужас перед революцией и сделать из него будущего «защитника порядка». Священник приучает его к мысли о законе, чтобы лучше подчинить его «божественному закону», а законник говорит о законе божественном, чтобы лучше подчинить закону уголовному. И понемногу мысль следующего поколения принимает религиозный оттенок, оттенок раболепия и властвования — властвование и раболепие всегда идут рука об руку, — и в людях развивается привычка к подчиненности, так хорошо знакомая нам среди наших современников.

Во время таких периодов застоя и дремоты мысли мало говорить вообще о нравственных вопросах. Место нравственности занимают религиозная рутина и лицемерие «законности». В критику не вдаются, а больше живут по привычке, следуя преданию, больше держатся равнодушия. Никто не ратует ни «за», ни «против» ходячей нравственности. Всякий старается, худо ли, хорошо ли, подладить внешний облик своих поступков к наруж-

но-признаваемым нравственным началам. И нравственный уровень общества падает все ниже и ниже. Общество доходит до нравственности римлян во времена распада их империи или французского «высшего» общества перед революцией и современной разлагающейся буржуазии.

Все, что было хорошего, великого, великодушного в человеке, притупляется мало-помалу, ржавеет, как ржавеет нож без употребления. Ложь становится добродетелью; подличанье — обязанностью. Нажиться, пожить всласть, растратить куда бы то ни было свой разум, свой огонек, свои силы становится целью жизни для зажиточных классов, а вслед за ними и у массы бедных, которых идеал — казаться людьми среднего сословия...

Но, мало-помалу, разврат и разложение правящих классов — чиновников, судейских, духовенства и богатых людей вообще — становятся столь возмутительными, что в обществе начинается новое, обратное качание маятника. Молодежь освобождается от старых пут, выбрасывает за борт свои предрассудки; критика возрождается. Происходит пробуж-

дение мысли — сперва у немногих, но постепенно оно захватывает все больший и больший круг людей. Начинается движение, проявляется революционное настроение.

И тогда всякий раз снова подымается вопрос о нравственности. «С какой стати буду я держаться этой лицемерной нравственности? — спрашивает себя ум, освобождающийся от страха, внушенного религией. — С какой стати какая бы то ни было нравственность должна быть обязательна?»

И люди стараются тогда объяснить себе нравственное чувство, встречаемое ими у человека на каждом шагу и до сих пор не объясненное, — необъясненное потому, что оно все еще считается особенностью человеческой природы, тогда как для объяснения его нужно вернуться к природе: к животным, к растениям, к скалам...

И что всего поразительнее, чем больше люди подрывают основы ходячей нравственности (или, вернее, лицемерия, заступающего место нравственности), тем выше подымается нравственный уровень общества: именно в те годы, когда больше всего критикуют и от-

рицают нравственное чувство, оно делает самые быстрые свои успехи: оно растет, возвышается, утончается.

Это очень хорошо было видно в XVIII веке. Уже в 1723 году Мандевиль автор анонимно изданной «Басни о пчелах» — приводил в ужас правоверную Англию своей басней и толкованиями к ней, в которых он беспощадно нападал на все общественное лицемерие, известное под именем «общественной нравственности». Он показывал, что так называемые нравственные обычаи общества — не что иное, как лицемерно надеваемая маска, и что страсти, которые хотят «покорить» при помощи ходячей нравственности, принимают только вследствие этого другое, худшее направление. Подобно Фурье, писавшему почти сто лет позже, Мандевиль требовал свободного проявления страстей, без чего они становятся пороками: и, платя дань тогдашнему недостатку познаний в зоологии, т.е. упуская из вида нравственность у животных, он объяснял нравственные понятия в человечестве исключительно ловким воспитанием: детей — их родителями и всего общества — пра-

вящими классами.

Вспомним также могучую, смелую критику нравственных понятий, которую произвели в середине и конце XVIII века шотландские философы и французские энциклопедисты, и напомним, на какую высоту они поставили в своих трудах нравственность вообще. Вспомним также тех, кого называли «анархистами» в 1793 году, во время Великой французской революции, и спросим, у кого нравственное чувство достигало большей высоты: у законников ли, у защитников ли старого порядка, говоривших о подчинении воле Верховного Существа, или же у атеистов, отрицавших обязательность и верховную санкцию нравственности и тем не менее шедших в то же время на смерть во имя равенства и свободы человечества?

«Что обязывает человека быть нравственным?» Вот, стало быть, вопрос, который ставили себе рационалисты XII века, философы XVI века, философы и революционеры XVIII века. Позднее тот же вопрос возник перед английскими утилитаристами (Бентамом и Миллем), перед немецкими материалистами,

как Бюхнер, перед русскими нигилистами 60-х годов, перед молодым основателем анархической этики (науки об общественной нравственности) Гюйо, который, к несчастью, умер так рано. И тот же вопрос ставят себе теперь анархисты.

В самом деле — что?

В шестидесятых годах этот самый вопрос страстно волновал русскую молодежь. «Я становлюсь безнравственным, — говорил молодой нигилист своему другу, иногда даже подтверждая мучившие его мысли каким-нибудь поступком. — становлюсь безнравственным. Что может меня удержать от этого?»

«Библия, что ли? Но ведь Библия — не что иное, как сборник вавилонских и иудейских преданий, собранных точно так же, как собирались когда-то песни Гомера или как теперь собирают песни басков и сказки монголов! Неужели я должен вернуться к умственному пониманию полуварварских народов Востока?»

«Или же я должен быть нравственным, потому что Кант говорит нам о каком-то »категорическом императиве« (основном предпи-

сании), который исходит из глубины меня самого и предписывает мне быть нравственным? Но в таком случае почему же я признаю за этим категорическим императивом больше власти над собой, чем за другим императивом, который иногда, может быть, велит мне напиться пьяным? Ведь это — только слово, такое же слово, как слово Провидение, или Судьба, которым мы прикрываем свое неведение».

«Или же потому я должен быть нравственным, что так угодно Бентаму, который уверяет, что я буду счастливее, если утону, спасая человека, тонущего в реке, чем если я буду смотреть с берега, как он тонет?»

«Или же, наконец, потому, что так меня воспитали? Потому что моя мать учила меня быть нравственным? Но в таком случае я должен, стало быть, класть поклоны перед картиной, изображающей Христа или Богородицу, уважать царя, преклоняться перед судьей, когда я, может быть, знаю, что он взяточник? Все это только потому, что моя мать, наши матери, прекрасные, но, в конце концов, очень мало знающие женщины, учили нас

куче всякого вздора?»

«Все это предрассудки, и я всячески постараюсь от них отделаться. Если мне противно быть безнравственным, то я заставлю себя быть таковым, точно так же как в юности я заставлял себя не бояться темноты, кладбища, привидений, покойников, к которым нянюшки вселяли мне страх. — сделаю это, чтобы разбить оружие, которое обратили себе на пользу религии; я сделаю это хотя бы только для того, чтобы протестовать против лицемерия, которое налагает на нас обязанности во имя какого-то слова, названного ими нравственностью».

Так рассуждала русская молодежь в ту пору, когда она отбрасывала предрассудки «старого мира» и развертывала знамя нигилизма (т.е., в сущности, анархической философии) и говорила: «Не склоняйся ни перед каким авторитетом, как бы уважаем он ни был; не принимай на веру никакого утверждения, если оно не установлено разумом».

Нужно ли прибавлять, что, отбросив уроки нравственности своих родителей и отвергнув все без исключения этические системы, эта

же самая нигилистическая молодежь выработала в своей среде ядро нравственных обычаев, обихода, гораздо более глубоко нравственных, чем весь образ жизни их родителей, выработанный под руководством Евангелия, или «категорического императива» Канта, или «правильно понятой личной выгоды» английских утилитаристов.

Но прежде чем ответить на вопрос, «почему быть мне нравственным?», рассмотрим сперва мотивы человеческих поступков.

Когда наши прародители старались уяснить себе, что побуждает человека действовать так или иначе, они очень просто решали дело. По сию пору можно еще найти католические картинки, на которых изображено их объяснение. По полю идет человек и, сам того не подозревая, несет дьявола у себя на левом плече и ангела на правом. Дьявол толкает его на зло, ангел же старается удержать от зла; и если ангел возьмет верх и человек останется добродетельным, тогда три других ангела подхватят его и унесут в облака. Все объяснено как нельзя лучше.

Наши старушки нянюшки, хорошо освещенные

домленные по этим делам, скажут вам даже, что никогда не надо класть ребенка в постель, не расстегнувши ворота его рубашки. Нужно, чтобы «дужка» внизу шеи оставалась открытой; тогда ангел-хранитель приютится в ней. Иначе дьявол будет мучить ребенка во сне.

Все эти простые, наивные верования, конечно, пропадают мало-помалу. Но если старые слова исчезают, то суть остается та же.

Люди, учившиеся чему-нибудь, больше не верят в дьявола; но так как в громадном большинстве случаев их понимание природы ничуть не рациональнее, чем понимание наших нянюшек, они попросту запрятывают дьявола и ангела под схоластические словеса, которые у них сходят за философию. Вместо дьявола нынче говорят: «Плоть, дурные страсти». Ангела нынче заменили словами «сознание», «душа» — «отражение мысли Творца», или же «Великого зодчего», как говорят франкмасоны. Но поступки человека все же представляются, как и в старину, только как следствие борьбы двух враждебных начал: доброго и злого — вместо двух враждебных

существ. И человек считается добродетельным или нет, смотря по тому, которое из двух начал — душа, совесть или же плотские страсти — одержит верх.

Легко понять ужас наших дедов, когда английские философы XVIII века, а за ними французские энциклопедисты начали утверждать, что ангелы и дьяволы ни при чем в человеческих поступках; что все поступки человека, хорошие и дурные, полезные и вредные, имеют одно побуждение: желание личного удовлетворения.

Люди верующие, а в особенности неисчислимая орда фарисеев, подняли тогда громкие крики, обвиняя философов в безнравственности. Их всячески оскорбляли, их предавали анафеме. И когда позднее, в течение XIX века, те же мысли высказывались Бентамом, Миллем, а потом Чернышевским и многими другими и эти писатели стали доказывать, что эгоизм, т.е. желание личного удовлетворения, является истинным двигателем всех наших поступков, то проклятия религиозно-фарисейского лагеря раздались с новой силой. Этих писателей стали обзывать невеждами,

развратниками, а их книги замалчивали.

Но было ли их утверждение в самом деле так неверно?

Вот человек, который отнимает у голодных детей последний кусок хлеба. Все единогласно признают ведь, что он — отчаянный эгоист, что им двигает только любовь к самому себе.

Но вот другой, которого все признают добродетельным. Он делит свой последний кусок хлеба с голодными, он снимает с себя одежду, чтобы отдать тому, кто зябнет на морозе. И моралисты, говоря все тем же языком религий, в один голос утверждают, что в этом человеке любовь к ближнему доходит до самопожертвования, что им двигает совсем другая страсть, чем эгоистом.

А между тем, если подумать немножко, нетрудно заметить, что, хотя последствия этих двух поступков совершенно различны для человечества, двигающая сила того и другого одна и та же. И в том и в другом случае человек ищет удовлетворения своих личных желаний — следовательно, удовольствия.

Если бы человек, отдающий свою рубашку

другому, не находил в этом личного удовлетворения, он бы этого не сделал. Если бы, наоборот, он находил удовольствие в том, чтобы отнять хлеб у детей, он так бы и поступил. Но ему было бы неприятно, тяжело так поступить; ему приятно, наоборот, поделиться своим — и он отдает свой хлеб другому.

Если бы мы не хотели, во избежание путаницы понятий, воздерживаться от употребления в новом смысле слов, уже имеющих установленный смысл, мы могли бы сказать, что и тот и другой человек действуют под влиянием своего эгоизма (себялюбия). Так и говорят некоторые писатели, чтобы сильнее оттенить свою мысль, чтобы резче выразить ее в форме, которая поражает воображение, и вместе с тем отстранить легенду, утверждающую, что побуждения совершенно разные в этих двух случаях. На деле же побуждение то же: найти удовлетворение или же избежать тяжелого, неприятного ощущения, что, в сущности, одно и то же.

Возьмите последнего негодяя Тьера, например, который произвел избиение тридцати пяти тысяч парижан при разгроме Комму-

ны; возьмите убийцу, который зарезал целое семейство, чтобы самому предаться пьянству и разврату. Они так поступают, потому что в данную минуту желание славы в Тьере и жажда денег в убийце одержали верх над всеми прочими желаниями: жалость, даже сострадание убиты в них в эту минуту другим желанием, другой жаждой. Они действуют почти как машины, чтобы удовлетворить потребность своей природы.

Или же, оставляя людей, руководимых сильными страстями, возьмите человека мелкого, который надувает своих друзей, лжет и изворачивается на каждом шагу то для того, чтобы заполучить денег на выпивку, то из хвастовства, то просто из любви к вранью. Возьмите буржуа, который обворовывает своих рабочих грош за грошем, чтобы купить наряд своей жене или любовнице. Возьмите любого дрянного плута. Все они опять-таки только повинуются

своим склонностям; все они ищут удовлетворения потребности или же стремятся избежать того, что для них было бы мучительно.

Сравнивать таких мелких плутов с тем, кто отдает свою жизнь за освобождение угнетенных и восходит на эшафот, как восходит русская революционерка, — сравнивать их почти что стыдно. До такой степени различны результаты этих жизней для человечества: так привлекательны одни и так отвратительны другие.

А между тем, если бы вы спросили революционерку, пожертвовавшую собой, даже за минуту до казни, она сказала бы вам, что она не отдала бы своей жизни травленного царскими псами зверя и даже своей смерти в обмен на существование мелкого плута, живущего обворовыванием своих рабочих. В своей жизни, в своей борьбе против властных чудовищ она находила наивысшее удовлетворение. Все остальное, вне этой борьбы, все мелкие радости, все мелкие горести «мещанского счастья» кажутся ей такими ничтожными, такими скучными, такими жалкими! «Вы не живете, — сказала бы она, — вы прозябаете, а я — я жила!»

Мы, очевидно, говорим здесь об обдуманых, сознательных поступках человека: о бес-

сознательных, почти машинальных поступках и действиях, составляющих такую громадную долю жизни человека, мы поговорим потом. Так вот, в своих сознательных, обдуманных поступках человек всегда ищет того, что дает ему удовлетворение.

Такой-то напивается каждый день, потому что он ищет в вине нервное возбуждение, которого не находит в своей истощенной нервной системе. Другой не напивается, отказывается от вина, хотя даже находит в нем удовольствие, чтобы сохранить свежесть мысли и полноту своих сил, которые он и отдает на то, чтобы наслаждаться чем-нибудь другим, что предпочитает вину. Но, поступая так, не поступает ли он точно так же, как человек, любящий поесть и отказывающийся за большим обедом от одного блюда, чтобы наесться другого, любимого блюда?

Что бы человек ни делал, он всегда либо ищет удовлетворения своих желаний, либо старается избежать чего-нибудь неприятного.

Когда женщина, подобная Луизе Мишель, отдает последний свой кусок хлеба первому

встречному и снимает с себя последнюю свою ветошку, чтобы закутать другую женщину, а сама дрожит на палубе корабля, несущего ее на каторгу в Новую Каледонию, — она поступает так, потому что она гораздо больше бы страдала при виде голодного человека или дрожащей от холода женщины, чем когда сама дрожит или чувствует голод. Она избегает неприятного чувства, всю силу которого могут понять только те, кто сам его испытывал.

Когда австралиец, о котором рассказывал Дарвин, чахнет от мысли, что он еще не отмстил за смерть своего сородича; когда он худеет с каждым днем, мучимый сознанием своей трусости, и возвращается к нормальной жизни только после того, как выполнит долг родовой мести, — этот австралиец совершает акт, нередко геройский, чтобы избавиться от угрызений совести, которые его мучат, чтобы снова узнать внутренний мир, который и доставляет высшее наслаждение.

Когда стадо обезьян, увидев, что один из их братьев пал под пулей охотника, подходит всей гурьбой к палатке охотника, требуя от него выдачи трупа, несмотря на страх, наве-

денный его ружьем; когда старый самец из этого стада решается подойти вплотную к палатке, сперва угрожает охотнику, а потом просит и наконец своими завываниями добивается того, что ему отдают труп, после чего стадо уносит убитого товарища, оглашая воздух своими воплями (факт, рассказанный натуралистом Форбзом), — в этом случае обезьяны повинуются чувству соболезнования, которое берет верх над всеми их соображениями о личной безопасности. Чувство соболезнования и взаимности подавляет все остальные: самая жизнь теряет для них свою цену, пока они не убедятся, что вернуть товарища к жизни они больше не могут. Оно до того гнетуще действует на этих бедных животных, что они идут на явную опасность, лишь бы от него избавиться.

Когда муравьи тысячами бросаются в огонь муравейника, подожженного для забавы этим злым животным — человеком, и гибнут сотнями в огне, спасая свои личинки, они опять-таки повинуются глубоко сидящей в них потребности: спасти свое потомство. Они всем рискуют, чтобы сохранить личин-

ки, которые они воспитывали — часто с большей заботливостью, чем буржуазка-мать воспитывает своих детей.

И наконец, когда микроскопическая инфузория уплывает от слишком жаркого луча и ищет умеренно теплых лучей, когда растение поворачивает свой цветок к солнцу, а на ночь складывает свои лепестки, — все эти существа также повинуются потребности избежать неприятного и насладиться приятным — точно так же, как муравей, как обезьяна, как австралиец, как христианский мученик, как мученик-революционер.

Искать удовлетворения потребности, избежать того, что мучительно, таков всеобщий факт (другие скажут «закон») жизни. В этом — самая сущность жизни.

Без этого искания удовлетворения жизнь стала бы невозможной. Организм распался бы, прекратилось бы существование.

Таким образом, каков бы ни был поступок человека, какой бы образ действия он ни избрал, он всегда поступает так, а не иначе, повинуюсь потребности своей природы. Самый отвратительный поступок, как и самый пре-

красный или же самый безразличный поступок, одинаково являются следствием потребности в данную минуту. Человек поступает так или иначе, потому что он в этом находит удовлетворение или же избегает таким образом (Или думает, что избегает) неприятного ощущения.

Вот факт, совершенно установленный. Вот сущность того, что называли теорией эгоизма.

И что же? Подвинуло ли нас сколько-нибудь установление этого обобщения?

Да, конечно, подвинуло. Мы завоевали себе одну истину и разрушили один предрассудок, лежащий в основе всех других предрассудков. Вся материалистическая философия, поскольку она касается человека, содержится в этом заключении.

Но следует ли из этого, что поступки человека безразличны, как это поторопились вывести весьма многие? Разберем теперь этот вывод.

Мы видели, что обдуманнные и сознательные поступки человека — позже мы поговорим о бессознательных привычках, — все

имеют одинаковое происхождение. Поступки, называемые добродетельными, и те, которые мы называем порочными, великие акты самопожертвования и мелкое плутовство, поступки привлекательные и поступки отвратительные — все вытекают из одного и того же источника. Все совершаются для того, чтобы ответить потребности, зависящей от природы личности. Все имеют целью доставить удовлетворение потребности, т.е. удовольствие, или же отвечают желанию избежать страдания.

Мы видели это в предыдущей главе, представляющей собой сжатый очерк громаднейшей массы фактов; их можно было бы привести без числа в подтверждение сказанного.

Понятно, что такое объяснение приводит в озлобление тех, кто еще пропитан религиозными мыслями. Оно не оставляет места сверхъестественным силам: оно исключает мысль о бессмертной душе. Действительно, если человек всегда повинуется потребностям своей природы, если он, так сказать, не что иное, как «сознательный автомат», где же место для бессмертной души? Что случилось с

бессмертием — этим последним убежищем тех, кто много страдал и мало знал радостей и кто верит поэтому, что найдет вознаграждение в другом, загробном мире?

Мы понимаем, что люди, выросшие в предрассудках, не доверяющие науке она так часто их обманывала — и гораздо более управляемые чувством, чем разумом, отвергают такое объяснение. Оно отнимает у них их последнюю надежду.

Но что сказать о революционерах, которые начиная с XVIII века и вплоть до наших дней, как только познакомятся впервые с естественным объяснением человеческих поступков (с теорией эгоизма, если хотите), сейчас же спешат вывести из нее то же заключение, что и молодой нигилист, о котором мы говорили вначале, т.е. говорят: «Долой всякую нравственность!»

Что сказать о тех, которые, убедившись, что как бы ни поступал человек, он поступает так, а не иначе, чтобы ответить потребности своей природы, торопятся вывести из этого, что все поступки безразличны; что нет ни добра, ни зла; что спасти тонущего человека

или утопить человека, чтобы завладеть его часами, — два равнозначных поступка; что мученик, умирающий на эшафоте, после того как работал в своей жизни над освобождением человечества, и мелкий плут стоят дру-друга — потому что оба искали удовлетворения потребности, искали счастья!

Если бы те же люди прибавляли, что нет на свете ни приятных, ни неприятных запахов; что аромат розы и вонь ассы фетиды безразличны, потому что и то и другое — не что иное, как колебания частичек вещества; что нет ни хорошего, ни дурного вкуса, так как горечь хинина и сладость гуавы опять-таки не что иное, как колебания частичек; что на свете нет ни физической красоты, ни безобразия, ни ума, ни глупости, потому что красота и безобразие, ум и глупость — тоже результаты колебаний, химических и физических, происходящих в клеточках организма. Если бы они прибавили все это, то можно было бы сказать, что они городят вздор, но по крайней мере рассуждают с формальной логикой сумасшедшего.

Но нет — этого они не утверждают. Они

признают для себя и других различие хорошего и дурного вкуса, приятного и неприятного запаха, они знают различие ума и глупости, красоты и безобразия... Что же следует из этого заключить?

Наш ответ очень прост. Дело в том, что Мандевиль, писавший в 1723 году свою «Басню о пчелах», русский нигилист 60-х годов и современный французский анархист рассуждают так потому, что, не отдавая себе в этом отчета, они остаются погрязшими в предрассудках своего христианского воспитания. Какими бы они себя ни считали атеистами, материалистами или анархистами, они продолжают рассуждать по вопросу о нравственности, точь-в-точь как рассуждали отцы христианской церкви или основатели буддизма.

Эти добродушные старцы говорили: «Поступок тогда будет хорош, когда он представляет собою победу души над плотью; он будет дурен, если плоть победила душу, и он будет безразличен, если ни то, ни другое. Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен». И наши молодые товарищи вслед за христианскими и буддистскими

отцами повторяют: «Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен. Раз его нет — нет ни добра, ни зла».

Отцы Церкви говорили: «Взгляните на животных: у них нет бессмертной души. Их поступки просто отвечают потребностям их природы; а потому у животных не может быть ни дурных, ни хороших поступков. Все их поступки безразличны. Вот почему для животных не будет ни ада, ни рая: ни наказания, ни вознаграждения».

И наши молодые товарищи повторяют вслед за святым Августином и святым Шакьямуни: «Человек — тоже животное; его поступки тоже отвечают только потребностям его природы. А потому не может быть ни хороших, ни дурных поступков. Они все безразличны».

Везде, всегда все та же проклятая идея о наказании и вознаграждении, становящаяся поперек разуму. Везде все то же нелепое наследие религиозного обучения, в силу которого выходило, что поступок тогда только хорош, когда он вытекает из внушения свыше, и безразличен, если в нем отсутствует сверхъ-

естественное внушение. Опять, даже у тех, кто больше всего смеется над дьяволом и ангелом, мы находим дьявола на левом плече и ангела на правом.

«Раз вы прогнали дьявола и ангела и уже больше не в силах нам сказать, что хорошо, что дурно, так как другой мерки, чтобы судить поступки, у меня нет».

Старые верования все еще живы по-прежнему в этом рассуждении с их дьяволом и ангелом, несмотря на внешнюю материалистическую окраску. И, что всего хуже, судья со своими раздачами кнута для одних и наград для других тоже благоприсутствует, и даже принципы анархии не в силах искоренить этого понятия о награде и наказании.

Но мы отказались раз и навсегда и от священника, и от судьи. Они нам вовсе не нужны. А потому мы рассуждаем так: «Когда асфетида издает противный мне запах, когда змея кусает людей, а враль их обманывает, то все трое одинаково следуют природной необходимости. Это верно. Но и я тоже следую такой же природной необходимости, когда ненавижу растение, издающее противный за-

пах, ненавижу змею, убивающую людей своим ядом, и ненавижу тех людей, которые иногда бывают вреднее всякой змеи. И я буду действовать сообразно этому чувству, не обращаясь ни к дьяволу, с которым я, впрочем, незнаком, ни к судье, которого ненавижу еще больше, чем змею. — и все те, кто так же думает, мы тоже повинемся потребностям нашей природы. И мы увидим, на чьей (стороне) разум, а следовательно, и сила».

Это мы сейчас и разберем, и тогда мы увидим, что если святой Августин не находил другого основания, чтобы различать между добром и злом, кроме внушения свыше, то у животных есть свое основание, несравненно более действительное для такого различения.

Животные вообще, начиная с насекомого и кончая человеком, прекрасно знают, что хорошо и что дурно, не обращаясь за этим ни к Евангелию, ни к философии. И причина, почему они знают, — опять-таки в их природных потребностях: в условиях, необходимых для сохранения расы, которые ведут, в свою очередь, к осуществлению возможно большей суммы счастья для каждой отдельной

особи.

IV

Чтобы отличить, что хорошо и что худо, богословы Моисеева закона, буддийские, христианские и мусульманские всегда ссылались на божественное внушение свыше. Они видели, что человек, будь он цивилизованный или дикарь, ученый или безграмотный, развратник или добрый и честный, всегда знает, когда он поступает хорошо и когда поступает дурно, — в особенности когда поступает дурно. Но, не находя объяснения этому всеобщему факту человеческой природы, они приписывали его чувству, сознанию, вселенному в человека свыше.

Вслед за ними философы-метафизики говорили то же о прирожденной совести, о мистическом императиве, что, впрочем, ничего не объясняло и представляло только замену одних слов другими.

Но ни богословы, ни метафизики не сумели указать на тот простой и поразительный факт, что все животные, живущие в обществах, тоже умеют различать между добром и злом точно так же, как человек. И, что всего

важнее, их понимание добра и зла совершенно то же, что у человека. У наиболее развитых представителей каждого из классов животных, т.е. у высших насекомых, у высших рыб, птиц и млекопитающих, эти представления даже тождественны.

Некоторые мыслители XVIII века уже отметили мимоходом это совпадение, но с тех пор оно было забыто, и нам выпадает теперь на долю выставить все его глубокое значение.

Гюбер и Форель, неподражаемые исследователи муравьев, доказали целой массой наблюдений и опытов, что, если муравей, хорошо наполнивший свой зобик медом, встречает других муравьев, голодных, эти последние сейчас же просят его поделиться с ними. И среди этих маленьких, умных насекомых считается долгом для сытого муравья отрыгнуть мед и дать возможность голодным товарищам покормиться.

Спросите у муравьев, хорошо ли было бы отказать в таком случае муравьям из своего муравейника? И они ответят вам фактами, смысл которых невозможно не понять, — что отказать было бы очень дурно. С таким эгои-

стом муравьем другие из его муравейника поступили бы хуже, чем с врагом из другого вида. Если бы такой отказ случился во время сражения между муравьями двух разных видов, его сородичи бросили бы сражение, чтобы напасть на своего эгоиста. Этот факт был доказан опытами, не оставляющими после себя никакого сомнения.

Или же спросите у воробьев, живущих в вашем саду, хорошо ли поступил бы тот из них, который, увидав, что вы выбросили крошки хлеба, не предупредил бы других об этом приятном для них событии. Если бы воробьи могли понять ваш вопрос, они, наверно, Ответили бы, что этого никогда не бывает. Или спросите их, хорошо ли поступил такой-то молодой воробей, утащив, чтобы избежать труда, несколько соломинок из гнезда, которое строил другой воробей. На это воробьи, бросившись на воришку и грозя его заклевать, очень ясно ответят вам, что это очень нехорошо.

Спросите у сурков, хорошо ли отказывать другим суркам своей колонии в доступе к своему подземному магазину запасов? И они

опять дадут ответ, что очень худо, так как будут всячески надоедать скупому товарищу.

Наконец, спросите первобытного человека, чукчу например, хорошо ли зайти в пустой чум другого чукчи и там взять себе пищи? И вам ответят, что если чукча мог сам добыть себе пищи, он поступил очень худо, беря ее у другого. Но если он очень устал и вообще был в нужде, тогда он должен был взять пищу, где бы ни нашел ее. Но в таком случае он поступил бы хорошо, оставив свою шапку или хотя бы кусок ремешка с завязанным узлом, чтобы хозяин мог знать, вернувшись, что заходил не враг и не какой-нибудь бродяга. Это избавило бы его от мысли, что по соседству завелся какой-то худой человек.

Тысячи таких фактов можно было бы привести. Целые книги можно было бы написать, чтобы показать, насколько сходны понятия добра и зла у человека и у животных.

Ни муравей, ни птица, ни чукча не читали ни Канта, ни Отцов Церкви, ни Моисеева закона. А между тем у них у всех то же понимание добра и зла. Откуда это? И если вы подумаете немного над этим вопросом, вы сейчас

же поймете, что то называется хорошим у муравьев, у сурков, у христианских проповедников и у неверующих учителей нравственности, что полезно для сохранения рода; и то называется злом, что вредно для него. Не для личности, как говорили Бентам и Милль (утилитаристы), но непременно для всей расы, всего рода.

Та или другая религия, то или другое таинственное представление о совести ни при чем в этом понимании добра и зла. Оно составляет естественную потребность всех животных видов, выживающих в борьбе за существование. И когда основатели религий, философы и моралисты толкуют о божественных или о метафизических «сущностях», они только повторяют то, что на деле практикует всякий муравей, всякая птица в своих муравьиных или птичьих обществах.

«Полезно ли это обществу? Тогда, стало быть, хорошо. Вредно обществу? Стало быть, дурно».

Это понятие может быть очень сужено у низших животных, или же оно расширяется у высших, но суть его остается та же.

У муравьев оно редко выходит за пределы муравейника. Правда, что встречаются федерации нескольких сот и тысяч муравейников, но это исключения. Обыкновенно же все общественные обычаи муравьиных обществ, все правила «порядочности» обязательны только для членов того же муравейника. Нужно делиться своим запасенным медом, но только с членами своего муравейника. Два муравейника не сойдутся в одну общую семью, если только не случатся какие-нибудь особые обстоятельства — например, общая нужда. Точно так же воробьи из Люксембургского сада (в Париже) нападают жестоко на всякого другого воробья, — например, из сквера Монжа, если он сунется в «их» сад. И чукча одного рода относится к чукче из другого рода, как к чужому: к нему не прилагаются обычаи, существующие внутри своего рода. Так, например, чужаку позволено продавать свои изделия (продавать, по их понятиям, всегда значит более или менее обобрать покупателя: либо тот, либо другой — всегда в проигрыше); между тем внутри своего рода никакой продажи не допускается: своим надо про-

сто давать, не ведя никаких счетов и расчетов. И наконец, истинно образованный человек понимает связь, хотя бы и не явную, незаметную на первый взгляд, существующую между ним и последним из дикарей, и он распространяет свои понятия солидарности на весь человеческий род и даже отчасти на животных.

Понятие, таким образом, расширяется, но суть его остается та же.

С другой стороны, понятие о добре и зле меняется сообразно развитию ума и накоплению знаний. Оно не неизменно.

Первобытный дикарь во время периодических голодовок мог находить, что очень хорошо, т.е. полезно для рода, съесть своих стариков, когда они становятся бременем для сородичей. Он мог находить также хорошим, т.е. полезным для своего рода, «выставлять», т.е. попросту отдавать на смерть, часть новорожденных детей, сохраняя на каждую семью лишь по два или по три ребенка, которых мать и кормила до трехлетнего возраста, и вообще нянчила с глубокой нежностью [57].

Теперь мы, конечно, уже этого не делаем.

Наши понятия изменились. Но и наши средства к жизни иные, чем они были у дикарей каменного века. Цивилизованный человек уже не находится в положении маленького племени дикарей, которому приходилось выбирать между двух зол: или съесть трупы стариков, когда они приносили себя в жертву своему роду и умирали на пользу общую, или же всему роду голодать и скоро оказаться не в силах прокормить ни стариков, ни детей.

Нужно перенестись мыслью в те времена, которые нам даже трудно вообразить в действительности, чтобы понять, что в тогдашних условиях полудикий человек, пожалуй, рассуждал довольно правильно.

Рассуждения могут меняться. Понимание того, что полезно и что вредно, изменяется с течением времени, но сущность его остается та же. И если бы мы захотели выразить в одном изречении всю эту философию всего животного мира, то мы увидели бы, что муравьи, птицы, сурки и люди — все согласны в одном.

Христианские учителя говорят нам: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы

делали тебе». И прибавляют: «Иначе будешь в аду».

Нравственность же, которая выясняется из знакомства со всем животным миром, не ниже, а, скорее, выше предыдущей. Она просто говорит: «Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы в тех же условиях другие поступали с тобой».

И она спешит прибавить:

«Заметим, что это — только совет; но этот совет — плод очень долгого опыта, выведенного из жизни обществами у очень многих животных; и у всего этого множества животных, живущих обществами, включая человека, поступать таким образом уже обратилось в привычку. Без этого, впрочем, никакое общество не могло бы прожить, никакой вид животных не мог бы справиться с природными трудностями, против которых он должен бороться».

Правда ли, однако, что именно это начало выступает из наблюдения над общительными животными и человеческими обществами? Приложимо ли оно? И каким путем это начало переходит в привычку и постоянно

развивается? Вот что мы рассмотрим теперь.

Понятие о добре и зле существует, таким образом, в человечестве. На какой бы низкой ступени умственного развития ни стоял человек, как бы ни были затуманены его мысли всякими предрассудками или соображениями о личной выгоде, он все-таки считает добром то, что полезно обществу, в котором он живет, и злом то, что вредно этому обществу.

Но откуда же берется у человека это понятие, иногда до того еще смутное, что его трудно отличить от простого чувства? Вот миллионы человеческих существ, которые никогда не думали обо всем человечестве. Каждый из них знает большей частью только свой собственный род, очень редко даже свою нацию, как же может он считать добром то, что полезно всему человечеству? Спрашивается даже, как может он дойти до мысли о единстве хотя бы только со своим племенем, несмотря на свои узкоэгоистические инстинкты?

Во все времена этот вопрос сильно занимал мыслителей. Он продолжает занимать их по сию пору, и года не проходит, чтобы не появилось несколько сочинений по этому во-

просу. И мы в свою очередь попытаемся изложить наш взгляд. Заметим только мимоходом, что если толкование факта меняется, то самый факт остается неизменным; и если наше толкование еще окажется неверным или недостаточным, то факт существования в человеке нравственного чувства, со всеми его последствиями, остается непоколебимым. Мы можем давать неверное объяснение происхождению планет, вращающихся вокруг Солнца, но планеты вращаются тем не менее, и одна из них несет нас на себе в пространстве. Так и с нравственным чувством.

Мы уже упоминали о религиозном объяснении. «Если человек способен различать между добром и злом, — говорят религиозные люди, — значит, Бог внушил ему это понимание. Полезны или вредны такие-то поступки — тут нечего рассуждать: человек должен повиноваться воле своего творца». Не будем останавливаться на этом объяснении, оно — плод страха и незнания первобытного человека.

Другие (Гоббс, например) старались объяснить нравственное чувство в человеке влия-

нием законов. «Законы, — говорили они, — развили в человеке чувство справедливого и несправедливого, добра и зла». Наши читатели сами оценят по достоинству такое объяснение. Они знают, что закон не создавал общественные склонности человека, а пользовался ими, чтобы рядом с правилами нравственности, которые люди признавали, дать им в придачу такие предписания, которые были полезны только для правящего меньшинства и которых поэтому люди не хотели признавать. Закон чаще извращал чувство справедливости, чем развивал его. А потому — мимо.

Мы не будем также останавливаться на объяснении утилитарных философов, выведших нравственное чувство человека из соображений о пользе для него самого тех или других поступков. Они утверждают, что человек поступает нравственно из личной выгоды, и упускают из виду чувство общности каждого со всем человечеством; а между тем такое чувство существует, каково бы ни было его происхождение. В их объяснении есть, стало быть, доля правды; но всей правды еще

нет. А потому пойдём дальше.

Опять-таки у мыслителей XVIII века мы находим первое, хотя ещё неполное, объяснение нравственного чувства.

В прекрасной книге, которую замалчивает духовенство всех религий, а потому мало известной даже нерелигиозным мыслителям [58], Адам Смит указал на истинное происхождение нравственного чувства. Он не стал искать его в религиозных или мистических внушениях, он увидел его в самом обыкновенном чувстве взаимной симпатии.

Перед нашими глазами бьют ребенка. Вы знаете, что ребенок от этого страдает, и наше воображение заставляет вас самого почти чувствовать его боль; или же его страдальческое личико, его слезы говорят вам это. И если вы не трус, вы бросаетесь на бьющего и вырываете у него ребенка.

Этот пример уже объясняет почти все нравственные чувства. Чем сильнее развито ваше воображение, тем яснее вы себе представите то, что чувствует страдающее существо, и тем сильнее, тем утонченнее будет ваше нравственное чувство. Чем более вы спо-

способны поставить себя на место другого и почувствовать причиненное ему зло, нанесенное ему оскорбление или сделанную ему несправедливость, тем сильнее будет в вас желание сделать что-нибудь, чтобы помешать злу, обиде, несправедливости. И чем более всякие обстоятельства в жизни, или же окружающие вас люди, или же сила вашей собственной мысли и вашего собственного воображения разовьют в вас привычку действовать, в том смысле, куда вас толкают ваша мысль и воображение, тем более нравственное чувство будет расти в вас, тем более обратится оно в привычку.

Таковы были мысли, которые развивал Адам Смит, подтверждая их множеством примеров. Он был молод, когда писал эту книгу, стоящую несравненно выше его старческого произведения «Богатство народов». Свободный от религиозных предрассудков, он искал объяснения нравственности в физическом свойстве физической человеческой природы, а потому в продолжение полутора лет светские и духовные защитники религий замалчивали и замалчивают эту книгу.

Единственной ошибкой Адама Смита было то, что он не замечал существования того же чувства симпатии, перешедшего уже в привычку, у животных.

Что бы ни говорили популяризаторы Дарвина, которые видят у него только мысль о борьбе за существование, заимствованную у Мальтуса и развитую им в «Происхождении видов», но не замечают того, что он писал в своем позднейшем сочинении «О происхождении человека», чувство взаимной поддержки является выдающейся чертой в жизни всех общественных животных. Коршун убивает воробья, волк поедает сурков; но коршуны и волки помогают друг другу в охоте, а воробьи и сурки умеют так прекрасно помогать друг другу в защите от хищных животных, что попадают только одни глупыши. Во всяком животном обществе взаимная поддержка является законом (всеобщим фактом) природы, несравненно более важным, чем борьба за существование, прелести которой нам восхваляют буржуазные писатели с целью вернее нас обойти.

Когда мы изучаем животный мир и при-

сма­три­ва­ем­ся к борь­бе за су­ще­ст­во­ва­ние, ко­то­рую ве­дет вся­кое жи­вое су­ще­ст­во про­тив враж­деб­ных ему фи­зи­че­ских ус­ло­вий и про­тив сво­их вра­гов, мы за­меча­ем, что, чем бо­лее раз­ви­то в дан­ном жи­вот­ном об­ще­ст­ве на­ча­ло вза­им­но­сти и чем бо­лее оно пе­ре­шло в при­выч­ку, тем бо­лее име­ет шан­сов это об­ще­ст­во вы­жить и одо­леть в борь­бе про­тив фи­зи­че­ских невз­год и про­тив сво­их вра­гов. Чем пол­нее чув­ст­вует ка­ждый член об­ще­ст­ва сво­ю за­ви­си­мость от ка­ждо­го дру­го­го, тем луч­ше раз­ви­ва­ют­ся во всех два ка­че­ст­ва, со­став­ляю­щие за­лог по­бе­ды и про­грес­са: муж­е­ст­во и сво­бо­д­ная ини­ци­а­ти­ва ка­ждой от­дель­ной лич­но­сти. И на­обо­рот, если в ка­ком-ни­будь жи­вот­ном ви­де или сре­ди не­бо­ль­шой груп­пы это­го ви­да утра­чи­ва­ет­ся чув­ство вза­им­ной под­дер­жки (а это слу­ча­ет­ся ино­гда в пе­ри­оды осо­бен­но силь­ной ни­щеты или же ис­клю­чи­тель­но­го оби­лия пи­щи), тем бо­лее два глав­ных дви­га­те­ля про­грес­са — муж­е­ст­во и лич­ная ини­ци­а­ти­ва — осла­бе­ва­ют; если же они со­всем ис­че­знут, то об­ще­ст­во при­хо­дит в упа­док и гиб­нет, не бу­ду­чи в си­лах ус­то­ять про­тив сво­их вра­гов. Без вза­им­но­го до­ве­рия

не может быть борьбы, без мужества, без личного почина, без взаимной поддержки (солидарности) нет победы. Поражение неизбежно.

Когда-нибудь в другом месте мы еще вернемся к этому вопросу, и тогда можно будет доказать массой фактов, что закон взаимной поддержки — закон прогресса; что взаимная помощь, а следовательно, мужество и инициатива, воспитываемая ею, обеспечивают победу тому виду, который лучше прилагает ее на практике. В данную минуту нам достаточно только указать на этот факт. Его значение для занимающего нас вопроса очевидно.

Теперь представим себе, что такое чувство взаимной поддержки существует и практикуется уже миллионы веков, прошедших с тех пор, как первые зачатки животного мира начали появляться на земном шаре. Представим себе, что это чувство понемногу обращалось в привычку и передавалось по наследству, начиная с простейшего микроскопического организма, позднейшим формам животных: насекомым, земноводным, птицам, млекопитающим и человеку. И нам тогда понятно станет происхождение нравственного чув-

ства. Оно составляет необходимость для животного точно так же, как пища или как орган дыхания.

Вот, стало быть, не восходя еще дальше (так как нам тогда пришлось бы говорить о том, что все более сложные животные первоначально произошли из «колоний» простейших организмов), вот происхождение нравственного чувства.

Нам пришлось выразаться очень кратко, чтобы уместить этот великий вопрос на пространстве нескольких страничек; но сказанного достаточно, чтобы показать, что в происхождении нравственного чувства ничего нет таинственного и сентиментального. Если бы не существовало тесной связи между индивидуализмом и видом, то животный мир никогда не мог бы развиться и дойти до более совершенных форм. Самым развитым организмом на земле оставался бы один из тех комочков студенистого вещества, которые носятся в воде и едва заметны под микроскопом. Даже и такой организм мог ли бы существовать, так как самые простые скопления клеточек уже представляют собой сообщества для борь-

бы с внешними условиями?

Итак, мы видим, что, если наблюдать животные общества — не с точки зрения заинтересованного буржуа, а как простой вдумчивый наблюдатель, приходится признать, что нравственное начало «Относись к другим так, как ты желал бы, чтобы они отнеслись к тебе при тех же обстоятельствах» встречается везде, где существует общество.

И если ближе изучать постепенное развитие животного мира, то замечаешь (как это сделали зоолог Кесслер и экономист Чернышевский), что взаимная поддержка имела для прогрессивного развития животного мира гораздо большее значение, чем все приспособления организмов, которые могли явиться в силу борьбы между отдельными особями.

Нет никакого сомнения, что та же взаимная поддержка встречается в еще большей мере в человеческих обществах. Уже среди обезьян, представляющих высший тип развития животного мира, мы находим самую широко развитую практику солидарности. Человек же делает еще шаг в том же направлении, и только благодаря этому ему удалось сохра-

нить свою сравнительно слабую породу вопреки природным препятствиям, стоявшим на ее пути, и высоко развить свой разум. Даже среди самых первобытных людей, оставшихся до сих пор на уровне каменного века, мы находим в их маленьких общинах самое высокое развитие взаимности, практикуемой всеми членами общины.

Вот почему чувство солидарности (взаимности) и привычка к ней никогда не исчезают в человечестве, даже в самые мрачные периоды истории. Даже тогда, когда в силу временных условий: подчиненности, рабства, эксплуатации — это великое начало общественной жизни начинает приходить в упадок, оно все-таки живет в мыслях большинства и в конце концов вызывает протест против худых, эгоистичных учреждений — революцию. Оно и понятно: без этого общество должно было бы погибнуть.

Для громаднейшего большинства животных и людей это чувство взаимности остается и должно оставаться вечно живым, как приобретенная привычка, как начало, всегда присущее уму, хотя бы даже человек часто из-

менял ему в своих поступках.

В нас говорит эволюция всего животного мира. А она очень длинна. Она длится уже сотни миллионолетий.

Если бы даже мы захотели избавиться от этого чувства, мы не могли бы. Человеку легче было бы привыкнуть ходить на четвереньках, чем избавиться от нравственного чувства, потому что в развитии животного мира нравственное чувство появилось раньше, чем хождение на двух ногах. Наше нравственное чувство — природная способность, совершенно так же, как чувство осязания или обоняние.

Что же касается до закона и религии, которые также проповедуют это начало, мы знаем, что они просто-напросто пользуются им, чтобы прикрывать свой товар — свои предписания на пользу завоевателям, эксплуататорам и священникам. Если бы этого принципа солидарности, справедливости которого все охотно признают, не существовало, они даже никогда не приобрели бы такой власти над умами. Они им пользуются; они прикрываются им точно так же, как государственная

власть водворилась, пользуясь существующим в людях чувством справедливости и выставляя себя защитницей слабых против сильных.

Выбрасывая за борт закон, религию, власть, человечество снова вступает в обладание своим нравственным началом и, подвергая его критике, очищает его от подделок, которыми духовенство, судьи и всякие управители отравляли его и до сих пор отравляют.

Но отрицать нравственный принцип, потому что Церковь и Закон пользовались им для своих целей, было бы так же неблагоразумно, как объявить, что человек никогда больше не будет мыться, станет есть свинину, зараженную трихинами, и отвергнет общинное владение землей, потому что Коран предписывает совершать каждый день омовения, потому что гигиенист Моисей запрещал евреям есть свинину, а шариат (свод Мусульманского обычного права дополнение к Корану) требует, чтобы земля, оставшаяся три года невозделанной, возвращалась общине.

Нужно заметить, что принцип, в силу которого следует обращаться с другими так же,

как мы желаем, чтоб обращались с нами, представляет собой не что иное, как начало Равенства, т.е. основное начало анархизма. Как же можно считать себя анархистом, если не прилагать его на практике?

Мы не желаем, чтобы нами управляли. Но этим самым не объявляем ли мы, что мы в свою очередь не желаем управлять другими? Мы не желаем, чтобы нас обманывали, мы хотим, чтобы нам всегда говорили только правду; но тем самым не объявляем ли мы, что мы никого не хотим обманывать, что мы обязываемся говорить правду, всю правду? Мы не хотим, чтоб у нас отнимали продукты нашего труда; но тем самым не объявляем ли мы, что мы будем уважать плоды чужого труда?

С какой стати, в самом деле, стали бы мы требовать, чтобы с нами обращались известным образом, а сами в то же время обращались бы с другими совершенно иначе? Разве мы считаем себя «белой костью», как говорят киргизы, и на этом основании можем обращаться с другими, как нам вздумается? Наше простое чувство равенства возмущается при этой мысли.

Равенство во взаимных отношениях и вытекающая из него солидарность вот самое могучее оружие животного мира в борьбе за существование. Равенство — это справедливость.

Объявляя себя анархистами, мы заранее тем самым заявляем, что мы отказываемся обращаться с другими так, как не хотели бы, чтоб другие обращались с нами; что мы не желаем больше терпеть неравенства, которое позволило бы некоторым из нас пользоваться своей силой, своей хитростью или смышленостью в ущерб нам. Равенство во всем — синоним справедливости. Это и есть анархия. Мы отвергаем белую кость, которая считает себя вправе пользоваться простотой других. Нам она не нужна, и мы сумеем уравнять ее.

Становясь анархистами, мы объявляем войну не только отвлеченной троице: закону, религии и власти. Мы вступаем в борьбу со всем этим грязным потоком обмана, хитрости, эксплуатации, развращения, порока — со всеми видами неравенства, которые влиты в наши сердца управителями религией и законом. Мы объявляем войну их способу дей-

ствовать, их форме мышления. Управляемый, обманываемый, эксплуатируемый, проститутка и т.д. оскорбляют прежде всего наше чувство равенства. Во имя Равенства мы хотим, чтоб не было больше ни проституции, ни эксплуатации, ни обманываемых, ни управляемых.

Нам скажут, может быть, — так говорили не раз: «Но если вы думаете, что всегда нужно обращаться с другими так, как вы хотите, чтобы с вами обращались, то по какому праву прибегнете вы к силе в каком бы то ни было случае? По какому праву направите вы свои пушки против варваров или цивилизованной нации, вторгающихся на вашу родину? По какому праву убивать не только тирана, но даже простую змею?»

По какому праву? Но что хотите вы сказать этим туманным словом «право», заимствованным у законников?

Может быть, вы хотите спросить: буду ли я сознавать, что хорошо поступил, поступивши таким образом? и одобрят ли мой поступок те, кого я уважаю? Это, что ли, вы спрашиваете? Если так, то ответ будет очень прост.

Да, конечно да! Потому что мы требуем, чтобы нас убили, нас самих, как ядовитую змею, если мы пойдем вторгаться в чужую страну, в Маньчжурию или к зулусам, которые нам никогда не делали никакого зла. Мы говорим нашим сыновьям, нашим друзьям: убей меня, если я когда-нибудь пристану к партии завоевателей.

Конечно да! Потому что, если бы когда-нибудь, изменяя нашим принципам, мы завладели наследством (хотя бы оно упало с неба) с целью употребить его на эксплуатацию других, мы хотели бы, чтобы оно было отнято у нас.

Конечно да, потому что действительно искренний человек заранее потребует, чтобы его убили, если он станет ядовитой змеей, чтобы его поразили кинжалом, если бы он когда бы то ни было подумал занять место свергнутого тирана.

Из ста человек, имеющих жену и детей, наверно, найдется девяносто, которые, чувствуя приближение сумасшествия (т.е. потерю контроля над поступками), постараются покончить с собою из страха, чтоб в припадке безу-

мия не причинить какого-нибудь зла тем, кого они любят. Всякий раз, когда истинно хороший человек чувствует, что он становится опасен своим близким, он предпочитает смерть.

Раз как-то в Иркутске бешеная собачонка укусила местного фотографа и одного ссыльного польского доктора. Фотограф выжег себе рану раскаленным железом, доктор же ограничился легким прижиганием. Он был молод, красив, полон жизни. Он только что вышел из каторги, куда был сослан русским правительством за свою преданность народному делу. Чувствуя силу своего знания и своего недюжинного ума, он лечил с удивительным успехом. Больные обожали его.

Шесть недель спустя он видит, что укушенная рука начинает пухнуть. Он сам был доктор и понимал, что это значит: началась болезнь, кончающаяся бешенством. Он бежит к своему другу, тоже доктору, тоже ссыльному: «Скорей, прошу тебя, стрихнина! Ты видишь эту опухоль, ты понимаешь, что это значит? Через час, может быть раньше, начнется бешенство, я буду стараться укусить

тебя, друзей — не теряй времени! Давай стрихнин: надо умирать».

Он чувствовал, что становится ядовитой змеей; он просил, чтобы его убили.

Его друг не решался. Он хотел попытаться лечение. Вдвоем с одной смелой женщиной они взялись ухаживать за больным... и через час или два доктор с пеной у рта бросился на них, стараясь их укусить; потом приходил в себя, требовал стрихнина — и снова впадал в бешенство. Он умер в ужасных мучениях.

Сколько подобных фактов мы могли бы привести, основываясь на одном собственном жизненном опыте.

Хороший, честный человек предпочитает сам умереть, чем стать причиной несчастья для других.

И вот почему он будет сознавать, что хорошо поступил и что заслужит одобрения тех, кого он уважает, если он убьет ядовитую змею или тирана.

Перовская и ее друзья убили русского царя Александра II. И, несмотря на свое прирожденное отвращение к пролитию крови, несмотря на некоторую симпатию к челове-

ку, допустившему освобождение крепостных, человечество признало за революционерами это право. Почему? Не потому, что бы оно считало, это полезным: громадное большинство сомневается в пользе этого убийства, — но потому, что оно почувствовало, что ни за какие миллионы в мире Перовская и ее друзья не согласились бы сами стать самодержцами и тиранами на царское место. Даже те, кто не знает всей драмы этого убийства, почувствовали, однако, что оно не было делом юношеского задора, не было дворцовым переворотом, не было свержением власти для захвата ее в свои руки. Руководителем была здесь ненависть к тирании, доходящая до самоотвержения, до презрения смерти.

«Эти люди действительно имели право отнять у него жизнь» — таков был общий приговор; точно так же, как о Луизе Мишель говорили во Франции: «Она имела право войти в булочную и раздавать хлеб народу». Или же: «о н и могли устроить грабеж», — говорили о террористах, которые сами довольствовались коркой хлеба, когда вели подкоп под кишиневское казначейство и, рискуя погиб-

нуть сами, принимали все меры, чтобы не пала как-нибудь ответственность на часового.

Право прибегать к силе человечество признает за теми, кто завоевал это право. Для того чтобы акт насилия произвел глубокое впечатление на умы, нужно всегда завоевать это право ценой своего прошлого. Иначе всякий акт насилия, окажется ли он полезным или нет, останется простым насилием, не имеющим влияния на прогресс человеческой мысли. Человечество увидит в нем простую перестановку сил: смещение одного эксплуататора или одного управителя для замены его другим.

До сих пор мы все время говорили о сознательных поступках человека — о тех поступках, в которых мы отдаем себе отчет. Но рядом с сознательной жизнью в нас идет жизнь бессознательная, несравненно обширнее первой и на которую прежде мало обращали внимания. Достаточно, однако, присмотреться к тому, как мы одеваемся утром, стараясь застегнуть пуговицу, которая, мы знаем, оборвалась накануне, или же как мы протягиваем руку к какой-нибудь вещи, которую мы са-

ми перед тем переставили, — достаточно при-
смотреться к таким мелочам, чтобы понять,
какую роль бессознательная жизнь играет в
нашем существовании.

Громаднейшая доля наших отношений к
другим людям определяется нашей бессозна-
тельной жизнью. Манера говорить, улыбаться,
хмурить брови, горячиться в спорах или
сохранять спокойствие — все это, раз оно
усвоено, мы продолжаем делать, не отдавая
себе отчета, в силу привычки, либо унаследо-
ванной от наших предков — людей и живот-
ных (вспомните только, как похожи друг на
друга выражения человека и животного, ко-
гда они сердятся), либо приобретенной, ино-
гда сознательно, иногда нет.

Таким образом, наше обращение с други-
ми переходит у нас в привычку. И человек,
который приобретает больше нравственных
привычек, будет, конечно, стоять выше того
христианина, который говорит о себе, что
дьявол вечно толкает его на зло и что он из-
бавляется от искушения, только вспоминая о
муках ада и радостях райской жизни.

Поступать с другими так, как он хотел бы,

чтоб поступали с ним, переходит в привычку у человека и у всех общительных животных; обыкновенно человек даже не спрашивает себя, как поступить в данном случае. Не вдаваясь в долгие размышления, он поступает хорошо или худо. Только в исключительных случаях, в каком-нибудь сложном деле или же когда им овладевает жгучая страсть, идущая наперекор установившейся жизни, он колеблется, и тогда отдельные части его мозга вступают в борьбу (мозг — очень сложный орган, отдельные части которого работают до известной степени самостоятельно).

Тогда человек ставит себя в своем воображении на место другого человека; он себя спрашивает, приятно ли ему было бы, если бы с ним поступили так-то; и чем лучше он отождествит себя с тем, которого достоинство или интересы он едва не нарушил, тем нравственнее будет его решение. Или же в дело вступит приятель и скажет: «Поставь себя на его место; разве ты позволил бы, чтобы с тобою обращались так, как ты сейчас поступил?» И этого бывает достаточно.

Призыв к принципу равенства делается,

таким образом, только в минуту колебания. И в девяносто девяти случаях из ста мы поступаем нравственно в силу простой привычки.

Как видно, во всем, что мы до сих пор сказали, мы ничего не старались предписывать. Мы только излагали то, что происходит в мире животных и среди людей.

В былые времена церковь страшила людей, чтобы заставить их быть нравственными, известно, с каким успехом: угрожая, она развращала людей. Судья грозил пыткой, кнутом, виселицей — все во имя тех самых принципов общности, которые он подтасовывал себе на пользу, — и развращал общество. И по сию пору всевозможные сторонники власти приходят в ужас при одной мысли, что вместе с духовенством исчезнут вдруг с лица земли и судьи.

Но мы ничуть не боимся отказаться от судьи и его наказаний. Вместе с французским философом М. Гюйо мы даже отказываемся от всякого утверждения свыше для нравственности и от признания за нею обязательности.

Нам не страшно сказать: «Делай что хочешь, делай как хочешь», потому что мы уве-

рены, что громадная масса людей, по мере того как они будут развиваться и освобождаться от старых пут, будет поступать так, как лучше будет для общества; все равно, как мы заранее уверены, что ребенок будет ходить на двух ногах, а не на четвереньках, потому что он принадлежит к породе, называемой человеком.

Все, что мы можем сделать, это — дать совет; но и тут мы прибавляем: «Этот совет будет иметь для тебя цену только тогда, когда ты сам, из опыта и наблюдения, убедишься, что он верен».

Когда мы видим, что молодой человек горбится и тем сжимает себе грудь и легкие, мы ему советуем смело поднять голову и держать грудь широко открытой. Мы ему советуем вдыхать воздух полными легкими, упражнять их, потому что в этом — лучшая гарантия против чахотки. Но в то же время мы не забываем учить его физиологии, чтобы он знал отправления легких и сам мог бы понять, как ему лучше держаться.

Это все, что мы можем сделать и в области нравственности. Мы только можем дать со-

вет, не забывая, впрочем, прибавить: «Следуй ему, если ты одобришь его».

Но, предоставляя каждому поступать, как он найдет лучшим, и отрицая право общества наказывать кого бы то ни было за противообщественные поступки, мы не отказываемся от нашей способности любить то, что мы находим хорошим, и выражать эту любовь, и ненавидеть то, что мы находим дурным, и выражать эту ненависть. Любовь и ненависть — это мы удерживаем, и так как этого совершенно достаточно животным обществам для того, чтобы сохранять и развивать в своей среде нравственные чувства, то тем более этого достаточно для человеческого рода.

Мы требуем только одного — устранить все то, что в теперешнем обществе мешает свободному развитию этих двух чувств: устранить государство, церковь, эксплуатацию, судью, священника, правительство, эксплуататора.

Теперь, когда мы узнаем, что лондонский убийца «Джак Риппер» в несколько недель зарезал десять женщин из самого бедного и

жалкого класса, нравственно не уступающих многим добродетельным буржуазкам, нами прежде всего овладевает чувство злобы. Если бы мы его встретили в тот день, когда он зарезал несчастную женщину, надеявшуюся получить от него четвертак, чтобы заплатить за свою квартиру, из которой ее выгоняли, мы бы всадили ему пулю в голову, не подумав даже о том, что пуля была бы более на своем месте в голове домохозяина этой квартиры-берлоги.

Но когда мы вспоминаем обо всех безобразиях, которые довели Джака до этих убийств, когда мы вспоминаем о тьме, в которой он бродил, преследуемый образами, навешанными на него грязными книгами или мыслями, почерпнутыми из нелепых сочинений, — когда мы вспомним все это, наше чувство двоится. И в тот день, когда мы узнаем, что Джек находится в руках судьи, который сам умертвил больше мужчин, женщин и детей, чем все Джаки; когда мы узнаем, что он находится в руках у этих спокойных помещанских, которые не задумываются послать невинного на каторгу, чтобы показать бур-

жуа, что они охраняют их тогда вся наша злоба против Джака исчезает. Она переносится на других — на общество, подлое и лицемерное, на его официальных представителей. Все безобразия всех Джаков исчезают перед этой вековой цепью безобразий, совершаемых во имя закона. Его, это общество, мы действительно ненавидим.

Теперь наше чувство постоянно двойится. Мы чувствуем, что все мы, более или менее, вольно или невольно, являемся сообщниками этого общества. Мы не смеем ненавидеть. Осмеливаемся ли мы даже любить? В обществе, основанном на эксплуатации и подчинении, натура человеческая мельчает.

Но по мере исчезновения рабства и подчинения, мы постепенно станем тем, чем мы должны быть. Мы почувствуем в себе силу любить и ненавидеть даже в таких запутанных случаях, как только что приведенный.

В нашей повседневной жизни мы и теперь уже даем некоторую свободу выражению наших чувств симпатии или антипатии; мы беспрестанно это делаем. Все мы любим нравственную мощь и презираем нравственную

слабость, трусость. Беспреданно наши слова, наши взгляды, наши улыбки выражают, что мы радуемся при виде поступков, полезных для человеческого рода, — тех поступков, которые мы называем хорошими. И беспреданно мы выражаем отвращение, внушаемое нам трусостью, обманом, мелочными интригами, недостатком нравственного мужества.

Мы не можем скрыть нашего отвращения даже тогда, когда под влиянием привитых нам воспитанием «хороших манер», т.е. лицемерия, мы стараемся замаскировать свои чувства лживыми приемами, которые исчезнут с установлением между нами отношений, основанных на равенстве.

Одного этого уже достаточно, чтоб удерживать на известной высоте понятие о добре и зле и внушать это понятие друг другу. Но тем более будет этого достаточно тогда, когда общество освободится от судей и попов, и вследствие этого нравственные принципы, потеряв характер обязательности, будут рассматриваться как простые, естественные отношения равных с равными.

А тем временем, по мере установления

этих обыденных отношений, в обществе выработывается новое, более возвышенное представление о нравственности. Его мы и разберем теперь.

До сих пор во всех наших рассуждениях мы излагали простые начала равенства. Мы восставали сами и предлагали другим восставать против тех, кто присваивает себе право обращаться с людьми так, как они отнюдь бы не захотели, чтобы обращались с ними, против тех, кто не хочет допускать относительно себя ни обмана, ни эксплуатации, ни грубости, ни насилия, но все это допускает по отношению к другим.

Ложь, грубость и т.д. отвратительны не потому, говорили мы, что их осуждают своды законов: цена этих сводов нам всем известна; они отвратительны потому, что ложь, грубость, насилие и прочее возмущают наше чувство равенства, если только равенство для нас не пустой звук. Они особенно возмущают того, кто действительно остается анархистом в своем образе мыслей и в своей жизни.

Но уже одно это начало равенства — такое простое, естественное и очевидное начало —

если б только его всегда прилагали в жизни — создало бы очень высокую нравственность, обнимающую собою все, что когда-либо преподавали проповедники нравственности.

Принцип равенства обнимает собою все учение моралистов. Но он содержит еще нечто большее. И это нечто есть уважение к личности. Провозглашая наш анархический нравственный принцип равенства, мы тем самым отказываемся присваивать себе право, на которое всегда претендовали проповедники нравственности, — право ломать человеческую природу во имя какого бы то ни было нравственного идеала. Мы ни за кем не признаем этого права; мы не хотим его и для себя.

Мы признаем полнейшую свободу личности. Мы хотим полноты и цельности ее существования, свободы развития всех ее способностей. Мы не хотим ничего ей навязывать и возвращаемся, таким образом, к принципу, который Фурье противопоставлял нравственности религии, когда говорил: «Оставьте людей совершенно свободными; не уродуйте

их — религии уже достаточно изуродовали их. Не бойтесь даже их страстей; в обществе свободном они будут совершенно безопасны».

Лишь бы вы сами не отказывались от своей свободы; лишь бы вы сами не давали себя поработить другим и буйным, противообщественным страстям той или другой личности вы противопоставляли бы ваши столь же сильные страсти. Тогда вам нечего будет бояться свободы [59].

Мы отказываемся уродовать личности во имя какого бы то ни было идеала; все, что мы позволяем себе, — это искренне и откровенно выражать наши симпатии и антипатии к тому, что мы считаем хорошим или дурным. Такой-то обманывает своих друзей? Такова его воля, его характер? Пусть так! Но наш характер, наша воля — презирать обманщика! И раз таков наш характер, будем искренни. Не будем ему бросаться навстречу, чтобы прижать его к нашей жилетке; не будем дружелюбно пожимать ему руку, как это делается теперь! Его активной страсти противопоставим нашу, такую же активную и сильную, страсть — ненависть ко лжи и обману.

Вот все, что мы можем и должны сделать для насаждения и поддержания в обществе принципа равенства. Это все тот же принцип равенства, приложенный к жизни [60].

Все это, конечно, будет вполне осуществляться лишь тогда, когда перестанут существовать главные причины развращения: капитализм, религия, правосудие, правительство. Но до известной степени это может уже делаться и теперь. И это уже делается.

А между тем, если бы люди знали один только принцип равенства, если бы каждый, (руководствуясь) одним только принципом торговой справедливости и всегда равного обмена, постоянно думал бы, как бы не дать другим больше того, что сам получишь от них, это была бы смерть общества.

Самый принцип равенства тогда исчез бы из наших отношений, так как для поддержания его необходимо, чтобы в жизни постоянно существовало нечто большее, более прекрасное, более сильное, чем простая справедливость.

И это нечто действительно существует.

До настоящего времени в человечестве ни-

когда не было недостатка в великих сердцах, полных с избытком нежности, ума или воли; и эти люди расточали свое чувство, свой разум и свою активную силу на служение человечеству, ничего не требуя себе взамен.

Плодотворность ума, чувствительности или воли принимает всевозможные формы. Это может быть страстный искатель истины, отказывающийся от всех других удовольствий в жизни и всецело отдающийся исканию того, что, вопреки утверждению окружающих его невежд, он считает истиной и справедливостью. Или же это — изобретатель, перебивающийся кое-как изо дня в день, забывающий даже о еде и едва прикасающийся к пище, которой преданная ему женщина кормит его, как ребенка, в то время как он поглощен своим изобретением, которому суждено, думает он, перевернуть весь мир. Или же это — пламенный революционер, для которого наслаждения искусством, наукой и даже семейные радости кажутся невозможными, пока они не разделяются всеми, и который работает над пересозданием мира, несмотря на нищету и гонения. Или, наконец, это —

юноша, который, слушая рассказы об ужасах неприятельского вторжения и понимая буквально патриотические легенды, нашептываемые ему, записывается в отряд добровольцев и идет с отрядом по колено в снегу, голодает и наконец падает под пулями.

Или же это, может быть, уличный парижский мальчишка, наделенный более свободным умом и лучше умеющий разобраться в своих симпатиях и антипатиях; он идет вместе со своим младшим братом защищать баррикады Коммуны, остается там под градом снарядов и пуль и умирает, шепча: «Да здравствует Коммуна!» Это — человек, возмущающийся при виде всякой неправды и изобличающий ее; в то время как все гнут спину, он, не задумываясь над последствиями, поражает эксплуататора, мелкого тирана на фабрике или же более крупного тирана целого государства. Это, наконец, все те бесчисленные люди, которые совершают в своей жизни акты самоотвержения, менее яркие и потому малоизвестные, почти всегда недостаточно оцененные, но которых мы постоянно встречаем, особенно среди женщин, если только

даем себе труд присмотреться к тому, что составляет основу жизни человечества, что помогает ему так или иначе выпутываться из невзгод и бороться с тяготеющими над ним эксплуатацией и угнетением.

Эти люди куют, одни — в полумраке, в неизвестности, другие — на более широкой арене, истинный прогресс человечества. И человечество знает это. Поэтому оно и окружает их жизнь уважением и поэзией. Оно даже украшает ее легендами и делает из них героев своих сказок, своих песен, своих романов. Оно любит в них отвагу, доброту, любовь, самоотвержение, недостающие большинству. Оно передает память о них от отца к детям.

Оно помнит даже тех, кто действовал лишь в тесном кругу семьи и друзей, и чтит их память в семейных преданиях.

Эти люди создают истинную нравственность, т.е. то, что одно следовало бы называть этим именем, так как все остальное — простой обмен равного на равное, тогда как без этой отваги, без этой самоотверженности человечество погрязло бы в тине мелочных расчетов. Эти люди, наконец, готовят

нравственность будущего, ту, которая станет обычной, когда, перестав «считаться», наши дети будут расти в той мысли, что лучшее применение всякой энергии, всякой отваги, всякой любви там, где потребность в этой силе всего больше.

Такая отвага и самоотверженность существовали во все времена. Они встречаются у всех животных. Они встречаются у человека даже в эпохи самого сильного упадка общественной жизни.

И во все времена религии старались овладеть этими качествами как своим достоянием и эксплуатировать их в свою собственную пользу, доказывая, что только религия способна создать таких; и если религии живы по сию пору, то потому, что — помимо невежества — они всегда, во все времена взывали именно к этой самоотверженности, к этой отваге. К ним же обращаемся и мы, революционеры, особенно революционеры-социалисты.

Что же касается объяснения этой способности к самопожертвованию, составляющей истинную сущность «нравственности», то все моралисты религиозные, утилитарные и дру-

гие — все впадали по отношению к ней в ошибки, нами уже отмеченные. Только молодой французский философ Гюйо (в сущности, быть может, не сознавая этого, — он был анархист) указал на истинное происхождение этой отваги и этого самоотвержения. Оно стоит вне всякой связи с какой бы то ни было мистической силой или с какими бы то ни было меркантильными расчетами, неудачно придуманными английскими утилитаристами. Там, где философия Канта, утилитаристов и эволюционистов (Спенсер и другие) оказалась несостоятельной, анархическая философия вышла на истинный путь.

В основе этих проявлений человеческой природы, писал Гюйо, лежит сознание своей собственной силы. Это — жизнь, бьющая через край, стремящаяся проявиться. «То кровь кипит, то сил избыток», — говоря словами Лермонтова. «Чувствуя внутренне, что мы способны сделать, — говорил Гюйо, — мы тем самым приходим к сознанию, что мы должны сделать».

Нравственное чувство долга, которое каждый человек испытывал в своей жизни и ко-

торое старались объяснить всевозможными мистическими причинами, становится понятным. «Долг, — говорит Гюйо, — есть не что иное, как избыток жизни, стремящийся перейти в действие, отдаться. Это в то же время чувство мощи».

Всякая сила, накапливаясь, производит давление на препятствия, поставленные ей. Быть в состоянии действовать, это быть обязанным действовать. И все это нравственное «обязательство», о котором так много писали и говорили, очищенное от всякого мистицизма, сводится к этому простому и истинному понятию: жизнь может поддерживаться, лишь расточаясь.

«Растение не может помешать себе цвести. Иногда цвести для него значит умереть. Пусть! Соки все-таки будут подниматься!» — так заканчивает молодой философ-анархист свое замечательное исследование.

То же и с человеком, когда он полон силы и энергии. Сила накапливается в нем. Он расточает свою жизнь. Он дает, не считая. Иначе он бы не жил. И если он должен погибнуть, как цветок гибнет, расцветая, — пусть! Соки

подымаются, если соки есть.

Будь силен! Расточай энергию страстей и ума, чтобы распространить на других твой разум, твою любовь, твою активную силу. Вот к чему сводится все нравственное учение, освобожденное от лицемерия восточного аскетизма.

Чем любитесь человечество в истинно нравственном человеке? Это его силой, избытком жизненности, который побуждает его отдавать свой ум, свои чувства, свою жажду действий, ничего не требуя за это в обмен.

Человек, сильный мыслью, человек, преисполненный умственной жизни, непременно стремится расточать ее. Мыслить и не сообщать своей мысли другим не имело бы никакой привлекательности. Только бедный мыслями человек, с трудом напав на новую ему мысль, тщательно скрывает ее от других с тем, чтобы со временем наложить на нее клеймо своего имени. Человек же, сильный умом, не дорожит своими мыслями, он щедро сыплет их во все стороны. Он страдает, если не может разделить с другими свои мысли, рассеять их на все четыре стороны. В том его

жизнь.

То же и относительно чувства. «Нам мало нас самих: у нас больше слез, чем сколько их нужно для наших личных страданий, больше радостей в запасе, чем сколько требует их наше собственное существование», — говорил Гюйо, резюмируя таким образом весь вопрос нравственности в нескольких строках таких верных, взятых прямо из жизни. Одинокое существо страдает, оно впадает в какое-то беспокойство, потому что не может разделить с другими своей мысли, своих чувств. Когда испытываешь большое удовольствие, хочется дать знать другим, что существуешь, что чувствуешь, что любишь, что живешь, что борешься, что воюешь.

Точно так же мы чувствуем необходимость проявлять свою волю, свою активную силу. Действовать, работать стало потребностью для огромного большинства людей до того, что, когда нелепые условия лишают человека полезной работы, он выдумывает работы, обязанности, ничтожные и бессмысленные, чтоб открыть хоть какое-нибудь поле деятельности для своей активной силы. Он при-

думывает все, что попало: создает какую-нибудь теорию, религию или «общественные обязанности» — лишь бы только убедить себя, что и он делает что-то нужное. Когда такие господа танцуют — они это делают ради благотворительности; когда разоряются на наряды — то «ради поддержания аристократии на подобающей ей высоте»; когда совсем ничего не делают — то из принципа.

«Мы постоянно чувствуем потребность помочь другим, подпереть плечом повозку, которую с таким трудом тащит человечество, или, по крайней мере, хоть пожужжать вокруг», — говорит Гюйо. Эта потребность — помочь хоть чем-нибудь — так велика, что мы находим ее у всех общественных животных, на какой бы низкой ступени развития они ни стояли. А вся та громадная сумма деятельности, которая так бесполезно растрачивается каждый день в политике, — что это, как не потребность подпереть плечом повозку или хоть пожужжать вокруг нее?

Бесспорно, если этой «плодовитости воли», этой жажде деятельности сопутствуют только бедная чувствительность и слабый ум, неспо-

собный к творчеству, тогда получится только какой-нибудь Наполеон I или Бисмарк, т.е. маньяки, хотевшие заставить мир пойти вспять. С другой стороны, плодовитость ума, если она не сопровождается высокоразвитой чувствительностью, дает пустоцветы — тех ученых, например, которые только задерживают прогресс науки. И наконец, чувствительность, не руководимая достаточно обширным умом, даст, например, женщину, готовую всем пожертвовать какому-нибудь негодяю, на которого она изливает всю свою любовь.

Чтобы быть действительно плодотворной, жизнь должна изобиловать одновременно умом, чувством и волей. Но такая плодотворность во всех направлениях и есть жизнь — единственное, что заслуживает этого названия. За одно мгновение такой жизни те, кто раз испытал ее, отдадут годы растительного существования. Тот, у кого нет этого изобилия жизни, тот — существо, состарившееся раньше времени, расслабленное; засыхающее, нерасцветши, растение.

«Оставим отживающей гнили эту жизнь,

которую нельзя назвать жизнью!» восклицает юность — истинная юность, полная жизненных сил, стремящаяся жить и сеять жизнь вокруг себя. И всякий раз, как общество начнет разлагаться, напор этой юности разбивает старые формы — экономические, политические и нравственные, чтобы дать простор новой жизни. Пусть тот или другой падет в борьбе! Соки все-таки будут подыматься! Для сильных людей жить — значит цвести, каковы бы там ни были последствия расцвета! Они плакаться не станут.

Но, оставляя в стороне героические эпохи в жизни человечества и беря только каждодневную жизнь, разве это жизнь, когда живешь в разладе со своим идеалом?

В наши дни часто приходится слышать насмешливое отношение к идеалам. Это понятно. Идеалы так часто смешивали с их буддийскими или христианскими искажениями; этим словом так часто пользовались, чтобы обманывать наивных, что реакция была неизбежна и даже благотворна. Нам тоже хотелось бы заменить это слово «идеал», затасканное в грязи, новым словом, более соглас-

НЫМ С НОВЫМИ ВОЗЗРЕНИЯМИ.

Но каково бы ни было слово, факт остается налицо: каждое человеческое существо имеет свой идеал. Бисмарк имел свой идеал, как бы ни был он фантастичен, так как сводился на управление людьми огнем и мечом. Каждый мещанин-обыватель имеет свой идеал — хотя бы, например, иметь серебряную ванну, как имел Гамбетта, или иметь в услужении известного повара Тромпетта, — и множество рабов, чтобы они оплачивали, не морщась, и ванну, и повара, и много другой всякой всячины.

Но рядом с этими господами есть другие люди — люди, постигшие высшие идеалы. Скотская жизнь их не удовлетворяет. Раболепие, ложь, недостаток честности, интриги, неравенство в людских отношениях возмущают их. Могут ли такие люди в свою очередь стать раболепными, лгунишками, интриганями, поработителями? Они понимают чувством, как прекрасна могла бы быть жизнь, если бы между всеми установились лучшие отношения. Они чувствуют в себе достаточно сил, чтобы самим по крайней мере устано-

вить лучшие отношения с теми, кого они встретят на своем пути. Они постигли, почувствовали то, что мы называем идеалом.

Откуда явился этот идеал? Как вырабатывается он — преемственностью, с одной стороны, и суммой впечатлений жизни — с другой? Мы едва знаем, как идет эта выработка. Самое большее, если мы сможем, когда пишем биографию человека, жившего ради идеала, рассказать приблизительно верную историю его жизни. Но идеал существует. Он меняется, он совершенствуется, он открыт всяким внешним влияниям, но всегда он живет. Это — наполовину бессознательное чувствование того, что дает нам наибольшую сумму жизненности, наибольшую радость бытия.

И жизнь только тогда бывает мощная, плодотворная, богатая сильными ощущениями, когда она отвечает этому чувству идеала. Поступайте наперекор ему, и вы почувствуете, что ваша жизнь двоятся: в ней уже нет цельности, она теряет свою мощь. Начните часто изменять вашему идеалу, и вы кончите тем, что ослабите вашу волю, вашу способность действовать. Понемногу вы почувствуете-

те, что в вас уже нет той силы, той непосредственности в решениях, которую вы знали в себе раньше. Вы — надломленный человек.

Все это очень понятно. Ничего в этом нет таинственного, раз мы рассматриваем человека как состоящего из действующих до некоторой степени независимо друг от друга нервных и мозговых центров. Начните постоянно колебаться между различными чувствами, борющимися в вас, — и вы скоро нарушите гармонию организма; вы станете больным, лишенным воли человеком. Интенсивность жизни понизится, и сколько бы вы ни придумывали компромиссов, вы уже больше не будете тем цельным, сильным, мощным человеком, каким вы были раньше, когда ваши поступки согласовывались с идеальными представлениями вашего мозга.

А теперь упомянем, прежде чем закончить наш очерк, о двух терминах, альтруизм и эгоизм, постоянно употребляемых современными моралистами.

До сих пор мы еще ни разу даже не упомянули этих слов в нашем очерке. Это потому, что мы не видим того различия, которое ста-

рались установить моралисты, употребляя эти два выражения.

Когда мы говорим: «Будем обращаться с другими так, как хотим, чтобы обращались с нами», чему мы этим учим: эгоизму или альтруизму? Когда, идя дальше, мы говорим: «Счастье каждого тесно связано со счастьем всех окружающих его. Можно случайно иметь несколько лет относительного счастья в обществе, основанном на несчастье других, но это счастье построено на песке. Оно не может длиться; малейшей причины достаточно, чтобы разбить его, и само оно ничтожно, мелко в сравнении со счастьем, возможным в обществе равных. Поэтому каждый раз, когда ты будешь иметь в виду благо всех, ты будешь поступать правильно», — говоря так, что мы проповедуем? Мы просто констатируем факт.

И тогда мы прибавляем затем, перефразируя слова Гюйо: «Будь силен, будь велик во всех твоих поступках; развивай свою жизнь во всех ее направлениях; будь, насколько это возможно, богат энергией и для этого будь самым общественным и самым общительным

существом, — если только ты желаешь наслаждаться полной, цельной и плодотворной жизнью. Постоянно (руководствуясь) широко развитым умом, борись, рискуй — риск имеет свои огромные радости; смело бросай свои силы, давай их, не считая, пока они у тебя есть, на все то, что ты найдешь прекрасным и великим, и тогда ты насладишься наибольшей суммой возможного счастья. Живи заодно с массами, и тогда, что бы с тобой ни случилось в жизни, ты будешь чувствовать, что заодно с твоим бьются те именно сердца, которые ты уважаешь, а против тебя бьются те, которые ты презираешь». Когда мы это говорим, чему мы учим, альтруизму или эгоизму?

Бороться, пренебрегать опасностью, бросаться в воду для спасения не только человека, но даже простой кошки, питаться черствым хлебом, чтоб положить конец возмущающей вас неправде, чувствовать себя заодно с теми, кто достоин любви, чувствовать себя любимым ими — все это, может быть, и жертва для какого-нибудь болезненного философа, вроде Спенсера; но для человека, полного энергии, силы, мощи, юности, это глубокое

счастье сознавать, что ты живешь.

Эгоизм это? Или альтруизм?

Вообще моралисты, строящие свои системы на мнимом противоречии чувств эгоистических и альтруистических, идут по ложному пути. Если бы это противоречие существовало в действительности, если бы благо индивида было противоположно благу общества, человеческий род вовсе не мог бы существовать; ни один животный вид не мог бы достигнуть своего теперешнего развития.

Если бы муравьи не находили все сильного удовольствия в общей работе на пользу муравейника, муравейник не существовал бы и муравей не был бы тем, что он есть; он не представлял бы самого развитого из насекомых насекомого, мозг которого, едва видный под увеличительным стеклом, почти так же могуч, как средний мозг человека.

Если бы птицы не находили сильного удовольствия в своих перелетах, в заботах о воспитании своего потомства, в общих действиях на защиту своих обществ от хищников, они никогда не достигли бы той ступени развития, на которой мы их видим теперь. Тип

птицы ретрогрессировал бы, ухудшался, вместо того чтобы совершенствоваться.

И когда Спенсер предвидит время, когда благо индивида сольется с благом рода, он забывает одно: что если бы оба не были всегда тождественны, самая эволюция животного мира не могла бы совершиться.

Что всегда было, во все времена — это то, что всегда имелись в мире животном, как и в человеческом роде, большое число особей, которые не понимали, что благо индивида и благо рода, по существу, тождественны. Они не понимали, что цель каждого индивида — жить интенсивной жизнью и что эту наибольшую интенсивность жизни он находит в наиболее полной общительности, в наиболее полном отождествлении себя самого со всеми теми, кто его окружает.

Но это был лишь недостаток понимания, недостаток ума. Во все времена были ограниченные люди; во все времена были глупцы. Но никогда, ни в какую эпоху истории ни даже геологии благо индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны,

и те, которые лучше других это понимали, всегда жили наиболее полной жизнью.

Вот почему различие между альтруизмом и эгоизмом, на наш взгляд, не имеет смысла. По той же причине мы ничего не сказали и о тех компромиссах, которые человек, если верить утилитаристам, всегда делает между своими эгоистическими чувствами и своими чувствами альтруистическими. Для убежденного человека таких компромиссов не существует.

Существует только то, что действительно при современных условиях; даже тогда, когда мы стремимся жить согласно с нашими принципами равенства, мы чувствуем, как страдают эти принципы на каждом шагу. Как бы ни были скромны наша еда и наша постель, мы все еще Ротшильды по сравнению с тем, кто спит под мостом и у кого так часто нет даже куска черствого хлеба. Как бы мало мы ни отдавали интеллектуальным и артистическим наслаждениям, мы все еще Ротшильды по сравнению с миллионами людей, которые возвращаются вечером с работы обессиленные своим ручным трудом — однообразным

и тяжелым, с теми, которые не могут наслаждаться ни искусством, ни наукой и умрут, ни разу не испытав этих высоких наслаждений.

Мы чувствуем, что мы не до конца осуществили принцип равенства. Но мы вовсе не хотим идти на компромисс с этими условиями. Компромисс полупризнание, полусогласие. Мы же восстаем против них. Они нам тягостны. Они делают нас революционерами. Мы не миримся с тем, что нас возмущает. Мы отвергаем всякий компромисс — даже всякое перемирие — и даем себе слово бороться до конца против этих условий.

Это не компромисс, и человек убежденный потому и отвергает компромисс, который позволил бы ему спокойно дремать в ожидании, пока все само собой изменится к лучшему.

И вот мы пришли к концу нашего очерка нравственности.

Бывают эпохи, сказали мы, когда нравственное понимание совершенно меняется. Люди начинают вдруг замечать, что то, что они считали нравственным, оказывается глубоко безнравственным. Тут наталкиваются

они на обычай или на всеми чтимое предание — безнравственное, однако, по существу. Там находят они мораль, созданную исключительно для выгоды одного класса. Тогда они бросают и мораль, и предание, и обычай за борт и говорят: «Долой эту нравственность» — и считают своим долгом совершать безнравственные поступки.

И мы приветствуем такие времена. Это времена суровой критики старых понятий. Они самый верный признак того, что в обществе совершается великая работа мысли. Это идет выработка более высокой нравственности.

Чем будет эта высшая нравственность, мы попытались указать, основываясь на изучении человека и животных. И мы отметили ту нравственность, которая уже рисуется в умах масс и отдельных мыслителей. Эта нравственность ничего не будет предписывать. Она совершенно откажется от искажения индивида в угоду какой-нибудь отвлеченной идеи, точно так же как откажется уродовать его при помощи религии, закона и послушания правительству. Она предоставит челове-

ку полнейшую свободу. Она станет простым утверждением фактов — наукой.

И эта наука скажет людям: «Если ты не чувствуешь в себе силы, если твоих сил как раз достаточно для поддержания серенькой монотонной жизни, без сильных ощущений, без больших радостей, но и без больших страданий — ну тогда придерживайся простых принципов равенства и справедливости. В отношениях к другим людям, основанных на равенстве, ты все же найдешь наибольшую сумму счастья, доступного тебе при твоих посредственных силах».

«Но если ты чувствуешь в себе силу юности, если ты хочешь жить, если ты хочешь наслаждаться жизнью — цельной, полной, бьющей через край, если ты хочешь познать высшее наслаждение, какого только может пожелать живое существо, — будь силен, будь велик, будь энергичен во всем, что бы ты ни делал!»

«Сей жизнь вокруг себя. Заметь, что обманывать, лгать, интриговать, хитрить — это значит унижать себя, мельчать, заранее признать себя слабым: так поступают рабы в га-

реме, чувствуя себя ниже своего господина. Что ж, поступай так, если это тебе нравится; но зато знай заранее, что и люди будут считать тебя тем же: маленьким, ничтожным, слабым; так и будут они к тебе относиться. Не видя твоей силы, они будут относиться к тебе в лучшем случае как к существу, которое заслуживает снисхождения — только снисхождения. Не сваливай тогда своей вины на людей, если ты сам таким образом надломил свою силу».

«Напротив того — будь сильным. Как только ты увидишь неправду и как только ты поймешь ее — неправду в жизни, ложь в науке или страдание, причиняемое другому — восстань против этой неправды, этой лжи, этого неравенства. Вступи в борьбу! Борьба — ведь это жизнь; жизнь тем более кипучая, чем сильнее будет борьба. И тогда ты будешь жить, и за несколько часов этой жизни ты не отдашь годов растительного прозябания в болотной гнили».

«Борись, чтобы дать всем возможность жить этой жизнью, богатой, бьющей через край; и будь уверен, что ты найдешь в этой

борьбе такие великие радости, что равных им ты не встретишь ни в какой другой деятельности».

«Вот все, что может сказать тебе наука о нравственности».

«Выбор — в твоих руках».

ЭКОНОМИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ

Узкое понимание жизни, считавшее прибыль единственным двигателем человеческого общества, и упорная уверенность в том, что то, что существовало вчера, будет неизменно существовать и завтра, оказалось в противоречии с людскими стремлениями. Жизнь приняла другое течение. Никто не станет отрицать высокой производительности, которой можно достичь специализацией; но по мере того как работа становится проще и легче усваивается, она также делается все более и более однообразной и скучной, и у рабочих является настоятельная потребность разнообразить свою деятельность и искать случая применить к делу все свои способности. Человечество приходит к сознанию, что обществу вовсе невыгодно приковывать челове-

ка на всю жизнь к одной данной точке в руднике или мастерской, лишая его такого труда, который мог бы привести его к свободному общению с природой и сделать его сознательной частью великого целого — участником в наслаждении наукой, искусством, независимым трудом и творчеством.

Потребности человеческих обществ совпадают, таким образом, с потребностями каждой отдельной личности; и хотя временное разделение труда остается пока вернейшей гарантией успеха в каждом отдельном предприятии, тем не менее постоянное разделение должно исчезнуть и замениться разнообразной деятельностью: умственной, промышленной, земледельческой — соответственно разнообразным способностям отдельных личностей и различных народов.

Освободив наше мышление от схоластики учебников и рассматривая человеческую жизнь с общей точки зрения, мы неизбежно приходим к выводу, что хотя выгода от временного разделения труда и несомненна, но что настало время обратиться к той выгоде, которая проистекает от интеграции труда, от

его объединения. До сих пор политическая экономия знала только разделение труда; мы же настаиваем на его объединении: на том, что идеалом общества (т.е. тем, к чему оно уже стремится) является такое общество, где каждый трудится физически и умственно; где способный к труду человек работает в поле и в мастерской; где каждая нация и каждая область, располагая разнообразием природных сил, сама производит и потребляет большую часть своих продуктов земледелия и промышленности.

Конечно, подобная перемена не может произойти до тех пор, пока общество сохраняет свое теперешнее устройство, которое позволяет собственникам земли и капитала, под покровительством государства и исторических прав, присваивать себе ежегодный избыток производства. Но современная фабричная система, основанная на специализации функций, носит уже в себе зародыши собственного разрушения. Промышленные кризисы обостряются и становятся все более и более продолжительными вследствие войн, неизбежных при настоящем положении дел.

Да и сами рабочие все с большим нетерпением и неудовольствием переносят бедствия, навлекаемые лихорадочным ходом промышленности; и каждый такой кризис ведет к приближению того дня, когда современные установления частной собственности и производства будут потрясены до основания борьбой, формы и последствия которой будут зависеть от большего или меньшего здравого смысла привилегированных классов.

Но мы утверждаем также, что всякая попытка социалистов преобразовать современные отношения между капиталом и трудом потерпит неудачу, если не примет в соображение упомянутое сейчас стремление к интеграции, которое, по нашему мнению, не привлекло еще к себе должного внимания. Преобразованное общество вынуждено будет отрешиться от фантастической мечты о нациях, специализированных для производства либо земледельческих, либо промышленных продуктов. Оно должно будет положиться на самого себя для производства пищи и многих — если не большей части — сырых продуктов. Оно должно будет найти средства сочетать

земледелие с промышленностью и ремеслами и позаботиться об «интегральном образовании», так как, только обучая детей наукам совместно с ручным трудом, можно дать обществу тех людей, которые действительно ему нужны.

Техническое знание, доступное всем, будет благодеянием для человечества; но для всего человечества вообще, а не для какой-либо отдельной нации, так как знание не может развиваться исключительно для домашнего обихода.

Наука, изобретения, смелость мысли и смелость замыслов, предприимчивость, гениальность и улучшения социального строя сделались стремлениями международными, и прогресс умственный, промышленный и социальный нельзя задерживать политическими границами; он переносится через моря, проникает сквозь цепи гор, и степи не составляют для него препятствия. Знание и изобретательность настолько международны, что если завтра появится в газетах сообщение, что где-нибудь практически разрешена задача изготовления запасов силы, полета в воз-

духе или печатания без типографских чернил, то через несколько недель та же задача будет разрешена изобретателями различных национальностей. Беспреданно случается, что одно и то же научное открытие или техническое изобретение сделано почти одновременно в странах, отстоящих друг от друга на тысячи верст, точно существует особого рода атмосфера, благоприятствующая зарождению известной идеи в известный момент. И действительно, такая атмосфера создана паром, печатью и общим запасом знаний.

Те, кто мечтает о монополизации технического гения, отстали лет на пятьдесят против действительной жизни. Теперь мир — весь огромный мир является областью распространения знаний; и если у отдельных народов обнаруживаются особые способности в отдельных отраслях техники или науки, эти различия уравниваются друг друга, и преимущества одного народа над другими могут быть только временными. Прекрасная работа английского инженера-механика, американская смелость в колоссальных предприятиях, французский систематический ум, немецкая

педагогика становятся международными способностями.

Немногие книги имели такое вредное влияние на развитие экономической мысли, как «Опыт об основах народонаселения» Мальтуса. Она появилась, подобно всем книгам, имеющим вообще какое-либо влияние, в благоприятный момент и выразила идеи, уже распространенные в умах зажиточного меньшинства. В то время, когда мысли равенства и свободы, пробужденные французской и американской революциями, проникли в сознание бедных, а богатые утомились дилетантскими экскурсиями в ту же область, Мальтус, возражая радикальному английскому писателю Годвину, выступил с утверждением, что равенство невозможно, что бедность большинства вызвана не общественным строем, а что она — естественный закон. Он говорил, что народонаселение увеличивается слишком быстро, что новым пришельцам нет места за общей трапезой и что этот закон не может быть изменен никакими преобразованиями общественного строя.

Таким образом он дал богатым классам

нечто вроде научного возражения против идеи равенства; а известно, что, хотя всякое владычество основано на силе, сила сама начинает колебаться, если более не поддерживается твердой верой в собственную правоту. Что же касается бедных классов, которые всегда чувствуют влияние идей, преобладающих в данное время среди зажиточных классов, то учение Мальтуса лишило их надежды на улучшение и поселило в них недоверие к обещаниям социальных реформаторов. По сие время многие самые смелые реформаторы не верят, чтобы было возможно удовлетворить потребности всех, если трудящиеся работники и крестьяне потребуют этого, тем более что временное улучшение положения рабочих поведет к быстрому увеличению населения.

Наука до сих пор держится учения Мальтуса, и политическая экономия основывает свои рассуждения на предпосылке о невозможности быстрого увеличения производства — невозможности, следовательно, удовлетворить потребности всех. Эта предпосылка крепко сидит в головах экономистов как

классической, так и социалистической школы, когда они рассуждают об обмене, заработной плате, найме рабочих, ренте и потреблении. Политическая экономия никогда не поднималась выше гипотезы об ограниченности и недостаточности средств к существованию; ее считают непоколебимой; так что все теории, соприкасающиеся с политической экономией, строятся на том же ошибочном начале, и почти все социалисты признают эту предпосылку. Мало того: даже в биологии (тесно связанной теперь с социологией) теория изменчивости видов нашла неожиданную поддержку в том, что Дарвин и Уоллес связали свою теорию с основной идеей Мальтуса, утверждая, что природных средств пропитания не хватает при быстром размножении животных и растений.

Словом, теория Мальтуса, выражая в полупромышленной форме тайные пожелания богатых классов, сделалась основанием целой системы практической философии, которой вполне проникнуты умы образованных сословий, и воздействовала (как всегда бывает с практической философией) также на теоретиче-

скую философию нашего столетия.

Земледелие настолько нуждается в помощи городских жителей, что каждое лето тысячи людей уходят из своих трущоб на полевые работы. Лондонские бедняки толпами отправляются в Кент и Сэссекс косить луга и убирать хмель. В одном только Кенте во время уборки хмеля требуется 80 000 добавочных мужских и женских рабочих рук. Во Франции крестьяне во многих местах бросают летом свои деревни и кустарные промыслы и уходят на работу в более плодородные местности; в Соединенных Штатах сотни тысяч людей направляются летом в прерии Манитобы и Дакоты. Из Польши каждое лето тысячи крестьян во время уборки хлеба расходятся по полям Мекленбурга, Вестфалии и даже Франции. В России люди миллионами тянутся с севера на юг во время жатвы; а в Петербурге многие фабрики сокращают летом свое производство ввиду того, что рабочие уходят обрабатывать свои земельные участки. Везде обработка земли нуждается в добавочных рабочих руках, а еще более нуждается она во временной подмоге для улучшения почвы и

для увеличения ее производительности.

Вскапывание земли при посредстве паровых машин, дренаж и удобрение могли бы превратить тяжелую глину на северо-западе от Лондона в почву более плодородную, чем американские прерии. Эта глина требует только приложения совсем неискusstного труда — в виде прокладки дренажных труб, пульверизации фосфоритов и т. п., и в свободной общине такую работу охотно исполняли бы фабричные рабочие, если бы она была хорошо организована, пользуясь нужными, в сущности, простыми машинами. Почва требует такой помощи, и она получит ее, хотя бы для этого пришлось даже закрывать на лето многие фабрики. В настоящее время предприниматели сочли бы разорением для себя закрывать фабрики на летнее время, так как предполагается, что капитал, вложенный в фабрики, должен каждый день и каждый час давать барыши; но взгляд капиталистов на это дело вполне расходится со взглядами сплоченной воедино общины.

Что же до рабочих, которые должны бы быть истинными хозяевами фабрик и заво-

дов, то большинство из них, наверно, нашло бы, что прервать на месяц или два свою однообразную фабричную работу было бы весьма полезно для здоровья, и они начали бы либо бросать фабрики летом, либо чередоваться на работе.

Как скоро явится возможность преобразовать наши современные условия, нам, несомненно, придется прежде всего озаботиться распространением промышленности по всей стране, т.е. переместить большинство фабрик в деревни и извлекать из земледелия все те выгоды, которые оно всегда может дать в соединении с промышленностью (как, например, в западных американских штатах). К тому дело и идет, как мы видели на предыдущих страницах, и этот шаг явится необходимостью при производстве товаров для самих производителей. Он необходим вследствие потребности каждого здорового человека провести часть времени за ручным трудом на свежем воздухе; и он сделается еще более необходимым, когда современные социальные движения, которые становятся неизбежными, расшатывают современную международ-

ную торговлю, ограничат ее действительно необходимым обменом и заставят каждый народ извлекать у себя дома средства к существованию. Человечество вообще и каждый из нас в частности выиграют от такой перемены, и она наступит.

МОРАЛЬ, ПРАВО, ПОЛИТИКА

Есть времена в жизни человечества, когда глубокое потрясение, громаднейший переворот, способный расшевелить общество до самой глубины его основ, становится неизбежно необходимым во всех отношениях. В такие времена каждый честный человек начинает сознавать, что долее тянуть ту же жизнь невозможно. Нужно, чтобы какие-нибудь величественные события внезапно прервали нить истории, выбросили человечество из колеи, в которой оно завязло, и толкнули его на новые пути — в область неизвестного, в поиски за новыми идеалами. Нужна революция — глубокая, беспощадная, которая не только переделала бы хозяйственный строй, основанный на хищничестве и обмане, не только разрушила бы политические учре-

ждения, построенные на владычестве тех немногих, кто успеет захватить власть путем лжи, хитрости и насилия, но также расшевелила бы всю умственную и нравственную жизнь общества, вселила бы в среду мелких и жалких страстей животворное дуновение высоких идеалов, честных порывов и великих самопожертвований. В такие времена, когда чванная непосредственность заглушает всякий голос, не преклоняющийся перед ее жрецами, когда пошлая нравственность «блаженной середины» становится законом и низость торжествует повсеместно, революция становится просто необходимостью. Честные люди всех сословий начинают сами желать бури, чтобы она своим раскаленным дуновением выжгла язвы, разъедающие общество, смела накопившуюся плесень и гнилость, унесла в своем страстном порыве все эти обломки прошлого, давящие общество, лишаящие его света и воздуха. Они желают бури, чтобы дать наконец одряхлевшему миру новое дуновение жизни, молодости и честного искания истины.

В такие времена перед обществом возни-

кает не один вопрос о насущном хлебе, а вопрос обо всем дальнейшем развитии, вопрос о средствах выйти из застоя и гнилого болота — вопрос жизни и смерти.

Мы чувствуем... что если переворот стал необходимостью в хозяйственных отношениях между людьми и в их политическом строе, то он еще более того необходим ради перестройки наших нравственных понятий.

Без известной нравственной связи между людьми, без некоторых нравственных обязательств, добровольно на себя принятых и мало-помалу перешедших в привычку, никакое общество невозможно. Такая нравственная связь и такие общественные привычки действительно и существуют между людьми даже на самых низших ступенях их развития. Мы находим их у самых первобытных дикарей.

Но в теперешнем обществе неравенство состояний, неравенство сословий, порабощение и угнетение человека человеком, составляющие самую сущность жизни образованных народов, разорвали ту нравственную связь, которой держались общества дикарей.

Нравственные понятия, присущие первобытным народам, не могут удержаться наряду с современной промышленностью, возводящей в закон порабощение крестьян и рабочих, хищничество и борьбу за наживу; они не могут ужиться с торговлей, основанной на обмане или на пользовании чужой неумелостью, и с политическими учреждениями, имеющими в виду утвердить власть немногих людей над всеми остальными. Нравственность, вытекающая из сознания единства между всеми людьми одного племени и из потребности взаимной поддержки, не может удержаться в таких условиях. В самом деле, какой взаимной поддержки, какой круговой поруки искать между хозяином и его рабочим? между помещиком и крестьянином? между начальником войск и солдатами, которых он шлет на смерть? между правящими сословиями и их подчиненными? Ее нет и быть не может.

Поэтому первобытная нравственность, основанная на отождествлении каждого человека со всеми людьми его племени, исчезла. Вместо нее нарождается фарисейская нравственность религий, которые большей ча-

стью стремятся с помощью обманных рассуждений (софизмов) оправдать существующее порабощение человека человеком и довольствуются порицанием одних грубейших проявлений насилия. Они снимают с человека его обязательства по отношению ко всем людям и налагают на него обязанности лишь по отношению к верховному существу, т.е. к невидимой отвлеченности, гнев которой можно укротить повиновением или щедрой подачкой тем, кто выдает себя за ее слугу.

Но сношения, все более и более тесные между отдельными людьми, странами, обществами, народами и отдаленными материками, начинают налагать на человечество новые нравственные обязательства. Человеческие права приходится признать за всеми людьми, без всякого исключения, и в каждом человеке, какого бы он ни был рода и племени, приходится видеть своего брата; страдания этого брата, кем бы они ни были вызваны, отзываются на всех людях без различия. Религии разъединяли людей: тесные взаимные сношения неизбежно соединяют их в од-

но целое — человеческий род. И по мере того как религиозные верования исчезают, человек замечает, что для того, чтобы быть счастливым, ему следует нести обязанности не по отношению к неизвестному верховному существу, но по отношению ко всем людям, с которыми сталкивается его жизнь.

Человек начинает понимать, что счастье невозможно в одиночку, что личного счастья надо искать в счастье всех — в счастье всего человечества. Вместо отрицательных велений христианской нравственности: «не убей, не укради» и т.д. — появляются положительные требования общечеловеческой нравственности, несравненно более широкие и беспрестанно расширяющиеся. Вместо велений Бога, которые всегда позволялось нарушать, лишь бы потом искупить грех покаянием, является простое, но несравненно более животворное чувство единства, общения, солидарности со всеми и каждым. И это чувство подсказывает человеку: «Если ты хочешь счастья, то поступай с каждым человеком так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобою. И если ты чувствуешь в себе избыток сил, люб-

ви, разума и энергии, то давай их всюду, не жалея, на счастье других: в этом ты найдешь высшее личное счастье». И эти простые слова — плод научного понимания человеческой жизни и не имеющие ничего общего с велениями религий — сразу открывают самое широкое поле для совершенствования и развития человечества.

И вот необходимость перестройки человеческих отношений, в согласии с этими простыми и великими началами, дает себя чувствовать все более и более. Но перестройка не может совершиться и не совершится, покуда в основе наших обществ будет лежать порабощение человека человеком и владычество одних над другими.

Переберите подобные факты, обдумайте их причины и скажите сами: «Не правы ли мы, когда утверждаем, что необходима глубокая революция, чтобы унести всю эту мразь, накопившуюся в современных обществах, и потрясти самые их основы?»

Покуда у нас будет оставаться каста людей, живущих в праздности под тем предлогом, что они нужны для управления нами, — эти

праздные люди всегда будут источником нравственной заразы в обществе. Человек праздный, вечно ищущий новых наслаждений и у которого чувство солидарности с другими людьми убито самими условиями его жизни — такой человек всегда будет склонен к самой грубой нравственности: он неизбежно будет опошлять все, до чего прикоснется. Со своим туго набитым кошельком и своими грубыми инстинктами он будет развращать женщину и ребенка; он развратит искусство, театр, печать он уже это сделал; он продаст свою родину врагу, продаст ее защитников; и так как он слишком трусоват, чтобы избивать кого-либо, то в тот день, когда бунтующий народ заставит его дрожать за кошелек — единственный источник его наслаждений, — он пошлет наемщиков избивать лучших людей своей родины.

Иначе оно быть не может, и никакие писания, никакие нравственные проповеди ни в чем не помогут. Горе не в табаке и не в безверии, как думает Толстой, а в самих условиях, во всем складе общественной жизни. Зараза сидит в самой глубине семейного очага, под-

держиваемого угнетением других людей, и эту заразу надо истребить, хотя бы для того и пришлось прибегнуть к огню и мечу.

Колебания в выборе быть не может. Дело идет о спасении того, что человечеству всего дороже: его нравственной общественной жизни.

— Ненарушимость святыни домашнего очага? Конечно, впишите ее в законы! Кричите о ней везде, во всю мочь! — говорят мудрецы из среднего сословия. Нам вовсе не желательно, чтобы полиция врывается к нам в дома и заставляла нас врасплох. Но зато мы учредим тайную полицию, чтобы надзирать за подозрительными людьми; мы наводним страну, и особенно рабочие собрания, соглядатаями; мы составим списки опасных людей и будем зорко следить за ними. И когда мы узнаем, что дело плохо, что наши кошельки в опасности, будем действовать смело! Нечего тогда толковать о законности: будем хватать людей ночью, в постели; все обобщем, все разнюхаем! Главное в таком случае смелость! И если глупые законники начнут протестовать, мы и их заарестуем и скажем: «Ничего, господа, не

поделаешь, — война так война!» — и вы увидите, что все «порядочные люди» будут за нас.

— Тайна почтовой переписки? Конечно, говорите везде, кричите на торжищах, что вскрывать чужие письма — самое ужасное преступление. Если какой-нибудь почтмейстер вскрыет чужое письмо — под суд его, злодея! Мы вовсе не хотим, чтобы кто-нибудь смел проникать в наши маленькие тайны. Но зато, если до нас дойдет слух о каком-нибудь заговоре против наших привилегий, тогда не взыщите. Все письма будем вскрывать, назначим на это тысячи чиновников, если нужно, и если кто-нибудь вздумает жаловаться, мы ответим прямо, цинично, как недавно ответил один английский министр на запрос ирландского депутата: «Да, господа, с болью в сердце я должен признать, что мы вскрываем ваши письма. Но мы делаем это исключительно потому, что государство (т.е. дворянство и буржуазия) в опасности!»

Вот к чему сводятся политические права.

Свобода печати и сходов, святость домашнего очага и т.д. существуют только под условием, чтобы народ не пользовался ими про-

тив привилегированных сословий. В тот же день, когда народ начинает пользоваться ими, чтобы подрывать привилегии правящих классов, все эти так называемые права выкидываются за борт, как ненужный балласт.

Иначе оно быть не может. Права человека существуют лишь постольку, поскольку он готов защищать их с оружием в руках.

Представительная система, которая есть не что иное, как компромисс со старым порядком, сохранив за правительством все полномочия неограниченной власти, подчинив его с грехом пополам более или менее предполагаемому и во всяком случае лишь перемежающемуся контролю народа, — эта система отжила свой век. В настоящее время она уже помеха прогрессу. Ее недостатки не зависят от личностей, стоящих у власти: они связаны с самой системой и коренятся так глубоко, что никакие видоизменения в этой системе не могут сделать из нее политический строй, соответствующий потребностям времени.

...Правительство представительного режима — будет ли оно называться Парламентом,

Конвентом, Советом Коммуны или присвоит себе какое-нибудь другое название, будет ли оно назначено префектами какого-нибудь Бонапарта или вполне свободно избрано восставшим городом — правительство всегда будет стараться расширить свои законодательные права. Постоянно стремясь усиливать свою власть, оно будет вмешиваться во все, убивать смелый почин личностей и групп и заменять их творчество неподвижным законом. Его естественное, неизбежное стремление — взять личность в свои руки с самого детства, вести ее от одного закона к другому, от угрозы к наказанию — от колыбели до гроба, не выпуская эту добычу из-под своей высокой опеки. Был ли когда-либо случай, чтобы какое-нибудь избранное собрание объявило себя некомпетентным в каком-нибудь вопросе — неспособным его решить? Чем оно революционнее, тем охотнее оно захватывает все то, в чем совершенно некомпетентно. Обставлять законами все проявления человеческой деятельности, вмешиваться во все мелочи жизни «подданных» — такова самая сущность государства и правительства.

Создать правительство — конституционное или неконституционное — значит создать такую силу, которая неизбежно будет стараться овладеть всем, подводить под свои уставы всю общественную жизнь, не признавая никакого другого предела, кроме того, какой можем время от времени поставить ему мы агитацией или восстанием. Парламентское правительство — оно уже это доказало — не составляет исключения из этого общего правила.

Одно из двух: или в народе, в городе водворится экономическое равенство — и свободные, равные граждане уже не будут отказываться от своих прав в пользу немногих, а постараются найти новый способ организации, который даст им возможность самим управлять своими делами, или же будет продолжать существовать меньшинство, господствующее над массами в экономическом отношении, — какое-нибудь четвертое сословие, составленное из привилегированных буржуа и перебежчиков от рабочих, — и тогда горе массам. Правительство, избранное этим меньшинством, будет действовать соответственно:

оно будет писать законы ради сохранения своих привилегий, а против непокорных оно прибегнет к силе и избиениям.

Представительная система имела целью помешать единоличному управлению; она должна была передать власть в руки не одного человека, а целого класса. А между тем она всегда вела к восстановлению единоличного правления, всегда стремилась подчинить себя одному человеку.

Причина этой странности очень проста. Когда в руки правительства были переданы все те тысячи полномочий, которыми оно облечено теперь, когда ему было поручено ведение всех дел, касающихся страны, и дан бюджет в несколько миллиардов, возможно ли было поручить ведение всех этих бесчисленных дел беспорядочной парламентской толпе? Необходимо было назначить исполнительную власть — министерство, которая была бы обеспечена ради этого почти монархическими полномочиями.

...Всякое правительство стремится стать единоличным; таково его первоначальное происхождение, такова его сущность.

Будет ли парламент избран с цензовыми ограничениями или посредством всеобщего голосования, будут ли депутаты избираться исключительно рабочими и из среды рабочих, парламент всегда будет искать человека, которому можно было бы передать заботу об управлении и подчиниться. И пока мы будем поручать небольшой группе людей заведовать всеми делами — экономическими, политическими, военными, финансовыми, промышленными и т.д., как это делаем теперь, и т.д., — эта небольшая группа будет стремиться неминуемо, как отряд в походе, подчиниться единому главе.

Если мы хотим в момент будущей революции открыть настежь двери для реакции и даже, может быть, для монархии, то нам стоит только поручить наши дела какому-нибудь представительному правительству или какому-нибудь министерству, облеченному такими полномочиями, какими оно обладает теперь. Реакционная диктатура, сначала слегка окрашенная в красный цвет, затем понемногу синеющая, по мере того как будет чувствовать свое положение более прочным, не

заставит себя долго ждать. В ее распоряжении будут все орудия власти; она найдет их вполне готовыми.

Но, может быть, представительный порядок, источник всяких зол, оказывает, по крайней мере, некоторые услуги в том смысле, что он дает возможность мирного прогрессивного развития общества? Может быть, он содействовал также децентрализации власти, которая в настоящее время представляет насущную потребность? Может быть, представительное правление умело помешать войнам? Может быть, оно умеет приспособляться к требованиям времени и вовремя упразднить, во избежание гражданской войны, то или иное учреждение, отживающее свой век? Наконец, может быть, оно сколько-нибудь обеспечивает прогресс, возможность дальнейших улучшений?

Какой горькой иронией звучат эти вопросы! Вся история нашего века отвечает на них отрицательно.

Верные монархической традиции и ее современной форме — якобинству, парламенты сосредоточили всю власть в руках правитель-

ства. Крайнее развитие чиновничества становится отличительной чертой представительного правления. С самого начала XIX века в политике все говорят о децентрализации и автономии; а между тем власть централизуют все больше и больше, а автономии убывают последние остатки. Даже Швейцария испытывает влияние этого течения, ему подчиняется и Англия. Если бы не сопротивление промышленных предпринимателей и торговцев, нам скоро пришлось бы для того, чтобы зарезать быка где-нибудь в захолустье, испрашивать разрешение в Париже. Все подпадает мало-помалу под власть правительства. Ему не хватает только заведования всей промышленностью и торговлей; да и то социал-демократы, ослепленные предрассудками сильной власти, уже мечтают о дне, когда они смогут управлять из берлинского парламента всей работой на фабриках и потреблением по всему протяжению Германской империи!

Предохранил ли нас от войн этот якобы миролюбивый представительный режим? Никогда еще люди так не истребляли друг друга, как при нем!

Стоит ли изображать здесь известную всем нам отвратительную картину выборов? Везде — в буржуазной Англии и в демократической Швейцарии, во Франции и в Соединенных Штатах, в Германии и в Аргентинской республике разыгрывается одна и та же печальная комедия.

Стоит ли рассказывать о том, как избирательные агенты и комитеты «подготавливают», «устраивают» и «обставляют» выборы (у них на это целый воровской язык!); как они раздают направо и налево обещания — политические на собраниях и личные в частных разговорах, как они втираются в семьи, льстят матери и ребенку, ласкают, если нужно, страдающую астмой собаку или кошку «избирателя»? Как они ходят по разным кафе или кабакам, уговаривают избирателей, а наименее разговорчивых улавливают тем, что заводят между собой мнимые споры — точно шулера, которые стремятся заманить вас играть в «три карты, одна дама»? Как после долгого ожидания кандидат появляется наконец среди «дорогих избирателей» с благосклонной улыбкой на устах, со скромным взглядом и

вкрадчивым голосом — точно старая мегера, хозяйка лондонских меблированных комнат, которая хочет заманить жильца сладкой улыбкой и ангельским взглядом? Стоит ли перечислять лживые программы одинаково лживые, будь они оппортунистские или социал-революционные, в которые сам кандидат, если он сколько-нибудь умен и знает палату, так же мало верит, как составитель календаря с предсказаниями, но которые он защищает так горячо, таким громовым голосом, такими прочувствованными речами, как странствующий, ярмарочный зубной лекарь?

Стоит ли перечислять здесь расходы по выборам? Все газеты рассказывают нам о них. Стоит ли приводить перечень расходов какого-нибудь избирательного агента, среди которых фигурируют расходы на «бараньи ноги», фланелевые фуфайки и бутылки с лекарством, посланные заботливым кандидатом «дорогим детям» своих избирателей? Стоит ли, наконец, напоминать о расходах на печеные яблоки и тухлые яйца, с целью «смутить противную партию», расходах, которые так же отягощают бюджеты кандидатов в Соеди-

ненных Штатах, как у нас в Европе расходы на клеветнические воззвания и на «маневры последнего часа» перед выборами.

А правительственное вмешательство в выборы? «Места», раздаваемые им своим пособникам, его лоскутки материи, носящие названия орденов, права, раздаваемые им на содержание табачных лавок? Его обещания покровительства рулеткам и игорным домам, его бесстыдная пресса, его шпионы, его судьи и агенты...

Нет, довольно! Не будем больше копать в этой грязи. Поставим только один вопрос: есть ли хоть одна самая низкая, самая гнусная человеческая страсть, которая бы не эксплуатировалась во время выборов? Обман, клевета, низость, лицемерие, ложь — все, что только есть грязного в глубине человека-зверя, — вот что разнуздывается во всей стране во время избирательного периода.

Так оно есть, и так оно будет до тех пор, пока будут существовать выборы с целью избрания себе господ. Пусть перед вами будут только рабочие, только люди, равные между собой, и пусть они в один прекрасный день

вздумают избрать из своей среды управителей — и получится то же самое! Подарков, может быть, раздавать не будут; но будут расточать льстивые, лживые слова; и гнилые яблоки останутся по-прежнему. Да можно ли ждать лучшего, когда люди торгуют священнейшими своими правами?

Чего, в самом деле, требуют от избирателей? — Чтобы они указали человека, которому можно было бы дать право издавать законы относительно всего, что только у них есть самого святого: их гражданских прав, их детей, их труда! Что же удивительного в том, что эти царские права оспаривают друг у друга две или три тысячи проходимцев? Речь идет о том, чтобы найти человека или нескольких человек, которым можно было бы предоставить право брать наших детей в двадцать один год или в девятнадцать, если господа депутаты найдут нужным; запирать их на три года — а не то и на десять — в разлагающую атмосферу казармы; вести их на убой в войну, которую они затеят, но которую потом поневоле придется вести стране. Затем выбранные депутаты могут закрывать и от-

крывать университеты, могут заставлять родителей посылать своих детей в школы или же, наоборот, запретить это. Подобно самодержавному королю, депутаты могут благоприятствовать какой-нибудь отрасли промышленности или же, напротив, убить ее; они могут принести северную часть страны в жертву южной, или, наоборот, могут присоединить к стране новую область, или, наоборот, уступить какую-нибудь провинцию другому государству. Они будут располагать приблизительно тремя тысячами миллионов в год, вырванными у рабочего народа. У них будет, кроме того, царское право назначать исполнительную власть, т.е. такую власть, которая, пока она находится в согласии с Палатой, является большим деспотом и тираном, чем покойная власть короля.

...Что теперь требуется от избирателей? — Чтобы десять, двадцать тысяч (а при голосовании по спискам и сто тысяч) человек, не знающих друг друга, никогда друг друга не видевших, никогда не встречавшихся ни на каком общем деле, сошлись на избрании одного человека. Притом избранный ими полу-

чит широчайшие полномочия — не для того, чтобы изложить какое-нибудь определенное дело или защищать то или иное решение, принятое по определенному вопросу. Нет! Он должен уметь делать все, высказываться по любому вопросу — торговому, астрономическому, военному, финансовому, гигиеническому и т.д., — и его решение будет законом. Первоначальный характер избрания депутатов совершенно исказился; оно стало нелепостью.

Такого вездесущего существа, какого ищут теперь, не существует. Но вот, например, порядочный человек, отвечающий известным требованиям честности и здравого смысла, с некоторым образованием. Что же, будет он избран? Конечно нет. Из его избирателей едва, может быть, наберется двадцать, сто человек, знающих его достоинства. Он никогда не пользовался рекламой, чтобы составить себе репутацию, он презирает те приемы, которыми обыкновенно пользуются, чтобы заставить говорить о себе, и за него едва ли будет подано больше 200 голосов. Его даже не поставят в число кандидатов, а выберут како-

го-нибудь адвоката или журналиста, красная или писаку, который внесет в парламент нрав адвокатского или газетного мира и увеличит своей персоной стадо, голосующее — одни за министерство, другие за оппозицию.

...Там же, где царят вполне якобы «демократические» права, как в Соединенных Штатах, где легко создаются комитеты, составляющие противовес влиянию богатства, там сплошь да рядом выбирают самого худшего из всех, профессионального политика, — отвратительное существо, ставшее теперь язвой великой республики, человека, сделавшего из политики род промышленности и пускающего в ход все приемы крупной промышленности: рекламу, трескучие статьи, подкуп.

Меняйте избирательную систему сколько хотите, заменяйте избрание по округам избранием по спискам, устраивайте двухстепенные выборы, как в Швейцарии (я имею в виду предварительные собрания), вносите какие хотите перемены, обставляйте выборы какими хотите условиями равенства, кроите и перекраивайте избирательные коллегии — внутренние недостатки системы все равно

останутся. Тот, кто получит больше половины голосов, всегда будет (за очень редкими исключениями, у партий преследуемых) ничтожеством, человеком без убеждений, сумевшим понравиться всем.

Но если самые выборы уже страдают конституционной, неизлечимой болезнью, то что же сказать об исполнении своих обязанностей выбранным Собранием? Подумайте минуту — и вы сами увидите, какую невозможную задачу вы перед ним ставите.

Ваш представитель должен иметь определенное мнение и голосовать по целому ряду бесконечно разнообразных вопросов, возникающих в громадной государственной машине.

Всеведущий и всемогущий Протей, вечно меняющий свой вид, — сегодня военный, завтра свинопас, потом банкир, академик, чистильщик сточных труб, врач, астроном, аптекарь, кожевник или торговец галантерейным товаром смотря по вопросам, стоящим на очереди, — он будет все решать без колебаний по знаку главы своей партии. Привыкнув как адвокат, как журналист или как оратор

публичных собраний говорить о вещах, которых он не знает, он и теперь будет подавать голос по всем этим вопросам, с той только разницей, что в газете его статьи служили для развлечения греющегося у огня швейцара, что его адвокатские речи только мешали спать судьям и присяжным, а в Палате его мнение делается законом для сотен тысяч человек.

А так как у него нет физиологической возможности составить себе мнение обо всех бесчисленных вопросах, в которых от его голосования зависит утверждение или провал законов, то, пока министр будет читать доклад с многочисленными цифрами, выведенными ради этого случая его секретарем, депутат будет сплетничать с соседом, проводить время в буфете или писать письмо с целью подогреть доверие своих «дорогих избирателей». Когда же придет момент голосования, он выскажется «за» или «против» доклада, смотря по тому, какой знак подаст глава его партии.

Подсчет голосов давно уже сделан, раньше голосования; подчинившиеся утвердительно-

му решению давно отмечены, и часто их уже поблагодарили; не подчинившиеся изучены и тщательно сосчитаны. Речи произносятся для вида: их слушают только в том случае, если они отличаются художественными достоинствами или могут вызвать скандал.

Выиграть победу при голосовании; но кто же устраивает эти победы? Кто в Палате дает перевес голосов той или другой партии? Кто свергает или выдвигает министерство? Кто навязывает стране реакционную политику и рискованные внешние предприятия? Кто решает спор между министерством и оппозицией? — Те, кому в 1793 году дали удачное прозвище «болотных жаб», люди, не имеющие никаких убеждений, всегда сидящие между двух стульев, всегда колеблющиеся между двумя главными партиями Палаты.

Именно эта группа — человек пятьдесят, без всяких убеждений, флюгером поворачивающихся от либералов к консерваторам и обратно, людей, легко поддающихся на всякие обещания, на перспективу мест, на лесть, легко охватываемые паникой, — именно эта группа ничтожеств решает, подавая свои го-

лоса «за» или «против». Они проводят законы или оставляют их под сукном. Они поддерживают или свергают министерства и изменяют направление политики. Пятьдесят индифферентных людей, управляющих страной, — вот к чему сводится прежде всего парламентский строй.

Все мы до того испорчены нашим воспитанием, которое с ранних лет убивает в нас бунтовской дух и развивает повиновение властям: все мы так развращены нашей жизнью из-под палки закона, который все предвидит и все узаконяет: наше рождение, наше образование, наше развитие, нашу любовь, дружбу и т.д., — что если так будет продолжаться, то человек скоро утратит всякую способность рассуждать и всякую личную предприимчивость. Наши общества, по-видимому, совсем потеряли веру в то, что можно жить иначе, чем под руководством законов, придуманных Палатой или Думой и прилагаемых сотнями тысяч чиновников. Даже тогда, когда люди освобождаются от этого ярма, они сейчас же спешат вновь надеть его. «Первый год Свободы», провозглашенный Великой французской

революцией, не продолжался более одного дня. На другой же день общество уже само шло под ярмо нового закона и власти.

Что касается до нас, анархистов, то наше суждение о диктатуре отдельной личности или целой партии — в сущности, между той и другой нет никакой разницы — совершенно определено. Мы знаем, что социальная революция не может быть руководима одним лицом или совокупностью нескольких лиц. Мы знаем, что революция и правительство совершенно несовместимы между собой. Правительство, какую бы оно ни носило кличку: диктатура, монархия, парламент, — непременно должно убить революцию. Мы знаем, что вся сила нашей партии в ее основной формуле: «Только свободный почин, инициатива народа может создать нечто хорошее и долговечное; всякая же власть фатально стремится к уничтожению этого свободного почина». Вот почему лучшие из нас, если бы когда-нибудь они перестали осуществлять свои идеи посредством народа, а, напротив, захватили бы в свои руки то могущественное орудие, которое зовется правительством и кото-

рое позволило бы им действовать по своей фантазии, стали бы через неделю величайшим злом. Мы знаем, к чему приводит всякая диктатура даже людей с прекрасными намерениями; она влечет за собой гибель революции. Мы знаем, одним словом, что идея диктатуры есть не что иное, как болезненное порождение того обоготворения власти, которое наравне с религиозным поклонением было всегда опорой рабства.

Если правительство — будь оно даже идеальным революционным правительством — не может создать новой силы и быть фактором разрушения всего того, что должно быть снесено, то для дела перестройки и создания нового, которое должно последовать за ломкой, оно уже совершенно непригодно. Экономические перемены, которые должны явиться результатом Социальной Революции, будут так обширны и так глубоки, отношения между людьми, которые до того основывались на праве собственности и на теории обмена, а теперь должны основываться на совершенно иных началах, будут столь не похожи на прежние, что никакому могуществен-

ному уму, никакой группе глубоких мыслителей не удастся выработать общественные формы, в которые должно будет вылиться будущее общество. Эта выработка новых общественных форм может быть делом лишь совместного труда народных масс. Для удовлетворения бесконечного разнообразия условий и потребностей, которые народятся в день уничтожения частной собственности, необходима гибкость коллективного дела и знание всей страны. Всякая внешняя власть будет только помехой, задержкой органической работы, которая должна совершиться; а следовательно, она станет источником раздора и взаимной ненависти.

Пора, давно пора покинуть иллюзию революционного правительства, за которую пришлось столько раз и каждый раз так дорого расплачиваться! Пора сказать себе раз навсегда и признать за безусловно верное правило, за аксиому, что никакое правительство не может быть революционным.

К сожалению, нашлось немало социалистов — убежденных социалистов старой школы, которым показалось желательным сгруп-

пировать вокруг себя как можно большее число людей, лишь бы вновь пришедшие признавали себя, хотя бы по имени, социалистами; эти убежденные социалисты открыли настежь двери всем так называемым новообращенным. И в результате мало-помалу они сами отказались от основной идеи социализма, и под их покровом образовалась в настоящее время разновидность «так называемых социалистов», сохранившая от прежней партии лишь одно название.

Мы невольно вспоминаем при этом одного жандармского полковника, который говорил одному нашему товарищу, что и он тоже находит коммунистический идеал превосходным; но что идеал этот не может быть применен к жизни ранее 200 или 500 лет и что поэтому нашего товарища нужно было держать в тюрьме, в наказание за проповедь коммунизма. Подобно этому жандармскому полковнику, социалисты новой школы заявляют, что уничтожение частной собственности и экспроприация должны быть отложены на будущее, отдаленные времена, что все это принадлежит к области романа и утопии, что

теперь нужно заниматься такими реформами, которые можно ввести немедленно в жизнь, и что те, которые еще дорожат мыслью об экспроприации, суть злейшие враги этих полезных реформ. «Подготовим, — говорят они, — почву, не для захвата земли, а для захвата власти. Завладев властью, мы мало-помалу улучшим судьбу рабочих. Подготовим, ввиду наступающей революции, не захват фабрик, а захват муниципалитетов» [61].

Как будто бы буржуазия, оставаясь властительницей капиталов, могла когда-нибудь согласиться дать им возможность делать эксперимент социалистического режима, даже если бы этим людям удалось захватить в свои руки власть! Как будто бы завладение муниципалитетами было возможно без завладения фабриками и заводами!

Последствия такого превращения не замедлили проявиться самым чувствительным образом.

В настоящее время, когда вам приходится иметь дело с одним из социалистов новой школы, вы совершенно не знаете, говорите ли вы с господином вроде того жандармского

полковника, о котором мы упоминали выше, или с настоящим убежденным социалистом. Так как теперь, чтобы иметь право носить кличку социалиста, достаточно допустить, что когда-нибудь — может быть, через тысячу лет — собственность делается коллективной, то разница между нашим жандармским полковником и «неосоциалистом» становится незаметной для простого глаза. Теперь все — социалисты! Все верят в социализацию собственности в будущем, а пока подают голос за того или другого кандидата, который обещается потребовать в палате уменьшения рабочих часов. Рабочие, не имеющие возможности читать несколько десятков различных газет, не в состоянии разобраться между своими союзниками и врагами, они не будут знать, где истинные социалисты и где ловкие люди, пользующиеся для собственной выгоды идеей социализма. И когда настанет день Революции, прольется немало крови, пока рабочие не отличат своих друзей от своих врагов.

В жизни обществ наступают времена, когда революция становится необходимостью. Повсюду зарождаются новые идеи; они стре-

мятся пробить себе дорогу, осуществиться на практике, но постоянно они сталкиваются с сопротивлением тех, кому выгодно сохранение порядка; им не дают развиваться в удушливой среде старых предрассудков и преданий. В такие времена общепринятые понятия о государственном строе, о законах общественного равновесия, о политических и экономических отношениях граждан между собой отбрасываются; суровая критика подрывает их ежедневно, по всякому поводу, повсеместно — в гостиной и в кабаке, в философском сочинении и в товарищеской беседе. Существующие политические, экономические и общественные учреждения приходят в разрушение; жить под их гнетом становится невозможным, так как они только мешают развитию пробивающихся отовсюду молодых побегов.

Чувствуется потребность новой жизни. Ходячая нравственность, которой руководится в ежедневной жизни большинство людей, уже перестает удовлетворять их. Люди начинают замечать, что то, что раньше казалось им справедливым, на самом деле — вопиющая

несправедливость; то, что вчера признавалось нравственным, сегодня оказывается возмутительной безнравственностью. Столкновение между новыми веяниями и старыми преданиями обнаруживается во всех классах общества, во всякой среде, даже в семейном кругу. Сын вступает в борьбу с отцом; ему кажется возмутительным то, что его отец всю свою жизнь находил естественным; дочь восстает против правил, которые мать внушает ей как плод долголетнего опыта. Народной совести приходится каждый день возмущаться — то скандальными происшествиями из жизни богатых и праздных классов, то преступлениями, совершенными во имя права сильного или ради поддержания существующей несправедливости. Тем, кто стремится к торжеству справедливости, кто хочет провести в жизнь новые мысли, скоро приходится убедиться, что осуществление благородных, человеческих, обновляющих понятий невозможно в том обществе, которое их окружает. Они убеждаются, что необходима революционная буря, которая смела бы всю эту плесень, оживила бы своим дуновением застыв-

шие сердца и вдохнула бы в человечество дух самопожертвования и героизма, без которого всякое общество пошлеет, падает и разлагается.

В эпохи безумной погони за обогащением, лихорадочных спекуляций, кризисов и внезапных биржевых крахов, в эпохи, когда огромные состояния составляются в несколько лет и с такой же быстротой проживаются, — в такие эпохи люди начинают замечать, что экономические учреждения, от которых зависит производство и обмен, не отвечают своей цели. Они не только не обеспечивают обществу того благосостояния, которое должны были бы обеспечивать, но достигают результатов совершенно противоположных. Вместо порядка они производят хаос; вместо благосостояния — бедность и неуверенность в завтрашнем дне; вместо согласия — постоянную борьбу эксплуататора с производителем, эксплуататоров друг с другом и производителей между собой. Общество все резче и резче делится на два враждебных лагеря, подразделяясь вместе с тем еще на тысячи мелких групп, ведущих между собой ожесточен-

ную борьбу. Тогда, утомленное этой борьбой и вытекающими из нее бедствиями, общество начинает искать новые формы устройства и громко требует полного изменения форм собственности, производства, обмена и всех вытекающих отсюда хозяйственных отношений.

Правительственный механизм, имеющий задачей поддержание существующего порядка, еще действует; но его испорченные колеса то и дело цепляются и останавливаются. Его воздействие на общество становится все более и более затруднительным, а недовольство, вызываемое его недостатками, все растет. Каждый день приносит с собой новые требования. «Здесь нужны реформы! Там нужна полная перестройка!» — кричат со всех сторон. «Военное дело, финансы, налоги, суды, полицию — все это нужно переделать, всех устроить на новых началах», — говорят со всех сторон. А между тем все понимают, что ни переделать, ни преобразовать понемножку нельзя, потому что все связано одно с другим и переделывать придется все разом. А как это сделать, когда общество разделено на два открыто враждебных лагеря? Удовлетво-

ритель одних недовольных — значит вызвать недовольство в других.

Неспособное на реформы, потому что это значило бы выступить на путь революции, и вместе с тем слишком слабое, чтобы откровенно броситься в реакцию, правительство обыкновенно прибегает тогда к полумерам, которые никого не удовлетворяют, а только вызывают новое недовольство. Впрочем, посредственности, обыкновенно стоящие в такие эпохи у кормила правления, думают теперь только об одном: как бы обогатиться самим, прежде чем наступит разгром. На них нападают со всех сторон, они защищаются неумело, виляют, делают глупость за глупостью и в конце концов отрезают себе последний путь к спасению: губят веру в правительство, вызывая повсюду насмешку над его неспособностью.

В такие эпохи революция неизбежна; она делается общественной необходимостью; положение становится революционным.

...Сама история нашего времени не доказывает ли, что дух федеративных союзов уже представляет отличительную черту совре-

менности? Если только где-нибудь Государство дезорганизуется по какой-либо причине, если только его гнет ослабевает где-либо, и сейчас же зарождаются вольные объединения. Вспомним об объединениях городских буржуазий во время Великой французской революции; вспомним о федерациях, возникших в Испании во время вторжения наполеоновских армий, и о том, как они отстаивали независимость испанского народа в такую пору, когда государственная власть была окончательно потрясена.

Как только Государство оказывается неспособным удержать силой национальное единство, сейчас же начинают образовываться союзы, вызванные естественными потребностями отдельных областей. Свергните иго Государства и федерация начнет возникать на его развалинах, и мало-помалу она создаст союз, действительно прочный и вместе с тем свободный и все более спаиваемый самой свободой.

Но есть еще нечто, чего не следует забывать. Для горожанина средних веков его Коммуна была государством, строго отделенным

от других своими границами. Для нас же Коммуна уже более не только земельная единица. Это скорее общее понятие о каком-то союзе равных, не знающем ни городских стен, ни границ. Социалистическая Коммуна скоро перестанет быть чем-то имеющим определенные границы, заключенным в самом себе. Каждое объединение внутри Коммуны неизбежно будет искать сближения с другими такими же группами в других Коммунах; оно свяжется с ними, по крайней мере, такими же связями, как и со своими согражданами, и таким путем создается Коммуна общих интересов, члены которой будут разбросаны в тысяче сел и городов. Будут люди, которые найдут удовлетворение своих потребностей только тогда, когда объединятся с людьми, имеющими те же потребности в сотне других Коммун.

Уже теперь всевозможные общества начинают развиваться во всех отраслях деятельности человека. Люди, имеющие досуг, сходятся между собой уже не для одних научных, литературных и художественных целей. Союзы составляются также не для одной классовой борьбы. Едва ли найдется одно из бесчислен-

ных, разнообразнейших проявлений человеческой деятельности, в которой уже не составились бы союзы; и число таких объединений растет с каждым днем. Каждый день такие союзы захватывают все новые области, даже из тех, которые раньше считались святынею святых Государства.

Литература, искусство, науки, школа, торговля, промышленность, путешествия, забавы, гигиена, музеи, далекие предприятия, даже полярные экспедиции, даже военная защита — помощь раненым, защита от разбоев и воровства, даже от судебных преследований... всюду пробирается частный почин в форме вольных обществ. Свободный союз — это то, куда идет отличительная черта второй половины XIX века; это ее отличительная черта, свойственное ей направление.

На этом направлении, для которого открываются теперь обширнейшие приложения, создается будущее общество. Из вольных объединений создается социалистическая Коммуна, и эти объединения пробьют стены, разрушат пограничные столбы. Возникнут миллионы Коммун, уже не ограниченных данны-

ми границами, но стремящихся протянуть друг другу руки через разделяющие их реки, горные цепи, моря и океаны и связывающих людей и народы на всем земном шаре в одну семью равных и свободных.

Примечания

с1

Здесь и далее сокращены ссылки автора на сочинения ныне малодоступные. По обилию ссылок эту работу Кропоткина следует отнести к специальным, хотя написана она простым и ясным языком. [Прим. составителя.]

[^^^]

Речь «О законах взаимной помощи», в «Трудах С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей», т. XI, вып. 1, 1880, с. 128-129.

[^^^]

Мимикрией — «подражательностью» — называют тот факт, что многие животные приобретают цвет той среды, в которой живут, и это спасает их от преследования врагами. У пчел, как и у муравьев, этого нет. Их черный цвет не помогает им скрываться от врагов.

[^^^]

Их держали в улье, снабженном стеклянным оконцем, которое давало возможность видеть то, что делалось внутри. Оконце закрывалось снаружи ставней. Так как пчел, вероятно, беспокоил свет, падавший на них всякий раз, как носители открывали ставню, они через несколько дней залепили его тем смолистым веществом, которое называют пчелиным клеем, или узой (propolis).

[^^^]

Северцов Н. А. Периодические явления в жизни млекопитающих, птиц и пресмыкающихся Воронежской губ. Москва, 1885.

[^^^]

Северцов Н. А. Периодические явления в жизни зверей и пр. в Воронежской губернии. Москва, 1855, с. 251.

[^^^]

Тем более было странно читать в вышеупомянутой статье Гексли следующий парафраз общеизвестной фразы Руссо: «Первый человек, заменивший взаимным договором взаимную войну — каковы бы ни были мотивы, принудившие его сделать этот шаг, — создал общество». Общество не было создано человеком; оно предшествовало человеку.

[^^^]

Эта австралийская птица сродни нашей иволге и называемая англичанами Satin Bower bird строит себе, вместо гнезда, беседку (bower) из ветвей с колыбелькою, украшенной всевозможными яркими предметами: перьями попугаев, ракушками и т.д. Латинское название этой птицы: *Ptilonorhynchus holosericus*.

[^^^]

Приведу лишь несколько примеров: раненый барсук был унесен другим барсуком, внезапно явившимся на помощь; наблюдали крыс, которые кормили двух слепых товарищей. Брему самому удалось видеть двух ворон, кормивших в дупле дерева третью ворону, которая была ранена, и ее раны были нанесены несколькими неделями раньше. Blyth видел индийских ворон, которые кормили двух или трех слепых товарок, и т.д.

[^^^]

Дарвин употребляет слово Competition, которое по-французски приходится переводить слово competition, а по-русски, большей частью, переводится соревнование или соперничество. В данном случае слово «состяжание» лучше, мне кажется, передает дарвинистское competition.

[^^^]

«Можно было бы, однако, заметить, — писал он в »Происхождении видов« (начало VI главы), — что там, где несколько близкородных видов живут на той же самой территории, мы необходимо должны были бы находить и теперь многие промежуточные формы... По моей теории, эти сродные виды произошли от общего прародителя; и во время процесса их видоизменения каждый приспособился к условиям жизни в своей области, и заместил и истребил первоначальную прародительскую форму, равно как и все промежуточные формы между своими прежним и теперешним состоянием» (с. 134, 6 англ. изд.). См. также с. 137 и 296 (весь параграф о «вымирании»).

[^^^]

«Происхождение теории благотворности
борьбы за жизнь», Старого Трансформиста.
«Русская Мысль», № 9, 1888.

[^^^]

Смотри мою работу «Взаимопомощь как фактор эволюции». Относительно того, как Дарвин пришел к перемене своих взглядов на этот вопрос и стал все более и более допускать прямое воздействие среды на развитие новых видов, смотри мои статьи о естественном подборе и прямом воздействии в журнале «Nineteenth Century», июль, ноябрь и декабрь 1910 г. и март 1912 г.

[^^^]

Это мнение было распространено даже среди французских республиканцев в 1792 г., во время Великой Революции.

[^^^]

Чеки труда — по-английски labour cheques, по-французски bans du travail — это чеки, или ассигнации, обозначающие один, два, три, десять и т.д. часов труда (с их подразделением на минуты), которые выдавались бы рабочему в уплату за его труд. Банк мог бы принимать их совершенно так же, как теперь принимаются чеки или денежные знаки (звонкая монета или ассигнации).

[^^^]

См.: Черкезов (В.). Предтечи Интернационала (СПб., 1907).

[^^^]

Интересно напомнить, что подобные же мысли, очень распространенные в то время, о государственном землепашестве при помощи «земледельческих армий» были восхваляемы в брошюре «Уничтожение пролетариата» Наполеоном III, который был тогда претендентом на пост президента республики. Ставши императором, он не прочь был применить те же мысли к орошению и облесению некоторых частей Франции, именно Солоньи.

[^^^]

Небольшое количество экземпляров Манифеста Консидера-на (на который обратил внимание Черкезов как на источник «Коммунистического Манифеста») и книг Resqueur'a и Vidal'я одному из наших товарищей удалось разыскать в складе — в Москве! Замечательную книгу Buret о положении рабочего класса, очень широко использованную Энгельсом, как это тоже указал Черкезов, мне удалось достать также из Москвы; я купил в Париже экземпляр, некогда принадлежавший профессору Пешкову!

[^^^]

О том, насколько Энгельс и Маркс заимствовали у Пеккера в их «Коммунистическом Манифесте» в его построительной части, указал бельгийский профессор Андлер. См.: Шарль Лндлер. Введение и Комментарий к Коммунистическому Манифесту, перев. с франц. под редакцией А. В. Киссина, Москва, 1906, изд. Петровской библиотеки в Москве. Там же, с. 43, указано на заимствования Коммунистического Манифеста у Бабефа. Немецкий коммунизм прямой слепок с коммунизма Бабефа.

[^^^]

Для общего ознакомления с взглядами Прудона лучше всего брошюра Джеймса Гильома, изданная бакунистами в Женеве в 1874 г., — «Анархия по Прудону».

[^^^]

Из работы нашего друга Черкезова известно, что экономические положения, изложенные Марксом и Энгельсом в «Коммунистическом Манифесте», были ими взяты из Манифеста Консидерана, который носил название «Принципы социализма. Манифест демократии XIX в.» и был издан в 1848 г. Действительно, достаточно прочесть оба манифеста, чтобы убедиться, что не только экономические взгляды «Коммунистического Манифеста», но даже и форма были заимствованы Марксом и Энгельсом у Консидерана.

[^^^]

В это время социал-демократы еще не выставили системы государственного коллективизма, — многие среди них были еще коммунисты-государственники. И, по-видимому, был совершенно забыт смысл понятий государственный капитализм и распределение соответственно часам труда, смысл, который был придан слову «коллективизм» перед революцией 1848 г. и во время ее, сначала С. Пеккером в 1839 г. («Социальная экономия: интересы торговли, промышленности и земледелия, и цивилизации вообще под влиянием пара») и впоследствии в 1842 г. («Новая теория социальной и политической экономии: этюды по организации обществ») и затем Ф. Видалем, секретарем рабочей Люксембургской Комиссии в его замечательной работе «Жить работая! Проекты, перспективы и средства социальных реформ», появившейся в Париже в конце июня 1848 г.

Что вышло бы, например, из Положения 19 февраля (уничтожившего крепостное право), если бы на месте не находились люди, имевшие смелость при всякой грубости и насилии помещика давать ему подобающий ответ и способные заставить мировых посредников обуздывать господ крепостников?

[^^^]

Я привожу здесь не выдуманное возражение, но заимствую его из недавней переписки с одним немецким доктором. Кант говорил, что нравственный закон сводится к следующей формуле: «Относись всегда к другим таким образом, чтобы правило твоего поведения могло стать всеобщим законом». Это, говорил он, и есть «категорический императив» — т.е. закон, врожденный у человека.

[^^^]

Следующие выдержки из полученного мною письма от одного видного биолога, профессора в Бельгии, помогут мне объяснить лучше то, что было только что сказано: «По мере того, как я читаю дальше вашу работу “Поля, фабрики и мастерские”, — пишет мне профессор, — тем больше я проникаюсь убеждением, что изучение экономических и общественных вопросов отныне возможно только для тех, кто изучал естественные науки и кто проникся духом этих наук. Те, кто получил так называемое классическое образование, не способны более понимать современное движение идей и также не способны изучать множество других, специальных вопросов».

[^^^]

«Ничего живучего», следовало бы сказать. Но я оставляю эти страницы так, как они были написаны в 1912 г., восемь лет тому назад.

[^^^]

В большой стачке, вспыхнувшей в Сибири на великом сибирском пути сейчас же после японской войны, мы имеем поразительный пример того, что может дать коллективный ум масс, подтолкнутый событиями, если он работает над теми самыми вещами, которые нужно перестраивать. Известно, что весь личный состав этой огромной линии от Уральского хребта до Харбина, на протяжении свыше 6500 верст, забастовал в 1905 г. Стачечники заявили об этом главнокомандующему армией, старику Линевичу, прибавив, что они сделают все, чтобы быстро переправить войска на родину, если генерал будет услови-ваться каждый день с стачечным комитетом о числе людей, лошадей, багажу, отправляе-мых в путь. Генерал Линевич принял это. И результатом этого было то, что в течение де-сяти недель, пока стачка продолжалась, воз-вращение войск на родину происходило с большим порядком, с меньшим количеством несчастных случаев и с гораздо большей быстротой, чем когда-либо раньше. Это было

настоящее народное движение, рабочие и солдаты, отбросив всякую дисциплину, работали вместе над этой громадной переправкой сотен тысяч людей.

[^^^]

Кроме указанных уже работ по истории развития анархизма, смотри великолепную «Библиографию анархии», соч. М. Неттлау, составляющую часть «Библиотеки Temps Nouveaux», изданную Элизе Реклю в 1897 г. Читатель найдет там, кроме списка сочинений, обоснованную библиографию различных работ и изданий по анархии.

[^^^]

Кроме того, они купили себе земли на берегу Тихого океана, провинции Канады, Британской Колумбии, где они организовали свою фруктовую колонию, чего страшно не хватало этим вегетарианцам, в провинции Альберте, где ни яблони, ни груши, ни вишни не дают плодов, так как их цветы убиваются майскими морозами.

[^^^]

С тех пор как эти строки были написаны, я ездил в Америку. Там в Кембридже (около Бостона) устроено при университете, кроме громадной, роскошной столовой для богатых студентов, еще громадное, не менее художественное здание — очень дешевая столовая для более бедных студентов. А так как у многих студентов и тут нечем платить, то их охотно берут, чтобы прислуживать за столами в часы обеда; и студенты в Америке, как известно, очень охотно это делают. Они платят, таким образом, за свой стол не деньгами, а трудом по известному расчету. Нет никакой причины, почему при этих столовых не завести бы также свою ферму: Бостон оказывается большим производителем земледельческих и садовых продуктов — главный, по денежному обороту, садовый и огородный центр в штате Массачусетс. Впрочем, и об этом уже поднята была нами речь, и идея принята сочувственно. Школьные фермы, наверно, скоро привьются, теперь в Америке заведут ферму и при университете.

[^^^]

Когда Луи Блан противопоставил государство-хозяина государству-слуге, то Прудон ответил ему следующими словами, которые кажутся написанными вчера: «Луи Блан говорит, что государство было до сих пор хозяином и тираном граждан, но что отныне оно должно быть их слугою. Отношения переменялись: в этом заключается вся революция. Как будто защитники монархии во все времена не прикрывались такими же утверждениями, говоря, что королевская власть была слугою народа; что короли созданы для народов, а не народы для королей, и тому подобными рассказами, которые теперь народ отлично понял. Теперь мы знаем, что значит эта служба государства, эта преданность правительства свободе. Бонапарт разве не говорил, что он слуга революции? Какие услуги он оказал ей!.. Так и государство-слуга. Таков ответ Луи Блана на мой первый вопрос. Что же касается вопроса о том, как государство может стать действительно и на деле слугой, и как, будучи слугой, оно может продолжать быть еще госу-

дарством, Луи Блан не объясняет, он благоразумно хранит на этот счет молчание» («Разные статьи. Газетные статьи». Том III, с. 43. Смотри также дальше, с. 53, то место, где Прудон говорил: «То, что называют в политике властью, аналогично и равноценно тому, что в политической экономии называют собственностью; эти две идеи равны друг другу и тождественны; нападать на одну значит нападать на другую; одна непонятна без другой; если вы уничтожите одну, то нужно уничтожить и другую и обратно»).

[^^^]

Более полное изложение этих взглядов можно найти в моей книге «Взаимная помощь».

[^^^]

Под этим названием обыкновенно понимают уцелевшие памятники древнего права лангобардов, баварцев и т.д., к которым принадлежит и наша «Русская правда Ярослава». — Ради краткости я пропускаю «неделеную семью», чрезвычайно распространенную бытовую форму, встречающуюся в Индии, составляющую основу жизни в Китае, а у нас встречающуюся среди «семейских раскольников» в Забайкалье. Она стоит между родом и сельскою общиною.

[^^^]

В России мы знаем сотни таких договоров, которые заключались ежегодно между городами (их вечем) и князьями.

[^^^]

См. Костомарова: «Начало единой державы на Руси», особенно статью в «Вестнике Европы». Для издания в его «Материалах» Костомаров ослабил эту статью — вероятно, по требованию цензуры.

[^^^]

См.: Костомаров Н. И. Русские рационалисты двенадцатого века.

[^^^]

Это произошло теперь и в России, где правительство разрешило захват общинных земель по закону 1906 г. и поощряло этот захват через своих чиновников.

[^^^]

Даже и теперь, не далее как в 1903г., при консервативном министерстве, право стачек снова было подорвано. Палата лордов, действуя как высшая судебная инстанция, постановила следующее: в случае стачки, если будет доказано, что рабочий союз отговаривая — просто отговаривал через своих подчасков, без устрашения силою — рабочих, собиравшихся заступить места забастовавших рабочих, то весь рабочий союз отвечает всею своею кассой за убытки, понесенные хозяевами. В известной Taff-Vale забастовке рабочий союз должен был уплатить хозяевам свыше 50 000 фунтов, т.е. более полумиллиона рублей. Второй такой же случай был поднят недавно, и рабочий союз кончил дело, признав себя должным 300 000 руб.

[^^^]

В Англии, например, следы эти сохранялись до 1848 г. в виде принудительного труда детей; их отбирали по закону у бедных родителей, если последние были в Работном доме, и их перевозили на север работать на хлопчатобумажных фабриках.

[^^^]

Оценивают различно суммы, получаемые Англией на те капиталы, которые она дала в долг другим народам. Известно только, что сумма свыше 100 млн фунтов стерлингов, т.е. 1000 млн золотых рублей, представляет доход англичан на деньги, которые они ссудили различным государствам и железнодорожным компаниям. Если к этому прибавить проценты, получаемые каждый год на те деньги, которые англичане ссудили иностранным городам, затем различным компаниям морского и речного судоходства (везде, особенно в Америке), на маяки, подводные кабели, телеграфы, банки в Азии, Африке, Америке и Австралии (эти доходы огромны), и, наконец, те суммы, которые были помещены в тысячи производств всех стран мира, то английские статистики приходят к минимальной цифре втрое большей только что названной. Между тем чистый доход, реализованный Англией на всем ее вывозе (менее полумиллиарда рублей), так мал по сравнению с доходом, получаемым от обрезания ножи-

цами купонов на акциях, что можно сказать, что главная промышленность Англии состоит в торговле капиталами. Она сделалась тем, чем была Голландия в начале XVII в. — именно главным ростовщиком мира. За ней следует Франция, потом Бельгия (пропорционально количеству ее населения). Действительно, согласно оценке Альфреда Неймарка, Франция имеет от 26 до 30 млрд иностранных ценностей, что дает ежегодный доход от одного миллиарда до миллиарда с половиной, не говоря о ценностях, котируемых официально на парижской Бирже.

[^^^]

В Англию ввозят даже пищу для скота, хотя его разводят не очень много, а также мясо, сено, различные сорта муки, отруби. Что касается мяса, то английские крестьяне начали есть говядину и баранину лишь после того, как в 60-х годах начали ввозить мясо из Америки, а позднее из Австралии и Новой Зеландии. До этого мясо было недоступной роскошью для крестьян.

[^^^]

Эти синдикаты, которые, например, включают в себя, сверх английских фабрикантов, более всего фабрикантов ниток, стекла, цемента и т.д. в протекционистских странах, мешают тому, чтобы иностранная конкуренция понижала цены в Англии. Некогда германские или русские фабриканты тех же товаров, продав известное количество этих товаров у себя дома по высокой цене (благодаря таможенному тарифу), могли посылать часто их в Англию, когда английские фабриканты этих товаров стоваривались между собой и образовывали синдикат для того, чтобы поднять на них цену. Теперь же, войдя в международный синдикат хозяев, большие германские и русские фабриканты обязываются больше не делать того и не мешать сбыту по приподнятым ценам.

[^^^]

Говоря об этом современном росте международных картелей, я позволю себе резюмировать здесь то, что Андре Моризэ рассказал нам в газете «Guerre Sociale» от 6 февраля 1912 г. о международном соглашении, существующем относительно поставки необходимого снаряжения для бронировки. Это соглашение включало в себя вначале десять участников — Круппа, Шнейдера, Максима, Карнеджи и т.д., которые были разделены на четыре группы: английскую, германскую, французскую и американскую. Эти десять участников условились между собой относительно дележа заказов, делаемых правительствами так, чтобы не составлять друг другу конкуренции. Тот из участников, которому предлагали какой-нибудь заказ, представлял известную, условленную уже цену, а другие участники картеля представляли цены, немного более высокие. Кроме того, был устроен pool, то есть особый фонд, составленный из взносов определенного количества процентов с каждого заказа и служащий для уравнивания прибылей

с различных заказов. Начиная с 1899 г. три новых больших компании были приняты в число участников картели, чтобы избежать конкуренции с их стороны. Понятна та огромная сила, которой обладает этот синдикат. Он не только дает средство для ограбления казны в государствах и для накопления колоссальных богатств, но он заинтересован в том, чтобы толкать все государства, большие и маленькие, к усилению вооружений. Вот почему мы видим теперь такую настоящую лихорадку в постройке дреднотов и сверх-дреднотов. Банкиры, заинтересованные в этом синдикате, не желают ничего лучшего как давать необходимые деньги государствам, каковы бы ни были их долги. Итак — «да здравствует государство!».

[^^^]

Делэзи привел замечательный пример Сент-Обенского синдиката, появившегося еще при Людовике XV и сумевшего с тех пор всегда процветать, беря себе акционеров в высших правительственных сферах. Приобретая себе защитников и акционеров сначала при королевском дворе, потом среди императорской знати Наполеона I, затем среди высшей аристократии времен Реставрации и, наконец, в республиканской буржуазии и изменяя сферу эксплуатации согласно времени, этот синдикат процветает еще, под высоким покровительством легитимистов, бонапартистов и республиканцев, соединившихся для эксплуатации. Форма государства меняется, но так как сущность его остается та же, то монополия и тресты всегда остаются в нем, и эксплуатация бедных в пользу богатых продолжается.

[^^^]

Несколько цифр лучше покажут эти скачки. Между 1900 и 1904 гг. вывоз из Англии был нормален. Он составлял для продуктов английского происхождения цифру между семью и семью с половиною миллиардами франков. Но в 1904 г. начали говорить о большой войне: Соединенные Штаты усилили свое производство, и английский вывоз поднялся за четыре года с 7525 до 10 650 млн. Это продолжалось два года. Но столь желанная война не наступала, и произошла внезапная остановка: кризис, о котором мы говорили, разразился в Соединенных Штатах, и вывоз английских продуктов упал до 9425 млн. Однако наступает 1910 г., и предвидение большой европейской войны готово осуществиться. И в 1911 г. английский вывоз поднимается до совершенно непредвиденной высоты, до какой он раньше никогда не мог приблизиться даже издали и какую никто не мог объяснить. Он доходит до 11 350 млн! Уголь, сталь, скороходные корабли, крейсера, патроны, сукна, ткань, обувь — на все есть спрос, все

вывозится в избытке. Состояния составляют
в одно мгновение. Люди начали убивать
друг друга — какое счастье для спекулянтов!

[^^^]

Прочитывая теперь, в 1920 г., русские корректуры этих очерков, я оставляю их совершенно в том же виде, в каком они были написаны в конце 1912 г., хотя все время является желание проводить сравнения с тем, что произошло с тех пор и происходит теперь. — П. К.

[^^^]

Если в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах да еще в Швейцарии народ имеет кое-какое влияние на государственные дела, то только потому, что в этих странах во всякой деревушке, во всякой мастерской, а тем более в больших городах есть люди, которые «когтем и зубом» готовы стоять за свои человеческие яичные права и не позволят ни себя, ни свои права втоптать в грязь. Когда недавно (в 1886 году) в Лондоне опять заговорили, что надо бы не пускать манифестацию голодных рабочих в Гайд-парк, то вся печать завопила: «А забыли небось 1878 год (года, наверно, не помню), когда полицейские преградили толпе дорогу в парк? Что они тогда наделали? Разломали железную решетку и ее пиками полицейских перебили. С нашим народом нельзя шутить. Наша »чернь« весь Лондон способна разнести». И разнесли бы. Могу прибавить, что правительство отлично это знало в 1886 году. Свободу, какая бы она ни была, надо завоевывать, а не ждать ее от «высочайше дарованных» конституций.

[^^^]

Возьмите, например, Парижскую коммуну 1871 года. Не ученые, но руководители народа, даже не вожаки Международного Союза рабочих шепнули парижскому народу, что надо провозгласить коммуну; что в независимом городе, объявившем, что он не намерен ждать, пока вся Франция дойдет до идей радикальной, социалистической (или, по крайней мере, равенственной) республики, надо начать водворять такую республику. Эта идея жила в Париже, в народе, с 1793 года; ее развивал в 1848 году Прудон; она гнездилась, полусознанная — получувство и полумысль — в умах парижских рабочих. И они даже сюрпризом для большинства вожаков — провозгласили коммуну. Они объявили, что им нет дела до Франции — государства; что они у себя, в своем любимом Париже, намерены начать нечто новое: выступить на новый смутно-социалистический путь точно так же, как в 1793 году в каждом городе, в каждой деревне Восточной Франции местный Робеспьер и местный Марат выступали на новый, нефео-

дальний путь: выгоняли старых чиновников, вооружались, отнимали общинные земли назад, жгли уставные граамоты и т.д. И, не дожидаясь никого, парижские блузники, рабочие, организовывали военную защиту города, организовывали почту (на диво английским корреспондентам) и начали (только под конец, к несчастью) организовывать общинное кормление. Если бы в эту пору у парижского народа, кроме идей равенства и идей коммуны, было бы также и смутное сознание, что дома должны быть отобраны у теперешних хозяев коммуной, что коммуне, т.е. блузникам, надо организовать кормление всего народа, а также производство всего, что нужно для этого, — тогда коммуна, быть может, и не погибла бы: вместо 35 000 защитников она, вероятно, имела бы втрое больше; и тогда Тьер с Бисмарком, по всей вероятности, не справились бы с нею. Но этих мыслей у рабочих в то время еще не было; а от буржуа, даже от ярых революционеров из среднего сословия, их, конечно, нечего было ждать. Таким образом, Парижская коммуна указала нам одно: социальная революция должна начаться

местно; она может быть сделана только народным почином — не сверху, а снизу. А как ее сделать, хоть бы и в одном городе? С чего начать? Нам выпадает на долю обдумать это. Наш ответ, в общих чертах, таков: начинать с кормления всех, с устройства всех в порядочном жилье; говоря учено, с распределения. Производство же должно устроиться согласно надобностям распределения.

[^^^]

Инстинктом принято называть привычки, до того утвердившиеся в животном или в человеке, что эти привычки наследуются. Так, например, цыплята, вылупляющиеся из яиц при искусственном их высиживании в тепле, без матки, как только вылупятся из скорлупы, начинают рыть лапками землю, как все куры и петухи.

[^^^]

Английский мыслитель, писавший о сущности нравственности, родился в 1671 году, умер в 1713 году.

[^^^]

Конечно, с самых ранних времен уже в родовом быте начинают появляться обычаи, нарушающие равноправие. Знахарь-шаман, прорицатель и военный начальник приобретают в роде такое влияние, что мало-помалу (особенно путем тайных обществ) создаются классы волхвов, жрецов, шаманов, воителей, приобретающие особое привилегированное положение в роде. Затем, по мере того как начали создаваться в роде особые семьи, где жена добывалась пленением из другого рода во время междуродовых войн, а впоследствии «умыканием», т.е. похищением, по мере развития этого нового учреждения в роде создавалось неравенство, дававшее отдельным семьям уже не случайное, а постоянное превосходство над другими. Но и тут все время род употреблял и употребляет до сих пор всякие усилия, чтобы ограничить неравенство; и мы видим, например, у норманнов, что военный предводитель (король), убивший своего дружинника, подвергался тому же наказанию, что и простой дружинник, т.е. он должен был

выпрашивать себе прощение у семьи убитого; и если она прощала его, то он уплачивал обычную виру. (Подробнее о таких обычаях см. в моем труде «Взаимная помощь».)

[^^^]

Прибавлю, что приблизительно к такой же гипотезе пришел, как я узнал впоследствии, известный мыслитель-позитивист Литтре в одной статье о нравственности, помещенной в журнале «Philosophic Positive».

[^^^]

Книга Годвина «Political justice» в 2-х томах вышла в 1792 и 1793 годах (во втором издании сделаны цензурные сокращения). (Книга) Прудона «De la justice dans la Revolution et dans l'Eglise» вышла в 1858-1859 годах.

[^^^]

Так называли детей тех бедных, которые после долгих лет борьбы с нищетой шли в работные дома, т.е., в сущности, в тюрьмы с принудительной работой; у них отбирали малолетних детей и отдавали их фабрикантам для работы на фабриках.

[^^^]

Гюйо М. Нравственность без обязательств и без санкции. Есть русский перевод Товарищества «Знание». Пб., 1899.

[^^^]

Этот очерк был сперва написан в 1890 году по-французски под заглавием «Morale Anarchiste» для нашей парижской газеты «La Revoque» и издан затем брошюрою. Предлагаемый перевод, тщательно сделанный и проверенный, следует считать русским текстом этого очерка.

[^^^]

Амурский и Камчатский епископ Иннокентий каждый год посещал чукчей, снабжая их порохом и свинцом для охоты. «И с тех пор, как я это делаю, говорил мне этот замечательный человек на Амуре, — детоубийство у них совершенно прекратилось».

[^^^]

Теория нравственных чувств или попытка рассмотрения начал, которыми обыкновенно руководствуются люди в суждениях о поведении и характере, сперва — своих ближних, а потом — и самих себя. Л., 1759.

[^^^]

Из всех современных авторов наилучше формулировал эти идеи норвежец Ибсен в своих драмах. Сам того не зная, он тоже анархист.

[^^^]

Мы уже слышим голоса: «А убийца? А тот, кто растлевают детей?» На это наш ответ короток: убийца, убивающий просто из жажды крови, чрезвычайно редок. Это больной, которого надо или лечить, или избегать. Что же касается развратника, то постараемся сначала, чтоб общество не растлевало чувств наших детей, тогда нам нечего будет бояться этих господ.

[^^^]

Так рассуждали во Франции, в начале 80-х годов, не только социалисты-«возможники» (поссибилисты), но и правоверные социал-демократы истинно марксистского толка.

[^^^]